

Звезда

- Иосиф Бродский
Шеймус Хини. Стихи.
- Шеймус Хини (Нобелевский лауреат 1995 г.)
Иосифу Бродскому и другие стихи
- Леонид Штакельберг
Пасынки поздней империи. Роман.
- Александр Нежный
Плач по Вениамину.
Документальная повесть (Окончание).
- **Воспоминания о Марине Цветаевой**

1996 (5)

Звезда

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
НЕЗАВИСИМЫЙ
ЖУРНАЛ**

**Издается
с января
1924
года**

1996(5)

Санкт-Петербург

Учредитель: АОЗТ «Журнал Звезда»

Директор Я. А. ГОРДИН

Соредакторы: А. Ю. АРЬЕВ, Я. А. ГОРДИН

Редакционная коллегия:

**К. М. АЗАДОВСКИЙ, Ю. Ф. КАРЯКИН, И. С. КУЗЬМИЧЕВ, А. С. КУШНЕР,
Н. К. НЕУЙМИНА, Г. Ф. НИКОЛАЕВ, А. А. НИНОВ, М. М. ПАНИН,
Б. М. ПАРАМОНОВ (Нью-Йорк), В. Г. ПОПОВ, А. Б. РОГИНСКИЙ,
Б. Н. СТРУГАЦКИЙ, С. С. ТХОРЖЕВСКИЙ, В. Я. ФРЕНКЕЛЬ,
А. А. ФУРСЕНКО, М. М. ЧУЛАКИ**

Редакция:

**М. М. ПАНИН, Н. А. ЧЕЧУЛИНА (проза); А. А. ПУРИН (поэзия);
Н. К. НЕУЙМИНА (публицистика); А. К. СЛАВИНСКАЯ (критика)**

**Зам. гл. редактора В. В. РОГУШИНА Зам. гл. редактора В. И. ЗАВОРОТНЫЙ
Зав. редакцией А. Д. РОЗЕН Отв. секретарь А. А. ПУРИН**

Корректоры: Ф. Н. АВРУНИНА, Н. В. ВИНОГРАДОВА, О. А. НАЗАРОВА

Компьютерная группа: Ю. А. СМИРЕННИКОВ, Н. П. ЕГОРОВА, О. В. МУРАТОВА

При перепечатке материалов ссылка на "Звезду" обязательна.

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Подписаться на журнал и приобрести отдельные номера можно
непосредственно в редакции.

Из общего тиража Институт «Открытое общество» выписывает и направляет
ежемесячно в библиотеки России и библиотеки ряда стран СНГ 9500 экз. журнала.

Адрес редакции: 191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, 20.
Телефоны: соредакторы и зам. гл. редактора — 272-89-48,
зав. редакцией — 273-37-24, редакция — 272-71-38, факс — 273-52-56
E-mail: arjev@zvezda.spb.su или gordin@zvezda.spb.su

© «Звезда», 1996

ИОСИФ БРОДСКИЙ

ШЕЙМУСУ ХИНИ

Я проснулся от крика чаек в Дублине.
На рассвете их голоса звучали
как души, которые так загублены,
что не испытывают печали.
Облака шли над морем в четыре яруса,
точно театр навстречу драме,
набирая брайлем постскрипту ярости
и беспомощности в остекленевшей раме.
В мертвом парке маячили изваяния.
И я вздрогнул: я — дома, вернее — возле.
Жизнь на три четверти — узнавание
себя в нечленораздельном вопле
или — в полной окаменелости.
Я был в городе, где, не сумев родиться,
я еще мог бы, набравшись смелости,
умереть, но не заблудиться.
Крики дублинских чаек! Конец грамматики,
примечание звука к попыткам справиться
с воздухом, с примесью чувств прапатери,
обнаруживающей измену праотца, —
раздирая клювами слух, как занавес,
требуя опустить длинноты,
буквы вообще, и начать монолог свой заново
с чистой бесчеловечной ноты.

1990

Редакция поздравляет Шеймуса Хини с присуждением ему Нобелевской премии по литературе и искренне благодарит за предоставление стихотворений «Звезде». Благодарим также профессора Валентину Полухину, способствовавшую этой публикации.

© Иосиф Бродский (наследники)

ШЕЙМУС ХИНИ

ВАРИАЦИЯ НА ТЕМУ ОДЕНА*

(Памяти Иосифа Бродского)

Узнаёшь, Иосиф, лад?
Хореический накат:
Под него во тьму могил
Оден Йейтса проводил.

Годовщины роковой
(Января двадцать восьмой)
День стал дважды роковым —
Стал и Йейтса, и твоим.

Мой поэтому черед
Четверной вести отсчет,
Горе с Разумом смешав,
Ибо ты и в этом прав.

Лад и Горе тащат гроб
На четверках строк и стоп;
Повторение — закон
Стихотворных похорон.

Повторение — и стуж
В мире барда, в мире душ:
Нет полетов — холода,
В сердце холод навсегда.

Этот холод, этот лед
И топор не разобьет,
Не пронижет на просвет
Ни эклога, ни сонет.

Лед, как в ссылке, лопаря,
Лед двуликий января,
Лед как в Дантовом аду —
Сердце сковано во льду.

В массачусетской глуши
Вновь «Перцовую» глуши —
Налита твоей рукой
Перед новой строкой.

Но не водке всех сортов
И со всех материков

Жизнь вернуть тебе во грудь,
Шутку новую ввернуть —

Про политику и про
Наше блядское ребро, —
Задымив, как паровоз,
Заспешивший под откос.

Мы в Финляндии, в купе,
Мчались к тамперской толпе,
Манускрипты разложив
Прошлым летом (ты был жив)

На диванах и столе.
Поезд мчался по земле
Финнов (для тебя поход
Ленина наоборот).

Плыл простор, как приговор,
Ворон каркнул: «Невермор»,
Падал — на глазах у всех —
Под топор твой вечный смех.

Приговор — на перенос
Строк в трагедию всерьез,
На ритмический подъем
(Но туда нельзя вдвоем).

Речь британцев грабанув
(В ней по-русски всех разув),
Мчался в угнанном авто
И владел им, как никто.

Но язык — обожествлен —
Только выпятил урон,
Ибо дрогнул даже ты
Под напором пустоты.

Прах — ко праху («Гилгамеш»)
Мертвых пением утешь.
Оден завещал: во мрак —
С ними хлеб вкушать и мак.

* Предыстория этого стихотворения такова. Уистен Хью Оден (1907—1973), любимый поэт Иосифа Бродского, написал данным довольно редким в английской поэзии размером (четырёхстопный хорей) центральную часть стихотворной трилогии на смерть Уильяма Батлера Йейтса (1865—1939), последователем и преемником которого считается Шеймус Хини. В свою очередь, молодой Бродский написал тем же размером заключительную часть стихотворного триптиха на смерть Томаса Стирнса Элиота (1888—1965). Теперь настал скорбный черед Хини написать на смерть Бродского... Йейтс и Бродский умерли в один день — двадцать восьмого января. В стихотворении обыгрывается название последнего сборника эссе Бродского — «Горе и Разум», содержатся реминисценции на участие обоих поэтов — Бродского и самого Хини — в фестивале поэтов в Тампере (Финляндия) летом 1995 г., аллюзии на стихотворение Эдгара Аллена По «Ворон» и — в заключительном четверостишии — на шумерский эпос «Гилгамеш» и на известный пассаж из эссеистики Одена, восходящий, в свою очередь, к одному из «Сонетов к Орфею» Райнера Марии Рильке. Вспомним и о том, что предисловие к подборке Хини в «Звезде» собирался написать Бродский. — *Примеч. переводчика.*

В переводах сохранена схема пунктуации оригинала.

© Seamus Heaney

© Виктор Топоров (перевод)

ЧУВСТВИЛИЦА

Памяти М. К. Х. (1911—1984)

Урок — мне от нее а ей от дяди:
Избравший для удара точный угол
Раскалывает самый черный уголь.

Усилья здесь не требуется — лишь
Расслабленность в руке, которой бьешь,
Когда бесшумно молотом стучишь.

Урок мне: между молотом и глыбой
Быть музыкой. И слушать и звучать
Меж мглой и мглой кромешно твердолобой.

1

В лицо мне самый первый самый робкий
Летит из града целого камней,
В мою вероотступницу-прабабку
Нацеленных. Седло дрожит под ней
Сто лет назад в безвыходной ловушке,
Когда, как пушки, бьют колокола
В отринутой отечеством церквушке,
А муж на мушке и молва нагла.

Отступница. Поправшая святыни.
Не худшая однако же черта
Досталась мне по материнской линии.
Не серебро не книги не комод,
А камень, завершая траекторию,
Который и проймет и все поймет.

3

Пока семейство слушало обедню
Мы с ней картошку чистили к обеду.
Картофелины шлепались в кастрюлю
Как воины без лат на бранном поле;
Вдвоем нам было зябко и тепло,
Вода казалась хрупкой как стекло,
Но разрушаясь с каждым новым
всплеском
Сама сближала женщину с подростком.

Поэтому когда наш приходской
Пришел по душу в черном всеоружье
И кое-кто утратил равнодушие,
Я вспомнил, как на кухне мы с тобой
Ножами в лад, дыханьем воедино...
Не ближе, но и так — неизгладимо.

2

Паркетки здесь блистали. Бронза тоже.
Фарфор сервиза безупречно бел,
Кувшинчик полон, чайник свиристал,
Пирожные разложены на ложе
Предгибельном. И масло в холодке
На сквозняке. Не говори ни с кем
С набитым ртом. Не ерзай. Не кроши.
Ни мебель ни посуду не круши.

Кладбищенск, Гробовая, номер пять.
Очки на лбу, мой лысый дед из кресла
В который раз пытается привстать,
Приветствуя вернувшуюся дочь
Еще до стука в дверь. «И ты воскресла?»
В надраенном доме вдвоем теперь.

4

Прикидывалась дурочкою, чтоб
Не выделяться то есть не блистать,
И вместо «сноб» произносила «жлоб».
Казалось ей, что стать другим
под статью
Сумеет, удивившись: «Что за блажь?
Я потому как в мыслях не держу...»
И все ж за простофилю и ханжу
Ее зазря держал народец наш.
«А ну-ка, башковитый паренек», —
Так обращалась. Вызов и упрек
Я принимал, коверкая язык
На тот же доморощенный салтык, —
«Почто...» «Да ну...» «Да брось ты,
так твою...»
Так мы вдвоем дурачили семью.

5

Прохладой, словно все еще влажна,
От простыни, снимаемой с веревки,
Повеяло, но сырость полотна
И первый — с изворотом — жест
неловкий
В два перехвата рук — и парус вдруг
Рванулся, на ветру не просыхая,
Но все, что происходит, пресекая.
И мы не так держали, как держались,

Хотя и там друг с дружкой
держались,
Как будто ровным счетом ничего
Не значит моментальное родство
Усилий, цели, времени и места,
Найтием согласованного жеста,
Уже не парус, а рентгеноскоп —
И на экране два луча, две тени —
И все в комод на вечное хранение.

Пришелся пик волнений на Страстную:
Любовники, они же сыновья —
Роман Ди-Эйч* прочитан вхолостую.
Покуда свечку теплала семья,
Мы, локоть к локтю, на коленях,

рядом
И посреди примерных прихожан
Внимали строфам гимна как руладам, —
Где реки, там для нас и Вавилон...
Неладное: не ладан, так туман,
В молитвах привкус пальмового масла.
Душа воскресла, а свеча погасла.
И только Псалмопевец восхищен:
«Кто с хлебом слез...» И далее —
по тексту.

В последние мгновенья он сказал ей
Все, что таил до самого финала.
— Ты будешь с нами в ряд погребена
И я приду и ты мне будешь рада,
Я постучусь, чуть станет ночь темна. —
Закончилась прощальная тирада.
Она уже в беспамятстве была —
Но «дочерью возлюбленной» —
как надо.
Нить пульса истончилась, замерла,
И все, кто у одра стоял, постигли:
Ушла она от нас не в пустоту,
Прошла сквозь поры паром на лету
(А те свои чувствилища раздвигли),
Вошла в нас, без нее невозможу.

Мне вздумалось пойти пройтись туда,
Где дышит запусеньем от того,
Что в нынешнем контексте навсегда
И прежнее безлико и мертво.
Садовник здешний — мастер
подстригать —
И ножницы садовые его,
Стремясь облагородить благодать,

На деле истребляют естество,
Расцветшее для нас — но без
него.
Нет в нынешнем контексте ничего
Достойного, пристойного (как он,
Должно быть, полагает, увлечен
Своей работой). Даже тишина —
Не та, что тишиной напоена.

ПОЛУОСТРОВ

Когда не знаешь как и что сказать,
Езжай на полуостров и объезди
Его дугу среди дневных созвездий,
Не будет указателей, скользнуть

Придется по холмистому предпляжью.
А в сумерках сомкнется горизонт,
Дом, луг и пашню воссоединит —
И ты опять во тьме. Свою прощажу

Простую как на отмели бревно
И скалы с самодельным волнорезом —
Ногастых птиц ступающих по розам
И островки пошедшие на дно —

Запомни, и, не зная что сказать
И как сказать, скажи: тобой разгадан
Не облик и не смысл а запах: ладан,
Вода и твердь вольны благоухать.

РЕСПУБЛИКА СОВЕСТИ

I

Когда самолет покотил по
взлетно-посадочной
в Республике совести стало так тихо
что я расслышал пение кроншнепа.

В окошке «Иммигранты» клерк-старик
извлек бумажник из домашней куртки
и предъявил мне деда моего.

Таможенница требует
продекларировать
искусство воровбы, настоя слов
как приворотных так и отворотных.

А у ворот ни друга ни такси.
Ни толмача. Ты сам потащишь ношу
в ту нишу где бывшая боль не в счет.

* Имеется в виду Дэвид Герберт Лоуренс (1885—1930) и его роман «Сыновья и любовники» (1913).

II

Туман дурное предзнаменование
а молния благое — и отцы
в грозу младенцев вешают на ветви.

Соль — самый ценный минерал.
В ушах при родах и над гробом — грохот моря.
Чернила тушь и краски — из воды.

Священный символ здесь —
потешный челн.

Как ухо парус, мачта авторучка,
Нос в форме рта а киль — открытый
глаз.

Туземные вожди вступая в должность
клянутся чтить неписанный закон
клянут самих себя за невезучесть —

и веруют что вся земная жизнь
взялась из глаз заплаканного бога
когда ему приснилось — он один.

III

Мне руки споловинили в стране
столь скромной даже скудной —
и таможенница
конфисковала каждый сувенир.

Старик привстав взгляделся мне в лицо
и угадал мое двойное гражданство
и не велел замалчивать его.

Напротив наказал мне воротясь
назваться полномочным
представителем
Республики на нашем языке.

Посольства наши он сказал повсюду
но абсолютно автономны от
правительства и несть от них посланий.

ТУМИ-РОАД

Однажды рано утром удивленно
Я увидал: ползет бронеколонна,
Ольховый лес пошел на камуфляж,
На каждой башне грозный экипаж.
Как долго им топтать мои дороги
Как собственные? Спит в своей берлоге
Обложена охотником страна.
Спят сад и стадо, трактор, семена,
Зеленая и алая, видна

Лишь черепица крыш. К кому
в тревоге
Мне кинуться? Ворота на замке.
Дурных вестей до гробовой доски
Не слушают, чтоб сердце на куски
Не порвалось... Вот разве что надгробья.
О колесницы, ваши исподлобья
Нацеленные пушки отразит
Лишь тот, незримый, кто уже убит.

СЛИВА С ДЖИНОМ

Можжевеловая весна
оборачивается зимней полночью.
Заливаешь сливы джином.
Запечатываешь стеклянный контейнер.

Распечатываю в буфетной.
Залихватская блядская тишина
потревоженного кустарника
разливает благоухание.

Наливаю до края —
игрива и похотлива.
Колдовское
средневековое пламя.

Пью за тебя, чулочки в сеточку,
иссиня-черные на каблучке.
Горькая
безнадёжно проглатываемая.

СТАРЫЙ УТЮГ

Она его отрывала
От раскаленной плиты —
И медленно отплавало
Чудовище от причала.

Она его проверяла
Необидным плевком
И к щеке приближала
Пожар припасенный там.

Гладильной доски готовность.
Посадочная полоса.

Необходимая скованность
И плавность, когда, скользя,

Заходит на беззащитность,
Подобную женской... Труд
И вся его беспощадность
Лишь в этом: утюжат, трут

И волокут. И тяжесть,
Пока не пойдет вразнос,
Свою доказует схожесть
С гордыней, живущей в нас.

МЕТЫ

I

Разметили лужайку: по две куртки
На каждые ворота. Кромки и
Края словно долготы и широты,
Лишь подразумевались и могли
Служить предметом спора и согласия
Смотря по обстоятельствам. Разбились
На две команды, вбросили в игру.

Плыл по лужайке заполосный крик,
День кончился — а матч не прекращался,

Игра уже ворочалась в мозгу,
И мячик из физического мира
Казался тяжким сном, и каждый
вскрик,

И каждая удачная обводка —
Налет потусторонности на них...
Нахрапист и размерен матч, когда
Он не кончается. Исчерпаны лимиты
Желанья, состязательности, сил —
А время нам все время продлевают.

II

Милы тебе и линии в саду —
Еще воображаемые грядки,
Лопатой шуровать и шуровать.
Мила разметка дома под фундамент,
Прямоугольник прямо на траве
И штабель бревен, нужных на закладку

И возведение эфемерных стен.
Мила тебе грядущая межа,
Которую пропащешь (и пропадут)
От некой точки в собственном
мозгу
До сходной кочки в голове соседа.

III

Все это представляется тебе
И дверью и явленьем из-за двери.
Так метят место, метят время — но
И то и это держат нараспашку.
Так размечают море ржи серпом,

Морскую гладь и глубину — хвостом
русалки;
Когда плывешь друг к другу под прямым
Углом вдали от берега, сам берег
Становится волнистым как вода.

ДВА ГРУЗОВИКА

Черный уголь и теплый пепел
Заливает дождем. Во дворе след покрышек.
Эгню — угольщик из Белфаста —
Подбивает мать прокатиться
В Мэгхирафелт и сходить в киношку.
Но льет дождь, а ему еще развезти полкузова

Дальше по Туми-роад. Уголь из нынешней
Доставки оказался шелково-черным, так что пепел
Будет шелково-белым. Автобус на Мэгхирафелт
(Через Туми-бридж) проходит. Полураспотрошенный
Грузовик с пустыми мешками в кузове
Сладко волнует мать:
Надо же, как обходительны эти угольщики!

И в киношку, никак не меньше! И в кожаной униформе...
Но она возвращается и раскладывает уголь,
Образцовая домохозяйка сороковых,
Вертится у печи, время от времени утирая
Угольную пыль со щеки, тогда как отвергнутый
Грузовик отправляется в Мэгхирафелт

К последнему заказчику. О, Мэгхирафелт!
Мечта о плюшевом кресле и об учтивом угольщике,
Пока время мчится вперед и другой грузовик
Въезжает на Брод-стрит с зарядом взрывчатки,
Которая разнесет здешний автовокзальчик...
После всего, что произошло, я воображаю мать,
Воображаю, как встречу ее на скамейке,
В холодном зале ожидания в Мэгхирафелте,
С продуктовыми сумками, полными пепла.
Смерть входит в зал, у нее лицо угольщика,
В черной пыли,
Она забирает мешки с человеческим прахом,
Опустошает их,
Вываливает их содержимое в кузов

Под рев невыключенного мотора. Но который
Из двух грузовиков? Молодого Эгню —
Или тот, начиненный взрывчаткой, готовый
Взорвать мою мать на автовокзальчике в Мэгхирафелте?..
Крутые мешки — и крутая, и нежная тьма, угольщик.
Слушай, как дождь пипит в свежем пепле,

Выгружая прах, недавно бывший Мэгхирафелтом.
А потом выйди из кабины у дома матери,
Сказочный угольщик из шелково-белого пепла киношки.

Перевод с английского Виктора Топорова

ДЖ. Д. МАККЛАЧИ

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ ШЕЙМУСА ХИНИ «ПЕРЕОДЕВАНИЕ ПОЭЗИИ»

Динамит, пора сказать об этом в открытую, оказался наименее опасным из изобретений, сделанных Альфредом Нобелем. Нобелевские премии, финансируемые за счет доходов, получаемых от взрывчатки, оказались куда взрывоопасней. На свой собственный лад. Главной опасностью, связанной с присуждением премии в области литературы, продолжает оставаться политическое обоснование выбора, ежегодно совершаемого Нобелевским комитетом. В октябре (прошлого года) — словно для того, чтобы поощрить участников мирных переговоров между Лондоном и ИРА — Нобелевский комитет присудил премию ирландскому поэту Шеймусу Хини, отдельно отметив его «целеустремленные занятия анализом проблемы насилия в Северной Ирландии».

Строго говоря, стихи мистера Хини на протяжении всего творческого пути целеустремленно анализируют нечто совсем иное. Конечно, запутанные и часто заканчивающиеся гибелью людей события, происходящие у него на родине, брезжут и в его стихах — как сопутствующие обстоятельства его повседневной жизни. Но его амбиции всегда носили куда более частный характер, а его дарование является выражено лирическим. Любое место, так заявил он еще в начале пути, будь это ферма в Дерри или парковая аллея в Дублине, «символизирует индивидуальную драму в первую очередь, а репрезентирует общественную ситуацию лишь во вторую». Во всем творчестве он занимался и занимается не столько комментариями к социальным условиям, сколько анализом человеческого сердца — его стремлений, его пустот и — да! — присущего ему насилия.

Политические взгляды поэта, как правило, отчетливой проступают в его прозе, но и здесь мистер Хини не похож на других. И сама эта непохожесть стала темой серии публичных лекций, которые он прочитал в период с 1989 по 1994 год, будучи профессором поэзии в Оксфорде. Десять из пятнадцати прочитанных тогда лекций вышли сейчас книгой под названием «Переодевание поэзии», представ в результате размышлениями о природе искусства и власти, свежей и яростной защитой поэзии от любых попыток редуцировать ее значение до сугубо утилитарного. Поэты, начиная с Филипа Сидни и Перси Биши Шелли и вплоть до Уоллеса Стивенса, уже вставали — страстно и отчаянно — на защиту своего искусства. Новая книга мистера Хини — будучи более взвешенной, тонкой и благожелательной по отношению к потенциальным оппонентам — встает в тот же почетный ряд.

Нынешний сборник развивает темы, затронутые в двух предыдущих собраниях эссе поэта — в «Добровольных предпочтениях» (1980) и в «Правительстве языка» (1989). В новой книге, как и в двух предыдущих, он порой погружается в исторические изыскания или вступает в критическую или литературоведческую полемику, но в обоих случаях чувствует себя неугодно. Но едва сформулировав какую-нибудь общую идею, он отступает на специфическую территорию поэтических текстов, обращаясь к творчеству английских, ирландских и американских поэтов в широком диапазоне. Будучи убежден в том, что подлинная поэзия является тройным провокационным ограждением на любой идеологической тропе, он никогда не впадает в яростную полемику, предпочитая роль внимательного и восторженного читателя стихов.

Поэзии не присуща какая бы то ни было наглядность, поэзия не является всего лишь несколько выцветшим дубликатом действительности или опыта. Стихотворение, утверждается в эссе, давшем название всему сборнику, это виртуальная альтернатива: «Если данный нам в ощущении опыт представляет собой лабиринт, невозможность найти выход из него может быть скомпенсирована поэтическим воображением, создающим виртуальный лабиринт и наделяющим самое себя и читателя самым живым представлением о нем». И тогда чтение превращается в сказочное перенесение из действительности, существующей в одних измерениях, в действительность, существующую в других. Анти- и контрдействительность поэ-

зни, далее, призвана скорее усложнять человеческий опыт, нежели упрощать его, призвана запутывать и морочить, а вовсе не воодушевлять и взбадривать. Гротескное или экзотическое, ее содержание призвано уравновешивать «неадекватность, безутешность и беспощадность бытия», не обещая — и не собираясь соответствовать ничьим ожиданиям — ни обращения к этическим обязательствам, ни оглядки на политические мотивы. Главным принципом (поэтики) мистера Хини является наслаждение. Ведь в конце концов «никому из честных перед самими собой читателей поэзии... не придет в голову ожидать нравственного или, если уж на то пошло, политического поучения от поэтического текста, в который он или она погружается». Наслаждение, доставляемое нам стихами, в том числе и грешное наслаждение, доставляемое стихами талантливых «ниспровергателей», происходит из их чувственного напора, из их способности включать в себя и то, что Рильке некогда назвал «стороной жизни, навсегда остающейся для нас оборотной», а в конечном итоге — из их инстинктивного умения трансформировать условия и обстоятельства жизни.

Особенно убедительно доказывает мистер Хини свой основополагающий принцип, анализируя стихотворение Кристофера Марло «Геро и Леандр», написанное в конце 1580-х годов. Впервые мистер Хини прочел это стихотворение, будучи студентом университета Квинз в Белфасте, и даже тогда сумел воспринять его как образчик оголтелого британского империализма: «Эти английские пятистопные ямбы маршируют ногу с британскими армиями вторжения периода поздних Тюдоров». И хотя это его, конечно же, раздосадовало, он почувствовал очарование строк Марло и начал следить за тем, как работает мозг поэта: «мозг, открытый и ужасам, и соблазнам бытия, но приверженный скорее карнавалному веселью, чем шокирующе-ужасной тактике агитпропа». Изумительное стихотворение Марло на тему обреченной любви представляет собой, по самому высокому счету, параболу о странствиях души — о странствиях, целью которых являются освобождение и красота, но «проникнутых сознанием угнетения и неволи». Поэтическая виртуозность этого стихотворения, другими словами, одновременно занижена и завышена присущим ему психологическим реализмом.

Марксисты, феминисты — любой, кто предпочитает читать стихи как набор (идеологических) дискурсов: мистер Хини в одном эссе за другим рассматривает подобные представления о поэзии и последовательно отвергает их все. Рассматривая творчество других поэтов, он избирает тех, кого полюбил рано и в той или иной мере сохранил эту любовь навсегда, — от Джона Клэра до Хью Макдиармида. Слово для того, чтобы продемонстрировать тот факт, что поэтические новшества и свершения имеют сегодня место где угодно, только не в Оксфорде, Хини выбирает главным образом ирландских, шотландских, валлийских и американских поэтов, предпочитая также гомосексуалистов, умалишенных и поэтов женского пола. Кое-кого из них он оценивает достаточно сурово. Например, рапсодическая похабщина Дилана Томаса, некогда очаровавшая молодого Хини и показавшаяся ему проявлением первородной гармонии, теперь, в зрелом возрасте, кажется ему так и не просветленной музыкой: «Он вне всякой меры выпячивает романтическую и позитивную сторону рассказываемого и переоценивает способность стихов как оставаться навеки, так и изменять природу вещей». А Оскар Уайльд, напоенные легчайшими парадоксами пьесы которого когда-то шокировали чопорное викторианское общество, сам впал в унижающую его серьезность при написании «Баллады Редингской тюрьмы», в которой, рассчитывая на сострадание читателя, воззвал к его совести.

Жизненно важное напряжение, которое выскивает мистер Хини, присуще, разумеется, каждому хорошему стихотворению, в котором позитивные импульсы формы сталкиваются с негативными доводами и доказательствами, предъявляемыми содержанием. Но только истинный мастер может придать подобному напряжению ослепительность. В хрустальной героинке Уильяма Батлера Йейтса или в «бесконечной скромности и скромной бесконечности» Элизабет Бишоп срабатывает эффект «способности мозга разработать новый план ради красоты самого плана, создать новое поле для приложения собственной активности». Воображение, которым наделены оба вышеперечисленных поэта, «лишено жесточенности, но проникнуто неудовольствием». И оба помогают восстановить и прочувствовать таинственную инаковость мира.

Другой поэт, творчеством которого восхищается мистер Хини, а именно Роберт Лоуэлл, однажды столкнулся с советским бюрократом, который, выражая надежду на усиление творческого обмена между поэтами сверхдержав, подчеркнул их — поэтов — роль в сохранении и упрочении мира. «Искусство, — рявкнул Лоуэлл, — не сохраняет мир. Это не его дело. Искусство и есть мир!»

ВЛАДИМИР ГАНДЕЛЬСМАН

* * *

Вернуться в этот город? Нет, избавь.
Застиранный, он сед, и я не влезу
рукою в протекающий рукав.
Не выйдет ни по росту, ни по весу.

Ни по душе. Я помню, как Полиб
бежит за сопляком, как тот: «Подкидьш!» —
кричит мне, исторгающему всхлип...
Ты подтвердишь родство? И справку выдашь?

А если оборванец прав?.. Оставь
мне временный, но дом, способность видеть,
не помня ничего, и реку вплавь
позволь не брать, чтоб милых не обидеть.

Полиба нет? Мать потеряла речь?
Я знаю. Но тебя не слышу, нимфу...
Хоть неоткуда более извлечь
свидетелей, — не подойду к Коринфу.

* * *

Говорю: вращенье в барабанах
ворохов недельного белья,
тихие кварталы банных
вечеров, испарина жилья;

говорю: в цирюльнях отрезные
головы на вынос, простыней
полыханье, на закат сквозные
улицы уходят всё темней;

говорю: земли сырые комья
и небес встречаются в реке,
там, за семафором... ни о ком я,
ни о чем... о маленьком миреке.

О богах домашних, недалеких,
горизонт психея не берет

с перепугу, умещааясь в легких,
и плодов фруктовых полон рот.

Говорю: вот это зеленая,
это бакалейная, где нам,
в том числе и умершим, — земная
пища отпускается на грамм...

Пострашнеем — и тогда постигнем,
что иные не живут нигде
так давно, что более — «пусти к ним!» —
и не просятя, — к земле, к воде,

к виноватым превосходствам жизни,
там, где копошится божья тварь
в табака душистой горловизне...
Но Эдип еще ребенок. Царь.

Владимир Аркадьевич Гандельсман (род. в 1948 г.) — поэт, эссеист, автор книг стихов «Шум Земли» (Н.-И., 1991), «Вечерней почтой» (СПб., 1995) и романа в стихах «Там на Небе дом» (Н.-И., 1993; СПб., 1995). Живет в С.-Петербурге.

© Владимир Гандельсман

* * *

Над засушливым учебником
географии ли, биологии,
где снопы везут, где прививают
пестики к тычинкам,
и заочница идет с вечерником,
всё стада, всё волоокие
девушки на свете прибывают,
тянутся карандаши к точилкам.

У семян дыханье слабое,
набухание и прорастание,
пишет, машет ли тебе полярник
шапкою-ушанкой,
иль Белову окружают, лапая,
гроздьа пышут мироздания,
устья, русла, стебли, и кустарник
за окном акации с Каштанкой.

Луковицы мякоть едкую,
микроскопу вверх неослабную
любопытность, потеть телом,
с каплею раствора

Йода, — рассмотри, дыша соседкою,
ты ли рисовал похабную
и надписывал картинку мелом,
и в прозекторской дрожал позора.

Истомленное растение
на тарелке с трещиной и лужицей,
корни стержневые у фасоли,
семядоли, почки,
совести в потемках угрызения,
что я говорила, слушаться
надо, белые пылают боли,
отмирая в час по чайной строчке.

Все равно, не я, а он это,
отлетает от меня двойник это,
на него смотри, пока укроюсь
с головой и стигну,
ты какую глупостью так тронута,
или чем, душа, проникнута,
лучше помолчи, а то расстроюсь,
я не виноват ни в чем, пусти, ну...

* * *

В полях инстинкта, искренних, как щит
ползущей черепахи, тот,
что сценами троянских битв распшит,
не щит, так свод,
землетрясеньем стиснутый, иль вид
исходных вод,

в полях секундных, заячьих, среди
не разума и не любви,
но жизни жаб, раздувшихся в груди,
травы в крови
расклеванной добычи впереди, —
живи, живи.

Часторастущий, тыщий, трущий глаз
прохожему осенний лес —
вот клетот на его сквозной каркас
летит с небес,
вот некий профиль в нем полудивясь —
полуисчез.

Небесносенный, сенный, острый дух
сыреющий стоит в краях,
где розовый олень, являя слух,
в котором страх
с величьем предпочтет, одно из двух,
и значит — взмах

исчезновенья, как бы за экран,
сомкнувшийся за ним, и в нем
вся будущая кровь смертельных ран
горит огнем,
когда, горизонтально выгнув стан,
он станет сном.

Темнеет. Натянув на темя плед,
прощальный выпростает луч,
как пятку, солнце, и погаснет след
в развалах туч.
Рождай богов, сознание, им свет
ссужай, не мучь

себя, ты без богов не можешь — лги,
их щедро снарядив. Потом,
всесильные, вернут тебе долги
в тельце литом.
Трактуй змею, в шнуре ее ни зги.
Или Содом.

Сознание, твой раб теперь богат,
с прогулки возвратясь, и дар
последний обретя, пусть дом объят
(ужель пожар?)
сплошь пламенем, все умерли подряд,
и сам он стар.

ЦАПЛЯ

Сама в себя продета,
нить с иглой,
сухая мысль аскета,
щуплый слой,
которым воздух бережно проложен,
его страниц закладка
клювом вкось, —
она как шпиль порядка,
или ось,
или клинок, что выхвачен из ножен

и воткнут в пруд, где рыбы,
где вокруг
чешуй — златятся нимбы,
где испуг
круглее и безмолвнее мишени,

и где одна с особым
взглядом вверх,
остроугольнолобым,
тише всех
стоит, едва колеблясь, тише тени.

Тогда, на старте медля,
та стрела,
впиваясь в воздух, в свет ли,
два крыла
расправив, — тяжело, определенно,
и с лап роняя капли, —
над прудом
летит, — и в клюве цапли
рыбьим ртом
разинут мир, зияя изумленно.

* * *

Квартира окнами на Кировский.
Февраль чуть обморочный, вирусный.
Двор сумрачный. Я скоро вырасту.

За дверью черной, дерматиновой
тоскливой лентой серпантиновой
петляют звуки сонатины той.

Уроки сонные эстетике.
Там разбирают ноты Гедике.
Я «зажимал» ее на «Медике».

Смотри: бутылочный и уличный
ложится свет (парок из булочной)
на свитер с бахромой сосулечной.

Смотри: у батареи огненной,
еще по шляпку в жизнь не вогнанный.
Смотри: заглядываю в окна к ней.

Не вогнанный еще, не вынутый,
с той, не сливаясь, с той невинно стой.
О, Иванов, во всем продвинутый.

О, скуки нежное святилище,
лекальный сон попитра, пыль еще
в изгибах, полдень музучилища.

Или еще пылее: техникум.
За горло взятых тем, но тех, никем
не взятых лучше, неврастеником

отчасти, взятых тем вершителем —
приди: вот женщина с сожителем.
На вешалке фуражка с кителем.

— ЛЕОНИД ШТАКЕЛЬБЕРГ

ПАСЫНКИ ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ

Фрагменты ненаписанного романа

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ АВТОРА

Сударь, позвольте предупредить:

существование этого текста следует считать приложением к «Истории болезни», иллюстрацией частного случая той почти поголовной заразы, что возникла на просторах нашей Родины где-то в 30-х, как логический итог введения всеобщей грамотности. Имя отечественной чумы — графомания. В самом деле, согласитесь, все мы — шрайбен, шриб, гешрибен: школьные сочинения и объяснительные записки, заявления и рапорты, протоколы собраний и допросов, автобиографии и диссертации, анонимки, стихи, жалобы, конспекты, доносы просто и роман-доносы, письма любимым — всего и не перечтешь. Здесь и теперь — нет смысла развивать тему. Просто, сударь, предупреждая о факте моего графоманства, оправдательно ссылаюсь на массовость явления.

И то сказать — в силу жизненных обстоятельств, специфики профессии, да и собственных склонностей мне довелось общаться со множеством людей, в том числе — занятых, интересных, порой — значительных. Время наше было — не соскучишься, есть что вспомнить.

Текст фрагментарен и бессюжетен, написан в той манере застольных бесед, когда начинаешь про Фому, а выходит про Ерему, и, хотя одним из первоначальных импульсов к бумагомаранию было желание выговориться в одиночестве, думалось — плавно, без вечного нашего (в подпитии!) перескакивания и перебивания друг друга, — сама собой получилась чересполосица. *Натура* взяла свое.

При всем том — я графоман не агрессивный, публиковаться не рвался. Когда писалось, думал: все равно — в стол, пусть идет как идет, будут «монтажные листы», после разберусь. Теперь вижу: даже самой строгой редактурой привычный стиль рваного застолья не изменишь. Да и — надо ли? Я рассчитывал сделать штук пять копий, завещать друзьям. Пусть лежат в закутке, дожидаются хотя бы одного из их правнуков, будущего любителя старины, которому станет вдруг интересно: как эти чудаки, птеродактили, мамонты там жили?

Но однажды, после многолетнего перерыва, попал в Дом кино. Приятель пригласил на просмотр своего фильма. Обнаружив, что картина детская, посидев сколько-то из чувства такта, я удовлетворил свой интерес, удостове-

Леонид Леонидович Штакельберг (род. в 1932 г.) окончил Ленинградский институт физкультуры им. Лесгафта. В 60-е годы печатался в коллективных сборниках «Детгиза», в журналах «Пионер» и «Костер». Публиковался в газете «Русская мысль» в Париже. По профессии — шофер такси. Живет в С.-Петербурге.

рился, что мастеровитая рука друга по-прежнему крепко держит камеру, и по естественной надобности отправился в буфет. Небольшой зальчик скоро заполнился; ко мне за столик очень вежливо попросилась компания молодых людей, лет этак двадцати. Тут надобно сказать, что в Доме кино концентрация узнаваемости лиц доведена до насыщенности рассола и, как это бывает в деревнях, а у нас в Питере — во дворе или на лестнице собственного подъезда и, опять же — у персонального пивного ларька, — здесь принято здороваться. Естественно: многие знакомы, посторонних почти нет; если и не признал кого-то из-за долгого отсутствия или возрастных изменений, всегда лучше переборщить в вежливости, чем показать свои склероз и бестактность. Во всяком случае — так у людей моего поколения.

В этом стиле, первый — не задумываясь, другой — явно и мучительно соображая — с кем? — со мной раскланялись — один и второй, а когда это сделал и третий, общеизвестный и знаменитый, на сей раз — впрямь старый знакомец, один из молодых людей не выдержал, спросил: «Простите, вы — кто?» — «Никто, гость, — ответил я. — Меня Р. пригласил на просмотр». — «Но вы работаете в кино?» — «Теперь — нет. Когда-то, лет сто пятьдесят тому назад, еще до братьев Люмьер, два года проработал на картине у Р. человеком „на подхвате“». — «Бога ради — простите, — после паузы опять сказал он, — вы по возрасту подходите: Довлатова не знали?»

Вот уже года два-три, вслед за первыми публикациями Довлатова здесь, на родине, во мне возникло, а теперь и порядочно разрослось — и, поверьте, не из ревности, я не был с ним близко знаком, — чувство обиды за Сергея. Ажиотаж, поднятый вокруг его имени, что-то уж слишком напоминает истерику.

Нельзя делать Довлатова модным. Не нужна ему такая медвежья услуга. Он ведь — настоящий, у него свое место в литературе. Да чего там говорить о прозе, когда не разобрались даже в его человеческом характере. Ахают: безалаберный, беспечный — не взял страховку. Не один — все об этом; никому и в ум не пришло, что Сергей был так благодарен Америке, что в силу безмерности такта, личной щепетильности, по той же причине, что в Союзе порядочный человек не искал для себя благ, по возможности стараясь оградить свою независимость (скажем, не выпрашивал путевки в санаторий), да и по той, естественной довлатовскому характеру логике, что мужчина обязан все добывать сам, — не мог взять эту, непривычно «лишнюю» льготу, смаживающую на индугенцию перед Богом.

Словом, о Сергее я много думал, тема для меня — болезненная, близкая. А тогда, в Доме кино, оттого, что спрашивали не в первый раз, и, конечно, потому еще, что уже чуточку перебрал и адреналина хватало, неожиданно, не без резкости ответил: «Что вы все о Довлатове спрашиваете? Я, может, Леннона живым видел!» И поскольку на их лицах мгновенно обнаружился ритуальный экстаз, — сбавил тон, поспешил сразу поправиться: «Спокойно, парни; не так пошутил. Я за границей не был, а он до Союза не добрался. Зато Дюка...»

И стал им рассказывать о последнем концерте Элингтона в «Октябрьском»; про апофеоз, когда с узнаванием первых тактов сыгранного самим Дюком рояльного вступления народ взвыл, заорал, затопал и засвистел, а потом — встал на ноги, едино и счастливо, быть может — так, без ощущения внутреннего стыда — впервые в жизни, и, кто знал — запел текст, а незнавшие — выводили вокабулой — её, тысячекратно знаменитую, ставшую по-звонными, паролем и гимном не только джаза, канноверовскую заставку музыкального часа «Голоса Америки» — «Take The «A» Train»; как, проведая, что — да, будет, хватали такси и мчались, прорывались в «Белые ночи» — на углу Майорова и Садовой; как стояли, сидели, висели в зальчике, расписанном по желтым доскам петербургскими мотивами Геры Васильева; какими грустно-радостными были на этой, уже окончательно для нас последней его джем-сейшен.

Он, чуть ли не отсюда, без заезда в гостиницу, куда за шмотками съездил кто-то из оркестра, — улетал в Германию, все равно, что на Луну, мы точно знали: не видать нам его больше, уже теперь, заранее завидовали немцам, к

которым Дюк будет прилетать сколь угодно еще, никогда — к нам, учитывая теперешний прием, вернее — реакцию на него Обкома. Еще бы: поднявшись в «Октябрьском», мы не только заставили встать многочисленных стукачей, не только продержали в напряжении под звуки американского джаза кое-кого из прибывших в концерт с наблюдательно-руководящими целями, мы выразили демарш, политически расцениваемую акцию. В 71-м с джазом в Питере обстояло почти так же, как в 53-м. За полжизни к нам прорвалось — чего считать? — пальцев одной руки будет много; всякий раз это было результатом очередного «потепления», решалось аж на уровне глав государств. Эллингтон и попал к нам через Никсона в пору начавшейся «эры переговоров». В Питер, а не в Тамбов его направила Москва, кабы не такое — «шурика лысого» показал бы этому негру Григорий Васильевич Романов.

Так что — уже с двух сторон получалось: джем-сейшен — последняя. Дюка не отпускали глубоко за полночь, да он и сам завелся, не ждал, видимо, такого в «слаборазвитой стране» (термин вашингтонского госдепа для считающихся неджазовыми провинций). Ему явно понравились наши, особенно саксофон Ромы Кунцмана, они схватились, как борцы, как внезапные любовники...

Я рассказывал это ребятам в Доме кино, вспоминая, разгорячился, вполне серьезно пытался обсудить с ними давно лелеемое: не худо, мол, нам ныне повесить на углу Вознесенского и Садовой мемориальную доску с таким примерно текстом: «Здесь, в ночь с такого-то на такое-то (дату надобно уточнить) состоялась джем-сейшен, на которой вместе с питерскими джазменами играл великий музыкант XX века Дюк Э...» — и тут, грамотный в английском, как все они теперь, интеллигентный мальчик славненько так меня охладил: «Да кто этот герцог?» — перебил он.

Грешным делом, тогда я едва сдержался. Но, возвращаясь от Караванной по ночному, выбеленному свежим снегом, затихающему Городу, подумал: черт побери, да ведь для них — и Чехословакия была до рождения, все равно что для нас — Революция и Гражданская. Им, возможно не читавшим Хемингуэя, Довлатов кажется мэтром, как тот, когда-то — нам. А я — доживший свидетель, по сегодняшнему их отсчету — пожалуй, уже и не реликтовый ящер, скорее — питекантроп, им теперь уже интересно...

Так, решившись, я выпустил текст из дома, стал давать его читать. Сейчас, сию минуту, последним в этой цепочке оказались Вы, сударь.

Поскольку он пойдет фрагментами — несколько слов о нем. Получилось так. Писался роман вообще о другом, как вдруг, вроде ни с того ни с сего — мысль вильнула, хотя, конечно, неспроста (давно сформировалась), — провалился текст о Городе.

Признаюсь: почти прожив жизнь, оглядываясь, понимаю теперь — единственно подлинной, непроходящей, единственно цельной была у меня, чело-века по характеру вздорного, выпивохи и непутевого бабника, пронесенная с детства чистая любовь к нему, Петербургу. Знаю: можно разлюбить женщину, забыть семью... Допускаю даже — оставить страну. Но нельзя, невозможно — этот Город. Да поселите меня в любом раю, но если нет в нем — не скажу даже Невы или Дворцовой — а вот, просто — плавного изгиба Екатерининского канала, проходных ходов через колоды Васильевского или Коломны, да еще — где-то там, за домами — прокуренного полуподвала, где, разгоряченные вином и спором, могут ждать тебя друзья, — на кой ляд без всего этого мне ваш рай?

Словом — пошло о Городе. Оттолкнулся от Библии: «Если Господь не бережет город, напрасно не спит стража».

А с чего Ему беречь? Если сам помазанник, безвольный император, подавшись ложному патриотизму черни, совершил акт святотатства, заменил Святое имя, добавил — данное собственным пращуром-основателем, на первый по времени псевдоним?

Через сколько-то лет случилась кампания по возвращению Городу коренного имени. Особо красиво выглядели посторонние. Один, издавека, додумался: на выбор — Свято-Петроград, Нево-Петроград или уж вовсе — Невоград! Что значит — писатель, человек творческий! Да откуда ты, доброхот, выискал-

ся, сколько вообще часов пробыл в нашем Городе? Чем такой «новояз», лучше уж коммунистов было понять, Ленинградом оставить. За ним — хоть блокада, могилы мучеников наших...

Ладно, не буду заводиться... Нет, но все же так — нельзя! Хорошо. Следующей толчковой темой была такая. За все послереволюционное время у нас не случилось ни одного первого лица — секретаря обкома или мэра — не то что уроженца, даже — с детства жившего здесь. Уму непостижимо! Что у нас за традиция — варяги? Переберите этот ряд: Зиновьев, Киров, Жданов... Козлов, Толстиков, Романов... Откуда они, кто Городу такие? Где еще, в каком краю выбирают или назначают — старостой ли, бургомистром, — людей пришлых, сформировавшихся во взрослую личность в другом месте? Если даже предположить, что у такого человека может возникнуть какое-то запоздалое чувство, что-то доброе (чего, как показывает практика, почти ни с кем из них не произошло, для большинства Питер был трамплином в секретарство ЦК), — даже если у кого-то и проглянет такое, это все одно, что в тридцатилетнем возрасте узнать неизвестных до того родителей: любовь, может, и получится, да — не та!

В общем, я писал о наших монстрах — друг за другом, опустив только первого во времени — Льва Давидовича Троцкого, потому что он, за краткостью пребывания и бурной деятельностью в Военно-революционном комитете, вплоть до бегства в Москву под охраной матросов и латышских стрелков, собственно Питером не успел подзаняться. Шли поименные главы и главки, всё — чистой воды публицистика. Старался, правда, выбирать факты малоизвестные, но материал получался бездушный. Единственно, о ком сумелось сказать что-то живое, — о Кирове. Что ни говорите, конечно, бес он был тот еще, но из всех остальных — живой. Да и Беломор-арык, и разрушение храмов, и — главное — заданный им темп наращивания военно-промышленного комплекса — все так. Но — и балетоман, любитель хорошеньких женщин. И пешком, одиноко, — за мост, домой. И без помпы — в народ. И по всему краю — до Мурманска... В другое время, в иных условиях, самородку, ему быть бы новым Рябушкинским или Морозовым, Карнеги или Рокфеллером... Нет, Кирова я выделил.

Так и катилось, не очень самому себе интересно, пока не подобрался ко временам нашинским, сравнительно недавним. И — прорвало, пошел материал свой, знакомый. Отсюда Вы и будете читать.

ПОСТСКРИПТУМ, возникший по горячему следу после прочтения двух книг (Анатолий Найман. «Поэзия и неправда»; Михаил Веллер. «Легенды Невского проспекта»).

Еще скажу: как сугубый реалист, я не позволяю себе, во всяком случае, стараюсь избегать — вольностей, наподобие тех, что делает, например, товарищ моей молодости Толя Найман, когда из трех (на самом деле — из четырех) разных, но и всем запомнившихся, ставших легендарными футбольных матчей создает один эпизод, да еще на его фоне выводит судьбу легко узнаваемого Первого Секретаря Обкома, притом — вообще из другого отрезка времени. Или, что не лучше, тоже симпатичный мне Веллер, очевидно, сам никогда не выдавший живого «стилягу», умудряясь вырядить его в «куцый» пиджак. Такие «вольности» — не совсем ведь то, что было слишком уж сто лет назад у Пыляева, рассказывавшего о дачах Выборгской стороны как о левобережных. Для Пыляева, идущего от центра города, просто-напросто тот берег оказался по левую руку; так и написал.

Одно дело, когда Найман из трех красоток — Жанны, Ляли и Аси — собирает свою Асю Хорошайлову (это-то куда ни шло, пускай автор с ними, вполне еще способными глаза выщарапать, сам разбирается), совсем иное — перепутать время, место и название, как это получилось у него с незабвенным «Восточным», в чей объем никогда не входил «магазин модной одежды того покроя, который изобретают специально для витрины». Не входил (и такие вещи, Анатолий Генрихович, — надобно знать!) по той простенькой причине, что когда вошел — «Восточный» не только погиб, варварски разрушенный ванюшинским указанием, но и был превращен в сеттльментский низкопроб-

ный гадюшник для услады иноземных готов, но и переименован в «Садко», куда уже не ступала нога аборигена, завсегдатая старого времени.

Если о первом — авторском праве описывать реально существовавших людей в несвойственных им ситуациях (чем вообще очень грешит Найман) — еще можно что-то говорить и спорить, то второе — искажает ландшафт и перспективу, среду и облик самого Города и, стало быть, принципиально обсуждению не подлежит.

Для меня это так же неприемлемо, как употребление им названия Подъяческих улиц через твердый знак. (Тут не допускаю, правда, и мысли, что так написал автор. Скорее всего, это описка — враждебный Питеру мелкомосковский выпад редактора, корректора или наборщика текста «Поэзии и неправды».)

За исключением баек и легенд, оговариваемых особо, я принципиально стараюсь быть достоверным и точным. Даты и имена — подлинные. События, факты и городская топография — тем более. Остальное — по сказанному: «Скрипи, скрипи, перо! переводи бумагу».

Сдается, сударь, я Вас достаточно предупредил. Решайте сами, стоит ли терять время.

Знойным летом сорок шестого, четырнадцатилетний, я был отправлен из Ленинграда в Киев, к двоюродному деду, мамину дяде — Евдокиму Тимофеевичу Данько, как было сказано — «на фрукты». Два месяца, изо дня в день, почти все время провел на пляже Труханова острова. Уезжал на тот берег с первым перевозом, возвращался домой под вечер. Благо, от Бессарабки, с начала Красноармейской, было — рукой подать. Почернел, как головешка, сожрал фруктов за все пропущенные с сорок первого годы и еще на сколько-то вперед.

Киевская часть семьи, по контрасту с нашей, потерявшей с отцовской стороны семнадцать жизней (мама считала, я всех и не знал), была счастлива полным воссоединением. Дедова жена, еврейка, избежала Бабьего Яра: дед вовремя, в самом начале оккупации отправил ее менять шмотки по селам, там она и отсиделась, люди добрые не выдали. Их сын, офицер-артиллерист, «вся грудь в крестах», совсем еще юный, словно Эней у Котляревского — «парубок моторный», целым вернулся с войны и, хотя по молодости вносил в дом кое-какую нервозность, это все ж была струя жизни, хлопоты для родителей нормальные.

Вдруг, перед самым маминим за мной приездом, во второй половине августа, словно какая-то болезнь вползла в дом. Взрослые стали говорить, понижая голос, так, что сначала я думал, что вина моя, хотя убей, не понимал — в чем? Только когда приехала мама и дед набросился на нее с вопросами, стало ясно: понижали голос не из-за меня, причина — Зоценко и Жданов, впервые мною услышанная Ахматова, какая-то еще Горенко и несколько раз повторенные дедом, памятные из довоенных разговоров отца, две фамилии — Винниченко и Хвылевый. Да, там, в Киеве, этот ряд выглядел именно так.

Мы вернулись в Ленинград.

После растительного летнего существования, когда, кроме утренних слов побудки — «Говорить Киев», я ничего не слышал по радио, не читал газет, здесь было все это, плюс школа, плюс баня, вот-вот: сразу с дороги — баня, именно там, во всеобщем нашем послевоенном мужском клубе, я понял, как задело это постановление горожан. Злополучный рассказ про обезьяну знали все, его ведь весной по радио передавали, да еще, кажется, — дважды, кстати, обезьяна эта тоже в баню пришла... «Ну, чего там, всё, как есть». — «Нет, ты погоди, ведь очернительство...» — «Да оглядись: номерок-то сперли?»

Зоценко был самым известным, любимым, подлинно народным писателем, а уж здесь, в Питере — вообще своим. К нему и отношение было соответственное: «Мало ли, с кем не бывает? Начальству не угодить». Тем паче, Жданов (это всегда чувствовалось) своим в городе так и не стал, это вам не Киров.

Ахматову в простонародной массе не знали, кто и знал — помалкивали, и почти похабное — «блудница» — было, как деготь на воротах: срам, но любопытно.

Я достал с полки томик, пытаюсь разобраться (с Зощенко-то все казалось ясным), но «Четки» пришлось не по годам, в заторможенном дрейфе я еще плыл мимо ранних островов Маяковского, Тихонова и Сельвинского, утесы Пастернака обозначивались сквозь туман, там, за проливом Багрицкого. Земля Ахматовой оставалась терра инкогнита.

Мама грустно наблюдала за этим моим неудавшимся знакомством.

Она худо перенесла дорогу, видимо, еще хуже нашу первую в жизни двухмесячную разлуку, вообще — заметно сдала. Тяжелейший порок сердца мучил одышкой, синюшность проступала все явственней, распухшие венозные ноги не держали. Жизни оставалось — пять лет, моей тридцатисемилетней маме.

Недели через две, где-то в середине сентября, она сказала:

— Вот тебе деньги. Сходи, пожалуйста, на Сенной поищи ирисы. Если не будет — хризантемы. Отнеси по адресу, это не так далеко. Скажешь, для Анны Андреевны.

— Какой Анны Андреевны?

— Там написано, Ахматовой.

— Вы же незнакомы?

— Тебя это не касается. Передашь и — всё.

В самом этом поручении не было ничего особенного. Ей тяжело было лишний раз выбираться из дома, и я привык к роли рассыльного. Носил то цветы, то домашнее печенье, то небольшую вышивку — подарки. Но, во-первых, всегда — знакомым, а, во-вторых, тогда это были именно поручения, они и отдавались мне приказным тоном; теперь же мамин тон был другим, она просила, стало быть — оставляла мне лазейку. Я это мигом сообразил; одновременно представил себя на пороге незнакомого дома с цветами — что я буду говорить? Суну букет и скачусь по лестнице?.. Тут воображение разыгралось с предельной ясностью, я увидел и другую картину — свой проход по улицам с цветами, под перекрестьем взглядов, снисходительностью усмешек, сквозь презрительность сверстников: гогочка! — увидел и понял, прозрел будущее: годы еще не смогу я ходить с цветами, просто — не смогу вообще, не вынесу положения ряженного в толпе.

Помню, смешавшись от неожиданности открытия, я спросил невпопад, не подумавши:

— Почему же не Зощенко?

— Зощенко — мужчина, — был ответ.

Ах, какой урок пыталась дать мне мама! Она посылала меня, единственного из подвластных ей в ту пору мужчин, к незнакомой Анне Андреевне даже не как к поэтессе, а как публично оскорбленной хамом женщине. Именно потому, что среди взрослых не нашлось ни одного, на всю страну, не скажу — рыцаря, просто порядочного человека, именно потому, цветы должен был понести я: мальчишка, подросток, паж. (Смешно сказать, в свои четырнадцать я мог без робости разобрать незнакомую мину — позади уже были поездки на оставленный двумя армиями пулковский рубеж, мог на полном ходу прыгнуть с подножки трамвая на самом быстром в городе спуске — с Кировского моста на Петроградскую, мог ввязаться в любую драку или на спор переплыть Неву, в общем — выполнить весь набор пресловутой псевдобрутальности, но к настоящему мужскому делу оказался не готов.) Я понес какую-то чепуху про уроки, про тренировки на «Динамо»...

— Значит, не пойдешь? — перебила мама.

— Нет, — сказал я.

Через пару лет, повзрослевший, я снова поймал на себе тот ее взгляд, интонацию. Мы выходили из кинотеатра после «Дороги на эшафот» с Зарой Леандер в роли Марии Стюарт.

— Какая замечательно красивая женщина, — сказала мама.

Конечно, в шестнадцать я уже понимал, что такое Зара Леандер, более того — уже чувствовал особую для себя притягательность именно такого типа.

женщин, но не сдержался, по-щенячьи фыркнул. Мама повернула меня за плечо, посмотрела, очевидно, стараясь понять, впрямь ли я такой debil или очень умело притворяюсь; поглядела и сказала:

— Запомни, пройдет совсем немного времени, ты будешь высунув язык бегать, искать по городу картины с ее участием.

Она знала, что говорила. «Восстание в пустыне» я смотрел четырнадцать раз.

Между сорок шестым и шестьдесят четвертым пролегла пропасть, сменились эпохи.

Давно, в пятьдесят первом, осенью, умерла мама. Я вырос, окончил институт, вел пеструю жизнь, перебрал кучу профессий, объездил страну от Калининграда до Камчатки. В июле стал работать таксером. В первых числах ноября мне позвонил Толя Найман.

— Слушай, есть дело, — как всегда бодро начал он.

— Излагай.

— Ты как работаешь?

— Каждый день.

— Пятого работаешь?

— Да, а что?

— Надо отвезти Анну Андреевну в Комарово.

— Толя, я работаю вечером.

— Со сколько?

— С семнадцати.

— Чудненко, без четверти я буду на Конюшенной.

— У выездных ворот, увидишь.

— О'кей, пока!

— Пока.

Я обрадовался: до Комарова почти час езды, я успею рассказать, покаяться, отдать цветы, мой долг им обеим.

Правда, немного беспокоила машина. Тут надобно пояснение.

Дело в том, что у меня, как у всякого поступившего в такси без особого блага новичка, была та еще телега. Дали, как у нас говорят, «от забора», то есть — ничей, а стало быть, уже несколько раскулаченный, разукomплектованный шарабан после капитального ремонта. (Это, доложу вам, — чисто советский нонсенс. Только вообразите: аппарат, отработавший в такси пять лет — такова норма, — проехавший по нашим условно говоря дорогам около полумиллиона километров, гонят вместо прессы на авторемонтный завод. Там его варят, меняют крылья и агрегаты, красят — с расчетом, чтобы он проработал еще всего-то полгода. Эти полгода — водителю сущий ад. Работаешь в одну смену, по восемь часов ежедневно. Спаренной, четырнадцатичасовой, нормальной в такси — железо просто не выдержит. Тебе же — достается так: приходишь часа за три, ремонтируешь. Возвращаешься с линии, возишься с машиной еще столько же. Итого: 14 — 15 ч. В общем, крутишься изо дня в день, времени едва поспать остается. Правда, плана особо не спрашивают, смотрят: как, выдюжишь? Режим, конечно, — каторжный. Руки можно отмьть только при хорошей стирке. Опять же — пассажиры. Не всякому твое «ведро» понравится.)

Помню, в самом начале, где-то на втором месяце работы, беру телефонный заказ. Уже расстояние подачи поразило: от Малодетскосельского к гостинице «Россия» — половина, да с разворотом в обратном направлении аж у Техноложки — больше половины Московского проспекта, сколько я туда проеду? Пытаюсь объяснить диспетчеру. «Ничего не знаю, «Интурист» платит, включайся с места, ждут, срочно, гони!!!» Включился, погнал, приехал. На ступенях входа сучит ножками дама из интуристовской обслуги, вся какая-то дерганая. Объясняет: сейчас выйдут клиенты «особое внимание», им положена машина с шофером (есть такой высший сервис в «Интуристе»), срочно нужно в Кировский театр, с полчаса осталось, а машины-то — нет. «Вы уж, пожалуйста, обслужите получше, что ни скажут — сделайте». Просто беда, всегда с ними так, с интуристовскими. Сама проворонила: отпустила шофера либо

халтурить, либо — кого-то из своих отвезти, а ты теперь жми. «Кто платит-то будет?» Она вспомнила, дает талоны («Интурист» никогда деньгами не расплачивается, пиши эти талоны отдельно, считай, черт их возьми); дает, между прочим, — в обрез. «Посмотрите, — говорю, — на счетчик, у меня же подача какая...»

Тут они вышли. Четверо: две пары. Мужчины — ясное дело — отец и сын, рыжие, по пиджакам видно — штатники, покрой «мечта стилиги», плечи, борта — закачаешься, в Европе таких не справишь. С молодым — жена, тоже типичная американка, этакая «спортинг лайф вумен», а вот мамаша... я вообще обалдел. При всей броскости трех первых, рядом с этой сухой жилистой старухой, шествовавшей на истончающихся модных «шпильках», они выглядели жалкими провинциалами из глуши. Она была одета в немыслимо тонкую, явно индийской выделки шерсть, из какой ткут знаменитые шали, свободно проходящие сквозь обручальное колечко, а цвет — теплейшая терракота — сам по себе притягивал взгляд. То, что между Индией и площадью Чернышевского в Ленинграде этот кусок кашемира побывал в Париже у тамошнего лучшего портного — понималось безусловно. Но это — пустяки, монмартрские цветочки. Юаровские ягодки прошли через Амстердам. В мочках ушей старухи висели такие бриллианты, что перевешивали — с десятков в каждом — не моих, тех, с Никой на капоте, — автомобилей. Ее колье, думаю, стоило всего нашего тысячемашинного парка — с гаражами, службами, проф- и парткассами, с персоналом впридачу. Зрелище, доложу, — потрясающее, такое только в алмазном фонде увидишь.

Папаша повел себя, словно школьник у автобуса, отправляющегося в пионерлагерь: бросил жену ковылять бочком по ступеням длиннющей лестницы, стреканул к машине, обскакал молодых, уселся спереди, довольный, бодренько покрикивал, поторапливал — тех троих. Сын вернулся, помог матери, потом открыл заднюю дверь, старуха что-то скомаңдовала, молодые полезли первыми, — всё, как у нас, видно, она боялась помять платье. И, как только они сели, жалкое сиденье не выдержало, грохнуло, провалилось до пола. Старуха заверещала, как подбитый заяц на жнивье. Я не знаток английского, но слово «кар» в сочетании с разными прилагательными, сам тон ее — перевода не требовали. Слово «кантри» я тоже понял. Ясно, какого она была о нас мнения. Учтите: мне пришлось нестись во всю прыть, тряхануло не раз, поводов для карканья хватало.

В довершение всего, этот простофиля-миллионер никак не мог взять в толк, отчего это я отказываюсь стоять, ждать его до конца спектакля. На глазах у обступившей машину толпы театралов, жаждущих лишнего билетика, он размахивал, совал мне пачку своих серо-зеленых денег (знаем, помним: на каждом — пуд грязи, плюс — еще сколько-то крови), одновременно — локтем — очень ловко отпихивая наиболее назойливых билетных попрошаек, лезших прямо в машину. Жаждавшие, конечно, преследовали свой интерес, но все-таки это были наши люди, а в скоплении советских всегда найдется патриот, проще сказать — стукач-доброволец, да наверняка здесь довольно и профессионалов, — вот только этого мне не хватало: попасться с валютой. Дело даже не в том, что я такой уж законопослушный гражданин. Все проще: я самый типичный, могу похвастать — эталонный неудачник. Что другому как с гуся вода, у меня проблема. В жизни, это означает, что мне не только нельзя связываться с законом, но и проще, на бытовом уровне — стоит только влезть в какую-либо элементарную комбинацию, даже, к примеру, попросить или — наоборот — обещать дать в долг, как не обязательно, что со мной, а и с тем, другим, непременно что-то случится, прямо заговор какой-то, чертовщина, и, будьте уверены, — сорвется, ладно, если без отягчающих обстоятельств. И потом, я уже говорил: по стране помотался. Поговорку сибирских золотоодыбчиков — «лучше украсть тонну угля, чем грамм золота» — знаю. Так что — с валютой давно и твердо зарекся связываться. За всю жизнь взял — и то в качестве презента — полудолларовик 64-го года с портретом только что тогда убиенного Дж.Ф. Кеннеди.

А провокатор-капиталист мало что кидал свои деньги на торпеду, где они бросались в глаза всем окружающим, так еще ни слова не понимал ни на

каком языке, кроме принятого в его штате варианте английского, которого как раз вообще не бельмесничал я. (Говорила мама: учи языки! — не слушался.) И та стерва интуристовская хороша: вот что значило ее «сделайте, что попросят»! Но и то сказать — со старухиними драгоценностями расчудесно они будут выглядеть после спектакля поздно вечером на стоянке такси, в толпе. В конце концов, я нашел выход, но то — уже другая тема...

На следующий день я отнес сиденье обойщикам — перетянуть, однако, краска стыда при воспоминании о воплях той старухи проступает у меня и сегодня.

Конечно, за три с лишним месяца, что машина была в моих руках, я постепенно довел ее до ума, но везти Анну Андреевну?

Перезвонил Найману.

— Ну и что, — сказал он. — Ты других-то возишь? Не беспокойся, Анна Андреевна ездить любит, все будет нормально.

Да, такой это тип, Толя: успокоил, называется. Ему-то — что? С Ахматовой знаком уже порядочно, отношения у них, видимо, — очень; не просто же так она взяла его секретарем, а мне каково? И ведь кроме предоставленного соблазна везти, стало быть — близко увидеть Анну Андреевну, понимал, черт, мое к нему расположение, воспользовался...

Он действительно был мне симпатичен. Не знаю, как теперь, мы давно не встречались, — тогда, в молодости, из всех друзей-приятелей Найман выделялся даже внешне. Удивительно, как (при том, что денег было явно не ахти!) умудрялся он еще в пятидесятых, в пору скромного обаяния «Ленпошыва», выглядеть европейцем? Аккуратен, подтянут. Выбрит, но не бритт: шарм француза. Частушка, которую через тридцать с лишним, в ностальгических чтениях по «Свободе» вспомнил Довлатов:

У Толика, у Наймана —
Рубашечка из найлона,
А у Лёни Штакеля —
Рубашечка из штапеля... —

частушка эта, между прочим, не случайно построенная на противопоставлении, вообще точна: ну — не такой, не как все. Да, каковы бы ни были обстоятельства, на людях Толя всегда был бодр, подтянут, кушал черешни и выплевывал косточки. Причем, что бывает с остряками не часто, весьма ценил острословие в других. Вообще, наймановская любовь к пикировке была чистым искусством для искусства», вполне соответствовала народному — «ради красного словца...» Знаю и сегодня в городе людей, кто на слух не переносит Толиной фамилии. Да, видно, кое-кому он кровь попортил...

Я — не из них. Когда вспоминаю Наймана тех лет, мне приходит на память герой старого польского фильма «В поисках прошлого». В разрушенной, нищей Варшаве рубежа сороковых — пятидесятых он, участник восстания, невесть откуда явившийся на блестящей «ситроен-барракуде», ищет оставшихся друзей. От эпизода к эпизоду, от встречи к встрече, будь то с люком, входом в канал или с боевым товарищем, превратившимся в обывателя, растет его ностальгия, рефлексия славянина. Возврат невозможен, дух потерян. Контраст с действительностью усилен необычайной для послевоенной Варшавы элегантностью героя, в сочетании с безумной элегантностью его чудомашины он доведен до абсолюта... Вот там, в конце фильма, когда атмосфера уныния, горечи дошла до крайности, герой берет телефонную трубку, и происходит чудо: перед нами враз встрепенувшийся, искрящийся юмором, бодрый, аванажный француз (он говорит по-французски, мнится — в фильме — без перевода), и мы, кроме того, что понимаем, что здесь его напрасно приняли за богача-хозяина машины, он всего лишь шофер богача, отлученный на несколько часов, кроме этого, мы видим, как человек, только получивший свои «400 ударов», держит их, не раскис, и уж конечно, — не заразит меланхолией постороннего. «Лопни, но держи фасон», — безусловно уважительно сказал бы в таком случае мой дедушка Дая.

Таков ли ты, Анатолий Генрихович, сегодня?

Не помню, что было накануне: то ли завозился с ремонтом, то ли начальство уговорило ехать на две смены, но вернулся с линии я уже под утро. Помню, заставил баб-мойщиц полностью вымыть салон: потолок и сиденья. Без задних ног вернулся домой, лег спать часов в семь утра и чуть не проспал. Вскочил в четвертом, а дальше закрутился по-привычному: полубегом — каналом — к Невскому, свернул на Желябова, в домовую кухню — поест, и — в парк. Толя ждал у ворот, я выгнал машину и через Кировский мост мы покатали на Петроградскую.

День пятого ноября 64-го года был настоящим осенним, пасмурным и холодным. Морозы еще не наступили, так — градуса два тепла. Смеркалось, когда приехали на Ленина. Огибая слева большой газон посреди открытого на улице двора, затормозили в глубине у парадной. Найман пошел за Анной Андреевной, я остался ждать.

Этот новый писательский дом был мне знаком. В угловой парадной жили Бакинские, а вон там, на самой верхотуре — окна Конецкого. Я стоял у машины, курил, соображал — где сейчас В.В.? В морях или в городе? И тут, словно током ударило: цветы! Господи, Боже ты мой, что за голова у меня дурацкая, все эти дни о них думал — какие взять? хотел еще у Толи спросить, что ей нравится... Только что, пяти минут не прошло, двести метров не доехали до Сытного рынка, кабы доехали — вспомнил, но свернули на Кронверкскую... Что делать? Подняться в квартиру, сказать, мол — съезжу на пятнадцать минут заправиться? Но я не знаю номера квартиры, а во дворе, как назло — пусто, спросить некого. Позвонить Конецкому? В окнах темно. Телефона Вадика Бакинского у меня нет...

Вот в таком растерянном состоянии, когда мысли скачут, а на душе погано, я их и встретил. Из парадной вышли Анна Андреевна с Толей и какой-то женщиной из домашних, простоволосой и без пальто, спустившейся проводить их к машине. Толя меня представил, я поклонился, спросил, где Анна Андреевна сядет, открыл ей правую заднюю дверь, изнутри поднял кнопку левой для Толи, все устроились, и мы поехали.

«Спокойно, — сказал я себе. — Никто в целом свете, в том числе — эти двое, не знают про твой долг. Некрасиво, конечно, что мы вообще приехали без цветов, но не каждый же день ей их дарят. Жизнь не кончилась, еще успею».

Меж тем, по Левашовскому мы выехали на Кировский. Случись это теперь, все разрешилось бы просто. Но в 64-м еще не построили Петроградской линии метро, не было и цветочного базарчика у теперешнего подземного перехода близ площади Льва Толстого.

Среди множества изображений Ахматовой есть фотопортрет работы Льва Полякова, где она снята в белом, крупной вязки оренбургском платке. Я не стану утверждать, что это лучшее ее фото последних лет жизни вовсе не потому, что знающие нас люди могут подумать, будто делаю это из дружеских к Леве чувств, просто — знаю: в тот вечер она была точь-в-точь, как на этом портрете. Конечно, в полумраке машины не было той нарочитой парадности, в некотором (хорошем) смысле — позы, что практически неизбежны при работе в студии, когда фотограф ставит свет, выбирает ракурс, когда и невольно, но, может статься, не без умысла — и тот и другой (объект съемки и автор) — лепят образ, подразумевая неведомую им обоим проекцию в будущее.

Ныне, когда растиражированы стихи, портреты, воспоминания, даже — редчайшие записи голоса, образ Ахматовой сложился у каждого. Но предельно — тогда. Я увидел ее впервые, сразу — так близко, и внешне она абсолютно не соответствовала моему тогдашнему о ней представлению. Оно сложилось по двум-трем фотографиям 20-30-х годов и известному живописному портрету Альтмана; я видел ее скорее высокой, сухощавой, даже — угловатой, возможно — надменной, а к машине вышла мягкая, доброжелательная, очень домашняя старуха, значительно ниже ростом и, пожалуй, не скажу — полней, но основательней фигурой. Сейчас, в зеркале заднего обзора я наблюдал — как бы это получше передать? — одну из ипостасей редчайшей, безусловно не теперешнего времени женской величавости (да,

это говорят все, ни одно воспоминание не обходится без слов: скульптурность, монументальность, царственность), — подтверждаю: все так, но — величавости в момент покоя, умиротворенности, уюта; вот-вот — уюта, это, пожалуй, ближе всего.

Нам, водителям, знакомы всякие типы пассажиров, и говорю вам: это чрезвычайная редкость, чтобы человек, сидящий у тебя за спиной, едва закрыв дверь, одним своим присутствием создал атмосферу общего комфорта. Добавьте: низкого тембра, абсолютно гармоничный, соразмеренный не только фигуре и облику — внутренне, но и ограниченному пространству салона автоголос; минимум, если не полное отсутствие, жестикующий, — о, да, я сразу почувствовал, что имел в виду Найман, когда говорил, «она любит ездить в машине». Конечно, для полноты лада ей соответствовал бы подобный парусной лодке, бесшумно-плавный «роллс-ройс», но и моя затрапезная 21-я «Волга» была если не в пору, то, во всяком случае — по душе, как бывает удобна старая, привычная обувь.

Первые километры поездки разговор был общим, потому что, как только мы тронулись, Найман сказал:

— Поздравь Анну Андреевну. Только что сообщили: в Оксфорде дают ей почетного профессора.

«Вот это — да! — подумал я. — Ай да Оксфорд! Это вам не Университет имени Жданова. Ну, молодцы, какого пенделя врезали! И тем — в Кремле и Смольном, и этим — с Воровского и Воинова. Ведь постановлением ЦК 46-го года не отменено, действует. Им все мало: затравили Пастернака, недавно разгромили выставки, года не прошло, как посадили Бродского...»

По контрасту с нами, оживленно-обрадованными, Анна Андреевна выглядела спокойной, но было очевидно: новость ей не просто приятна; не могу объяснить — почему, но у меня от того разговора сохранилось впечатление, что, хотя Таорминская премия и первая по времени, и, как чисто литературная, казалось, должна быть ей ближе, но быть почетным профессором в Оксфорде для нее важнее. Впрочем, вполне возможно, я ошибаюсь и надобно сделать поправку: все-таки весть из Оксфорда была свежее, пришла только что. В любом случае, это воспринималось ею если не итогом, то значительным и достойным рубежом. Достойным и адекватным.

Разговор мало-помалу перешел к практическим делам. Поездка в Италию была благоволенна свыше и согласована. Появлялась мысль: не совместить ли две поездки в одну, хватит ли ей сил, удобно ли будет хозяевам, там, в Англии. Естественно, я из разговора выключился, вел машину, не прислушивался — слышал. Помню, как меня резануло, когда в неспешной, спокойной их беседе вдруг возникла такая наша, миллионам советских понятная тема: в чем ехать? То не были заботы дамы, размышляющей, что взять из своего длинного, во всю стену гардероба. Какое... Скорей уж — растерянность курсистки перед балом, когда у одной подружки берутся туфли, у другой — выходное платье. Золушка. И это — царскосельская барышня Аня Горенко, чуть позже — красавица, покорявшая салоны Петербурга и Парижа, это, черт подери, — великий поэт, чье имя... Господи, какая стыдоба! Что с нами сделали?..

Мы выехали из города, пронеслись плавной дугой рядом с железнодорожным полотном по языку земли меж Маркизовой Лужеи и Лахтинским болотом, дорога втянулась в безлюдные по вечернему времени Лахту — Ольгино, а потом... потом началось то, что до уровня происшествия в жизни Ахматовой не дотянуло, и слава Богу, вполне ведь могло стать печальным фактом биографии. Этого и сегодня не знает Найман, хотя его тоже касается непосредственно. Удел пассажиров — покой неведения, но можете мне поверить (при том, что теперь у меня миллионы проезженных километров), тот кусок дороги — от Ольгино до Комарово, тот день — 5.11.64 г. — остается в памяти и сейчас одним из самых тяжелых.

Во всем виноват Петр Великий. Подумать только: не показался ему собственноручно заложенный в 1698-м Таганрог, не полюбилося теплое Азовское море. Шарахнуло в другую сторону, понесло, утораздило ввязаться в Северную войну, воевать вполне приличных, вежливых шведов. Что,

спрашивается — не хватало басурман, нельзя было рубить окно через Босфор и Дарданеллы? Заодно — наперед решить извечную проблему славянофилов, унять тоску по Византии? И — нате вам: более гиблого места для столицы ни один бы масон не присоветовал. Будто сразу не было ясно: невская дельта с погодно-климатической точки зрения есть такая же дыра, аномалия, как пресловутый треугольник в Бермудах. Вот — вместо ласкового Приазовья, живем уже три века: зима у нас — не зима, лето — не лето, из-за постоянной влажности морозы в 15 переносятся хуже сорокаградусных сибирских. А дожди в январе? А заморозки в августе? Вывелась даже особая человеческая популяция — петербуржцы. Мы себя только под осенним дождиком ощущаем в своей тарелке.

Но — шутки в сторону. Из всех катаклизмов природы, как-то: землетрясения, наводнения, белые ночи, туманы, дожди зимой или снежные бури в конце мая, с нашей, сугубо автомобильной историей больше всего сопрягаются гололеды. По этому делу Питер — всемирная столица.

Но и из земляков мало кто знает, что творится на пригородных дорогах. Меж тем, стоит выбраться из низины, в которой лежит город, как почти все наши шоссе вылезают на взгорья, выныривая из-под городской теплой подушки, подставляют свои спины ветру, в то же время оставаясь во власти влажного воздуха. А если к этому добавить привычный дождь, то не требуется никакого мороза: при такой влажности и нуля достаточно. Каток.

В те времена скромная будка ГАИ находилась метрах в двухстах за Ольгино, ближе теперешнего кемпинга, а шоссе, раздвоенное, как и ныне, в Лахте, там, за Ольгино, сходилось в одну неширокую полосу двустороннего движения. В сотне метров за постом, резко, как будто провели черту, начинался такой лед, какой специально заливают (конькобежцы говорят — «варят») отфильтрованной теплой водой на лучших стадионах мира. Там человек лишь подражает природе. Здесь дождевая дистиллированная вода пала на обдуваемый ветром, подмерзший асфальт, образовала идеальную для коньков, убийственную для колес дорожку. По такому льду — скандинавский озерный марафон бежать, еще лучше — скользить на буере.

Первую естественную реакцию, как у человека, внезапно свалившегося в холодную воду: выскочить обратно — я подавил сразу. Над второй: сказать, посоветоваться — раздумывал долго. Все-таки они были не простыми пассажирами, не посторонними, возможно, вези я их на собственном автомобиле, так бы и сделал. Но, черт побери, — я пришел в такси работать; лед на дороге — это моя головная боль, пассажирам этого знать не требуется. Чего я добыюсь? Чтобы Анна Андреевна глотала валидол? Или — чтоб пожалели и вернулись? В самом деле; вернуться в Ольгино, пересажу их в электричку? Как при этом буду выглядеть перед Ахматовой я сам — черт с ним, но в какое положение поставлю Толю? Да и там, в Комарово, им придется идти от станции кусок порядочный, хоть и под гору, но наверняка — по такому же льду...

Скажу из сегодняшнего: ситуация получилась такой, что я, не раз мысленно возвращавшийся к этой поездке за прошедшие тридцать лет, теперь уже мало сказать — опытный водитель — однозначно правильного решения дать не возьмусь. Пусть, кто хочет, ставит себя на мое место. Учтите только: расчета на авось не было и в помине.

Естественно, больше всего я боялся встречных машин. Ни твоя осторожность, ни безупречное вождение не спасут, если на пути попадет неумелый, того хуже — слабонервный. Мало ли что придет такому в голову при разъезде, а на этом льду — стоит ноге чуть дрогнуть — понесет, развернет, поставит поперек. Несчастье нашей профессии в том, что ты не единственный участник движения. Постоянно надо делать поправку «на дурака». Забегая вперед, скажу: с этим нам повезло. За всю дорогу, за всю дорогу, от Ольгино до Комарово, и обратно — пустым до города — не попалось ни одной встречной машины и, уж конечно, ни один псих не обогнал. За день до ноябрьских праздников, на оживленнейшей трассе — такое, думаю, само красноречиво говорит обо всем, а прежде всего — о моей наглости. (Кстати, чтобы вы понимали, — я действительно рассказываю о дне чрезвычайном; потом посмотрел сводку:

только погибших на дорогах было четырнадцать человек, правда, считая несчастных пассажиров рейсового автобуса, столкнувшегося со встречным цементовозом уже за границей области, на новгородчине.)

По-настоящему худо стало после Лисьего Носа. Дорога там ползет на взгорки, леса нет, с залива дул порывистый ветер, а неспрямленное тогда полотно делало несколько коварных, несущих поворотов. Машину таскало по всей ширине — от обочины к обочине. Пару раз сердце, толкнувшись вверх, замирало где-то у горла. Единожды возижнув, преследовала мысль: «Вот как тебе суждено войти в русскую литературу: станешь в затылок к Дантесу и Мартынову»... Как нарочно, в десятке метров справа открылась, соблазнительно подставила бок платформа станции Горской. Ее я пропустил, но к Александровской был готов, сдался. Уже проговорив про себя заранее обдуманное слово, уже открыв было рот, я чуть изменил положение головы, чтобы в зеркале видеть моих пассажиров (повернуться, потерять хоть на миг контроль за дорогой не рискнул), и обнаружил в метре за своей спиной такую спокойную, занятую разговором, такую нездешнюю пару, что понял: для них — все, что я скажу, будет тарабарщиной, до них не дойдет, как не замечают они необычную пустоту шоссе, заносы машины, да и то, как медленно я еду. И тогда я понял, что надо тащить до конца, запретил себе расслабляться: доведу.

Оставшаяся половина пути вспоминается как бесконечно тягостный коридор, темный туннель, чисто физически — невероятное напряжение. Задеревенела спина, окостенела шея — так, что когда в Састрорецке Толя о чем-то спросил, я ответил почти мычанием. И — проклятая мысль о Дантесе. И что Нобелевскую дают только живым...

Последнюю часть пути, от развилки на Белоостров — стократ знакомую, изъезженную и искоженную, вдруг проявившую непонятно откуда взявшиеся подъемы и спуски, закрытые повороты, — эту последнюю часть пути прошел, словно на автопилоте, плохо помню. Вдруг Найман приподнялся, подвинулся ко мне, сказал:

— Поттише, сейчас свернем.

Я съехал с дороги направо и, как только колеса сошли с асфальта, лед кончился. Грунт был нормальным, не было даже изморози на траве. Приехали. Из «будки» вышли встречать, заметно было: жаждали.

Второго случая так накоротке встретиться с Ахматовой мне не представилось, живой ей цветы от мамы я так и не принес.

Остается только повторять — обеим — вечное: «Меа кульпа, меа максима кульпа!»¹

Нижеследующий фрагмент не предполагался к публикации здесь. В ряду других моих воспоминаний об этом человеке, он оставался за кругом, обозначенным объемом журнальных страниц. Рукопись была уже фактически набрана, когда случилось: в ночь на 28 января умер Иосиф Бродский.

Очень точно сказал Лев Лосев: «Солнышко нашей поэзии закатилось». Для литературы это так. Для людей знавших его, сегодня, через две недели, когда еще не наступили сороковины и душа еще не отлетела — невозможно выразить, слов не хватает, разве что понять: мы перешли в другое качество жизни: без него...

Предвижу, что теперь начнется, да уже началось — чего стоят эти неуместные призывы к высшим правительствующим чиновникам по поводу содействия захоронению в Санкт-Петербурге... Предвижу, как немного погодя зашипят и враги Бродского: у гения их хватает. Мне близка сказанная на питерских поминках мысль Владимира Герасимова: знавшим его надобно немедленно записать эпизоды и факты жизни Иосифа для Истории. В этой

¹ «Моя вина, моя величайшая вина!» (лат.)

связи — мой фрагмент. А поскольку общая тема всего повествования — «мы и власть», и частный случай — «из такси», то вот вам: 65-й год. За кадром: мы — большая и довольно разношерстная компания, сложившаяся в пятидесятых группа молодых горожан, более или менее сверстников. (Подчеркиваю: мы — из пятидесятых, не «шестидесятники»!) Я знаком с Иосифом с пятьдесят шестого, кажется, года, с того вечера, когда Найман не то с Рейном, не то с Бобышевым привели его в известный многим дом на Невском, 74—76, к Леве Полякову и мы впервые услышали его стихи. Четко помню ощущение совершенно бешеного его таланта. С того дня, несмотря на разницу в 8 лет (в юности такое ощущается особо, но в нашем случае — не произошло), приятельствуем. Не близко, не в тесной дружбе, где-то во втором круге знакомств. Довольно часто встречаемся в разных местах. Теперь, вспоминая, не без удивления я понял: больше на улицах, мы ведь были пешеходами, открывали для себя город. (Мельком: помню, однажды, как он обрадовался, когда выяснилось, что я знаю один вовсе уж немислимый «проходняк» — через ремзону гаража, с улицы на улицу его родного района.) Потом случился значительный для меня эпизод 61-го года, когда его неожиданная доброта, желание помочь, причем в ситуации им не понятой, но для меня болезненной, на грани срыва (как он почувствовал?), спасли меня, а его сделали навсегда близким. (Года полтора назад я решился, написал ему, что тогда было, он передал привет, но об этом — не здесь и не теперь.)

Словом, мы были приятелями, людьми одного круга. Как у многих тогда даже линии жизни, не говоря об общих интересах, пересекались. Тут и наше полонофильство, увлечение «битниками», и любовь к музыке, и поездки в геологические экспедиции...

Потом — бред: конец 63-го, зима 64-го. Статейка «энтомологов» в «Вечерке», судилище. Об этом почти все уже сказано, а здесь я хочу только подчеркнуть: никогда бы этого не произошло без команды «Фас!» из Смольного. К шестидесятым КГБ уже был поставлен под контроль партии. Только услужливость Василия Сергеевича Толстикова, его вечная перед Москвой поза «чего изволите?», а еще более — желание бежать впереди паровоза, чутя ноздрей, куда дует ветер, объясняют этот процесс. В столице он тогда был бы невозможен. И — главное: для людей моего поколения, да и для культурной жизни города вообще, тот суд означал окончательный обвал, превращение Ленинграда в провинцию.

...Значит — 65-й. Второй год Бродский отбывает ссылку в Архангельской губернии.

Я работаю в такси. Однажды везу одинокую пассажирку, молча сидящую на заднем сиденье, по Загородному к Техноложке. Проезжая Бородинскую, машинально, по таксерской привычке оценивать обстановку, посмотрел направо, на стоянку. Там, в довольно большой очереди-толпе, посредине, но одиноко и как бы отдельно стоял он. Каюсь, первой моей мыслью, словом, чуть не сорвавшимся вслух, было: «Идиот!» (Конечно, я знал: десятки людей хлопчут о его освобождении, Вигдорова достучалась до Генерального прокурора, но все тянулось по второму и третьему кругу, и уже никто не верил в успех этого безнадежного дела...) «Болван, — стучало в башке, — сбежал — ладно, но как можно засвечиваться в центре города, где тебя знают сотни людей, и стало быть — к вечеру поймают?!» На скорости я не вписывался в поворот, по инерции пролетел Бородинку, затормозил за перекрестком, воткнул заднюю, под ругань и сигналы, выворачивая руль, распахивая багажником пешеходов на переходе, одновременно бормоча оправдания опешившей пассажирке, сдал к стоянке, выскочил из машины, заорал: «Ося, садись!» Он дернулся ко мне, обходя багажник, я замаха — быстрее, в машину. Уже в ней обнялись, через три минуты я высадил пассажирку на Первой роте, у Военмеха. Оставшись вдвоем, расцеловались еще раз. В глазах стояли слезы. Я осторожно спросил: «Как ты там?» Он ответил: «Отпустили». Сказал без всякой эмоциональной окраски, буднично, просто из необходимости меня информировать, как, возможно и главное, но только на этот единственный миг, да еще, пожалуй, как формальный итог бессмысленному мельтешению, отнимающему силы, здоровье и кусок самой жизни. Потому что настоящее

главное он сказал через секунды паузы, другим тоном, как откровенное: «Слушай, — сказал он, — я только что с поезда, ты первый, я должен сказать... Знаешь, какие там хорошие люди... Они так ко мне отнеслись, дали возможность работать».

Вот ведь как! Следопыты-умельцы, отдадим должное их чутью, выследили среди всех погодков — еще не матерого, но — бесспорно — лучшего; обложили, загнали, считают — затравили. Как же: это ведь только для Господа та секунда, что он от страны отвернулся, — миг краткий, на земле третье поколение пошло, охотников, загонщиков вырастили достаточно... Ан — нет: и в забытом Богом краю не перевелись еще люди, элементарно порядочные, добрые. Жива, тянется меж ними нить, а стало быть — охота насмарку.

...Мы еще долго тогда сидели в машине. Посреди большого города, на краю громадной страны, к которой Господь неизвестно когда еще повернется. Кончилась первая половина жизни. Будущего невозможно было угадать. Но я знал: теперь он состоится. Переживет все. У них ничего не получится.

И — еще: за долгую жизнь я узнал многих стоящих людей; храбрых, дерзких, несгибаемых. Но если б меня спросили об эталоне подлинного МУЖЧИНЫ, первым назвал бы его. На его долю не пришлось разве что окопов войны. Все остальное было. Став символом поколения, он прошел через жизнь достойно.

У этой истории будет, конечно же, свой герой (точнее — антигерой), ради него и рассказ. Оставим его до поры за кадром, помня, однако, что он не только живет, делает карьеру и все такое прочее, но и, быть может, — сам пока не подозревая, уже втянут, участвует в действе, которое летом того года привлекло внимание едва ли не всего города, всех, включая приезжих, его обитателей, вплоть до пользующихся нашим видом транспорта раз в жизни. Привлекло и необычностью, как, скажем, собрали бы толпы гонки борзых по Невскому или гладиаторские бои на Дворцовой, но всего прежде — предвкушением сладостного духа запретного. Да не того жалкого подобия удовольствия, что кроется за дверью стриптизного зала или на страницах датского журнальчика, а издревле первого у нас, веками выношенного, с молоком матери, с генами предков — радостного восторга бунта против властей. Да, мы такие: нам, порой, вовсе уж не важно — какова власть, главное — сам этот открывшийся клапан: бунт! И еще не набралось в котле пара, как забурило вокруг, от одного — к другому, кровь взыграла: мы — молодцы! К такому — всегда готовы!

Летом того года город жил ожиданием предстоящей ЗАБАСТОВКИ такси.

Вообще-то, сами мы, шоферы, ни о какой забастовке и не думали. Говорили о митинге, не больше. Но и то надобно учесть: дело было в шестидесятых. За столько-то лет «родной власти» люди и разницу забыли. Эти стачки-локауты, «работы по правилам» — все не у нас, на диком Западе. Здесь, если митинг, то — торжественный, крайний случай — торжественно-траурный, демонстрация — всегда праздничная. Ну и сказалось гиперболическое наше мышление, это — естественно.

Было же так.

Нет, прежде: знаете ли вы, что для питерского таксера есть лето?

О, лето! Где-то у антиподов, по Австралии медленной улиткой ползешь ты. Сквозь слякоть осени, заносы и гололед зимы, снишься нам, далекое, как мираж, безучастное к шоферским бедам. Нам худо: моторы не заводятся, стекла замерзают, одененные щетки ни черта не чистят, снег, забивающий фары, приходится оттирать с них через каждые пятьсот метров, пассажиры-сволочи попрыгались по домам, сидят, как тараканы за печкой... Вот, опять колесо прокололось, вылезай на мороз, жди: радикулит прострелит так, что не сесть за руль обратно... Да будь ты проклято! Скорей — в парк, принять стакан.

Но пока ты ругался с пассажирами, мерз, вытаскивал машину из сугробов, земной шар делал свое: медленно, по градусу, разворачивался нашим боком

к светилу, и вот, как-то сразу — прорвалось: под голубыми небесами торжественно продефилировал ладожский лед, над гладью невских рукавов понеслись истошные вопли рудевых узких, как шуки, лодок; солнечный ветер смел за горизонт, за Полярный круг остатки почерневшей грязи, раскрылась ширь улиц и площадей, зазеленело в просторе, проснулись фонтаны; потекли, заструились, заворожили белые ночи...

Так сходятся Божий промысел и гений строителя: десять, двадцать, пятьдесят раз повторится — всё, как впервые, будто, пройдя темным тоннелем, город пересек сразу два измерения, не только времени, но и пространства, будто ему удалось то, чего в иных краях, вообще в природе — не бывает: он догнал свой мираж, ушел в зазеркалье.

И — мать честная — теплынь! Родители рассовали своих чад по бабушкам и пионерским кущам, жены выпихнули мужей, мужья — жен: в отпуск! Повалили приезжие, и всем поголовно — мужьям, женам и приезжим — приспичило, все спешат: такси, такси!! Как астроном дождется-таки своего немислимого затмения солнца, крестьянин — сенокоса, как охотник на последней странице газеты — радостного известия о начале пальбы, так и мы. Наконец-то! Пришло! Страда наступила. Вперед!

Но едва мы раззадорились, разошлись-разгулялись на великом этом празднике разврата труда, как — стоп. Причем: враз и бесповоротно. Сравнимо только с однажды пережитым состоянием, когда мы с одноклассником, не видевшись к тому вечеру уже лет этак десять, случайно столкнулись на военкоматовских сборах «без отрыва», проще сказать — вечерних лекциях. Промаявшись и едва дотерпев до окончания занятий (у военных была заведена гнуснейшая мода — проводить повторную переключку в конце), мы успели добежать до магазина на Театральной и за десять минут до закрытия взять бутылку. Я опустил ее во внутренний карман только что купленного у фарцовщика замечательного финского пальто, и коварные чухонцы отомстили наконец сыну участника зимней кампании 39—40-х годов, в 41-м — еще и защитника Ханко. Бутылка пошла мимо, а падение ощутилось только в районе бедра. Каким-то чудом я успел, как заправский футболист, мягко взять ее на носок, но на большее мастерства не хватило. Любят у нас шиковать, понаделали полы из мраморной крошки, развели эти древнеримские обычаи. Звук разбиваемой о мрамор полной бутылки характерен и так же незабываем, как звук сталкивающихся автомобилей, хотя, конечно, тональности разные, соответственно масштабу трагедии. Он стоит в ушах до сих пор, на него обернулся весь магазин, человек двадцать. Безднадега заключалась в том, что в карманах оставалась мелочь: ровно на один плавильный сырок. Представляете, какие у нас были лица? Даже продавщицы не заорали, чтобы мы убрали бой.

Подобный же шок был поголовно у всех шоферов такси в июне того памятного лета. Дело в том, что на нас неожиданно обрушилась ГАИ. Только не говорите: «Подумаешь, невидаль!» Мне не надо объяснять, сам знаю: на то и шука, чтоб карась не дремал. Могу вам ответить, что постоянное напряжение, идущее от гаишников, нами воспринимается нормально. Оно изначально входит в круг особенностей ремесла, как, скажем, дополнительный риск или еще одно профессиональное заболевание. Примерно в таком ряду: простуда, миозит, дорожное происшествие, воспаление лобных пазух, ГАИ, радикулит, авария, инсульт, инфаркт — крышка гроба.

Современный классик советует: «Давайте воспринимать неприятности в порядке их поступления». Да, хорошо бы — не все разом, пропорционально потоку времени.

Что же до ГАИ, тут все зависит от того, какие в нем люди. Среди шоферов общеизвестно: в каждом углу страны — свои примочки и причуды.

Возьмем столицу, город-герой Москву. Смотрите на этого капитана: стоит в газе и в пекле, посреди лавины машин, жезлом машет, аж подмышки мокрые. Так — всю смену. Человек работает. Он и к тебе по мелочи не придерется, некогда же, делом занят. А у нас? Старший сержантишко, сопливый выходец из вологодских лесов, автомобиль первый раз в жизни увидел, когда в армию призвали, демобилизовавшись, учуял, где тепленькое, в казарме объяснили или земляк надоумил — пошел в ГАИ, кончил курсы, там его «выучили» — и

вот вам: стал в сторонке от перекрестка, светофор выключил (чем, кстати, сам же создал, если не предаварийную, то — будьте уверены — напряженную обстановку), стоит, молодец, ждет, кто первый нарушит. Тут он — герой, себя покажет. Вывод: в Москве работают, в Питере ловят. Я бы всех наших охотников пропускал через полугодовую стажировку в столице. Знали бы, что жизнь — не сплошной праздник.

Поверьте, что творилось летом того года, не укладывалось ни в какие, даже наши, нормы и пропорции. Впечатление было такое, словно все гаишники враз взбесились, в каждом из нас увидели личного врага. И что характерно: только по отношению к такси. Весь остальной транспорт для них перестал существовать. Вроде бы диету им назначили: жрать таксеров. Не надо, думаю, объяснять: таксер для гаишника всегда желанная добыча, вроде судака или кумжи незадачливому рыболову, которому идут одни ерши, ведь у нас всегда есть деньги. Что ему хлеба или молока, тем паче — цементовоз? Брать натурой, рук не хватит, а всеобщего товарного эквивалента у этих грузовиков может ведь и не быть. Наш сержант, положим, таких слов и не знает, да этого и не требуется, в стране поголовных материалистов законы экономики понимаются утробой. Так вот, в том-то и суть, в том-то и вся невидаль, скажу больше — ужас того, что тогда творилось: **ОНИ ПЕРЕСТАЛИ БРАТЬ ДЕНЬГИ!** Ни штрафы, ни в карман. Остановил — сразу за компостер.

Привожу как-то пассажира на Невский, между Малой Садовой и Садовой. Там по ходу, сразу за Малой Садовой — троллейбусные остановки; их проехал, стал впритык к багажнику еще одного такси. Пассажир сказал — «жди» и потопал — три ступеньки вверх, в комиссионный магазин. Это я засек почти машинально, больше по привычке, свалить он не должен был, только сел, на счетчике ничего еще не было. Я закрылся, разумеется, на кнопки — чтоб не лезли посторонние, развернулся боком на спину, ноги вытянул под пассажирское сиденье, голову положил на свою дверь, в таком положении — отдыхаю, курю, посылаю желающих покататься — за угол, на стоянку против Елисеевского. В машине впереди — та же картина.

Не терпело ждать. Уж я начал подумывать, не пойти ли поторопить клиента, как слышу — скрип резины по горячему асфальту и, повернув голову влево, вижу зрелище: пересекая сплошную осевую, с полосы встречного движения, задрав колесо коляски, словно пикирующий бомбардировщик над целью, совершает боевой разворот желтый гаишный мотоцикл. Пилот — отдаю ему должное — мастерски владеет машиной, мягко опускает колесо и останавливается перед нами. На краю тротуара из толпы пешеходов сразу образуется кучка зевак. Мне все это не нравится, но сижу спокойно, ничего плохого за собой не чувствую, хотя понимаю: эти милицейские штучки — не к добру. Меж тем лейтенант, нарочито медленно слезает со своего скакуна, неторопливо, но целеустремленно, разминая затекшие в седле ноги, направляется походочкой Криса, ковбойского героя Юла Бриннера из фильма «Великолепная семерка», к передней машине, акцентировано берет под козырек и что-то говорит водиле. Так — один стоя, другой сидя — они беседуют некоторое время, и, если бы не права, которые шофер передал через окно, я бы решил, что случайно встретились старые знакомые. Вдруг все меняется. Шофер, чуть не сбив лейтенанта дверью, тигром выпрыгивает из машины, я зачем-то оказываюсь рядом и, сквозь вулканическое бульканье пополам с рычанием, слышу галантейшее, словно из времен короля Людовика XIV:

— Будьте любезны, — говорит мне лейтенант, — подержите, пожалуйста, конец рулетки.

При этом он, как фокусник на арене, клянусь — прямо из воздуха, материализует и подает мне мерную ленту.

— У переднего бампера, прошу вас. Чудненько. Надеюсь, не затруднит?

Я от эдакого политеса — стою, словно водой окатили; лейтенант чуть не в полупоклоне (Арамис, да и только!) приглашает водилу, дескать, следуй за мной, делает «налево кругом» и почти что строевым уходит в сторону перекрестка. За ним обреченно шагает шофер.

Зевак на тротуаре прибавилось, а мне в затылок дышит вернувшийся пассажир:

— В чем трудности?

— Сам не знаю.

— Задавили кого? Чего этот гусь привязался?

Я догадываюсь: он успел сходить в США («Советское шампанское»), погребок с армянским коньяком, и сейчас из аморфной — переходит в активную стадию. Могу поспорить, пил сто на пятьдесят. Сто коньяка, разумеется.

— Слушай, — говорит, — это его точило? Давай — угоню.

Нет, ошибся: 150, а может, и стакан (там они тонкие) — на 100. И, безусловно, — на старые дрожжи.

— Уймись, — говорю. — Сядь лучше в машину, под троллейбус попадешь.

Те, двое, дошли до блестящих пуговиц, окраивающих пешеходный переход (подземный тогда еще не построили), сблизив головы, разглядывают ленту рулетки, темпераментно беседуют. Так, блокнот. Записывает. Кажется, даже в шуме Невского слышен щелчок компостера. Шофер разом перестает говорить, вырывает из рук лейтенанта права и почти бежит к нам, словно от прокаженного, словно унюхал мерзостное. Я бросаю конец ленты на асфальт, лейтенант медленно скручивает рулетку. В пустом пространстве проезжей части, освещенная сзади ярким предзакатным солнцем, его малоподвижная фигура на фоне замыкающего перспективу Адмиралтейства кажется монументом.

— Сколько? — спрашиваю таксера.

— Восемнадцать с половиной.

Положено было — не ближе двадцати. За полтора метра — компостер?

Такой жизни прошло недели три. Невероятная цепь случайностей явно переqualificировалась во вполне организованную акцию. Непонятным было только — почему, кто и зачем это делает. Что была команда сверху, мы уже не сомневались. О причине тоже легко было догадаться. Скорее всего, некто, из большого начальства, а может, его жена или теща, вместо персональной машины в таксомотор и нарвался на бяку: скандал или еще что, похуже, — дело житейское. Сгоряча некто распорядилось, а этим — только давай: готов беспредел. Но — погуляли ребятки, пора и честь знать. А тут — чем дальше, тем страшней. На работу идешь, как на собрание с твоим персональным делом. Заводишься по пустякам. Впору — бром пить. И, между прочим, тебе не дрова — живых людей возить.

Надобно и то учесть, что наша профессия не обладает главным признаком формальной общности, что присуща другим отрядам рабочего класса: скученности на ограниченной территории, что как раз в этом случае оказалось бы кстати. Не говорю уж о том, что шоферское дело в принципе одиноко, что так получилось (и это, вообще — тема отдельного разговора): в стране культивируемого коллективизма мы жили в оазисе максимально возможного индивидуализма, даже — больше: в некотором смысле — в зоне частного предпринимательства. Здесь — скажу лишь, что объединить ораву в несколько тысяч человек для какого-нибудь единого действия, отпора, было практически невозможно. Надеюсь, всем понятно: говорить о так называемом профсоюзе — попросту неуместно.

Тем не менее, в диспетчерских — после работы, в ремзонах, в паузах на стоянках, особенно — на самой большой, в аэропорту, ситуация всячески обсуждалась. Выяснялись мнения и варианты. Процесс шел стихийно, неорганизованно, на чисто эмоциональном уровне. Наконец, слово было произнесено: МИТИНГ.

Поначалу мало кто отнесся к этому серьезно. Мало ли, что болтают? Но дни шли, к мысли привыкали, почему, собственно, — нет? Тем временем по городу ширились слухи; уже из трех два пассажира — заинтересованно, с симпатией к нам заговаривали на эту тему. И вот, не могу сказать — откуда, скорей всего там, в аэропорту, и решили — назначили дату и место. В полдень, если не ошибаюсь, обыкновенного буднего дня, на площади Восстания. Не думаю, что название имело значение, скорее — дело было в месторасположении у Московского вокзала. Ну, центр и все такое прочее. До срока оставили дней десять, чтобы всех оповестить.

Поразительно все это время вело себя наше ленинградское начальство. То есть — никак не вело. Будто его и не было. Буквально.

Месяц уже — посреди взбудораженной, пусть и порядком подзабыто-запущенной, но все-таки — колыбели собственной революции, ныне — самого закостеневшего в советском консерватизме, крупнейшего областного центра страны — не прекращаясь велись возмутительные речи, причем — не каким-либо единичным отщепенцем, навроде «окололитературного трутня» Бродского, даже — не мелкой группкой безобразноволосатых диссидентов-художников... В многотысячной толпе класса-гегемона звучали эти разнузданные призывы! И — ничего? Разве нет у нас в каждой колонне своей парторганizations? Куда смотрят или испарились из города — чекисты? Как-то одиноко даже становится, товарищи дорогие. Пренебрежение ваше обидно — простите...

Не знаю, чем бы все закончилось, был бы — не был митинг на Восстания... Внезапно все повернулось совершенно неожиданным образом, как для нас, так, думаю, и для верхов.

Хитро все-таки закручивает жизнь! Люди суетятся, хеды рассчитывают, а в это время, где-то за тридевять земель, в прохладе кондиционированного уюта — сядут двое-трое, вовсе как бы посторонних, и скажут-то сейчас всего несколько фраз — там, в немыслимом своем удалении, а здесь — все перевернется, запрыгает, заскачет, понесется — вбок и в сторону, не как думали...

Мысль, понятно, не нова, но уж больно кстати.

Кстати — не кстати, а доигрались: о происходившем в Ленинграде как всегда — первой жажнула Би-Би-Си!

Мне доложил об этом впрыгнувший в машину пассажир, еще горяченький, прямо от приемника. Ему и ехать не надо было, просто — расpiraемый восторгом, вынесен из дома — поделиться.

В первый момент я не поверил. Потом подумал: «Ну — да, как же, если в мае пятьдесят седьмого, когда футбольный матч на стадионе Кирова перешел в побоище зрителей, милиции и срочно поднятых «в ружье» курсантов, если тогда они изловчились передать об этом в вечерней программе из Лондона, еще в тот момент, когда здесь не утихли арьергардные бои, как же оплошают теперь? Не к лицу было бы стареющему бойскауту с Крестовского Диме Изотову или Анатолию Максимовичу Гольдбергу нынче остаться в стороне. «Ну, — подумал я, — теперь — держись! То-то будет!»

Еще бы — не будет. Знамо дело, у нас может происходить — что угодно, возьмите, к примеру, хоть давнюю, но едва ли не равную чернобыльской, кыштымскую катастрофу. Руководству на все плевать, лишь бы было тихо, без шухера в избе. Кому дело, что глобальная; кто из нас, живших чуть далее Челябинска, услышал о ней? И вы думаете — в 57-м людей из зоны не отселили из-за скупости? Уверен: прежде всего — чтоб молва не распространилась, чтоб все было шито-крыто. Здесь же — вылезло, да еще — здрасьте вам, через залятое Би-Би-Си, на весь белый свет и галактику... И — наверняка: ни на Литейном, ни в Смольном не успели еще и сообразить, что их ждет, еще и Василию Сергеевичу Толстикovu не доложили, как Лубянка сформировала группу и заказала спецрейс. Москва взяла дело в свои руки.

Только тепер, как ужаленное, задергалось наше таксомоторное мурло. С каждого шофера была взята подписка, что ни под каким видом, никак — ни пешком, ни — тем паче — на колесах, он не появится в означенный день вблизи площади. Пассажиров к Московскому велено было не подвозить. Буде поступят жалобы — считать недействительными. Представляете, такое — в разгар лета, когда все едут с вещами, а на привокзальной стоянке очередь растягивается на часы!

В самый «День икс» процедура подписки была повторена с каждым персонально. Для пущей важности, ограждая от ненужных свидетелей, к начальнику запускали по одному, а уже там, в кабинете, отстраненным в периферийный угол, обнаруживался незнакомец. Ни во что не вмешиваясь, лишь единожды взглянув на вошедшего, он продолжал читать книгу или наблюдать в окно, снисходительно-безучастный к нашим делишкам. Только

построй костюма с неизменным их галстуком зримо удостоверял тяжкую служебную необходимость его присутствия в этом безобразии.

Теперь прикиньте: выезд начинается в 4.15 утра, заканчивается в 20.00. В одном нашем парке — пять колонн. Шесть парков. Не слабо?

Я работал в тот день. Навсегда запомнилось, какой умелый заслон выставила ГАИ вокруг Московского вокзала. Светофоры были отключены, стояли регулировщики; да не по одному, несколько человек — попереk проезжей части. В потоке машин они вылавливали таксомоторы, отсекали и заворачивали: с Невского — на улицу Восстания, со Старо-Невского — на Суворовский, с Суворовского — в Первую Советскую. С Лиговки меня погнали от Перцова дома по Кузнечному и дали остановиться и высадить семью с детьми и полным багажником — только на Пушкинской, у памятника. Такого ража у милиции никогда не было. Даже во времена визитов Тито или Кастро.

Плохо ли, хорошо — день прошел. Особых эксцессов не случилось, и, если не считать общегородского возбуждения и мелких неудобств отдельных граждан, все закончилось благополучно. Погорячились, пошумели ребята, с кем не бывает? «Давайте жить дружно!» — «А кто — против? Давайте!» И наверняка бы все кончилось поисками несуществовавших зачинщиков, да пустяками, вроде выговора по партийной линии, наподобие того, что заработал, как это ни смешно, секретарь первички нашей колонны Леня Боровченков.

Он жил на Греческом. В тот самый день, Лене, как никогда, захотелось к столу молоденькой картошечки со сметаной, с укропом и малосольными огурчиками. Положим, огурчики он чудно солил сам, они к тому дню — аккурат и поспели, было еще кое-что в холодильнике... Так что — дело оставалось за сметаной и картошкой. Короче: Боров отправился на базар.

— Почему, черт возьми, — спрашивали его потом в партбюро, — ты не пошел на Некрасовский? Ведь рядом!

— Кто же ходит на Некрасовский? — резонно возражал Леша. — Это вообще, если хотите знать, — не рынок. Кузнечный — другое дело. Да и не намного дальше. Я, может, гостей ждал, а вы — Некрасовский...

— А чего ты поперся через площадь Восстания?

— Вы сдурели, мужики? — работал под идиота Леша. — Зачем же мне круг давать?

— Ах, круг? Ты лучше скажи, подписку давал? Вот она, бумага!

— Да кто меня вообще там видел?

— Кому положено, видел. С твоей фигурой и рожей — в любой толпе заметен. Получай свой выговор и скажи спасибо — помни твое боевое прошлое! Распустились вы больно, забыли, что за этакое при Берии бывало?

Вот к таким, почти анекдотическим делишкам все бы и свелось, кабы занимались этим одни ленинградцы. Но я ведь уже говорил: в городе были ребята с Лубянки. Кроме прочего, им не в последнюю очередь было интересно, думаю — просто по-человечески — любопытно: как так, таксеры, вечно недовольные планом, нехваткой запасных частей, графиком, зарплатой, да — черт те чем, — ни слова обо всем этом, бунтуют из-за какой-то автоинспекции?

Они поступили естественно и мудро. Часть москвичей трудоустроилась водителями в таксомоторные парки. Покуда другие лубянские ребята отработывали свои направления, эти — выезжали на линию, напрямую общались с ГАИ.

Одно непонятно: если мы, шоферы, знали об этом (а мне, например, в первый день показали в колонне человека, объяснили — кто и откуда), невозможно, чтоб об этом не знала милиция. Такое шило в мешке не утаишь. Им бы — перестать дурью маяться, понимали ведь: с комитетом шутки плохи, не говоря уже о вечной судорожной борьбе в самих «органах», где каждый рад подловить параллельную структуру, ткнуть другого носом в дерьмо, себя показать.

«Наши» стояли до конца. То ли — впрямь у них был приказ, то ли — так уж запрограммирован человек — не перестроиться ему в одночасье; и знает, что надо, а не совладать с натурой. Все одно, что волка пересаживать на вегетарианский стол. Короче: москвичам много времени не понадобилось, разобрались в несколько дней.

В жизни часто случаются такие повороты, что и не хочешь — задумаешься: кто, черт возьми, пишет сценарий?

Взять — тот раз, с разбитой бутылкой.

Мы стояли с Саней Ларцевым, как двойная композиция Скорби, над растекающейся лужей «Московской особой», и не элегическая грусть «Девушки с кувшином», а сизифовы муки вечных неудачников невыразимым страданием исказили наши только что довольные, веселые, не постесняюсь сказать — прекрасные лица.

Борцы за всеобщую трезвость, прекратите ханжествовать! Не говорите мне про лица пьяниц и политурщиков. Не тычьте в глаза мемориальный сосуд с заспиртованной печенью алкоголика! Сам знаю, видел. Ваша беда в неумном вашем стремлении распространять частный случай выпадения в болезнь на поголовье остальных граждан. Мир гораздо сложнее, чем вы его представляете. Да, конечно, кто спорит — опасность есть: люди сливаются, гибнут. Хорошие мои, занимайтесь ими. Берите деньги от доходов с нас, пропагандируйте, предваряйте, лечите, спасайте! Только, Бога ради, отстаньте от нас. Не рубите наши виноградники, не травите эрзацем! «Каждому — свое» — это ведь не лозунг с известных ворот, это — из Библии.

Лучше взгляните на лицо нормального человека, взявшего после трудов праведных в руки бутылку. Утверждаю: оно прекрасно! Человек честно отпахал, отмутился, заработал свой отдых. Он не один: сейчас, сию минуту он причастится к лучшему в этой жизни — общению с себе подобными. Они неторопясь выпьют и облегчительно поговорят, они обсудят мелочи быта и углубятся в философию сфер, поднимутся к монбланам духа, пересекут океаны... Даже в ссоре они ни на что не променяют эти минуты близости.

Так что — отнюдь не потерю бутылки нам с Саней Ларцевым надеждало переварить. Но требовалось время, хотя бы еще несколько секунд, — отринуть несостоявшееся, собраться с духом перед выходом наружу, в декабрьский туман. Продавщицы вовсю уже верещали свое неумолимое «магазин закрыт», еще чуть, мы пойдём, но пока — стояли посреди зала, безмолвно глядя друг на друга. Люди обходили стороной — не лужу, не нас — неудачу, как вдруг шаркнувшаяся от прилавка последняя компания мужиков обступила, и кто-то протянул бутылку. Пока мы приходили в себя, они оценили обстановку, скинулись и купили нам водки.

Снова получился стремительный поворот «все вдруг» — в противоположном направлении. Отказываться было не то что глупо, а грубо и неуместно, не в традиции братства пьющих, попросту испортило бы всем хорошее настроение.

Вывалили наружу. Я пытался зазвать их к себе, говорил, мол — рядом. «Брось, — сказал кто-то, — мы все спешим». — «Ну, спасибо, мужики!» — «Чего там, нормально». — «Спасибо». — «Пока!» — «До встречи!»

Я — не О'Генри, святочных историй не знаю. Во всяком случае, эта — была.

Но продолжим о превратностях и поворотах судьбы.

Легко представить, как ребята с Лубянки, отработав каждый свое направление, написали рапорта по начальству и отбыли в Белокаменную. Начальство суммировало и доложило Руководству. Никуда не денешься, перед тем встал этот болезненный, прямо сказать — ненужный вопрос о наказании виновных. Потому что получалось: внизу виноватых нет. А скандал все-таки нешуточный: город переполошили, у столичного КГБ на контроле, опять же — Би-Би-Си. Хочешь — не хочешь, кому-то отвечать надо. Но нашли. Виновным был признан начальник ГАИ города полковник Сорокин.

Я обещал вам героя. Вот он: Сорокин В.О.

Мужик в цвете сил, где-то в середине пятого десятка. Характер нордический. Порочащих связей нет. В быту устойчив. С товарищами по работе ровен. Член — естественно.

Этого агнца и принесли в жертву.

Ну — не знаю... Нам, людям маленьким, и тогда трудно было судить о справедливости решения Руководства, что уж говорить теперь. Но и то

сказать, со смольнинской высоты сам объект наказания — тож, не велика была шишка. Одно верно: трудно судить только о степени вины полковника в этом конкретном эпизоде работы. В остальном — его давно пора было гнать поганой метлой, уже потому хотя бы, что не без его же чуткого руководства разлилась эта атмосфера ловли, постоянного фрондирования властью, правильнее сказать — самодурства.

Чего стоит, к примеру, такой вот излюбленный прием, детская игра переростков: замена дорожных знаков. Делается так: на ровном месте, без всякой логически понятной причины вешается знак. Не важно — какой, «ограничение скорости», «остановка запрещена», еще что-нибудь, говорю вам: роли не играет. Смысла в нем не больше, чем в команде всем сидеть дома, потому что на улице все-таки опасней. Но в самой-то игре — смысл есть: деньги. За первые две недели можно, если не лениться, собрать несколько мешков штрафов. По мере привыкания водителей, как только поток иссякнет, знак снимут и повесят в другом месте. Иногда и снимать лень, так и висит, бессмысленный, просто ловить отправятся в другое место.

Эти икарыйско-милицейские игры отнюдь не всегда безобидны. Речь не только о никому не нужном дополнительном нервном напряжении, бывает и похуже. Помню, отдел регулирования движения ГорГАИ никак не мог решить прямо-таки буриданову проблему: что считать главными дорогами на Васильевском — Большой и Средний проспекты или пересекающие их линии? Нескольким месяцам все участники движения — шоферы и трамвайщики — своей шкурой ощущали великое противоборство в означенном отделе. То верх брали «линейцы», и тогда трамваи тормозили через каждые двести метров — по числу пересекающих Средний, в одночасье ставших главными, линий. То оборевали «большевики» со «средневиками», значит — делай наоборот. За этой перетряской, случившейся за лето несколько раз, явственно слышался скрип мозгов, ор и брызжание слюны отдельных соломонов. Хорошо бы узнать, сколько тогда пролилось на каких-то полутора километрах машин, сколько пролилось крови?

Одним словом, «была без радости любовь, разлука будет без печали». Никто не пожалел, не всплакнул, не заломил в горе руки, когда полковника Сорокина «ушли».

«Эка невидаль, — скажет иной нетерпеливый читатель, — мало, что ли, таких полковников пребывает на «заслуженном отдыхе»? Стоит ли о нем, какой-токой герой?» Спокойно, Склифософский, дайте досказать.

Я живу в семи минутах ходьбы от «Астории». В те годы, проспав после ночной смены до полудня, частенько в середине выходного (мы работаем через сутки) отправлялся в тамошний кафетерий. Место, доложу вам, было вполне: кофе из итальянского «Эспрессо», коньяк, не какая-нибудь заморская дрянь — армянский, бутерброды, пирожные — в ассортименте — свежайшие, цены, не теперешние — вполне доступные. Главное дело, образовалась компания. Люди, в основном, свободных профессий: актер с Ленфильма, литератор, грузчик художественного салона (он же — модный портной-брючник), прилетавший с дальнего полигона в отпуск-отгулы конструктор чего-то секретного, адвокат с престижной практикой. Словом, общество приятных друг другу, недуряков поговорить и выпить холодажков. Частенько бывало, кофепитие естественным образом переходило в дружеский ужин в местной или расположенной по соседству «Европейской» ресторации, главным образом — на «Крыше».

Как-то, месяца через два, помню — в начале осени, значит, так и есть: вскорости после той злополучной таксогаишной истории, едва лишь шум спал, прихожу в обед в «Асторию». Не успел еще рук помыть, еще болтаю со швейцаром в вестибюле, подлетают знакомые официант с буфетчицей, тащат в главный зал и, укрывшись за колонной подиума, вызывают вниз на столик в правом углу: «Узнаешь?»

А надобно вам заметить: у людей из грандотельской прислуги есть это свойство, замешанное на смеси здорового деревенского любопытства с плебейской гордостью от близости — пусть и мимолетного общения — с великими мира сего. Но и то сказать, люди здесь бывают всякие. Помню,

самому, грешному, было интересно посмотреть вблизи на усталое лицо великого итальянского трагика, коего бес попутал в перерыве съемок у Феллини влезть, видимо из-за экзотики, в какой-то наш фильм. Или — другого, простачка с виду, в ковбойской рубаше и отнюдь не строгих брюках — сельский учитель из глубинки, да и только. Правда, глубинки Арканзаса, или Вайоминга, или — не помню, какого там еще штата, кем он, кажется, и был, а пожалуй что с виду — так и остался; только ко времени приезда в Питер успел поработать в качестве правой или левой руки убиенного Президента, а у следующего — так и вице. Хьюго Хэмфри звали этого типа, и прибыл он к нам по турпутевке, за свои кровные, правда, по высшему классу, так, что четверых (их было две пары: он, очевидно, с женой и — второй, друг или напарник — так же), четверых их возили две «чайки», можно сказать, что цугом, и, кабы не этот выезд да, пожалуй, не силовое поле, создаваемое излишне подбострастными топтунами, в жизни бы не подумал, кто он есть.

Хорошо. Смотрю, куда показали. Восьмиместный стол просторно накрыт на троих. Первая перемена: четыре вида холодных закусок, плюс икра, красная и черная. Боржом, Эссенуки. Зеленый. Литровая бутылка «Столичной» в ведерке со льдом. В другой бутылке, стоящей в центре, жидкость очень плотного благородно-бурого цвета, если не подводит зрение... да нет же, так и есть: «Ахтамар». Официант достает «столищу» из ведра, обтирает салфеткой и, картинно заломив свободную руку за спину, наливает двоим. Ставит водку обратно. Тем же манером третьему — коньяк. Второй официант, «бергашник», льет боржом в фужеры. Обслуга — «особое внимание». Красиво. Люблю.

— Узнаешь? — опять толкают меня.

Кого я должен узнать? Сидят три мужика среднего возраста. Один, почти спиной, в светлом — мне не ясен. Двое других — в однотипных темных тройках, белых рубашках, при галстуках, как у Гарольда Макмиллана. Не слабо, словом, одеты; то ли из Синего зала Гостиного, но может — и от своего портного. Не иноземцы. Герой Зоценко говорил: «Я иностранца завсегда от русского отличу. У него, шельмы, ботинки не наши». Ног, конечно, мне не видно, да и не требуется: лица не те. Повадка, главное, другая. Не то чтоб хлебом занюхать, эти — уже не занюхивают, но чувствуется же: хотят. Словом, как выпили по первой — наши.

— Не пойму, — говорю, — чего вы меня притащили? Не знаю я никого, мужики обыкновенные.

— Вон тот, лицом к нам, не знаком?

— Первый раз вижу. А что, Лора, у вас и «Ахтамар» имеется? Некрасиво получается: прячешь от старых знакомых. Налей нам с Сашей по полтиннику.

Уходим в банкетный зал к буфету, а мне говорят:

— Значит, не узнал полковника Сорокина?

— Какого Сорокина?

— Бывшего начальника ГАИ.

— А, так это он? Откуда ж, я его никогда в глаза не видел, что мне в ГорГАИ делать? Стало быть, он отвальную справляет?

— Отвальную! Ты что, не слышал?

— Слышал, слышал. Арендаренко теперь.

— При чем здесь ваш Арендаренко? Ты про Сорокина знаешь?

— На пенсии, наверное.

— Тебе бы такую пенсию! Он теперь у нас главный.

— Вот это да! — говорю. — А директора куда?

— Болван ты, Леня, — говорит ласковая Лора. — Тебе русским языком сказано: главный. Начальник Управления ВАО «Интурист» всего Северо-Запада. Так что Сашка сам пить не станет, а из-за твоей сотки я бутылку открывать не буду. Хочешь — пользуйся моей добротой, бери целую, а нет — пей свои три звезды, только быстро, сам знаешь: здесь нельзя.

Я как стоял, так и сел. Это что же получается, товарищи дорогие? Человека снимают, как проштрафившегося, с ужасной, с неблагоприятнейшей должности, из кратера вулкана, каким, если судить по справедливости, является пост начальника ГАИ города. И впрямь, ежу понятно: транспортный поток растет;

улицы не раздвинешь, аварийность и прочие неприятности, вплоть до человеческих жертв, не снизишь по чисто объективным причинам. Неимоверно напряженным усилием можно лишь сдерживать с каждым годом растущие потери, и, стало быть, никто, будь он семи пядей, никогда хорош на этом месте не будет.

Да (говорю я теперь), законы социума, как и законы природы, существуют объективно, вне зависимости от того, сформулированы они уже человеком или еще нет. Пройдет лет пять, и Зорин с Алексеевым назовут, и еще — полтора десятка, прежде чем Михаил Восленский детально разберет это определение — «неотчуждаемость номенклатуры». Но само-то явление существовало давно, не было в нем особой тайны. Никто тогда бы не удивился, заделайся наш герой директором банно-прачечного треста или издательства, скотобаза или стадиона. Но «Интурист»? Дочерняя, снявшему его КГБ, котора? После полковничьего служебного несоответствия — генеральская, почти синекурная должность в организации, где все винтики отлажены годами, как в фирменном механизме «Омеги»? Неотчуждаемость — пусть, но не до такой же степени! Ох и люб был чем-то полковник Сорокин первому секретарю Обкома Толстикову! Славная получилась рокировка через битое поле — куда Бендеру с Ноздревым, мелким плутням!

Не я один, Ленинград ахнул.

Но поахали горожане, посудачили, покачали головами в недоумении — тем дело и закончилось. То есть — пока закончилось. Трудится себе неудачливый на ниве ГАИ полковник в генеральском кресле покойненько, и кому, кроме подчиненных, какое дело? Как говорится — помогай Бог! И забыли о нем люди, разбрелись по своим делам, да и нам бы забыть: он ведь и на наш сюжет наработал уже вроде достаточно, но говорю же я вам: жизнь — такая смешная штука, любит выкидывать коленца — нарочно не придумаешь.

Казалось бы — что человеку надо?

Нет, серьезно: где предел мечтаний советского индивидуума шестидесятых-семидесятых годов? Работа, квартира, машина, дача?..

С работой у Сорокина, кажется, ясно. Квартира? Да помилуйте: он же — член Обкома! О машине и даче — даже неинтересно знать, были ли у него свои. Потому что машин — целый интуристовский гараж не в один десяток единиц, от представительских «чаек» до грузовиков и автобусов, все — обслуживаемые по высшему из возможного в советских условиях сервису, где аппарат, прошедший сто тысяч километров, считается старым и подлежит списанию в «народное хозяйство», а дача... Да какая, к чертям собачьим, дача, когда человек командует самой обеспеченной и разветвленной отраслью в индустрии туризма?! У него открытая виза: в любой момент — самолетом, паромом, на оленях и верблюдах — в любой конец, хоть в Африку, хоть на Канары, хоть в Рио. И — натурально — бесплатно, «на халяву».

Ох, сказал это слово и вспомнил, а ведь стало уже забываться, — главное, что по мере приближения коммунизма все серьезнее заботило советских людей: пишу! Элементарно сказать — жратву.

Ну, а тут — какие для Сорокина могли быть трудности?

Мало, что опять же, как член Обкома, он был допущен к общественному огороду, так ведь под его началом находилась вся сеть лучших в городе кабаков, их кухня и складов, включая «березкинские» валютные закрома и вошедшие в моду бары.

Он пользовался ими всеми вполне. Тот стол в «Астории», что я попытался вам описать, был одной из первых его рекогносцировок, пробным набегом небольшого дозора махновской кавалерии. Кувшин только примеривался «ходить по воду». Знаю, о чем говорю. Все эти годы я регулярно развозил по домам после смены официантов трех ресторанов «Европейской». Мало-помалу стал для них почти своим, с некоторыми — приятельствовал. Не всю, конечно, их кухню знал, однако — не бином Ньютона, видел многое. Никогда никто из них о своем высоком начальнике не распространялся, но замешанные на глубоком презрении страх и недовольство чувствовались отчетливо. Система, разумеется, была гнилой, начальничек соответствовал, однако — где в те времена не воняло? Но чтобы обернулось с такой стороны?..

Прошли уж годы, как Сорокин стал управляющим «Интуристом», история с такси подзабылась, а для людей помоложе — и вовсе оказалась каким-то туманом, словом, я несказанно удивился, когда однажды, оставшись без курева (пассажир по рассеянности опустил мою пачку в свой карман), заскочил на минуточку в буфет «Европейской» во внеурочное, часов в 11 вечера, время и был атакован, оттащен в сторону и допрошен по поводу того давнего дела двумя официантами из новых, со стажем в два-три года. Они видели, что я тороплюсь, сказал им, мол — машина брошена... С чего бы так — внезапно и резко? Позже, ночью, мои постоянные клиенты были как-то необычайно тихи, стеснены, перебрасывались редкими репликами. Наконец, в третьем заходе, оставшись последним один на один, приятель спросил: «Уже знаешь?» — «Да что такое? Почему это вы сегодня и трезвые, и смурные, что стряслось?» — «Сорокина арестовали». — «Не может быть! Кто, за что?» — «Вроде бы — московский КГБ. Взяли прямо на работе. Кажется, 88-я». — «Слушай, — говорю, — что ты мне ребусы загадываешь. У нас статьи по номерам знают либо юристы, либо — уже сидевшие. На юрфаке я не учился, и пока, слава Богу, не сидел. Так что говори по-русски, что это за статья?» — «Валюта», — сказал он пришибленно.

Ахти, Господи! Ну зачем Сорокину такое?

Во все периоды советской власти, с первых ленинских декретов и постановлений, актов законных, подзаконных и незаконных — вплоть до наших дней, не было у коммунистов — из всех сфер деятельности, тем паче — в юриспруденции — политики более жестокой, неуклонной и последовательной, чем по этому вопросу. Экспроприаторы по глубинной сути, понимая, что человек, не говорю — богатый, а и просто состоятельный, не может сочувствовать их власти, они начали с конфискации, объявляли обязательную сдачу драгметаллов, камней, бумаг «имеющих хождение наравне», беспощадно карая неуступчивых жадюг, не желающих расставаться со своим добром для всеобщего блага.

(Между прочим, доходило до абсурда: к сороковым годам человек, сохранивший у себя «на черный день» николаевскую пятерку, вполне обоснованно мог бояться отнести ее в государственную скупку: это значило, что в свое время он ее не сдал.)

Да, наоборотно было вокруг этого — много чего, всё с одной лишь целью: чтоб отбить у человека чуждую новой философии тягу к накопительству, да так, чтоб всего спокойней ощущал он себя в качестве скромного бессребреника. В каждом десятилетии вновь входившим в жизнь выдавалось что-то свое, но вершиной этих наворотов, во всяком случае — для послевоенного поколения, был случившийся в начале шестидесятых процесс знаменитого Яна Рокотова, к которому, к стыду всех юристов, была применена обратная сила, специально для этого повода сочиненного по воле «демократа» Хрущева закона, введшего смертную казнь.

Напрасно в последнем слове говорил высокому суду Ян «Косой», что он знал, на что идет, какую статью преступает, что рассчитывал в случае провала на крайнюю степень (по тому порядку, кажется, лет шесть или восемь) и не просит снисхождения, а всего лишь — справедливости... Суд не внял, и, пораженный его откровенно неадекватной злобой, Рокотов ушел из жизни, даже не узнав, какая волна протестов прокатилась по планете, какую посмертную компенсацию получил: признание чужой страны, звание «Почетного гражданина Мюнхена» с формулировкой: «За проявление духа свободной инициативы в условиях тоталитарной системы»...

Правоведы, да и мы, обыватели, знаем: есть Законы и законы. Одни — записаны на Скрижалях, произнесены с Горы, другие — выдуманы человеком. Среди последних — и весьма знаменитые: законы Хаммурапи, кодексы Юстиниана, Наполеона, да и наши — Российской империи. Не вдаваясь в схоластические рассуждения, заметим, что в народе существует очень четкое понятие «Божеского», то есть справедливого закона. Говоря простым языком, это значит, что таковой — не противоречит самой природе человека. Когда закон опирается на здравый смысл и природу, он и есть Право.

Я сейчас подберусь к сюжету, а пока что хочу сказать: по мне — главным мерилом поведения любого человека надо считать его соответствие внутренней логике. Скажем, вот вам самый простой пример из жизни. Перед войной мой батя имел возможность, ему предлагали — недорого купить дачу. Он сказал, что ему она не нужна, а к тому времени, когда сын вырастет, наступит коммунизм и вопрос отпадет сам собой. Мало того, он и меня так воспитал: за всю жизнь я ничего не скопил.

А теперь прекратим гомерический смех (не погибни в 44-м, думаю, отец и сам бы — хорошо посмеялся) и ответим на простенький такой вопрос: что, прикажете мне ругать отца? А с каких, собственно, дел? Это его природа, генетика, философия. Хороша ли, практична — другое дело.

Но — вот: семилетний сын друга пошел в школу. Через неделю, едва там осмотревшись, он говорит: «Мама, купи мне несколько карандашей, порежь их на маленькие кусочки и заточи». — «Зачем? — спрашивает мама. — Вам это велела учительница?» — «Понимаешь, — отвечает сынок, — я заметил, что дети очень небрежны. Они все время теряют свои карандаши. Я буду за денежку продавать им эти обрезки».

Каково! Что это? Откуда? Он еще ни деления, ни — тем более — денег не знает. И что должна сказать мама своему вундеркинду? То есть, по всем канонам советской педагогики, она должна объяснить, что нехорошо пользоваться слабостью товарищей, что надо... ну, вы знаете, что надо. Но тогда она своими руками, прямо в колыбели задушит новорожденного гения комбинаторики, убьет — возможно будущего Ротшильда. Нет, по-моему, единственное, что она должна была сделать, — сказать, чтобы резал и точил карандаши он сам.

Это только в пионерском детстве и комсомольской юности можно было думать, что порядки вокруг справедливы. (Между прочим, для меня, конкретно, первым толчком к практическому осмыслению жизни — еще в ранней школе — стала поразительная двойственность советского понятия доносительства. Спасибо отцу и деду — успели сделать кардинальную прививку во младенчестве! А ведь знаю, чувствую: сколько раз я мог стать стукачом...) Позже, когда все стало расставаться по местам, я увидел — люди разные; понял, что мой случай непрактичности есть результат не столько воспитания, сколь природной тупости собственного ума, а есть и другие, не хуже и не лучше, просто по-иному устроенные. С малолетства относясь к ним, мягко говоря, подозрительно, еще позже я понял, как удобны властям типы моего склада, как марксисты, будучи в чистом виде идеалистами, своим противостественным порядком ломают тем, другим, жизнь.

Да, именно потому, что сам был другим, мне всегда были интересны эти практического склада люди. Говорю о своем опыте, но знаю — таким путем прошли многие. Во всяком случае, в народе, за исключением отъявленных люмпенов, к ним, особенно осужденным, всегда было отношение особое. Так что, можете поверить, первым импульсом, когда узнал об аресте Сорокина, первым чувством была жалость.

Кабы не мораль.

Потому что — вот, что главное.

Молодой человек, тот же Рокотов, ощущает в себе энергию, способность, талант к совершенно определенному роду деятельности. (То, что он талантлив, — безусловно. Раскрутить в начале шестидесятых дело с прибылью в тысячу долларов в день, это вам — не хухры-мухры.) В то же время он понимает, где живет, какие здесь законы. Тут даже не то важно, что человечество веками, да и сегодня — всё вокруг — живет по-другому, и в том мире он был бы нормален (это здесь какие-то идиоты выломались из струи, сделали его гений не востребуемым и законопротивным); тут главное — натура: иначе не может. И — кто знает? — возможно, кляня себя, соразмеряет он свою тягу к деятельности со степенью наказания по Уголовному кодексу РСФСР и сознательно выбирает путь. Когда попадется — извинений и славословий режиму от него не услышат.

Теперь — Сорокин.

Говорят, в молодости — боевой офицер. Не знаю уж, как (возможно, его пути где-то пересеклись с Василием Сергеевичем Толстиковым), но попадает

в номенклатурную колоду. Слегка ожегшись в ГорГАИ, приходит в себя в раю «Интуриста». Огляделся: золотое дно! Эльдorado! Тут, живя «на халяву», напичканный поборами (интересно, возникала ли эта тема в суде?), ведет он двойной образ жизни. Так, демонстративно, приказом, доведенным до всеобщего сведения, с выдачей «вольного билета», казнит провинившегося официанта (что важно: работника известного, заслуженного и настоящего, так сказать — от Господа Бога, что бывает редкостью вообще во всякой профессии), казнит только за то, что тот посмел в отсутствие метрдотеля, которому одному только это положено, взять у иностранца несколько жалких долларов за обед. Это — для всеобщего обозрения. Одновременно сам Сорокин тайно «создает преступную группу» (формулировка следствия и суда) из числа особо приближенных администраторов и барменов с целью добычи той же валюты — для себя.

Что характерно: в отличие от «вольного стрелка» Рокотова, занимавшегося своим промыслом вне какой-либо государственной структуры, так сказать — на пленере, группа Сорокина делала свой гешефт непосредственно под крышей родного «Интуриста».

В ходе процесса случился замечательный эпизод. Допрашивали свидетеля, многолетнего друга Сорокина. Тот пришел как-то с просьбой продать ему за рубли блок американских сигарет: хочет сделать кому-то подарок. И, напигованный, насосанный, нафаршированный валютой хмырь, изобразив страдание принципиала, нарушающего порядок только во имя великой дружбы, достает из стола блок «Мальборо», не забывая, однако, содрать со старинного приятеля побольше.

А насосан он был капитально. Уже после процесса (в отличие от расстрелянного Рокотова, Сорокину дали что-то лет восемь) я столкнулся у комиссии на Садовой со знакомым шофером, прежде работавшим у нас в такси. Показав на свою грузовую «Нюшку», он сказал: «Знаешь, что возим? Второй день, двумя бортами, — только хрусталь из конфискованного у Сорокина».

Точно сказано: «Жадность фраера сгубила!»

Нет, братцы, гнилое дело — жалеть такого.

И уж вовсе — ни в какие ворота сказанное им в последнем слове: чтобы не судили слишком, чтобы мог еще он выйти на свободу здоровым и активным, потрудиться на благо Родины! Прямо из анекдота: «Я вам наработаю!»

Спустя годы я думаю: где сейчас был бы Сорокин, не попадись тогда? Или по-другому: захоти, найди возможность кто-то сверху — выручить? Ну, положим, сам Сорокин был бы стар или — как в действительности — уже бы умер, но мы видим, где его товарищи по тогдашнему Обкому. О-го-го — где! Кто — в банке, кто — послом в благодатном климате, кто — генерально директорствует, а тот — прямиком — в правительстве. Один мечтает — в наши мэры. Кое-кто из них, возможно, сам по себе и неплохой человек, а все вместе — НОМЕНКЛАТУРА. Непробиваемые, непотопляемые... Сорокин — редчайшее исключение. Как говорила у Фолкнера бандерша, мадам Рэба: «Бедный, жалкий, распроклятый сукин сын».

И еще: из тех, деловых по натуре, посаженных в расчудесные обкомовские времена, кое-кто ведь до сих пор сидит!

Теперь вернемся в 70-й, в год падения высокого сорокинского покровителя, самого первого секретаря Обкома — Василия Сергеевича Толстикова.

История этого внезапного падения, как водится, широкой общественности осталась неразъясненной, а потому — породила массу слухов и недоумений. Лично мне очень симпатична байка, рассказанная пассажиром, не то — рабочим, не то — инженером одного из крупнейших наших заводов, из тех, что зовутся Объединениями, правильнее сказать — монстрами ВПК. В Ленинграде он в пятерке, по Союзу был в двадцатке первых. Монополист полнейший. Значит, так: огромные площади в разных концах города, закрытый объект за чертой, подсобное хозяйство — агрозавод, детсады, пионерлагеря, свои поликлиника и больница, дачный поселок и пансионат на Карельском, дом отдыха в Сочи и т.д., и т.п., и пр. — вплоть до собственной футбольной

команды высшей лиги. Генеральный директор вошел в Советскую энциклопедию фразой: «Один из инициаторов создания произв. объединений. С 1962 генеральный директор...» Там, в энциклопедии, есть и дваждыгеройство, и лауреатство лен- и госпремий, но это — позже. К семидесятому — он, пока, один раз Герой соцтруда и только что, тоже первый раз, — депутат ВС СССР.

Мой пассажир с восторгом подтвердил слух, что — да, генеральный в родстве с министром оборонной промышленности (позже тот станет министром обороны), что стоит какому-нибудь военпреду не принять «изделие», как — звонок, телефон-то прямой, и прощай сладкая военпредовская должность, здравствуйте, войска Забайкальского военного округа, а то — и вовсе «отдых». Хозяин глупых шуток не любит, строг, но справедлив, отец подчиненным. Одним словом, личность фольклорная, былинная, из тех, кто десятилетиями, если не веками, не только структурировали общество, но и формировали души, чья родословная прослеживается от преданий старины про добрых господ и царей. Этакий Дубровский и Троекуров в одном лице, смотря откуда глядеть. Добавлю: когда в конце восьмидесятых вспомнили про дебет и кредит, как-то выяснилось: знаменитое объединение должно государству (нам с вами) несколько сотен тех миллионов. Но это проза теперешняя, с описываемыми сказочными временами соотносящаяся, как похмелье с праздником. Кто о нем думает в разгар гулянки? Тогда генеральный смотрелся как радушный, набравший силу босс.

Надо сказать, что к этому злополучному для себя семидесятому году Василий Сергеевич Толстиков уже изрядно подпортил отношения кое с кем в городе. Но! Но главным образом — с интеллигенцией. Не единожды на него жаловались в ЦК секретари чуть ли не всех творческих союзов, люди известные, академики и лауреаты, люди, конечно, тоже номенклатурные, но по советской иерархии — третьесортные. Что значили ЦК мнения каких-то аникушиных, граниных и товстоноговых? Наоборот, недовольство Толстиковым со стороны интеллигентов, этих замаскированных чехословаков, личностей самому ЦК малопривятных, коих и терпеть-то приходится в силу необходимости, протесты их и жалобы на Василия Сергеевича шли ему в плюс, доказывая, что Первый бдит, и результатом была сплошная говорильня, водотолчение в ступе, ничего не менявшие на деле. Толстиков лишь матерел и утверждался в своем праве.

Как раз это, возможно, его и подвело. Понятно: когда человеку все сходит с рук, он теряет ориентиры. Смазываются грани дозволенного. Субъект начинает, к примеру, говорить хамским тоном с тем, кто к такому не привык и — что особенно важно — по сложившемуся в их круте обыкновению привыкать не обязан.

Как рассказывал мой пассажир, в один прекрасный день первый секретарь Обкома приезжает на их головное предприятие и идет к генеральному. Два соратника уединяются в кабинете для беседы. Сколько пройдено вместе! Смотрите: 62-й — идея и создание объединения. 66-й — не без подачи и визы же Обкома генеральный — Герой соцтруда. Да уже в этом, 70-м, оба-два — депутаты Верховного Совета от одного города, из соседних округов. Восемь лет — не шутка; да и не восемь, раньше тоже вместе работали. Сколько доверительных бесед, совместных заседаний! Сколько застолий, бань, поездок; малых, но таких важных нитей...

Однако дело есть дело. Заводчане начеку, руководители стягиваются к приемной, в цехах срочно наводят марафет: вдруг Толстиков пойдет в народ? Время течет, разговор затягивается, и, чем далее, тем явственней, волнами, от закрытых дверей кабинета распространяется нехорошее напряжение. Наконец, по селектору голос генерального: «Начальника режима ко мне!» И, едва тот вошел (минуты не пробежало): «Этого человека, — ткнул пальцем в первого секретаря Обкома! — на территорию предприятия больше не впускать! Мне — билет на ближайший рейс в Москву!»

И — всё.

Никому, кроме тех двоих, неведомо, что промеж ними случилось, о чем беседовали, на чем повздорили; вполне допускаю, прав мог тогда быть Василий Сергеевич, но уж, видимо, так допек он генерального, так достал, что пошел

тот цековскими коридорами открывать двери ногами, предъявлять этим партийным клеркам — сурово, твердо, значимо — с безграничной уверенностью правоты, свои верные козыри авангарда ВПК, обиженного ихним сотрудником, «высокопоставленным чинушей», недостойным высокого доверия Партии одним тем, что посмел покуситься на создателя щита и меча Родины, поднять руку на Святое. Много времени не понадобилось. В ареопаге сидели люди ушлые, сами жрецы бога Марса, охранители и создатели, вернее — в обратном порядке: создатели и хранители культа ВПК, давно ставшего краеугольным камнем системы. Им, пожалуй, было не до сути спора, гораздо важнее, что он вообще мог возникнуть, что человек их клана посмел не увидеть разницы между каким-нибудь Товстоноговым и генеральным директором ЛОМО. Такое требовало осуждения решительного, всем прочим в назидание. Вихрь, поднятый Панфиловым в коридорах ЦК, длинным языком дотянулся до Смольного, вобрал в себя Василия Сергеевича, протащил по тем же кабинетам и впахнул в подмосковном аэропорту в кресло серебристого лайнера. Тотчас, не дав опомниться, лайнер прыгнул, вдавил в спинку, стартовал на восток. И летит уже Василий Сергеевич на сверхзвуковой, что называется — впереди собственного визга, в далекий, не скажешь, чтобы очень дружелюбный город Пекин, держит в руках грамоты верительные. Ибо — помним; номенклатура неотчуждаема, а в столице крупнейшей страны социализма послом — по статусу — долженствует сидеть члену братского ЦК.

Хороша байка?

Чудо — даже если и просто вымысел. Слова-то — народные. Значит, в семидесятом до людей стало доходить: а ведь, пожалуй, уже не Партия правит, а нечто другое; ну, разве что, та ее часть, что выпустила джинна из урановых шахт и закрытых городов, из мартенов и лабораторий, выпустила — да и сплелась с ним — не оторвать; поди разбери, кто теперь главный?

А не долетел еще новоявленный дипломат до пункта аккредитации, еще режет самолет меридианы и параллели, только стрелки часов успевай перекручивать, как на Невском ржет народ: Копелян, Ефим, знаменитый, кроме прочего, тем, что никто не смел сказать, будто слышал от него старый анекдот (из чего само собой выходит одно из двух: либо он, как блестящий рассказчик, получал их прямым, горяченькими от автора, либо, что не менее вероятно, — был автором сам; в пользу второго, скажу, что с внезапной, нелепой, горькой смертью Ефима Захаровича заметно иссяк, поубавился поток вольного смеха в нашем городе), Ефим выдает перл. Будто прилетает Толстиков в Пекин, смотрит с высоты трапа на стоящих в ожидании его азиатом и, входя в роль «старшего брата», как-никак представителя партии-родоначальницы всего движения, говорит эдак патерналистски, но и не без задушевной интимности: «Ну, что, жида, — прищурились?»

Очень, доложу вам, характерный прощальный привет горожан: заключительный анекдот о горячо любимом Первом секретаре.

Не успели ленинградцы лба перекрестить после стремительного катапультирования Толстикова, как явился ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РОМАНОВ (1970—1983).

Собственно, слово «явился» — не совсем уместно. Он жил здесь давно. Не с детства, понятно, но уже в 57-м был первым секретарем Кировского райкома, с 61-го — секретарем Горкома, с 62-го — вторым секретарем Обкома. То есть, будучи замеченным еще Фролом Козловым, начав тогда восхождение по номенклатурным ступеням, именно при Толстикове вышел на вторую позицию в его команде.

Скажу, как бывший спортсмен: нет судьбы более двусмысленной, чем долго оставаться вторым. С одной стороны, конечно — с тебя и взятки гладки, жизнь можно спокойно просидеть в «крепких зачетниках», и у некоторых она так и проходит, но для человека амбициозного, стремящегося к большему,

это положение «вечно второго» таит в себе массу опасностей. Зачастую оно сковывает, иногда — видоизменяет личность настолько, что, когда однажды почему-либо сходит первый и бремя лидерства надо брать на себя, человек перестает ощущать реальность своего нового положения. Потому что нарушена логика роста, слишком долго он сидел в тени.

Если в спорте это означает психологическую проблему для одного, максимум — касается команды и тренера, то в политике все сложнее, масштабнее. Бывают в ней периоды «бури и натиска», когда сама жизнь с невероятной быстротой тасует колоду, выталкивает на авансцену новых людей, и тогда шестнадцатилетние мальчишки командуют полками, а двадцатилетние — политическими партиями.

Так в нашей российской истории случилось в революцию и гражданскую; позже, несколько по-другому, искусственно, когда ротация кадров стала элементом интриг Генсека — в пору сталинских «чисток»; так было, естественно — в катаклизмах войны, равно как и в наши уже дни, при великой теперешней ломке.

Только рубеж шестидесятых — семидесятых составляет исключение. Одно то, что вместо импульсивного Хрущева во главе партии стал Брежнев, чьим литературно-психологическим прототипом надо признать чеховского Беликова, помноженного на телевизионного кота Леопольда, предрекало старческий застой и стагнацию. С точки зрения кадрового продвижения для деятелей партгосноменклатуры это значило безусловное торможение. Если в спорте, в науке, в искусстве, вообще — в творчестве, очень многое зависит от всего этого и, если мы примем за норму, что и политика — дело творческое, и там должно быть то же, то фактом почти десятилетнего пребывания Григория Васильевича вторым секретарем Обкома можно многое объяснить в его норове на внезапно свалившемся на его и наши головы новом посту. Скажем одним словом: засиделся!

Пока город ждал, чем проявит себя новый «хозяин», первыми, поначалу с удивлением и оторопью, очень скоро перешедшими в возмущение, испытали на себе этот его норы мы, шоферы¹.

Удивительные, все-таки, люди — дорвавшиеся до власти наши сограждане. Самые естественные человеческие поступки, вполне понятные и безусловно поддержанные бы всем людом, они умудряются обернуть так, что, в конце концов, настраивают нас против себя. Казалось бы — прекрасно стремление нового хозяина города действовать активно, подвижно, не отгораживаться стенами Смольного, вживую общаться с народом. Как хорошо! Ленинградцы десятилетиями ждали такого руководителя.

Теперь смотрите, как это выглядело на деле.

Выбрав постоянным местом жительства дачу в Осиновой Роще, Романов вместе со Смольным создал два весьма удаленных друг от друга центра своей деловой активности. Кажется, он жил на этой даче и прежде. Тогда это выглядело чуть ли не его личной скромностью. В самом деле, у всех — резиденции в курортном районе, куда ведет двухполосная, зимой и летом тщательно поддерживаемая в лучшем виде магистраль, где присутствует всяческая индустрия отдыха (хотя зачем она им, все есть свое), а второй секретарь живет где-то на отшибе, в лесу, чуть ли не на территории воинской части... Став Первым, Романов не пожелал переезжать, тоже — понятно: человек обжился и, конечно, это его дело.

Его? Если бы!

То, что для простого смертного никого не касающаяся мелочь, в приложении к сильным мира сего сразу становится явлением общественным. Взять хотя бы то, что, в отличие от Приморского двухполосного, Выборгское шоссе,

¹ Для справки. Шоферов, только профессионалов — в городе свыше ста пятидесяти тысяч. Как и по всей стране, это — самая крупная категория работников. По причинам собственной мобильности и уникальности рабочего места (весь город) жизнь его выглядит для нас совершенно по-особому, изнутри, подчас — с неизвестной прочим жителям точки зрения.

начиная с Поклонной, в тот момент представляло собой едва ли не самый узкий выезд из города. И это — при том, что Григорий Васильевич резко поменял стиль езды. Если прежде он сравнительно скромно следовал, не останавливая прочий транспорт, то теперь дважды в день это стало всеобщей шоферской проблемой.

Мало того. Прибавьте, понятно, поездки по городским объектам, бесчисленные встречи делегаций. Каждый выезд нового Первого стал обставляться, словно чрезвычайная операция, будто мы не в мирном, полупровинциальном Ленинграде, а в бурлящем Ливане или какой-то латиноамериканской республике, в условиях ежеминутно ожидаемого государственного переворота. Милиция перекрывала движение задолго до появления романовского «ЗиЛа». Выдернутые радиосигналом — из кустов и подворотен, второпях проглатывая непрожеванное — из кофеен и пирожковых, выскакивали, как наскипидаренные, к осевой и на перекрестки бравые офицеры, чтобы, промаявшись, глядя в даль перспективы, минут двадцать — на секунду подобострастно вытянуться, отдать «государю» честь. Поперечные улицы забивались транспортными пробками, но «зеленая волна» ковром стелилась под колеса кортежа.

Все это выглядело безвкусной клоунадой, фанфаронством; наглым вызовом духу и стилю города. Характерно, что случилось как-то сразу, и задолго до того, когда Романов сделался кандидатом в члены Политбюро и ему по ихнему статусу стали положены спецхрана и сопровождение. Этот поистине «царский» выезд как-то уж слишком контрастировал с городскими обычаями. Тут же вспомнили пешие прогулки императоров, их поездки в пароконных экипажах, да и из ближней истории — по городу Киров идет... — еще не забылось. С учетом приоритета скромности в нашем народном самосознании даже фамилия стала иметь значение. Посыпались анекдоты. Григорию Васильевичу — хоть бы хны.

Однажды водитель радиофицированного такси из нашего 1-го объединения берет заказ с подачей на Кутузовскую набережную. Двигаясь от Кировского моста вверх по Неве, он проезжает Летний сад, переваливает через Прачечный мост и притормаживает у углового с Фонтанкой дома, чтобы разглядеть номер. Само собой, это, конечно, был не очень опытный «радист», потому что настоящий мастер до такого никогда не унижится: в центре города, тем паче — на набережной, где дома идут строго по нумерации, порядочный «радист» должен не то что к дому, к подъезду подъезжать с завязанными глазами. Но это замечание — так, между прочим, к существу дальнейшего оно никакого касательства не имеет. Важно другое: мост.

Земляки поймут сразу. Прачечный мост, кроме прочего, знаменит тем, что в проекции «вид сбоку» представляет собой круто выгнутую арку, чьи внешние дуги сглажены, впрочем, современными наслоениями асфальта. Мостов такого типа, со сравнительно коротким, крутым пролетом осталось теперь пять. Смежный — на правом берегу Фонтанки через Крюков канал, Каменный — на Гороховой через Екатерининский, и три по набережным Невы: Эрмитажный — через Зимнюю канавку, Верхнелебяжий — через Лебяжью и этот, Прачечный, — через Фонтанку.

Знаточи закричат: «А Поцелуев?» Я и сам добавлю: и Торговый, за Мариинским театром, и — еще по Крюкову — Тюремный, и 2-й Зимний, и оба Инженерных — у истоков Мойки... Но все эти, подходя конфигурацией, в силу своей расположенности в поворотах улиц и перекрестков не соответствуют тому важному для нашего сюжета свойству, которым обладают пять первых; а именно: для быстрого экипажа они представляют искусственные трамплины, вроде тех, что в старину устраивали на катальных горках. Построенные в первом веке существования города, мосты эти, между прочим, издавна служили — и забавой для жителей. Можно представить, как наши прапрадедушки возили с балов, по набережным, на лихих рысаках, как визжали от восторга девчонки-прапрабабушки, когда сани падали с крутой горки моста. С явлением автомобиля горка превратилась в настоящий трамплин, забава, став несколько опасной, приобрела пушистый элемент остроты:

теперь, разогнавшись как следует, можно получить ощущение полета, едва ли не невесомости. Существует байка о загулявшей компании, нанявшей такси по червонцу за прыжок, пятнадцать раз кряду прыгнувшей через горбыль утраченного теперь в связи с засыпкой канала Введенского моста.

Всего этого не знал наш малоопытный коллега, когда, изогнувшись вправо от руля, уставился в табличку на углу дома сразу за мостом. Он просто забыл, что улица полна неожиданностей.

А неожиданность, приняв на этот случай несколько тяжеловесные, модные формы новенького правительственного «ЗиЛа-111» (три тонны стали, пуленепробиваемые тонированные стекла, шесть в длину, два с чем-то в ширину, независимая подвеска всех колес, кондиционеры, как у людей, натуральная кожа сидений и т.д., и т.п., и пр.), уже шла по горячему следу незадачливого «радиста», уже перевалила через Верхнелебяжий, стремительно разгоняясь вдоль знаменитой фасадной решетки Летнего сада. Ее водитель, штатный офицер комитетской «девятки», давно утратил то непрременное, обязательное для каждого шофера чувство, которому я пытаюсь подобрать название — и не могу, вероятней всего потому, что это целый комплекс: от сознания ответственности за жизнь — и пассажиров, и того пацана, что в десятке километров отсюда торопливо одевается сейчас в школьном гардеробе, чтобы, вырвавшись с визгом восторга на волю, вылететь тебе прямо под колеса, до простого понятия — не разбить машину, да и, если хотите, элементарного, чисто животного страха — тюрьмы, больницы или морта — для самого себя. Хочу быть понятым правильно. Мне — за 60. Сел за руль — в 16. 27 — в такси. Значит, не ангел. Но, надеюсь, и не трус. Пересечь за полчаса город, откуда-нибудь из-за Мурынского в аэропорт, когда пассажир «хорошо просит», — нормальное состояние. Но вот вам история моего приятеля, интуристовского шофера, случившаяся во время последнего приезда в Ленинград Вилли Брандта.

Визитер уже не был канцлером, прибыл частным образом, но в Кремле решили его отблагодарить за «восточную политику», принимали по-царски. Ленинград был последним пунктом визита, из Москвы с ним прикатили союзные «шишки», здесь «на халяву» подвалил весь местный «бомонд», так что в кортеже собралось больше полусотни машин. Выйдя из Эрмитажа, толпа перешла через дорогу, забралась в «Ракету» и отправилась по воде в Петергоф. В ту же секунду, сопровождаемая воем сирен и всплшками мигалок, словно сорвавшаяся с цепи свора, туда, в Петергоф, устремилась кода пустых машин. Мой приятель говорил, что по городу они шли плотно, без интервалов, со скоростью 120. После Автово — вообще уперли педали газа в полик. На площади у дворца, над Большим каскадом оказались через 17 (!) минут, то есть в то время, когда «Ракета» еще только выходила в залив, известно же: до Петергофа ей 45 минут хода. Спрашивается — зачем? Ведь стоило пойти на разрыв одному колесу (с нашей-то резиной это — запросто!), черт те что там могло получиться! Но это понятно ему и мне. Вообще — нормальному шоферу. То есть такому, у кого есть это самое чувство, которому я не могу подобрать названия. Конечно, оно не должно вылезать наружу, превращаться в банальный страх, но, всегда оставаясь в подкорке, обязательно присутствовать. Как когда-то сказал мне, пацану, старый-старый водила: «Помни, ты возишь с собой собственную решетку». (Имелась в виду тюремная.) Причем я не случайно говорю о комплексности. Стоит убрать один компонент (хотя бы тот же страх) — и достаточно. За четверть века ночной работы я вдоволь насмотрелся, сам дважды был на волоске, когда мощный грузовик, «Татра» или там 130-й «ЗиЛ», водитель которого сидит на верхотуре, как за бетонной стеной, и, стало быть, с чисто животной точки зрения — в безопасности, спокойненько, разогнавшись от Загородного по Гороховой, проходит по красному и Фонтанку (два светофора), и Садовую, и дальше, до Адмиралтейства — все оставшиеся четыре.

Что же говорить о шофере романовского «ЗиЛа»? Он и правила давно забыл, ездит — по зеленому ковру, сотня для него — все одно что стоять на месте. Единственная забота — барину угодить. А тут он был один. Ехал в Смольный пустой, под ногой табун в 300 лошадей, впереди развлечение:

кочка-мостик. Дай, прыгну? Ну, прыгнул. В безвозвратно уносящийся, последний — до того — миг он внезапно увидел стоявшую на пути внизу телегу, сердце ойкнуло, но поздно: колеса оторвались от земли, а воздушных рулей и тормозного парашюта даже стоодиннадцатому зилу не предусмотрели. Но что значит — спецзаказ! На оставшихся после приземления метрах тормоза сработали, не хватило самую малость, каких-то полшага. Тяжелый «ЗиЛ», слегка тюкнув такси, вмял ему заднюю стенку багажника, а себе — облицовочную решетку. Цирковой номер, однако, на этом не закончился. Штука в том, что «ЗиЛ» шел не один. Позади, поотстав на разгоне, его догоняла черная «Волга», комитетская машина сопровождения. Черт те знает, для чего они и пустые ехали вместе, да это и не интересно, а вот что действительно важно, так это, как сказали бы в кино, — дубль, повторный трюковой прыжок уже — «Волги», а у нее тормоза похуже, она достала барский «ЗиЛ» плотнее, вмяв теперь уже ему задницу, капитально разбив свою морду о его бронированный кузов.

Получилось то, что американцы называют «слоеным пирогом», довольно распространенный вариант дорожного происшествия.

Сущий пустяк, никто и не пострадал, а «железа на наш век хватит», как гласит шоферская присказка, да вот беда: начинка этого растекая уж больно редкая, вроде забытой теперь стерляжьей визиги, — романовский «ЗиЛ» новой серии, в тот момент в городе единственный, надо думать — не без трудов выхлопотанный, потому хозяином любимый, ценный вдвойне.

Пока водитель «Волги» сопровождения лихорадочно снимал заметные обкомовские номера (это у них рефлекторное: сам умирай, но номера открути), двое других похватали трубки радиотелефонов, в эфир на разных волнах понеслись вопли, и через считанные минуты прибыли: с Петроградской — начальник ГАИ города, группа поддержки, агитации и базлания — от Смольного, профессионалы в штатском — из компетентного во всех жизненных случаях Литейного и наш директор — с Конюшенной. Начался какой-то совершенно неприличный базар, с навалом на бедного таксера, с бессмысленными, а потому — особо гнусными комитетскими штучками, вроде вдруг исчезнувшего на Центральной диспетчерской телефонного заказа, по которому не доехал наш «герой». Ну при чем здесь, скажите, заказ? Что он меняет? Ежу понятно: виноваты задние; для этого не надо и шоферских курсов, двух классов церковноприходской достаточно. Так нет, по своей привычке они валили все до кучи, старались сбить человека с толку, чтоб запутать и оговорить самого себя. Несколько еще дней мотали ему нервы, потом, слава Богу, отвязались.

Только и осталось от той истории воспоминание соприкосновения с чем-то уж очень противным. Да еще ненароком мы узнали кой-какие подробности касательно этого правительственного шарабана: и цену его, из другой сферы, аэрокосмической, — астрономическую, где чуть ли не треть тянут пуленепробиваемые стекла из-за «бугра», не то от Даймлера, не то от самого Роллс-Ройса, и то поразительное для всякого нормального человека обстоятельство, что обыкновенное ТО-2, ежемесячное профилактическое обслуживание, делают только в Москве, для чего автомобиль туда специально то ли возят, то ли гонят своим ходом. И, конечно, выправить заднюю стенку багажника, заменить облицовку и покрасить — в ленинградской дыре рук нет, надо ехать на фирму Лихачева. Чудеса, да и только. Впрочем, у богатых — свои причуды. Где нам их понять! Лишь бы не плакали.

Несколько лет спустя. Середина семидесятых. Григорий Васильевич — кандидат, а может, уже и член Политбюро.

Он плотно вошел во вкус: по всем основным направлениям его возможных поездок постоянно дежурят десятки, если не сотни мужиков из специально созданных дивизионов милиции, плюс мобильный дивизион или группа сопровождения, всё — как в Москве. Только там и улицы пошире, и милиция порасторопнее, есть все же разница у дороги с шести-восьмирядным движением с резервной полосой по оси и нашим, к примеру, проспектом Майорова. Там правительственный «ЗиЛ» пройдет, как нож сквозь масло, только свето-

форы перемигнут, а здесь надо всех согнать в боковые улицы, расчистить трассу, минут 20—30 продержаться в ожидании молниеносного пролета господ, а потом часами растаскивать возникшие пробки.

Да и не везде такое возможно. Возьмите — Московский. Попробуй, убери с него транспорт. Никакой милиции не хватит. Меж тем Московский проспект — дорога в аэропорт, то есть — правительственная трасса. По ней постоянно курсируют то в Пулково, то — оттуда разного рода «шишки», калибром от нуля до бесконечности, от мелких ольховых «пшичек» (клерков Смольного, ЦК и Совмина) до заморских диковин, наподобие — аккурат в семидесятые исчезнувших с наших прилавков — ананасовых, всяких там закордонных премьеров, президентов и шахиншахов. Кстати, я специально интересовался и доподлинно выяснил, что у себя дома, во всяком случае — в нормальных странах, эти люди не выкобениваются, хоть и носятся по своим городам, как опшаренные, но стараются не мешать остальным гражданам. Очевидно, что проезд по Лондону английского премьера в романовском стиле означал бы его завтрашнюю отставку. Но у нас обладание особым номером машины, связанное с принадлежностью к номенклатуре, есть составляющая суммы привилегий, где быстрая, а точнее — без соблюдения правил, езда — одна из самых престижных и любимых, и, в отличие, скажем, от спецпайков и распределителей — не только не скрываема, наоборот — привилегия всячески бравируемая. Не знаю, как там Ленин на михельсоновский завод ездил, но их-то, «продолжателей», — сами видим, да и то понимать умеем, что и поперед их было, так что небось и по сию пору — беззвучно подразумевается грозное: «Пади!».

Словом, это напрашивалось: сделать на Московском резервную полосу по осевой. Закавыка была не в том, что как раз по ней проходит пулковский меридиан, беда в том, что, будучи даже внешне — во всяком случае за Обводным каналом — подобием чисто столичных, московских улиц, чужеродным Питеру, ее, столицы, шупальцем, наш Московский сумел перенять, впитать в окарикатуренном виде не свойственный собственному духу провинциализм: бульвароподобные древонасаждения. Мало того, это свойство усугублено уже чисто питерским, но тоже впадающим в архаику элементом: трамваем. (О, наша гордость первой половины века! О, нынешняя тягомотина, срам и бич!) То прерываясь, то сплетаясь, оба-два как раз занимают пулковскую ось. Если как автомобилиста меня можно заподозрить во враждебности к такому атавизму, как трамвай, то в противниках озеленения — никогда. В детстве я был юннатом, обихаживал в войну грядки на берегу Крюкова канала у подножия колокольни Никольского собора, да еще лет двадцать тому назад воткнул на свою голову в бесплодную щербенку нашего двора полутораметровый тополиный дрын, и теперь это дерево вымахало выше крыши, застит белый свет и одной рукой постукивает мне в окно.

Тем не менее, даже — тем более, я утверждаю: бульвар посреди напряженной городской магистрали есть анахронизм еще больший, чем трамвай. Он не только чисто эстетически бесполезен, но и практически вреден, хотя бы уж потому, что это из его кустов прямо под колеса транспорта выпадают, выскакивают, выламываются, особенно в темное время суток, еще неожиданнее — из запорошенных снегом зимой, наши с вами сограждане, мы сами, трезвые и не очень, а еще хуже — дети, племянники и внуки. Я уж не говорю, что устранение этих чахлах растений расширило бы Московский на два ряда, ускорило бы проезд и уменьшило загазованность много больше, чем за короткое питерское лето это делает их чахлая листва.

Кто-то назовет это логикой шоферюги. Но растолкуйте мне, почему, если захотим, в одних случаях, якобы по причине спрямления улиц и даже просто — трамвайных путей, мы можем носить целые дома (особенно, если это церкви), передвигать монументы (например — памятник Глинке на Театральной), а в других — не замечать очевидного. Идиотизмом было бы восставать против Конногвардейского бульвара только потому, что он бульвар. Наоборот, именно в этом качестве он изумительно спланирован и прекрасен. Ненормальным было бы сегодня требовать уничтожения Александровского сада, хотя, конечно, он не только закрыл замечательный фасад Адмиралтей-

ства, но и искажил пространственный объем — от Дворцовой до Сенатской. Но тут... Кому нужны эти похожие на снегозащитные лесопосадки вдоль железнодорожного полотна кусты и деревья — от Обводного до Авиационной?

Нет, думаю, я прав. Еще и потому думаю, что тогда то же самое поняли, почувствовали на себе не только мои коллеги, но и тысячи клиентов — пассажиры. «Тогда» — это когда те самые «соломоны» ГорГАИ еще придумали нечто потрясающе новенькое, с нормальной логикой не совместимое, оригинальное. Как говорит нынешнее поколение: «Ну—вообще!» Даже сейчас, от одного воспоминания — «я бадею».

Гаишники подглядели в столице новинку: двухсекционный светофор. Повешенный над одним из рядов, он действует только на него, закрывая или разрешая движение в этом ряду в пределах одного квартала. Нам он был покуда известен лишь теоретически, из обновленных в очередной раз правил, и до поры до времени казался таким же далеким, как марсианские спутники. Даже когда новоявленные коробочки светофоров вмиг повисли над левым рядом Московского — от Обводного до Рогатки и обратно, а сам ряд оградил сплошной осевой так, что справа в него не въедешь, даже после персонального предварительного инструктажа, с каждым — под расписку, с пояснением меры наказания: как за проезд закрытого железнодорожного переезда — минимум полгода лишения прав, — мы не поняли, ну никак не предвидели, что нас ждет. Некоторые оптимисты радовались: чудесно, не будет больше этих криков: «Всем стоять! Принять вправо и остановиться!! Водитель 26—14, кому сказано — сто-ять!!!» Думали: надо кому-то проехать в аэропорт, закроют левый ряд минут на несколько, начальство проскочит — и ладненько, движение-то не останавливается!

Черта лысого! Мы забыли, где живем: не просто в Стране дураков, но в авангардном этих дураков городе — их колыбели, яслях, школе.

Ответьте мне, в чем задача, так сказать, идея любого светофора? Правильно: регулировать движение так, чтобы максимально его ускорить и создать всем участникам равные возможности. В умелых руках этот прибор мобильно растаскивает дорожные пробки. Старые водители помнят виртуозов-регулирующих, ту же хотя бы Аню, что много лет сидела на углу Московского с Обводным. Ее знали и любили шоферы всего города. И не говорите мне, что тогда было меньше транспорта. Где-где, здесь его всегда хватало. Просто регулировщик — такая профессия, что требует сноровки и таланта. Поставь иного пентюха, он из трех машин пробку соберет.

...И только, когда в один (написал по стандарту «прекрасный», зачеркнул) — в один черный день эти двухсекционные хреновины были включены, когда над левым рядом, в обе стороны, продублированные полтора десятка раз, засияли косые морды красных крестов, только тогда все мы, оптимисты и не очень, вспомнили, где живем. Потому что это мы, водители, думали о светофорах. Теми, кто их вешал, этот приборчик понимался совсем по-другому. Включенные в режиме красного запрещающего, не на 15—20 минут, не на час, даже — не на какую-то часть суток, включенные так постоянно, на множество дней и ночей, на недели и месяцы, эти светофоры попросту заменили собой запрещающий знак — на жаргоне — «кирпич». Я не шушу. В первом включении красные кресты прогорели лето, осень и начало зимы без минуты отдыха. Сами понимаете, чем это было для транспорта.

Чуть ли не в первый день новшества, где-то в шестом часу вечера (для меня это значит — с первым-вторым пассажиром) я оказываюсь за Московским Парком Победы. Причем, помню точно: начав от Конюшенной, проехал туда не по Московскому, скорее всего — Витебским проспектом. Не то чтоб я избежал Московский, так получилось. Перед выездом в диспетчерской что-то слышал о тамошних заторах, но вполуха, потому что для ночника дело это как бы постороннее. Мы, ночники, — особая каста, потому и выбрали себе эту треклятую жизнь, ночное бодрствование с дневной спячкой, что просто не выносим медленной езды, я уж не говорю — пробок. Нас — озолоти, в утро не выедем. Разве что по выходным или в праздники. Годами так работаем.

Конечно, вечернего «часа пик» не избежишь, однако где-то до семи — не так и долго, вроде разминки перед настоящей работой.

Значит, посадил пассажира то ли на Авиационной, то ли на Варшавской и заруливаю к стоянке на Фрунзе. Ко мне — двое. Солидный мужчина — сзади, а на переднее вспорхнула миловидная такая девчушка, лет от силы восемнадцати: юбка мини, ножки на месте, личико умеренно подрисованное — нормальная девочка. Папа говорит два адреса, один в центре, где-то в районе Сенной, высадим ее, а дальше — не то на Петроградскую, не то — вовсе на Гражданку, не помню. Я это к тому, что о маршруте, стандартном первом вопросе почти любому пассажиру, даже мысли не возникло. Просто я стал делать левый поворот на проспект, и уже в тот момент, когда чуть было по привычке не встроился в левый крайний ряд, увидел прямо посреди него за перекрестком, скрытого кустарником, напрягшегося, как ирландский сеттер в стойке, милиционера, одновременно вспомнил разговоры, и тут только впервые обнаружил косой красный крест этого светофорчика. Надо сказать, висел он коварно, с поворота можно было и не разглядеть.

Я доставил себе маленькое удовольствие, позволил некоторую вольность, этакую игру мышки с кошкой: делаю вид, что захожу в запретный ряд, довел сладострастное напряжение мента почти до восторга, но в последний момент ослабил руль, вписался в средний — и был таков. Мент с досады аж сплонул.

Впереди, ближе к Бассейной, по пустующему левому ряду шастал еще один блюститель, за перекрестком был виден третий — знакомая картина ожидания «царского поезда». На стоянке у метро «Парк Победы» выстроилась вереница таксомоторов; мысленно я похвалил себя, что выполнил раз навсегда принятое — не ездить сюда, стоянка и впрямь идиотская, если и есть пассажиры — девяносто процентов — на выселки, в распрямленное Санта-Купчино, там работа только утром, вечером — тащись оттуда пустым.

В общем, настроение было прекрасное, смена начиналась удачно. Я чуть поприжал, по первому ряду обошел пару-другую частников, опять перестроился во второй, по зеленому проскочил Кузнецовскую, попутно отмечая милиционеров — там, в левом ряду. За Кузнецовской машин прибавилось, поток стал плотней, дергаться здесь не имело смысла. Мало им бульвара по оси, еще и справа вырастили, и если после Кузнецовской — еще более или менее широко, терпимо, то в бутылочном горле за Благодатной при теперешнем закрытом левом — вообще кошмар: работают всего два ряда. Причем в первом соломоны расположили автобусные и троллейбусные остановки, да еще, в конце, часть троллейбусов уходит направо, слышь да рядом не списываясь в стрелку, водители вылазят переставлять штанги вручную, одним словом — и в первый ряд соваться нечего, лучше медленно, но во втором. Так, вместе с потоком, мы втянулись в суженное горло квартала и где-то посередине встали. Капитально встали, как обездвиженные танки, вкопанные в оборону. Хочу сказать, что, наездивши по улицам города черт-те сколько километров, в такой пробке оказался всего лишь во второй раз. При том, что первый произошел буквально за несколько недель, в Троицу.

Тогда я был наказан за собственную глупость (она же — жадность): наслушавшись разговоров о якобы «хлебной» в этот день работе, выехал в утро. Действительно, воскресный город был свободен от грузовиков, народ повалил с ранья. «Сейчас, — думал, — повозим». Троица в тот год выдалась поздняя, май прошел теплый; стоял ясный, сине-зеленый июньский денек, самое-самое у нас время года. Было часов десять, солнце по причине белых ночей давно встало, припекало уже порядочно, когда я взял заказ — отвезти семью на Северное кладбище.

Известно, Троица у нас праздник особый. Его ждут, к нему готовятся загодя, не только как к поминальному дню со сбором, по возможности, всех окрест живущих родственников. Для оторванного уже не во втором-третьем поколении от естественного природного существования городского жителя Троицын день — обихаживание могил, посадка цветов, покраска оград, забытая работа лопатой и кистью на воздухе, на проснувшейся природе, будит

воспоминания глубинные, постарше самого христианства, заменяет собой праздник первой борозды или выхода на покос. Мужчина ровняет могилу или ладит скамейку, женщина сажает цветы или красит, дети носят воду в банках от дальней колонки — необременительный этот семейный труд и последующая надмогильная трапеза с умеренной чаркой вина под сенью распутившегося куста бузины, под переключку птах, в мелькании бабочек, в торжественном сиянии июньского дня, полного солнечных пятен на зелени и дорожках, эта тризна, где незримо присутствуют тени предков и покоящихся здесь, подле, и невесть где, трапеза, больше напоминающая не поминки, а общеродовой, уходящий в глубь времен стол на том месте, где, возможно, когда-нибудь положат и тебя, — все создает совершенно особую, отличную от иных дней года атмосферу.

Моими пассажирами оказалась семья: трое взрослых (два брата и жена одного из них) и девочка лет семи, дочка. В багажник загрузили цветочную рассаду, банку краски, армейскую саперную лопатку и пузатую сумку с провиантом. В сумке поменьше характерно звякнуло, я вынул ее из багажника и отдал старшему. Он посмотрел на меня удивленно, с раздражением. У пассажиров такое часто. Обижаятся от непонимания. «Хочешь добро довести или разбить?» — спросил я. Он понял, отошел взглядом, передал сумку жене. Та уже сидела с дочкой в машине. Я бросил окуроч, тоже сел, но братья ушли обратно в подъезд. «Еще что-нибудь?» — спросил я женщину. «Щас придут». Это «Щас» продолжалось минут пятнадцать. Я уже был как на иголках, начал заводиться, правда, вида пока не подавал. «Вот гады, — думал, — небось жрут заначку, с утра набросились». Тут они вышли... Господи, Твоя Святая Воля, они вывели, как выводят на солнечное лётное поле из глубин темного ангара дремавший там до поры аэростат, — старика, такого древнего, что, должно быть, им он приходился прадедом, а девочке — прапрадедом. От одного его вида хотелось встать. Гвардейски высокий, гораздо выше обоих, еле переставляя ноги, он, тем не менее, строго держал спину я, устремив взгляд поверх автомобиля, опираясь им на плечи, медленно шествовал от подъезда. «Куда же вы его?..» — непроизвольно обратился я к женщине и заткнулся, но мысль-то подлую не остановишь: «Куда они его, — подумал я. — Ведь обратно можно и не возить». «А что делать? — так же тихо откликнулась она. — Он всю зиму только об этом и говорил. Хочет навестить последний раз».

Мы усадили его на переднем сиденье, и всё оставшееся в поездке время, все наши последующие страсти и нервотрепки прошли мимо, не коснувшись его патриаршей сосредоточенности.

Ничто так не веселит мою душу, как уверенно-стремительная езда на хорошо отлаженном автомобиле, по сухой дороге, когда сам ты здоров и выспался, не напился накануне гадости. Машина послушна, не брякает, летит, — только шелестят шины по асфальту, да ветер врывается в форточку. Не знаю, как у других, для моего личного опыта ощущение от такой езды сопоставимо лишь с движением в парусной лодке на море и еще больше — на отцепленном от буксировщика планере. В воскресенье город пуст, отдан нам полностью. Грузовиков нет, частники с пятницы отвалили на дачи, гаишники в отгуле или там, на пригородных шоссе. У проспектов открылась их первоизданная суть — перспектива, светофоры рассчитываешь на три вперед и — летишь себе, даже ямы не мешают: память предупреждает, выдает, как из штурманского компьютера, их последовательность, да и видно далеко, так, что успеваешь где объехать, где — пустить меж колес. Словом, когда я, пронзив город, вышел с Поклонной на прямую Выборгского шоссе, настроение достигло верхней точки, петть хотелось.

Под железнодорожным мостом в Шувалово я поставил стрелку спидометра на 60, потому что здесь мог быть радар. Через сотню метров, поравнявшись с табло «ЛЕНИНГРАД», прибавил до восьмидесяти и, внутренне ликуя, взлетел на пригорок. Обычно с него открывается пространство до парголовского подъема, хорошо просматриваемая дорога, надо только проглядеть, нет ли ГАИ, и до развилки под горой можно спокойно шелестеть на любой скорости. Я собирался пойти сотню (быстрее с пассажирами принципиально не езжу), но вид, открывшийся внизу, так поразил, что не только не прибавил,

нога сама сбросила скорость. Впереди, метров на шестьсот, лежала обыкновенная серая лента шоссе, но дальше, за Т-образным перекрестком влево — на Каменку, отступив еще метров на двести, шоссе почти на всю ширину блестело на солнце лаковым желтым цветом. В первый миг это так и воспринялось — как цветовой удар, галлюцинация.

Должен сказать, на человека со здоровой в общем-то психикой всякие такие зрительные феномены, ввиду их необычайной редкости, действуют, возможно, похлеще, чем на слабонервного. У меня такое было еще дважды. Первый — в шестидесятых. Помню — был в отпуске, как раз его и отмечали, и недели полторы — выходить из дома у меня надобности не было. В магазин бегал шустрый Эдик, пельмени подносили гости... в общем, лишь где-то к концу второй недели, почувствовав не столько необходимость продышаться, сколько — проверить реальность внешнего мира, из-под арки собственного дома я вышел на Большую Подьяческую. Вышел, повернул налево, в сторону канала, навстречу возвышающемуся в перспективе нашей улицы, торчащему над крышами золотому куполу Исаакия, повернул и убедился: все как всегда, на месте, знакомое до мелочи, до каждого балкона, пятна на фасаде, до окон дальних домов; как вдруг, на том берегу, вламываясь в пейзаж, круша его, как при землетрясении, два кричаще-красных вагона трамвая, словно изгибающаяся гусеница, вползают в поворот с Фонарного на канал — с ФОНАРНОГО, то есть — НАОБОРОТ, там однопутка, и тридцать с гаком лет, с грудного возраста, по несколько раз ежедневно я видел движение слева направо, а тут, на тебе — СПРАВА. Это был натуральнейший сюр, словно в песочных часах песок стал бы пересыпаться снизу вверх. На какое-то время я перестал видеть улицу, только это медлительное, скрипящее красное пятно; покрывшись потом, мысленно продолжил направление его движения, оказался за Пряжкой, в известном Доме, раздвоенно-отчетливо понимая: так и сходят с ума. Только через время вспомнил, что уж с месяц дорожники готовили ремонт однопутки на Декабристов, а здесь должны были запустить по очереди в обе стороны.

Но это — дело ясное — с похмела. Вторично подобное было в начале восьмидесятых, при полном здравии. В самой глубине белой ночи, в первую разводку, когда сумерки максимально приближены к темноте, я свернул с Кирочной на Потемкинскую и, проехав Петра Лаврова, где-то у кинотеатра «Ленинград», перед носом, дотянись рукой, — увидел белоснежный борт трехпалубного красавца гэдээровской постройки. Тихо, как призрак, только топовые огни сияют, он скользил прямо по Воинова в сторону Смольного. Шок потому еще был велик, что, в отличие, скажем, от лежащего рядом проспекта Чернышевского, Невы с Потемкинской вообще не должна быть видна, она закрыта домом. Откуда мне было знать, что днем дом сломали, расчистили место под новостройку, так сказать — убрали декорацию, открыв задник сцены. Неверный свет сумерок, белый цвет и размеры корабля скрали расстояние, я четко видел его, плывущим по улице. Да, это понимаешь потом, через секунды шока.

Так и тут: через мгновение желтое перестало быть только цветом, уже не глаз, а мозг, сфокусировавшись, выявил суть. Занимая почти всю ширину шоссе, в четыре ряда, оставляя лишь узкий проезд встречному транспорту, загибалась под горой влево, в невидимую отсюда петлю перед железнодорожным переездом у станции Парголово длинная пробка машин, почти сплошь — такси. Мелькнула мысль — объехать слева, но — куда? Там — так плотно, что не воткнешься, да и навстречу идет спустившийся с горы автобус. Я встал в левый ряд. Когда через считанные минуты оглянулся — пробка сзади достигла перекрестка на Каменку. Потом — слева выстроился еще один ряд, наиболее нетерпеливы, хотя — куда уж больше, чем я? — они понастырничали, полезли, естественно — где-то впереди — застряли, ряд мгновенно протянулся во всю длину пробки. Мою машину заперли со всех сторон.

От духоты в ней невозможно было сидеть. Мы выходили курить, садились обратно, маялись. Редкие встречные автобусы ползли по краю кювета, накренившись до критического угла, а дальше, через поле, частили в город и обратно воскресные электрички, виновницы этого столпотворения. Железная

дорога — это государство в государстве, у нее свои законы, ей на всех наплевать. Стальная империя собирала в Троицу на этой ветке свой урожай. Они верно рассчитали: в те годы Северное было единственным местом массовых захоронений. Южное только начиналось, о Ковалевском еще и не говорили. Электрички шли с невиданной плотностью, переезд у станции, видимо, вообще не открывался. Во всяком случае, за те почти полтора часа, что мы простояли в пробке, машины не сдвинулись ни разу.

Я давно взял себя в руки, перестал дергаться, думать о плане и той невиданной «косьбе», что идет сейчас за переездом у счастливицков, прорвавшихся на ту сторону спозаранку. Для меня день был потерян, я смирился. Из других машин пассажиры выходили и отправлялись пешком, но мне с этим дедом такое не светило. Я думал: там, за полями, от Каменки к Парголовскому совхозу должна быть дорога. Когда-то я проехал по ней зимой, она так и казалась — зимником, но вполне может быть полевой дорогой и летом. Через переезд на Каменку, очевидно, проскочить будет легче. Я изложил этот план своим пассажирам, предупредив, что наверняка дорогу не знаю. Все задумались. И тут дед, который, несмотря на пекло в раскаленной машине сидел все также прямо, не промолвив за все время ни слова — безучастная мумия, с изжелта-восковым, без капельки пота лицом — принял решение, проговорив: «Шувалово». Я не понял, но женщина живо подхватила: «Поехали к Шуваловскому, у нас там есть родственники». И потому, как они все облегченно вздохнули, задвигались, стало ясно: они давно думают об этом, но решать должен был он, патриарх. Минут пятнадцать, выкорабкиваясь по миллиметру, вылезал я из железного стада, задом сдал до развилки, а уже через минуту высаживал их у входа в Шуваловское кладбище. Между прочим, хвост пробки к этому времени виднелся далеко за железнодорожным мостом, в черте города.

...Теперь, стоя на Московском, я казнил себя, что, имея тот опыт, — поспешил, опять полез в пробку. Надо было и тогда, на Выборгском, и сейчас — постоять спокойно в отдалении, подумать. Это последнее дело: залезать в толпу, в стадо, мне ли этого не знать, принципиальному индивидуалисту, одинокому «ночному волку». Как тогда — и теперь — выход-то есть. Вон он, выход: справа за этим идиотским чахлым бульварчиком — узкий, на одну машину — придомовой проезд. По нему изредка, с интервалом в две-три минуты проскакивали более сообразительные мои коллеги. Всего-то делов было: свернуть на Благодатную, оттуда — с разворотом в обратном направлении, под светофором нырнуть направо в эту забытую щель. Сейчас были бы уже в центре.

Но еще обиднее было ощущать левым боком лишь на расстоянии вытянутой руки — вымершее за белой гранью сплошной осевой пространство запретного ряда. По нему за все время проскочили порознь две машины с обкомовскими номерами — пустые, праздные, а теперь в сторону головы пробки шел неспешно милиционер. Кто-то сказал ему вдогонку: «Начальник, пропусти нас, все равно никто не едет». Мент оглянулся, погрозил полосатой палкой-жезлом и, чуть ускорив шаг, продолжил свое движение. Отсюда, из-за машин, не было видно, в чем там дело. По всему, кто-то заглох на перекрестке, очевидно, кто-то длинный, автобус или грузовик — в повороте со встречной полосы на Решетникова — так, что перегородил дорогу. Теперь жди, когда его уберут.

Наша работа — не та, что возить «хозяина». Про таксера не скажешь: «солдат спит — служба идет». Здесь другой принцип: «волка ноги кормят». Всякая задержка: поломка ли, спущенное ли колесо — выбивает из ритма, а уж беспомощная бездельность — попросту угнетает. Так удачно пошедшая смена явно начинала заваливаться: хотя пассажирам копеечки и тикали, для плана счетчик работал — почитай вхолостую. От сознания своей ошибки дергало и все уплотнявшееся движение — там, за бульварчиком, в придомовом ряду. На девчонку — плевать, а перед вот-вот поймушим мой промах мужчиной было стыдно. Конечно, с формальной стороны — говорить не о чем, какая моя вина? Но себя не обманешь: с точки зрения высшего профессионализма лицо я потерял. Тем более, что сам теперь видел и еще

одну упущенную возможность: проехать от Благодатной до Решетникова дворами, потом, всего метров сто, по Решетникова — против одностороннего, и — под «кирпич», с правым поворотом — на Московский. Какой бы гаишник сейчас в этой свалке заметил, а и углядев — остановил?

В общем, я чувствовал себя погано. Был, между прочим, вариант, так любимый популярными нашими авторами прозы и сценариев, пишущих о моей работе: повести себя, как их герой, этакий разбитной рубаха-парень, якобы — из народа: заговорить, заболтать, одним словом — отвлечь пассажиров.

Я сделал наоборот.

— Вот что, — сказал, — это надолго. Туда, — показал на проезд вдоль домов, — нам уже не попасть. До метро же — два шага. Может, пересядете?

— Это еще зачем? — обиделась девушка. — В метро я сразу могла!

— Мне и вовсе не с руки, — сказал мужчина.

— Ладно, подождем. Тогда вы запомните кассу, я пока счетчик выключу.

— Не надо, — сказал мужчина. — Ты тут ни при чем.

— При чем: вон, где надо было ехать, — я опять ткнул вправо.

— Да разве в этом дело, — сказал он, заводясь, — ты лучше оглядись, прикинь — сколько нас из-за одного... — он запнулся, глянул на девушку, смягчил слово, но не удержался, смягчил не до конца, — из-за одного самодура, сколько здесь загорает?

— Да, — начал было я свое, — если сосчитать, да помножить на простой...

Но тут меня перебила барышня.

— Поразительно, — вставила она, — как странно вы оба рассуждаете! Не могу поверить, что за случайным личным неудобством вам не разглядеть главного. Ответьте, как, по-вашему, мы, люди цивилизованные, должны встречать гостей?

— Каких гостей?! — аж охнул пассажир. — При чем здесь?..

Но мадемуазель не позволила себя перебить. Развернувшись на переднем сиденье боком так, что из-под мини стали замечательно смотреться ее вызывающие, очень, доложу вам, не по-детски рабочие ноги, она выставила свой указательный пальчик и в течение последующих минут пятнадцати разъясняла двум старым пердунам, просветляла непроходимую нашу дремучесть. Это было нечто среднее между лекцией и политинформацией. Она вещала свой текст с тем дидактически правильным упорством, что присуще большинству поводырей-наставников макаренковской выучки — от детского сада до армейского политрука, до воспитателя на «зоне». В этом ряду ее роль соответствовала, пожалуй, должности старшей пионервожатой, обучающей двух нашкодивших пятиклассников. Несмотря на вызванное этой идиотской пробкой безусловное раздражение пассажира, а мою, прямо скажу — злобу, комизм ситуации был очевиден. Он усиливался еще и тем, что, хотя возрастная разница была значительной, вполне укладываясь в соотношение отца — дочери, в то же время и как любовница наше золотце годилась обоим. Не знаю уж, как ему, но мне, греховоднику, это перло в глаза: начиная с того чудного телодвижения ее хорошенькое личико становилось все более отчетливо сексуальным, явно сублимируя, она впадала в нешуточный раж, по всему виду — девка наша была боевая. Вдобавок, не пойму — из какого комсомольского хедера она это вынесла, ее речь была не просто насыщена, иной раз — целыми периодами состояла из абсолютно ныне немислимых не только в бытовом разговоре, но и в публичном выступлении, архаичных приемов риторики. Всякие там — «позвольте заметить», «надобно сказать», «извольте понимать» — сыпались из нее, как горох, производя у меня одновременно и комическое, но — странным образом — и физиологическое ощущение. При чем это последнее, пока — туманно, каким-то образом было связано с моим личным эротическим опытом. В замешательстве я не мог понять, что бы это значило, уже отнес было свое состояние на счет чудно, на глазах распускавшегося бутона прелестей нашей ораторши, как вдруг она — не важно почему — ввернула очередной риторический вопросик, и я вспомнил...

...Та, невесть откуда явившаяся в нашу компанию девица тоже поразила всех. Поначалу она употребила новенькое словосочетание, перл жеманности. «Разрешите споловинить», — сказала она, и компания оживилась, оценила,

приняла новенькую, тем более, что никто «половинить» и не думал. (Ага, вспомнил: мы свалили с вечера в Академии, компания была в основном из графической мастерской, а девица — чужой, кажется, уведенной от скульпторов натурщицей.) Дальше — больше. Она употребляла «никоим образом» и «позвольте обратить ваше внимание», компания обращала, веселилась, но всеобщий восторг вызвал ее довольно-таки продолжительный монолог, умело вставленный в момент редкой паузы, собственно даже — не весь монолог, а вот это самое риторическое его окончание: «Не так ли?». «Не так ли?» — спросила она и обвела всех взглядом своих прекрасных, невинно-распахнутых глаз.

Уверен: Сережа В., общепризнанный стилист, клянул не на воловьих этих глазах, не на фигуру скульптурной модели. Ну, не совсем, не слепым же был Сережа, но для него в тот момент предстоящей атаки — это было вторичным. Рыбаку, ему сейчас важна была не золотистость рыбки, замечательно, что она — говорящая. Он приманил ее встречным разговором, обвинил и запеленал от посторонних в углу, а как выяснилось на следующий день — и «подсёк», уволок в свою берлогу.

Да, на следующий день мы с Левкой Поляковым сидели у него дома, предаваясь праздности, когда явился В. в состоянии — даже для него, перманентно слабоуравновешенного — крайнем. Он ходил по комнате кругами, садился и вскакивал, по-журавлиному наклонялся, разглядывая что-то на пустом столе. Чувствовалось: он потрясен, его распирает, только — что? Замечу: он знал, мы не любители подробностей.

— В чем дело, Сережа? — подмигнув мне, наконец спросил Поляков. — Она тебя переговорила?

— Наоборот, молчала. Это она делает молча.

— Ну, и что особенного?

— Да нет, понимаете, одну фразу она все-таки сказала. В жизни не угадаете — какую!

— Давай, не тяни.

— Понимаете... — Тут его передернуло, но, справившись, он произнес откровенно, как проговаривается авторская ремарка на читке пьесы: — Она сказала: «Я заканчиваю». Заканчиваю — какво?!

Так что — это не совсем из моего личного сексуального опыта, хотя не много требуется воображения, чтобы представить и включить в него: размеренную работу, долготерпеливое напряжение в тишине, во всяком случае — в том понимании тишины, что подразумевает отсутствие речевого общения; всякие там скрипы, всхлипы и прочие вздохи, даже вероятные звуки приглушенной музыки — здесь естественным образом входят в понятие тишины как безмолвия. И — вдруг, словно щелчок репродуктора на стадионе с последующим нарочито-безразличным голосом диктора: «Пошла последняя минута игры»; но ведь сказано — не диктором, постель, хоть и ристалище, все ж — не стадион, да и сегодняшней поединком подразумевает двоих, а тут выясняется — партнерша приберегла где-то третьего, соглядатая — комментатора с машинным голосом, лишенным обертонов, и — вот-те, здрасьте: «Я заканчиваю».

Однако для Сережи эта сторона дела, хотя и существенна, но по высшему счету — вторична. Его душа относительно спокойно пережила бы эпизод как таковой. Ужасным, нетерпимым, безусловно главным было невозможное для его абсолютного слуха, само это слово — «заканчиваю».

Боюсь, нынче не всяк и поймет, о чем речь. Слишком уж распространился наш советский новояз, до того, в частности, что целый ряд глаголов стал как бы неупотребляем. Слышите, уже не говорят «садитесь», но непременно — «присядьте». Всю конструкцию извернут, убегая обыкновенного «кладите». На что простенькое «скажите» (скажите, который час?) — поголовно всеми заместилось манерным «не подскажите?». Что за «подскажите», ядрена вошь! Мы что — до сих пор в школе? Законы жаргонов: казарм, лагерей, общаг переселенцев-лимитчиков, а всего плоше — студентов, будущих выпускников замечательных наших академий, интеллигентов-полуобразованцев, эти законы табуируют слова и понятия, корёжат «великий и могучий».

Думается, в знаменитой сцене на Съезде, когда выпускник юрфака МГУ, словно попка, повторял свое «присядьте» выпускнику физфака, тот его

попросту не слышал. Между прочим, Андрей Дмитриевич всем нам преподавал урок: не должно русскому человеку опускаться до лагерной фени; если Михаилу Сергеевичу угодно пользоваться жаргоном пахана — извольте, я вас не слышу! Но не впрок нам уроки, и ужасно, но сам видел во время трансляции сессии ВС, когда один из ораторов употребил этот злополучный, но вполне из нормативной лексики глагол «кончаю» («Кончат свое выступление», — сказал он), — чуть ли не ползала передернулось.

...К Сереже. Неудачник, он выловил не по-человечески говорящую золотую рыбку, а слегка экстравагантную сороку, бойко залетевшую в невский заповедник из зоны табуированной речи. Эстету оставалось одно: перевести казус в плоскость юмора.

Теперь, через годы, после риторического «Не так ли?» моей пассажирки-«пионервожатой» я вспомнил тот давнишний эпизод и невольно рассмеялся. Естественно — нехстати. Она, словно на бегу, споткнулась, посмотрела на меня растерянно, даже жалко стало: из-под маски назидательной училки выглянула детская беспомощность.

— Простите, — сказал я искренне. — Не обращайтесь, я совсем о другом.

— Где уж — «так», — вставил, как крикнул, до сих пор не перебивавший ее мужчина. — Даже если принять вашу версию о гостеприимстве, хотя — какое это гостеприимство? Натуральное низкопоклонство и холопство! Но даже так, концы не сходятся, потому что, милая моя, мы же не дети, не стоит теми гостями загораживаться, понимаем, для кого это сделано. Вот — не так ли?

— Что ж, — внезапно согласилась девушка, — значит, МЫ будем ездить там, — она, не глядя, ткнула пальцем влево, — а ВЫ — здесь.

Меня не так поразили ее слова, эти интонационно подчеркнутые «мы» и «вы», даже не то, что какая-то соплюха, видимо едва прикоснувшись к кругу «избранных», одной репликой выразила всю их идеологию, меня убила вновь случившаяся с ней метаморфоза. Она села прямо, собранно; глядела вперед, всем видом показывая надменное отчуждение.

Я давно догадался, что эти двое — разные, случайные попутчики, так называемая «посадка по договоренности между пассажирами», и боялся, что мужчина не сдержится. Имелся уже опыт, когда трое, как потом оказалось — разных, сев в машину и оживленно продолжая начатый еще на стоянке разговор, дошли в дороге до драки, так что пришлось останавливаться, чтобы их унять. Здесь, разумеется, такого случиться не могло, но и перебранка была ни к чему. Пассажир, однако, умолк. Не выдержал я сам.

— Ну, — сказал, — пока что и вы, и мы — стоим.

Фраза повисла в пустоте, моя язвительность осталась без внимания. Сидение в замкнутом пространстве, в атмосфере отчужденного молчания было не очень-то приятным, тем паче — теперь — поговорить нашлось бы о чем, но, к счастью, машины впереди тронулись, пробка стала рассасываться. Переползя перекресток с Решетникова, я занялся делом, опять зашустрил; через короткое время, не доезжая Сенного рынка, девушка сказала: «Здесь», и я остановил машину.

Тут-то и произошел мелкий, но весьма характерный, неприятный для любого водителя такси, эпизод. Момент оплаты — вообще в нашем промысле ключевой — нередко становится напряженным. Слава Богу — не всегда, не хватало еще по тридцать раз на дню впадать в крайности, но, однако, частенько бывает, что именно здесь, в точке диаметального расхождения наших с пассажиром интересов, раскрываются характеры. Вы можете не верить, но существует, скажем, не такая уж редкая категория оригиналов, которые, сев в машину, издавека-исподволь начинают напрягать атмосферу придирками, дурацкими советами, бывает — откровенным хамством, словом, нарываються на скандал с единственной целью: чтобы в конце пути произнести, как они думают — обоснованно, сакраментальную для всей их породы фразу: «Я хотел тебе заплатить столько-то (сумма называется немислимая), всегда всем так плачу, но теперь — давай сдачу до копейки». Это напоминает анекдот, когда за ломберным столом, уже под утро, проигрывающий жмот, в

надежде уйти от расплаты хотя бы ценой драки и мордобоя, начинает хамить, говорить что-то вроде: «А тебе, брат, везет... Ты, наверное, в детстве говно ел?», — «Конечно, ел», — отвечает в анекдоте выигрывающий, смеясь про себя, равно как в жизни — мы, опытные водители. Но, вообще-то, веселья здесь чуть. Думаешь: «Стоило тебе огород городить, нервы трепать... Нужны мне твои сраные деньги, я ж тебя, судорогу, с порога разглядел и понял. Эх, — еще думаешь, — попался бы ты не на работе, где у меня номера спереди, сзади и на торпедо, где начальство сожрет за жалобу; похамил бы на десять процентов сегодняшнего где-нибудь в пивной, допустим...»

Да ладно... Начал я о том, что девушка протянула мне трешку и сидела в ожидании сдачи. Меж тем, на счетчике было уже три с чем-то. Мы ведь довольно долго стояли, денежки капали. Ага, чтобы разъяснить ситуацию, вижу — опять придется отвлечься.

Значит, популярно — таким образом. Как бы глупо с точки зрения здравого смысла это ни выглядело, посадка разных пассажиров запрещена. Она уничижительно именуется «подсадкой», строжайше преследуется и карается службой КРО, которая, к слову сказать, в основном с этого и кормится. Но для одного случая есть исключение. Как раз того, что и происходил у меня на сей раз: этой самой «посадки по предварительной договоренности между пассажирами». Причем заметьте: мне никто ничего не сказал, я мог догадываться, а мог — и нет, словом — думай, как хочешь. А это существенно именно в момент расплаты за проезд. Дело в том, что правила допускают два варианта. При одном — первый пассажир, доезжая до места, оплачивает все полностью, я обязан переключить счетчик и везти следующего — уже как бы отсюда. Абсурд полный. Можно привезти двоих разных из Гатчины на Гражданку, первый оплатит полтора червонца, второй, завернув за угол, — тридцать копеек. Есть вариант справедливый. Поскольку люди сговорились между собой, они сами складываются и последний рассчитывается за всех. Естественно, нам, водителям, такое не по душе. Хотелось бы, чтоб каждый платил особо, и желательно — полностью, но уж тут — ничего не поделаешь, как получится: все зависит от степени совестливости или, если угодно, наглости, их и твоей.

Ну, по поводу таксерской наглости говорить, думаю, не стоит. Всякий сталкивается с нею. Мне не трудно быть объективным потому хотя бы, что не всегда же сам сижу за рулем, бываю и пассажиром. Более того: как всякий шофер, не терплю общественного транспорта, смею думать — пользуюсь такси чаще среднестатистического горожанина и, естественно, имею собственный отрицательный опыт. В доказательство мог бы рассказать здесь пару историй, хотя бы, как меня, ни за что ни про что, едва только севшего в машину, что называется — с порога, таксер сдал в милицию. Или — другую, когда от вышедшего на три минуты — позвонить по телефону — уехал, вместе с оставленной в залог сумкой, молодой да ранний мерзавец из восьмого парка. Укатил, подонок, заметьте — в десять вечера, когда лабазы уже закрыты, а в сумке-то были: пара бутылок коньяка, шампанское — жене хозяина, куда ехал, да ценные по зимнему времени фрукты... Могу вспоминать и еще, особо хотелось бы разобрать первую, с милицией, она — вся на психологии, однако, не стану уводить рассказ, потому что к нашей теме тут ляжет другое.

Все это — к затронутому деликатнейшему вопросу расчетов.

Мое мнение: если исключить случаи чисто криминальные, вроде эпизода с увезенной у меня сумкой, о которых и говорить нечего, разница вора просто с вором за рулем такси — лишь в степени обиды, потому что ты ему по-человечески доверился, а само такси здесь ни при чем, вор, он и в Африке — вор; и если водитель делает свое дело грамотно, доброжелательно, главное — с пользой для тебя, то у него есть моральное право брать эти распроклятые «лишние» деньги: чаевые (что — мизер) и «подсадочные».

Знаю, немало людей назовут мои рассуждения философией хапуги из сферы обслуживания. Но пусть чистоплотно-брезгливые критики возьмут в толк хоть бы то обстоятельство, что государство, дав шоферу таксомотор (между прочим, доверив ему — таким образом — вашу жизнь и здоровье), почти

полностью устранилось от мелочи: снабжения собственных предприятий запчастями. Что это — не семечки, знает каждый автомобилист. Займешь машину — даже не полдела, четверть. Траты и головная боль начинаются потом.

А теперь назовите мне завод, где рабочий ремонтирует станок непосредственно из личного кармана. Нет такого? Но коли домны и конвейеры держатся в рабочем состоянии другим способом, нежели таксомоторы, то взглянем из другого угла и увидим, что так называемая зарплата, ничтожная, как и у большинства сограждан, в таксерском случае становится вообще чисто символической, и следует считать ею все: и госпособие, и «чаевые», и прочие «левые» деньги. Потому что — хорошо это или плохо — таково изначально заданное правило игры. Я уже упоминал: в стране поголовного коллективизма таксеров выпустили в некую условно обозначенную зону как бы частного предпринимательства. Слова «некую», «как бы», «условно» — не случайны. Хотя территорию загона обнесли почти зрительно замечаемыми красными флажками, внутри — правила не были четко обозначены, большинство их нигде не фиксировалось, только подразумевалось. Я, естественно, имею в виду не «Правила пользования таксомоторами», развешенные по стоянкам, не должностную инструкцию шофера; говорю здесь о законах и нормах, так сказать — внутреннего пользования, по которым жили, столь таинственных, что не сообщались даже поступающему на работу, и новичок должен был проходить школу сам. Безусловным оговаривалось одно: выручку сдай в кассу. Остальное — мыслимо перечесть остальное? — поймешь на ходу.

В таком качестве — живущих не как все — по стране мы были редки, но и не одиноки. Где-то мыли золото старательские артели, уходили в моря, на каторжный свой труд, странные нормальному обывателю пахари — китобои и рыбаки, строили — с невообразимым коэффициентом отдачи — сезонники-шабашники. Все категории «вольнотпущенников», грубо говоря, объединялись тремя постоянно присутствовавшими признаками: свободным поиском объекта труда, неизмеримо тяжелой, сверх светового дня — самой работой с относительно высоким по сравнению с остальными согражданами доходом и — непрестанной, сплошь и рядом — провокационной, всегда враждебной — подозрительностью властей, то и дело переходящей в открытую травлю. Хозяев бесила мысль, что кого-то пришлось выпустить из строя. Нас выставляли белыми воронами, родимыми пятнами, хапугами, «забывая» открыто пояснить всем шагающим в ногу, что проклятые альбиносы яички несут, между прочим — золотые. А уж в этом — будьте уверены. Кто, к примеру, кроме специалистов, знал — с чьих таких доходов поддерживается в городе система автобусного транспорта? Да кого это вообще интересовало? Но стоило такси перестать отдавать свою прибыль в объединенное с автобусниками Управление — куда нынче подевались десятки маршрутов?

Так вот, даже по сравнению с иными «вольнотпущенниками», с таксерами государство поступало особенно мерзко. Смотрите: рыбак тянет свое серебро в океане, старатель моет песок за тысячи верст, в пустынях Севера и Дальнего востока, то есть, хочу сказать — в обезличке. И в том смысле, что в дальних даях, что искомый продукт производят из моря, тундры и скал (все одно, что из воздуха), но прежде всего — потому что — без нас.

Человеческая натура так устроена, что воспринимает природные явления прямо пропорционально их масштабу, но в еще большей степени — обратно — своему от них удалению. Для петербуржца, одно дело — землетрясение в Индонезии, другое — в Крыму, совсем иное — в Финском заливе. (Одно, правда, прошло как-то непонятым; силы не было, да и многие не знают, что живем на рифтовом разломе.) А потому и действие основополагающего закона Ломоносова — Лавуазье: «Что убудет, то прибудет» — в дальних случаях — нас не касается. Мы и рыбу эту не очень-то видим, а уж золото... Словом, нам «до лампочки» — сколько, чего они достанут, каким макаром «родное» их оберет.

Совсем по-другому, когда закон этот напрямую касается нашего кармана. Становится резко безразлична убыль.

Специфика работы поставила таксера добывать не полуабстрактные морепродукты, а субстанцию, с точки зрения любого человека с древнейших

времен близкую, до слез — любимую, родственную, до нежности — свою. ДЕНЬГИ! И не на ветрах океана, не в дебрях тайги, а в твоём, конкретно твоём кармане.

Государство же — молча, тихой сапой — так скорректировало эту специфику: постоянно, год от года все жестче оно усиливало давление на нас увеличением плана, регулярной недодачей бензина и масла, периодами — до полугода — отсутствием резины, а в целом — снабжением по так называемому «остаточному принципу». То есть, оставляя лицом к лицу с пассажиром, создало за нашей спиной вакуум, куда насосом качалась большая часть добытых денежек. Так мы, кроме непосредственной работы, отнюдь не по своей воле стали еще и мытарями, сборщиками не нами выдуманного абиссинского налога. Объяснить суть дела честно — у хозяев, как всегда, пороку не хватило, но и этого им было мало: подставив нас, государство еще и периодически — через прессу и ТВ — натравливало замороченных клиентов, выдавая себя за сплошную невинность, а водителей — поголовными бандитами с большой дороги. Государство как бы выдавало гражданам индульгенцию: «Раз они такое дерьмо, почему нельзя ответить?» И — пожалуйста: нет таксера, у кого бы из салона не крали — шапку, перчатки, куртку. Нет такого, от кого бы не «сваливали», не сбегали, не расплатившись под разным предлогом. Причем — многократно. Явление распространено гораздо больше, чем вы себе представляете, и порой диву даешься, кто — общее правило — лучше одет, тем вероятней: молодые женщины (ну, понятно) и словоохотливые, доброжелательные джентльмены. Простой люд — очень редко.

За четверть века у меня, кажется, — единственная старушка, сама настоявшая оставить в залог, хотя и не просил, сетку-авоську, как выяснилось через сорок минут бесполезного ожидания — с завернутым в аккуратную бумагу булжником. Мне даже жаль ее стало; не пятеру, что она наездила, хотя тогда это были деньги, не время потерянное — ее. Как представил эти сборы: заворачивание в бумагу каменюги, выбор авоськи — довоенной, дырявой, поплосше... Помню — еще пытался оправдать старушку, подумал: может, булжник нужен ей для капустного гнета, очень он был чистый, похожий на гнет, я даже еще постоял минут несколько, а потом дошло — по весне капусту не квасят, да и отстоял уже минут за пятьдесят. Но верите: сколько лет прошло — я ее помню. И все думаю: что, если она ушла тогда, а там ей худо стало?

Я мог бы долго рассказывать чрезвычайно занятные эпизоды про эту породу жуликов, среди них встречаются подлинны артисты... Но сюда ляжет другое. Нет, сначала — вот что.

Если кто-то из граждан воображает, что самыми осведомленными обо всех их делишках являются сотрудники «органов», то они шибко-сильно ошибаются. Не стану приводить доводы и резоны, но поверьте: самые знающие — слуги, люди из сферы обслуживания. А уж из них таксеры — наипервейше.

Официант знает все о своих постоянных клиентах (и многое — о случайных), водитель троллейбуса — карманников и зайцев своего маршрута, милиционер — проституток, котов, водочных торговцев, шпану в своем участке, рыночники — местных барыг, перекупщиков... И все-то они, те и другие, знающие каждый свое, плюс цыганки, торгующие по квартирам «заряженным» медом, плюс рабочие и итээровцы оборонных «ящиков», еще — партийные номенклатурщики, в подпитии отпустившие своих стукачей-шоферов, сами эти стукачи, и известные актеры, и академики, а порой (случается и такое!) — даже неболтливые наши офицеры КГБ — все-все-все, рано или поздно, сядут к тебе в такси и тут, будьте уверены, — выдадут, иногда сами не ощущая, порой — молчаньем, хотя такое и редко, — выложат, как миленькие, свою долю информации, а уж таксер, добавив ее к собственному знанию-видению, оставит что-то себе, но и — как пчела взятки — что-то отнесет в общий улей: не на Литейный, конечно (это оттуда к нам прибегут, когда засвербит), а в наш собственный, внутреннего пользования информационный центр, начиная с диспетчерской, где во время подсчета выручки происходит первоначальный обмен сегодняшними происшествиями, позже — в места окончательного разбора, уже с бутылкой на двоих-троих, как-то: в

ночную столовую, в зону ТО-2 и, конечно, в более задушевную атмосферу домашнего общения. Повсюду большая часть разговоров сводится к этому. Притом — учтите: каждый из нас делает ежедневно минимум около трехсот километров по городу, а вместе, словно муравьи вокруг муравейника, испапываем вдоль и поперек всю, до последнего двора и закоулка, его территорию. Картина получается объемная.

Так что, вы понимаете: всякий особый случай не может избежать нашего коллективного внимания.

И вот, стало быть, как-то прошел слух, что на стоянке на Театральной объявился субчик, собирающий попутных ему пассажиров. Ничего бы удивительного в том не было, такое каждодневно происходит десятками в разных концах города, кабы не сумма одинаково повторяющихся обстоятельств, иначе говоря — система. Время — театральный разъезд, место — от стоянки на углу Глинки, у булочной, — в Купчино, но главное — одна и та же манера поведения. Обычно — как? Если человек один и хочет посадить, он либо предложит тебе, либо, открыв дверь, скажет в толпу: «В Дачное», — к примеру. Да и говорить не надо, сами подбегут, спросят. Вокруг машины в такой момент всегда происходит людское завихрение. А тут — нет. Садятся чинно, полный комплект, а уже в Купчино — развозятся по местам, и последним — обязательно этот, организатор. Причем у него, как у офицера, всегда есть мелочь, рассчитывается до копейки.

(Купчинские, вообще говоря, — странный народ. Как нерусские. Как они там собрались — не пойму, или воздух другой, но всегда, ну — абсолютно, кричишь, к примеру: «Кому на Гражданку, или там — на Васильевский, или на Комендантский?!» — нормальные все молчат: дачники, правый берег, даже попутные петроградцы — не дернутся. Этот обязательно выпендрится: «А в Купчино?» И такова постоянность дурацкого вопроса, будто один и тот же чучует по стоянкам. Приглядишься — разные. Думал, может, — приезжий? Интереса ради спрашиваю: «Через Гражданку поедешь?» Смеется. Понимает, значит.)

Вы-то сообразили, что там, на Театральной, происходило?

С регулярностью строительной бабы, забивающей сваи, некто являлся ежевечерне, как на работу, на стоянку. Слово пронырливый аэропортовский таксер-подборщик, находил себе двоих, лучше — троих попутчиков, у каждого узнавал адрес, а главное — брал деньги. Дальше — просто. В машину садилась компания, и уже в Купчино — барин командовал. Сам выходил последним, сжимая в потном кулаке вырубку. По нашим подсчетам, у него зарплата молодого специалиста в месяц набегала. Это — не считая дармового проезда.

Меня потому эта история заинтересовала, что я его вроде возил. Помнится, посмеялся: больно уж тип плутоватый, Зоценке бы о таком рассказать. Да, я что-то забылся, не спросил адрес после посадки, а в Купчино мне их выдали целых три, да не сразу, а последовательно, притом с такой вывернутой логикой, по какой сам бы никогда не поехал, и в результате, отвезя дальних, мы вернулись к самой невыгодной для меня позиции: обратно в спальный район ехать глупо, а до города — поле.

Стал ребят спрашивать — одного, другого... Наконец, нашел. Точно — он! Выходит у дома 5 по Будапештской.

Насчет памяти и наблюдательности у наших — прилично. Порядочный таксер, если сосредоточится, может перебрать всех пассажиров за несколько дней. Когда я еще на курсах учился, инструктор вождения, золотой человек, Женя Волков, наставлял: «Шофер должен видеть все: пешеходов, светофоры, встречный-поперечный транспорт, а в руках вора, вытаскивающего из кармана зевачки на противоположной стороне улицы деньги, обязан различать достоинство купюр». Лет пятнадцать это казалось мне цветастой гиперболой, покуда, сворачивая как-то вечером, уже при фонарном свете, с Литейного на Пестеля, не увидел приготовленную для ремонта, уложенную вдоль тротуара трубу, а в той — чуть изогнуто, словно рыбка камбала — четвертак. Не могу передать, как я ему обрадовался! Казалось, единственное, чего в тот миг

недоставало, — чтобы Женя опять сидел рядом, чтоб увидел он: водила из меня получился...

Но и то правда, что бумажка, достоинством в двадцать пять рублей, бесценная в первый момент как символ, являлась еще и суммарным эквивалентом дневного заработка; в любом качестве ее следовало подобрать. Ан — нет в жизни счастья! Во всяком случае — полного. Не в том только дело, что рядом не оказалось не то что Волкова, вообще никакого свидетеля триумфа моей наблюдательности. И не в том, что... Полного счастья не может быть оттого, что Тот, Кто нами управляет, почему-то этого не терпит. Он показывает это ежеминутно и особенно любит сыграть свой блиц с такими, как я, возомнившими.

Углядев четвертак боковым зрением в правом повороте, я повернул еще круче и криво остановился против жерла трубы. Два шофера, недоумевая, чертыхаясь, объехали слева. Улица казалась пустой. Четвертак лежал в двух шагах, красивый, как гриб подосиновик. И пока я, как питон, гипнотизировал добычу, как кобра, раздувал мешок собственной гордости, пока, как денди из ложи, с водительского сиденья лорнировал красотку в партере, одинокий ханыга из местных, томившийся у известного заведения «Под шарами» в ожидании, кто бы ему поставил, обостренным чутьем иссушенного в панельной пустыне мученика обратил внимание на криво остановившуюся машину, проследил направление моего взгляда, сиявшего малиновым цветом, как прицельный луч лазера, кинулся, схватил и мигом исчез за заветной потной дверью.

Словом, я был уверен: ловкача с Театральной — узнаю.

Но вот ведь что интересно: решив изловить его, я внезапно для себя обнаружил, что, оказывается, терпеть не могу ездить на эту стоянку. Даже когда вокруг нет работы — объезжаю ее стороной. Бывает — откроешь в себе что-то такое — сам задумаешься: черт подери, в чем дело? Ну, посудите: всю жизнь я живу отсюда — в трехстах метрах. Театральная — с малолетства — один из ее эпицентров. Порой мнится вообще невозможное: будто помню, как вместе с другими шкетами полировал красногранитные крылья памятника Глинке — еще там, на старом месте. Потом, когда снарядом отколело угол школы на Вознесенском, семь лет ходил мимо, в бывшую гимназию Человеколюбивого общества — на Крюков. Сюда, в Консерваторию, где в сороковых в Большом зале катали трофейные фильмы, — на весь день сбегал с уроков. (Очень там было удобно между сеансами прятаться от билетерш за колоннами.) С остановки 33-го трамвая у аптеки, которую все окрестные жители про себя зовут «блоковской» («Ночь, ледяная рябь канала...») — это ведь на Офицерской, больше — негде), отсюда тысячекратно ездил в другой топографический центр детства — на Динамо. Став студентом, опять ходил через Театральную, полтора километра туда-сюда, Подъячская — Декабристов, 35.

Здесь, на этом пути, памятным зимним утром 13 января 53-го, пасмурным и промозглым, из тех, чисто питерских, что, так и не набрав силы стать днем, переползают часа через три в вечерний сумрак, идучи из института после первой пары — пересидеть дома большое окно, тут, сразу за аптекой, у углового с Глинкой дома, натолкнулся я на две подковы человеческих спин, напряженно загораживавших газетные щиты, что висели меж полуподвальных витрин продуктового магазина. Я был молод, двадцать с половиной, но жизнь учила, понимал: так и столько — не каждый день, что-то стряслось. Остановившись, я ввернулся в толпу, стал читать, прыгая через строчки, перечитывая снова и снова, уже — лишь фамилии, потому что в голове не укладывалось поверить в возможность самой публикации такого их ряда, в таком контексте. Что-то несомнимое с жизнью было в этом СООБЩЕНИИ, что-то из учебника психиатрии; настолько, что бросалось сразу: не текст, а сплошная шифрограмма.

Тишина стояла абсолютная. Будто звукоизолирующим колпаком накрыло — отъехала площадь, затих город. Оттуда не проникало ни звука, только здесь, внутри, пульсирующим эхом слышался сбоку женский шепот: *Вовси, Виноградов, Коганы... Этингер, Гринштейн, врач-терапевт Майоров... Так, в*

первые дни войны, из раструба громкоговорителя на углу Подъяческой и Римского-Корсакова падали имена городов.

Я стал выбираться из толпы и уже на самом краю столкнулся с высокой женщиной. Из-за лица запомнил. С него, что называется, кровь отхлынула, и на совершенно белом, показавшемся — тем более вблизи — плоским, как лист бумаги, этом лице — лишь два прищуренных серых глаза, люто глядевших поверх голов в сторону газеты, но, конечно, — сквозь и мимо, в только ими различаемую даль. Честно сказать, мне даже неловко стало: проталкивался задом, тут — развернулся, как нарочно, и — словно в окошко подглядел чужое. Обойти ее было невозможно. Я что-то пробормотал, она очнулась, глянула сверху, заметила. Лицо дернулось, попыталось улыбнуться, стало еще страшней. «Господи, — сказала она мне одними губами, — Виноградов, Вовси — какие люди!»

В отличие от нее, я не очень представлял, какие это люди, да и в тот момент — не так уж было важно. Потому что со мной самим происходило что-то непонятное, что-то вызревало там, внутри, — мгновенно, болезненно, как ожог или какая-то ураганная инфекция. Теперь нужно было уйти, побыть одному, разобраться, что же случилось. С этим — опять двинулся к дому, но прошел метров пять, семь. Там, рядом — висела вторая газета и стояла другая толпа. Не в пример нашей, где, кажется, собрались одни женщины, хотя и сомкнутые плотной группой, но каждая — сама по себе, здесь был почти сплотившийся, здоровый советский коллектив, живо обсуждавший прочитанное. Потому что тут нашелся агитатор. Знамо дело, нам без такого — никак. В стадном чувстве мы до того уже обыдлись, что пастухам нашим и надобности не стало кого-то назначать. Сыщется, в порядке самодеятельности.

Посреди тротуара, в окружении полутора десятка внимающих, митинговал не то парень, не то уже мужик, лет тридцати. Тема была, можно сказать — любимая, стократ обсосанная, простая, как оглобля: жидаы. Америк он не выдумывал, лишь договаривал своими словами недосказанное «Правдой». В карман за ними не лез, а единственное, чего пока не произнес, — «бей!». Тут рядом оказался я.

На меня вдруг словно ветром дунуло, словно сунули нюхнуть нашатыря. И, как бывает лишь в минуты полного прозрения, когда прямо до боли чувствуешь точную грань перехода в иное качество (в моем случае, как ни стыдно признать для двадцатилетнего: из полудетства-отрочества во взрослость), я запоздало понял потаенную тревогу умершей чуть больше года назад, украинско-русской моей мамы. Вот, значит, чего она ждала и боялась всю жизнь: что они меня достанут. Подловят на полукровстве и загонят в еврейство... Видит Бог, этого не хотел никто в нашей дружной, украинско-русско-еврейской семье, то есть — не хотел не именно еврейства, вообще — никакого акцента. Издалека шло, от моих дедов, двух совершенно разных, кроме обостренного чувства человеческой порядочности, типов, из которых, один был интеллигентом и потомком древнего запорожского рода, а другой — южнорусским евреем. От двух отчаянных идеалистов, так сошедшихся в проекте ассимиляции, всенародного всеобщего братства (ох, не так, как сегодня, им звучали в начале века эти слова!), что они оба, едва ли не потому больше всего радовались такому браку своих детей, а появление на свет меня стало для них не просто рождением первого внука, а еще и живым воплощением идеи. Уверен: через нее они и власть эту, советскую, за свою приняли...

Тут от ясности в голове опять не осталось следа, поразила новая мысль: «Но ведь только что, пожалуй, впервые — я не поверил ни единому слову ТАСС! Значит, я — и не советский?»

Нельзя человеку узнавать о себе столько сразу, еще предстояло думать и думать, но не сейчас: инстинкт и генетика, что-то, над чем сам не властен, требовали действия. Отлично понимая, чем кончится, наперед зная: против этого мужика я щенок и дело мое — швах, я пошел к нему, раздвигая людей. Потому что обойти их по краешку, удалиться восвояси стало бы теперь позором, какой не простишь себе до гроба. Такой нарыв человек не должен оставлять у себя внутри. И не важно, побьют ли тебя, или изуродуют, главное — не отступить.

Он стоял ко мне боком. Не добравшись вплотную, я сказал ему: «Заткнись!» Он глянул через плечо мельком, отвернулся, продолжил свое, словно от комара отмахнулся. Протиснувшись, я дернул его за рукав, сказал: «Пойдем!» — «С тобой?» — удивился он, и пошел первым, в сторону канала, сквозь надвое разваливающуюся, пропускающую толпу. След в след, друг за другом, миновали мы аптеку, и, почти на углу, дело получило новый поворот, как сказали бы на занятиях по военной подготовке — вводную; обогнув меня из-за спины вьюном, шедшего впереди догнал скользкий такой тип, явная шестерка. Невысокий, не выше меня, вихлястый, он прилип к мужиковому боку, шустро заговорил что-то, задирая лицо к нему — вверх. Не то было худо, что их стало двое. Мне и одного, первого, за глаза хватало. С ним хоть было ясно: на голову выше, килограммов на двадцать пять тяжелее, но прост, можно сказать — свой, в том смысле, что драться будет обыкновенно, по правилам, безо всяких там железок. Конечно — не до первой крови, скорее — пока не отведет душу, но все же — по-нашему. Разуделает меня, как пить дать, как Бог черепаху, к этому я был готов; а вот у второго, скользкого этого хмыря, был нож. Тут я не заблуждался.

Свернули на канал. Набережная — до самой Мойки — была пуста. Двое впереди шли не останавливаясь, я уже понимал — куда — к первой арке дома 6—8, знаменитого, тогда отмеченного мемориальной доской композитору Направнику, ныне — еще и Стравинскому, и геологическому академику Наливкину. Выбор я оценил; там три двора, два выхода: проходняками, из-под второй арки — обратно на набережную, а направо — на Глинку. Случись кто, уйти просто. И тут, в тишине безлюдного канала, по промерзшему, пустотелому асфальту, я услышал торопливо догоняющие шаги, обернулся, увидел еще двоих. Так, вводная № 2, сомнений не было: запомнились с площади. Да, хорошенький получается расклад... Впервые подумалось: теперь бы кого-нибудь из своих, институтских, — прикрыть спину.

...Написал и вижу: это уже из сегодняшнего. Тогда я не мог так подумать о спине. В те времена — никто, из самых последних подонков, не стал бы, как нынче, набрасываться на одного четвером. Двое — еще может, особенно, имея в виду этого прилипалу. Да и то, если они из одной компании. Но здесь все оказались разные, они бы друг друга постеснялись. Но, конечно, кто-нибудь мне бы в помощь не помешал.

Честно говоря, я не боец. В том смысле, что не очень умею, да и попросту не люблю драться. В сорок четвертом, а затем — целый учебный год сорок четвертого—сорок пятого мне пришлось в школе драться ежедневно, и я так «наелся», хватило на всю жизнь. Собственно, это и драками назвать нельзя. Тогда мы с мамой, возможно — вообще первыми в городе, вернулись из эвакуации, Ленинград еще был закрыт. В госпитале, в Пажеском корпусе умирал раненный под Пулковом отец. Друзья через самого Попкова сделали нам вызов... Мы опоздали, а я попал в класс, где все были блокадниками. Понимаете, что это значило? Знаете ли вообще, чем была ленинградская мужская средняя школа образца 44-го года? Первое, что увидел, что едва не вызвало истерику и запомнилось, — в столовой. ОНИ ШВЫРЯЛИСЬ ЕДОЙ!!! Учтите, еще неделю назад я был в вятской деревне, в тылу. За два года интернатской жизни у нас никто не умер, даже не опух от голода, но и объедаться не получалось. С едой было строго. Мы быстро стали деревенскими детьми. По весне собирали пестики (это такие хвости: они первыми, чуть ли не из-под снега, выстреливаются в полях), потом — крапиву, щавель, следом уже — огород и лес, редиска, репа, ягоды и грибы. Осенью — работа в поле; из еды — турнепс, картошка. Зимой льняной жмых, дуранда у нас шла за лакомство. Со стола крошки не пропадало. И все эти два года мы знали: там, в городе, — и этого нет, там мрут с голода. И — нате — неделя пути, первые минуты в новой школе: завтрак. Мало, что они, зачерпнув ложкой, кидаются соевыми шротами, пищей, по правде сказать, отвратной, но ведь и кашей, и — дико представить — хлебом! Конечно, я видел: после снятия блокады город завалили жратвой, детей в школе кормят от пуза, но понять их я не мог.

Учителей-мужчин было всего трое: старик-географ и два инвалида — директор и военрук. Учительницы — в основном старухи, а и молодые — не лучше, шли в класс, как в клетку к диким хищникам. Сами понимаете: до брошенной двумя армиями передовой — всего час пути, у каждого из нас был арсенал. Уроки начинались с того, что в класс входил военрук с мешком, мы выстраивались вдоль парт, выкладывали сумки и портфели, он обыскивал, общаривал, изымал — патроны, снаряды, мины. Потом целый день жгли порохá, так, что за дымом временами становилось не видно противоположной стены класса, били капсюли, по винтику разбирали затыренные боеприпасы, прямо в форточку шмаляли из ракетницы. (Стоп: опять из сегодняшнего. Из ракетницы шмальнули однажды. Вся школа не одобрила: еще жива была память о ловле диверсантов-ракетчиков в блокаду.) Учительницы будто не существовало. Любимым развлечением было протянуть бикфордов шнур или насыпать пороховую дорожку к углублению для чернильницы в ее столе, словно нарочно предназначенному под содержимое шелкового мешочка из гильзы сигнальной ракеты. С первых парт отсаживались назад (перемещались вообще свободно, об спрашивать разрешения — речи не было), откуда-нибудь с «камчатки» дорожка поджигалась, огненная змейка почти незаметно пробежала под партами, и, во внезапно наступившей тишине, перед самым носом обомлевшей старухи с сухим шорохом вставал полуметровый огненный столб — красный, желтый или зеленый. По потолку растекался дым, немка падала в обморок, а кто-то из нас, зверенышей, услужливо бежал за водой.

Так — весь день. На последний урок опять являлся военрук с мешком, но и после, на заднем дворе — было чем заняться.

Словом, нас держали вместе не для учебы, скорее — чтобы, разбежавшись, мы вообще не разнесли бы город. Кто там не был — не поймет, но поверьте — это была не школа, а какая-то бурса, и, естественно, в обстановке, когда взрослые закрывали глаза на все, в классах верховодили переростки. В моем таких оказалось целых три; один — вообще, видимо, третьегодник, ему уже девок щупать, а сидел в четвертом. А тут — появляюсь я, мало того, что новенький, так еще первый из эвакуации, не говоря уж, что еврей... Да, поизгалялись они надо мной, как хотели. Полтора года, до конца почти пятого класса эти трое не давали мне прохода, так, что и в школу я ходил как на каторгу, и единственное, что вынес с той поры положительного, — оставшуюся на всю жизнь ненависть ко всякой показной силе, да еще — это не назовешь бесстрашием, скорее — пренебрежением к опасности, ну и — выработанную тогда стойкость. Шестерить, угодничать — они меня не заставили.

В конце пятого — класс стал другим; вне школы — изредка случалось, но, в общем, практиковаться в драках не было нужды. Я все более серьезно занимался спортом, а это такой мир, где энергию тратишь на дело, времени и сил на пустяки не остается. Виды, которыми занимался, — лыжи, гребля, легкая и стрельба — тоже никак не отнесешь к единоборствам. В Институте физкультуры, куда я после школы автоматически поступил, о драках вообще речи не было. Ты мог кого-то не любить, даже ненавидеть, только — не драться. Такое считалось позором. Во всяком случае, за все годы даже не слышал об этом ни разу.

Конечно, ко времени моего рассказа, за два с половиной курса, что успел проучиться в Лесгафта, мы прошли бокс и три вида борьбы, но факультативно, часов по 20—30, в порядке ознакомления. Во всей нашей группе лыжников с моим ничтожным весом до шестидесяти килограммов оказался один Володя Евстратов, мой приятель. Подумайте о себе: сможете ради приличного зачетного балла, не говорю — отлупить, просто — ударить друга? Я не смог. Тут, знаете, надо переступить через что-то, преодолеть барьер. А может — иметь характер? Я-то понимал, как учили: дескать, бокс — мужская забава, игра. Так что, когда нас с Вовкой выпустили на ринг, так и думал: попрыгаем, потанцуем, обозначим удары, словом — покажем технику. Не тут-то было! Коварный Евстратов, закадычный дружок, с которым за минуту еще обменялись анекдотами, с ходу пошел в лобовую, стал лупить совсем не шуточно. Между прочим, он приходился двоюродным братом учившемуся у нас курсом старше, тогдашнему — подряд дважды — чемпиону страны по боксу Гере

Лободину, видимо, шельма, взял у него несколько частных уроков и теперь не мог уронить честь семьи. Но, главное, конечно, — в настрое. Вова явно понимал наш поединок не так, как я. Не хочу сказать, что он, допустим, был сторонником силового боя, а я — техничного, ни о чем таком на нашем уровне и речи быть не могло, но, пока я, опешив, под рев группы отсиживался в глухой защите, он, обнаглев, размахивая руками как мельница, набирал очки весьма болезненными ударами по моей роже. Чтобы остановить его, не требовалось быть даже самым захудалым боксером. Стоило лишь поднять руку, он бы сам напоролся. После первого раунда мой секундант Коля Повышев так и сказал: «Чего ты ждешь? Вреж ему промеж глаз: он же открыт». Ну не мог я объяснить Коле, что как раз этого, ударить в лицо друга Вову, мне не дает что-то непонятное, какой-то внутренний тормоз. Остановить же ударами в поддых или по печени — не хватает умения. Короче: когда во втором раунде я, начав злиться от евстратовской наглости, совсем уж собрался ему врезать, он врезал мне: ловко расквасил нос, на чем бой и прекратился.

Евстратов походил по рингу крутами, как петух, потоптавший курицу, руки — победно — вверх, грудь колесом, словно Олимпиаду выиграл, однако быстро пришел в норму, стал помогать мне останавливать кровь и выдал совет на будущее: чтобы сузить сосуды, мазать нос борным вазелином. Есть, оказывается, такой предосторожный прием у боксеров, из разряда профессиональных хитростей. Интересно, где он был до боя? Почему вообще не предупредил о намерении драться серьезно?

В общем, видите сами, какой из меня боец.

Но в этот раз было по-другому. Наоборот, я так завелся, что трясло. Кроме того, по необходимости закалывать руку для стрельбы я ходил без перчаток. Было холодно, кисти замерзли, я знал: бить такой рукой самому будет больно, тем паче, что по туловищу — бесполезно, через пальто не прошибешь.

Такие вот мысли струились в голове, когда мы, друг за другом, свернули под арку. Как во многих старых домах этой части города, она представляет собой довольно длинную и объемистую пещеру, с массивным сводом, с какими-то, вполовину человеческого роста, глухо закрытыми дверьми — по бокам, справа и слева — входами в подвалы. В глубине — средних размеров колодец двора. Из него, я знал, сразу за аркой налево — система проходняков.

Двое первых дошли до конца арки, остановились слева, повернулись ко мне. Мужик что-то сказал, тот, второй, отошел еще вглубь, осветлился уже во дворе. Шаги задних затихли, я мельком оглянулся: стали на входе.

— Давай, жидяра, — поддразнил со смешком мужик, и я, понимая, какой спектакль для меня сейчас начнется, в подскоке сделал последние два шага, подобрал руки и, с мыслью — «крепче кулак», ударил правой в единственное, что в тот момент видел: левый угол подбородка. Бил я коротко и сразу отскочил, предвидя преимущество в подвижности, так и собирался «порхать» вокруг него.

Но случилось что-то уж вовсе неожиданное. Я отскочил, а мужик, постояв пару секунд как бы в раздумье, прислонился спиной к стене и вдруг, словно из него скелет вынули, сполз вниз, брякнулся боком о землю. Шапка отвалилась, лицо с закатившимися глазами стало серым. Нокаут? Я не мог поверить. Только что он стоял передо мною — ражий, мордастый, мощный, казалось — абсолютно непробиваемый; я ждал чего угодно, только не этого, только не нокаута с первого удара. «Значит, чему-то Кудрин меня научил», — промелькнуло. Но ни радости, ни облегчения от подарка судьбы; только — сразу — мысль: «Где остальные?» Секунду назад, краем глаза, я видел справа того, шестерку. «Зашел со спины?» Поворачиваясь направо-кругом, голова — прежде туловища, во вращательном движении я засек его в глубине двора, в миг последнего рывка в угловую парадную. И опять — ноль эмоций, лишь мелькнуло: «Куда он? Парадная не проходная...» И я уже повернулся на 270, лицом к тем двоим. Они, как были, стояли себе у противоположного края, на выходе из-под арки.

Несколько долгих секунд все молчали, а потом один сказал: «Ну, чего ждешь? Вали быстрее отсюда!» И еще раз, погодя, видя, что не понимаю:

«Тебе говорят, вали и спрячься, не доходит, что ли, что делается?» Он так и сказал это, с подтекстом, я запомнил; а потом, поняв по-своему, отчего я все стою, они, будучи, ясное дело, не из нашего района, не зная, что за спиной у меня свободная дорога на все четыре стороны, расступились, стали по краям, к стенам арки, открывая проход. Только тут до меня дошло, что они не те, за кого их принял, что они-то и прикрывали мне спину. Логичным было уйти назад, через дворы, но я двинулся — на них и мимо, а когда прошел, правда, чуточку напряженно прошел, и свернул к Мойке, второй сказал вдогонку: «А ты молодец! Всегда так делай!»

Сколько раз потом, когда бывало погано, вспоминал я этих двоих. Я был им никто, чужой, а — пошли, и возможно — уберегли от ножа того крысаватого подонка... И как он-то почуял, поперед меня их понял? А я даже «спасибо» не сказал... Да, помирать лягу, опять их вспомню.

Вот так начнешь думать — хватает всякого, худого и хорошего. Ведь Театральная для меня — продолжение дома. Отчего же по работе я ее оббежаю?

Оно конечно, был уже в такси случай, способный навсегда отвратить желание сюда приближаться...

Где-то в конце шестидесятых, кажется еще при Толстикове, не знаю — почему не у себя в Таврическом, на отшибе, подальше от посторонних глаз, а именно здесь, в Кировском, проводилась очередная партконференция. Таксеров вылавливали и сгоняли сюда со всего города пустыми, задолго до надобности, с обязательной отметкой в путевке. Попытки сбежать, поработать пару-тройку часиков были круто пресечены в первый же день нашими контролерами и театроведами в штатском. Оцепленные ими, сотни машин заполняли весь угол площади, хвост тянулся за Торговым мостом по Печатников — аж до Лермонтовского. Само начальство разъезжалось, естественно, в своих лимузинах, а к нам вываливала толпа, в сущности — обыкновенных советских людей, на несколько дней приближенных к власти. Зрелище было — любо-дорого. По такому случаю их принарядили: на минуточку, одноразово, как солдат-новобранцев после первой бани пропустили через склад вещевого довольствия, сиречь — известный всему городу, таинственно закрытый смольнинский распределитель, некий Синий зал Гостиного двора, и от главного подъезда Мариинки, мимо черных барских машин шли в такси: работяги, впервые в жизни одетые в строгие финские тройки (кое-кто, едва сев в машину, стаскивал через голову галстук), явно выраженные крестьянки, ощущающие себя в выходном, как в резине химзащиты, задерганные жизнью служивые, вдруг почувствовавшие собственную значимость... В глазах большинства — лихорадочный блеск, какой (скажу сегодня) бывает после общения с Кашпиrowsким или, не дай Бог, с его партийным лидером — потомственным дважды юристом Советского Союза, пардон — Всея Руси, мусье Жириновским.

Собственно, это и был для них растянутый на несколько дней сеанс массового гипноза. Охмурение властью было тем сильнее, что оно ежедневно подкреплялось апробированным еще в тридцатых на собаках павловским способом: буфеты Кировского работали бесперебойно, от другого распределителя — продуктового. Фигуры наших клиентов изгибались под грузом коробок с чешским пивом, пакетов с шоколадными наборами, банок деликатесов, фруктов. Жаль, человек — не осьминог, рук всего две. Но последней каплей для взбешенных этим бесстыдством таксеров были массово выданные им талоны, заменившие коммунистам деньги за проезд. Причем выдан был редко встречающийся полный набор: расплатиться позволяло с точностью до сотни метров, до копейки.

Да, ощущение было предельно отталкивающим, вполне могло выработать устойчивую идиосинкразию, и хотя со временем впечатление сгладилось, уже не являлось прямой причиной, все же вспомнилось не случайно: совсем близко лежит чувство моей неприязни к частному случаю вообще восторженности — театралов. Потому, пожалуй, не ездил, избегал эту публику.

Словом, чтобы изловить нашего шустрика, пришлось преодолевать себя.

Моя «охота» началась весной. Шло время, а его все не было видно. Потом и лето прокатилось, сезон прервался, я сходил в отпуск, как-то и думать забыл. Нет так нет, не одним же этим голова занята. Уже и зима подступала, снег выпадал, люди переоделись, закутались, так что не только единожды виденного — знакомого узнаешь с трудом, словом, для меня было полной неожиданностью, когда я обнаружил его среди пассажиров собственной машины, сидящим на заднем сиденье уже, по крайности, минут десять.

Было так. Я гнал поздно вечером по пустынному Московскому где-то в районе ворот, отрешенный, витал мыслями в горних сферах и залетел бы совсем высоко, кабы не выработанная нашей низменной профессией привычка ничего не оставлять без внимания. Я еще не понял, что вернуло на грешную землю, как осознал — и это прежде всего — так, от Театральной в Купчино! Опять четверо: женщина спереди, вторая — сзади-посредине, два кавалера по бокам. От площади до Обводного задние оживленно обсуждали теноров, мне — до лампочки, ехал и ехал, впадал в прострацию. За каналом они примолкли — вот что вернуло меня сюда: чем там они заняты? Ага, в зеркале вижу: сидящий за моей спиной, через голову женщины, что-то потихоньку говорит второму мужчине, тот, оттибаясь-приподнимаясь, лезет в карман. Понизу, мне не видно, передает первому. Ясно что — деньги! Я двигаюсь, вытянув шею, разглядываю. ОН!

Чудненко! Те же и охотник. Выхожу на боевую тропу.

Хорошо, что успел распознать его вовремя, еще оставалась возможность действовать по обдуманному весной плану. Даже — лучше: повинуюсь внезапному импульсу, я еще круче обострил его — свернул не на Благодатную, что тоже было бы неожиданностью, а еще раньше, воспользовавшись поздним временем, отсутствием ГАИ и встречных машин, наглым левым поворотом против Московского райсовета нырнул в мало кому знакомую Рошинскую.

Маневр удался. Передняя женщина спросила: «Куда мы?», мужчина справа неожиданно мне подыграл. «Правильно, здесь ближе», — сказал он. Так — действительно ближе, этим путем не ездят по незнанию или из-за плохой дороги и железнодорожных поездов заводских веток. Мы прогромычали по ним, нюхнули приторный запах тамошнего ванилинового цеха, быстрее, быстрее, задворками, не дать ему опомниться, понять — он ведь привык въезжать в Купчино с парадного входа, а мы — черенским; пересекли Люботинский, выскочили к Витебской железной дороге ниже Сортировочной. Я опять подумал о Зоценко. Помните, у него есть чуть ли не двадцатых годов рассказ, как милиционер, чтоб собрать штраф за хождение по путям (а ходят все, кругом — грязь непролазная), заставляет провинившегося героя ждать следующего поезда и других нарушителей, потому что у него квитанция на трешку, а взять штрафа положено рубль. Это рядом, и грязь почти та же: платформа «Воздухоплавательная».

...Быстрее и дальше, в створе Благодатной — налево, под железнодорожный, сразу, еще до Салова, другим мостом — направо, на глухую, тогда — полудеревенскую дорогу, под темным небом, по выбеленному первым снегом, брошенному совхозному полю, мимо торчащих скелетов порушенных парников, по марсианскому пейзажу — к стоящим на той стороне пустоши окраинным купчинским домам.

В этом и был расчет. Подвезти его задами, чтоб не понял, всего лучше — к собственной парадной, внезапно. Парадной я не знал, он ведь выходил на улице, а там, выстроенный каре, — целый микрорайон, несколько корпусов, да еще два-три — во дворах, особо. Но и так — получилось не слабо. Пройдя темноту, мы внезапно, в последний момент, оказались на широкой, залитой электричеством Будапештской, прямо у дома. Я сразу остановился, вышел, открыл ему снаружи левую дверь. Момент был решающий, он ведь не называл адреса, мог и отказаться. «Что? В чем дело?!» — спросил он, крутя головой, и я понял: первый ход выигран, он в самом деле не узнаёт, где мы. «Пожалуйста, — сказал я. — Будапештская, дом пять». Я — с улицы, он снизу, из машины, глядели мы друг другу в глаза, и в его — явственно читался вопрос: «Когда это я сказал адрес?» Так смотрели мы несколько томительных секунд,

и текли между нами невысказанные вопросы и ответы, пока я окончательно не понял: второй ход (вернее, он-то как раз — первый) — тоже за мной, это ОН. (Была же у меня вероятность обознаться.) А поняв, увидев его побежавшие в сторону глазки, потянулся через проем своей двери и поставил счетчик «на кассу». На ней, как и положено, было чуть больше двух рублей. «Будьте добры, — сказал я как можно вежливее, повернув к нему голову, — позволите рассчитаться». Получилось — вдогонку, он уже вылезал из машины. Второй мужчина очень внимательно посмотрел ему в спину, потом — на меня, рассмеялся. Я вынул голову из машины. Он стоял боком, перебирал деньги. «На, — сказал мне хозяйским тоном, протягивая пятерку, — развезешь их». — «Минуточку, — сказал я, придерживая его за рукав, опять наклоняясь в машину. — Граждане, вы давали ему деньги?» — «Я дала трешку», — сказала женщина спереди. «А вы?» Мужчина мотал головой от хохота, спутница пожала плечами, повернулась к нему: «Сколько ты дал?» — «Пятерку», — выдавил пассажир. «Давайте трешку», — это я пройдохе. Он отдал, дернулся уходить. «Стоять!!» — гаркнул я уже другим, хорошо поставленным командирским голосом. «Возьмите ваши деньги». — Протянул треху одной, пятерку — другой, женщинам. «Платите счетчик, живо, люди ждут!» — это опять ему. «Ты не смеешь, я запишу номер...» Так, на «ты» так на «ты». Это нам даже удобнее. Вот она, всеобщая грамотность. Номер писать собрался — писатель херов. «Слушай, гнида, — говорю, взяв за лацкан, покачивая, — не заплаатишь, пеняй на себя. Запихну в машину, товарищ подержит, до отделения — три остановки. Как насчет сообщить на ТВОЮ работу? Небось сам — член правящей? Разберемся за все!» Он уже лез в карман, вытягивал из-за пазухи червонец. Меня, однако, не торопил, сдачи дождался с копейками. Обходя машину, не удержался, посмотрел на номер. «И учти, — крикнул я ему вдогонку, — у меня трое свидетелей, а о тебе уже все шофера города знают! Так что — замри!»

Сел в машину, поехали.

— Ну, брат, ты даешь, — отсмеявшись, сказал мужчина. — В цирк ходить не надо. Он что, давно так?

— С весны — наверняка.

— Я что-то не поняла... — начала женщина с переднего сиденья.

— В том-то и дело, что никто не успевает, — перебил мужчина. — Уж на что — я, тоже дошло не сразу. Вы говорите, вам на Славу? Нам — на Алтайский, еще семьсот метров. Если бы поехали по Типанова, вы бы сошли первой, мы — вторыми...

— А, — сказала женщина, — деньги-то у него!

— Вы когда ему дали?

— Еще на стоянке. Он сказал — ему дальше, расплатится.

— Сколько бы всего выбило? Трешку? — спросил меня мужчина.

— Может, чуть больше, три с половиной...

— Говоришь — с весны? И часто?

— Регулярно. Потому и попался.

— Вот тебе и «кто не работает, тот не ест»!

— Почему же? — возразила женщина. — Он работал: нас собрал.

— Да ведь это — его хлеб! — Мужчина стукнул меня по плечу. — Неужели не ясно?

— Стойте, — сказала женщина, — вот мой дом.

Протянутый вдоль улицы длинный дом был обращен парадными внутрь двора. Я свернул, подъехал к указанной двери.

— Не стояло, — сказала женщина. — Я бы прошла. — Протянула мне ту самую трешку.

— Не надо, — сказал я, — идите. — Она смотрела удивленно. — Идите, идите, — повторил я. — Здесь всего полтинник.

— Так, — сказал мужчина, когда мы тронулись дальше. — Это нам понятно. У нас сейчас праздник! С меня тоже не возьмешь?

— А может, она мне понравилась? — ответил я с акцентом, фразой из кавказского анекдота. — С тебя — возьму.

— И сколько?

— Сколько дашь.

— Тоже — по-нашему. Но ты-то хоть не считаешь, как эта, что он свое зарабатывал?

— Почему же, — сказал я. — Что-то в этом есть. Марксистские формулы тем и хороши: как ни поглядишь — все правильно.

— Вот, мать, — сказал он своей спутнице, — так и живем, все у нас философы. Ты, случайно, — это он мне, — вечерний университет марксизма-ленинизма не посещаешь?

— Что ты привязался к человеку? — спросила женщина.

— Кто? Я? Да ни в коем разе! Если хочешь, я от его цирка во сто раз больше удовольствия получил, чем от театра твоего дурацкого!

Тут мы приехали. Он вышел, выпустил жену, открыл переднюю дверь, наклонился внутрь, достал и положил на сиденье червонец. «Иди, иди, — сказал через плечо жене. — Я сейчас». Видно было — поговорить хочет.

— Вот, понимаешь, кругом халявщики. Не поверишь — у меня два цеха стоят, снег уже выпал, а рабочие в совхозе. Тех лодырей выручают. Они мне, что ли, план будут делать? — Он выругался. — Ладно, извини... Сдачи не надо... А-а! — помотал головой. — Еще этот театр долбаный. Сейчас бы посидеть... Может — пойдешь? Она — нормально, ничего не скажет. Ну, извини, извини... Слушай, — вдруг спросил он другим тоном, — ТЫ-ТО чего отсюда не валишь?

Потом закрыл дверь, отошел на два шага, смотрел, как я разворачиваюсь. Поднял руку:

— Как думаешь, этот жалобу не напишет? В случае чего — мы свидетели. Здесь, квартира тридцать.

Наконец, давайте вернемся к той мадемуазель. Недоезжая Сенной, помните?

Значит, она мне — треху, на счетчике — три с небольшим, ждет сдачу. С какой стати? Ты же у нас крутая, только что себя отделила, причем не только от меня, шоферюги, черной кости по определению, но и от попутчика своего — тоже. Теперь — либо плати счетчик полностью, я его очень демонстративно переключу, начну с нуля, либо — делись с ним, попутчиком, мое дело — сторона. Так нет, ждет. Это длилось секунд несколько, но отчетливо. Не хотелось мне с нею связываться; я взял трешку, показал ее мужчине, ткнул пальцем в кассу, сказал: «Здесь треха. Вычтите при расчете». Девица зыркнула глазами, выпорхнула вон, нарочно оставила дверь открытой до стопора, поцокала каблучками. Вдвоем мы дотянулись, закрыли. Поехали дальше.

Толпа человек в сорок со стоянки от «Балтики» вылезла аж на середину Сенной, но хотя я понимал — к этому подсаживать можно, пролетел мимо, пролетел, потому что надоело, обрыдло! Деньги, деньги... Да хрен с ними! Люди добрые, простенькое «здравствуйте» всего раза три за день от пассажира услышишь!.. Да кто она такая, секретарь-машинистка райкомовская? Едва туда за порог ступила, а — поди ж ты: «ВЫ и МЫ»!

Наверное, я забылся, что-то пробормотал вслух, а может, пассажир мои мысли понял, словом, как-то так получилось, он мне и говорит: «Да, яблоко от яблони...» — «Что такое?» — спрашиваю. «Понимаешь, — говорит, — мы с ней в соседних парадных живем. Видел бы ты, какой это был ребенок! Во двор выходила — как лучик солнечный, весь дом радовался... А года три назад... Все — папочка, наставил на ум...»

Тут я кое-что, кстати, вспомнил. В начале шестидесятых, до такси, года полтора я возил ночные телеграммы с Центрального телеграфа. Шоферов-доставщиков нас было четверо, возили по всему городу (и надо сказать, за те полтора — город я узнал детальней, чем потом — за двадцать в такси), но была у каждого из нас еще и специализация, любимый район. Мой — как раз Московский. И был дом на Фрунзе: с виду, как и все вокруг, — «сталинской» постройки, тем не менее диспетчерами ночной экспедиции выделяемый, с жителями не простыми; телеграммы туда в общей стопке клались поверху, с доставкой в первую очередь. Иногда среди них попадались — на синем

бланке — российские, а на красном — союзные, с крупной шапкой: «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ».

— Вы, — спрашиваю пассажира, — стало быть, из такого-то номера по Фрунзе?

— Все-то ты знаешь, — смеется. — Разом не шпион?

— Китайский, — говорю, а сам думаю: «Вот оно: номенклатура не только неотчуждаема, еще и наследственна. Да, сейчас девчонка — молодо-зелено, но обучение пойдет быстро. Главный принцип папа ей уже объяснил».

По контрасту с молодой этой комсомольской телкой образца семидесятых годов вспомнилась мне сейчас другая женщина, еще не старуха, но пожилая. Случаются в такси такие пассажиры: один раз, за двадцать минут, за несколькими фразами увидишь судьбу и запомнишь навсегда.

Она села на одной из самых известных в городе стоянок — на углу Рубинштейна и Невского у кафе-автомата часов в 17, в конце рабочего дня. Отчетливо помню начало поездки: как, подъезжая к стоянке, удивился отсутствию (в такой-то час!) очереди, как, разворачиваясь, успел разглядеть ее — невысокая, за шестьдесят; строгий светлый костюм, небольшая, «театральная» сумочка, белоснежная блузка — как-то не по времени суток и, пожалуй что — слишком нарочито для буднего дня, но, с другой стороны, нормально для не позволяющей себе расслабиться питерской интеллигентки ее возраста. Привычно села на переднее сиденье. Абсолютно естественно поздоровалась. (Говорю вам, это — редкость.) Сказала: «За Поклонную». Чтобы не делать крюк по Невскому, я воспользовался необычной пустотой перекрестка, развернулся задом, по Графскому выехал на Владимирский, пошел к Литейному. Рассказываю подробно, чтобы опровергнуть довольно распространенное среди обывателей мнение, будто шоферы «катают» по городу. Тысячу раз — нет! Мы можем ездить крутами, вензеля выписывать в поисках клиента, но с той секунды, как он к тебе сел, — главное — как можно быстрее этого отвезти и взять следующего. Говоря откровенно, зачем мне его «катать»? План я и так сделаю, а чем больше их сменю («курочка ведь по зернышку клюет»), — тем себе лучше, по вашему сказать — выгоднее. Так что — здесь такой принцип работает.

Но это опять же объясню для непонимающих. Самому себе начало поездки запомнилось тем, что не успели мы проехать и километра, как я схамил. Да, такое я дерьмо. Как будто внутри уживаются два разных человека. Один — нормальный: уступит место женщине, знает, что рыбу надо есть специальной вилкой, говорит «спасибо» и «пожалуйста», читает умные книжки и даже похаживает в Филармонию. Другой — стоит на минуточку расслабиться первому — тут, как тут: вылезет со своей гнусной харей и такого наворочает, самому потом — срам и позор.

Короче: мы проезжали мимо Куйбышевской больницы (а слева, впереди, за корпусами магазина подписных изданий и Академкниги — мимо Шереметевского дворца, и это обстоятельство оказалось «в цвет», важным, сейчас поймете), как я, бездумно и весьма развязно задал уточняющий вопрос, ляпнул: «За Поклонную? Куда именно — там, на выселках?»

Я уже говорил, что самое неприятное в работе шофера? Знайте: любые неожиданности. К примеру: видишь впереди лужу; время и место позволяют, спокойно берешь правее, потому что, во-первых, неизвестно, что там вообще под водой — яма, открытый люк или доски с гвоздями, во-вторых, ты не один, окружающий жалко, а в-третьих, двадцать четвертая «Волга» — машина-грязнуля, аэродинамические качества ее таковы, что вся вода и грязь полетят на капот и лобовое стекло. (Тут опять, кабы не нужда не отвлекаться, рассказать бы вам, что за «подарочком» оказалась в 70-м году чуть ли не десятилетие готовившаяся к выпуску эта гордость Горьковского автозавода. Чем там были заняты инженеры-конструкторы — вообще непонятно. Нас, практиков, больше поразили водители-испытатели: как они-то могли пропустить в серию машину с таким количеством просчетов, грубых ошибок, недостатков конструктивных, большинство из которых бросается в глаза салаге-первогодку?

Это, знаете, надо уметь! Дилетанты да защитники чести завода возразят, что машина хорошая. Внешне, глядя на салон, особенно в то время, тем более, глядя на стоящую на месте, — не спорю. Только ей же предназначено ездить! Во всяком случае, мы со сменщиком можем сесть и как минимум полчаса просто перечислять: и то, что потом доделывалось, и то, что за все два десятилетия конвейерного производства устранить оказалось невозможным. Не говорю уж, что из десятков тысяч пришедших в такси машин не было ни одной, не потребовавшей нашей собственной подтяжки и регулировки, а только единицы из них не попадали тут же на заводскую станцию гарантийного ремонта по рекламации. Причем эти не попадали главным образом потому, что ушлые горьковчане вовремя убрали станцию из центра города, с Марата — от греха подальше — в Пушкин, так что ездить и выстаивать там часы и дни стало себе дороже; проще было доставать детали и ремонтировать самим. И они еще набрались наглости, всей стране на смех, где-то в семидесятых раздобыли-прикупили, повесили-прикрепили на торпедо своего уродища — знак качества!

...Так вот, значит — оставляешь лужу слева, а в это время, почуяв пустоту впереди, охваченный восторгом и возможностью себя показать, выносятся сзади на обгон какой-то оглоед, и — аккурат, когда ты медленно проезжаешь воду: слева — хрясь! да — в яму, тебя — от кормы до капота, да в открытое окно — ведро грязи в рожу, в салон, до потолка, мелкими брызгами на пассажиров... Тут бы — догнать, поговорить по-свойски, тем паче — клиенты подходящие, в бой рвутся — просить не надо... Но куда там: пока глаза протрешь — уже и след простыл.

Лужа — она так, самое наглядное. Еще бывает — колесо на разрыв, а то — капот у нас аллигаторного типа, с замком не ахти надежным — на ходу откроется: перед носом стена, а если к тому ж еще скорость приличная — парусность передок подымет, управление теряется... Но всего чаще и проще — лопнет на ровном месте коренной лист рессоры, а схема такова, что мост мгновенно смещается назад, не только вытягивает троса ручного тормоза, но, того гляди — как однажды у меня и случилось — бензобак пробьет. (Злейшему врагу не пожелаю. Часа два, в ожидании «технички», я стоял тогда в пятидесятилитровой луже бензина, по закону подлости — только заправился, «выбрал» себе хорошенькое местечко: кругом — общаги и пьянь перекатная, угол Луначарского и Культуры — словно курица-наседка, бежал вокруг машины. Ко мне стройными, непрекращающимися колоннами, как на африканский водопад, шли, думая, что остановился «на точке» поторговать водкой, дело было в одиннадцать вечера, жаждущие. Они валили со всех сторон, все, естественно, с зажженными папиросами. Хорошенький мог получиться костерочек!)

Это я перечислил неожиданности, приходящие извне. Но мы-то один на один людей возим. Многие, думаю, наслышаны про случай, когда пассажир, шутки ради, кинул на руль игрушечную, но по-японски качественную змею. У меня, как говорится — лично, однажды клиенту сзади надоело греть за пазухой флакон шампанского, он, не предупредив, положил его на сиденье, при первом же толчке добро хряснулось о горбыль в полу, взорвалось, как петарда, и, что особо приятно: пробка пошла гулять по салону белкой в колесе, только в горизонтальной почему-то плоскости: мелькая перед рожей, описала три круга полных. Это хорошо потом смеяться, тогда — не очень.

Во всех таких случаях первая реакция — тормозить.

А теперь, смотрите. Только-только я с надменностью коренного жителя центра высказал свое понимание-оценку — в какую степь едем, одновременно, заранее расчетливо поотстав, дождался зеленого, пошел в разгон, мимо стоявших под светофором, бессмысленно обогнавших меня торопыг (ах, какой я умелый!), шустро проскакиваю по трамвайным рельсам, что уходят в поворот на Жуковского (естественно — прямо по Литейному), а на них, на рельсах, выпирающих ребрами, тормозить — ни-ни! мосты оборвешь, и надо — либо потихоньку, либо, как сейчас, ходом, как внезапно, неожиданнее взрыва, справа в ухо — утробный и как бы железом по стеклу — не то визг, не то вой: «Вы-сел-ки!!!» И я только взгляд туда кинул: Господи! Ничего не

осталось от строгой, уверенной в себе женщины, а, зажав лицо ладонями, по-бабьи, по-деревенски вопит в голос, как над утопленником, повторяя — «выселки, выселки», съезжившаяся, несчастная старуха.

Точно знаю: никогда я не был таким растерянным, как в тот миг. Уже охваченный подступившим стыдом, но еще не до конца понимая, еще оправдывая себя (да что такого сказал?), я лихорадочно соображал, что там есть у меня в аптечке (ничего, конечно), тормозил за перекрестком (куда бы встать, втиснуться), ей же — воды надо (где здесь вода?)... Наконец, где-то у Академии гражданской авиации остановился, полез со своими лекарствами и извинениями.

На удивление быстро, она отошла, вытерла лицо платком, сказала: «Спасибо. Вы меня извините. Поедьте дальше».

Вот что выяснилось.

Всего за десять минут до посадки в машину она вышла из кабинета настоящего мерзавца. Где моему хамству до его, но главное: вот кому я поддел в дуэте! Это — в ста пятидесяти метрах от стоянки: Куйбышевский исполком, дворец Белосельских-Белозерских. Привела ее туда беда. (Стоп, читатель: не надо сразу ухмыляться. Постарайся понять, не торопись!) С полгода назад под видом предстоящего капремонта с последующим переоборудованием дома якобы под какое-то общежитие ее выселили из крохотной, но отдельной квартирки — туда, за Поклонную, в современный и даже кирпичный дом. Ничего не скажешь, квартира там лучше. Но: ее прежний дом — родовое гнездо. Причем — какое: «Мы, — сказала она словами, никак не вязавшимися с ее внешностью, но звучавшими натурально после этого бабьего рева, — мы из двора графов Шереметевых. В этом флигеле жили всегда. С восемнадцатого века. Было время — весь этаж семьей занимали. После блокады никого не осталось... Когда я с фронта вернулась, отгородила эту квартирку, там и дочку вырастила...» — «Вы воевали?» — «Я — полковник, хирург. Всю жизнь в госпиталях... Пять орденов...»

Господи, Господи, Господи! Перед кем я, засранец, только что выпендрился?! Шереметевская дворянка... Сколько тут сразу всего! Это ж надо понимать — кем были, каким духом жили сами эти богатейшие в России графья, в чьем роду была знаменитая женщина из крепостных, красавица и умница Параша, покорившая свет обеих столиц, чью память чтли буквально на уровне культа. Стоит задуматься, каковы вообще были отношения крестьян с шереметевской семьей, дававшей им образование и службу, помогавшей в беде. А уж здесь, в городском поместье, — какой клан образовался, прижился, прикипел к месту — за два с лишним века в глубине дворов меж Литейным и Фонтанкой!

И это: «полковник, ордена»... Она ведь просто повторяет, нисколько не выпячивая, — доводы, что представлялись ей важными в том проклятом кабинете... А пришла она туда потому, что не может жить на новом месте: одиноко, поздно привыкать, старость подступает, а тем более — потому, что теперь, через полгода, выяснилось: никакого капремонта дому не делают (и с чего бы — в центре разводить общаги?), а — просто: кому-то приглянулось место, потихоньку заселяют своими, благоустроивая квартиры, а ее, маленькая, никому не пошла, так и стоит пустой. И она одного только просит: верните ее обратно!

Так знаете, что сказал тот подонок, советский нувориш, номенклатурный прыщ среднего звена, что он, изгаляясь, предложил почтенной, быть может — из последних вообще — петербуржанке с родословной со времен основания города, не говоря уже — воевавшей женщине, орденосцу и полковнику Советской Армии? Он сказал, этот бес, с улыбочкой молодого хама, ощущающего свою безнаказанность: «Если вы так уж хотите жить в центре, мой вам совет: наймитесь в любой жилконторе дворником. В них нужда, вас возьмут и предоставят служебную жилплощадь». — «И вы... — задохнулся я, — как же вы пошли к нему одна? Нужно было взять кого-нибудь, хоть бы стул о башку разломать!»

Она посмотрела на меня уже профессиональным взглядом врача, сказала только: «Ну что вы, успокойтесь».

...Ох, как лихо развернулся я в потоке транспорта и понесся — туда, в бордовость Белосельско-Белозерского! Я ворвался в кабинет, заглянул в кабаньи глазки; я лупил кулаками рожу, а ногами — по печени, по яйцам!! Я таскал его за галстук-седедку, выставил раком на паркете и заставил целовать ее подошвы... Кабы не оттащили люди — вполне мог, мерзавца, убить...

Но: спокойно, читатель, спокойно. Ничего такого, конечно, не было. Картина боя осталась лишь в воспаленном воображении. Скрипя зубами, я отвез свою зареванную пассажирку, и уже у дома, на Сикейроса, она тихо выдохнула, подытожила: «Правильно: дворню — в дворники».

Снова я взвился и задергался. Это было — как плевок, как пощечина: здоровый, полный сил мужик — чем я защитил эту, разом ставшую близкой, почти — как мать, женщину?

Тысячекратно прав поэт: «Власть отвратительна, как руки брадобрея». Наверное — везде, очевидно — всегда. Быть отвратительной, возможно, коренное свойство вообще всякой власти. Только отчего мы-то все на несчастной нашей родине так особо прокляты, и почему — почему — почему у других народов и стран бывают все-таки в этой отвратительности — просветы и передышки?!

Почему, почему... По кочану!

Потому, например, что тогда я утерся, отпустил, не защитив, доживать в горе старуху, а в другой раз, в другом месте, как-то в этом роде — утерся ты, а там — он, она, они, и такая вот жизнь продолжилась, и хотя однажды нам показалось, что мы что-то такое сказали, даже — вроде что-то возразили и сделали, на самом деле получилось — ничего. И теперь, стопроцентно уверен, та небитая сволочь восседает в кабинете повыше: может — в мэрии, а то и — в Госдуме. Потому что мы сами им все позволили, а ОНО, как известно, — не тонет.

МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ

ХРУЩЕВ

На пенсию! «Доктор Живаго»
Читать и с Якиром дружить!
А нам это горе — во благо,
Мы будем при Брежневе жить.

Он — весь перед общим собранием,
Ясней не бывало владык,
И молодость нашу протянем
Сквозь этот мучительный h'ык.

Но рухнет великая Троя,
Травой порастет Мавзолей,
И вдруг улыбнется былое
В глуши кукурузных полей.

Пора оглянуться в Мальстреме!
В незримую падая сеть,
Пора воплощенное время
На площади пылкой узреть!

Услышать, привставши в потоке,
Как радио с треском несло
Лихие его эживоки...
А вот и открылось жерло!

...Как оттепель шла ручейками,
И в ропоте плещущих вод
Под пьяные речи по Каме
Смеющийся плыл пароход.

ПЕРЕДЕЛКИНО

В этом поселенье фараона,
Созданном для храмовых писцов,
Тишина, как и во время оно,
Об одном поет в конце концов.

Половодье, мгла по буеракам,
Зелень лета и сосна в снегу.

Все-таки все дышит Пастернаком
В этом заколдованном кругу.

Деревя молчат немолодые,
И на дачах сумрачно-седых
Дочери предателей седые
Горестно оправдывают их.

«ХВАНЧКАРА»

Я думал о свойствах вина «хванчкара»,
Какая в нем светится радость.
Как нравится девочкам эта игра,
Святая атласная сладость!

Позднее полюбишь, как юность свою,
Пронзительность «кинзмараули»,
Как будто бы в ту же густую струю
Немного печали плеснули.

Потом в горьковатом и рыжем вине
Оценишь надежного друга...

Но только зачем эти праздники мне,
Когда начинается вьюга?

Когда зацветает родная лоза,
Вино прошлогоднего сбора
В кувшинах бушует, идет, как гроза,
Как пенье грузинского хора.

И голос его, обжигая до слез,
Мерцает в полях ледовитых,
Где сорокаградусный русский мороз —
Как национальный напиток.

Михаил Исаакович Синельников (род. в 1946 г. в Ленинграде) — поэт, переводчик, автор семи стихотворных книг. Переводит грузинских и персидских поэтов. Живет в Москве.

© Михаил Синельников

ГАШИШЕКУРИЛЬНЯ

М. Гоголашвили

Гашишекурильня в Гааге,
Мерцают во тьме зрачки,
Висят марокканские флаги
И марихуаны пучки.

И вьется дымок сладковатый,
Коснувшийся жизни моей,
И рядом — рассветы, закаты,
Зеленая свежесть морей.

Встающий прибой Суринама,
Суматры блаженные дни,
Небесная черная яма,
Сожженных вселенных огни.

ВОЗРАСТ

Приветствую, не узнавая.
С тем поздороваться не грех,
В ком иссякает жизнь живая,
Кто стал похож на всех, на всех!

АЛЕКСАНДР НЕЖНЫЙ

ПЛАЧ ПО ВЕНИАМИНУ

Над безымянными могилами взошла новая жизнь.

Помимо надписанной смертниками тюремной иконки бесследно исчезли подаренный Юрию Петровичу при их свидании Патриархом Тихоном образ Христа Спасителя («На ткани. Рисованный», — не колеблясь сказала дочь святого) и принадлежавшее Новицкому прекрасной работы маленькое распятие черного дерева. (Руками Ксении Леонидовны Брянчаниновой оно было передано адвокату Равичу, наотрез отказавшемуся от всякого вознаграждения и согласившемуся принять лишь изображение Креста с пропятам на Нем Христом, — быть может, с тайной надеждой, посещающей даже и людей неверующих, что крестными страданиями Господа избавлен будет от смертной муки Юрий Петрович Новицкий, и — может быть! — с ему самому неясным еще предчувствием ожидающей его участи. Надежда Михайловна, его дочь, это распятие помнит и говорит, что оно исчезло после разгрома тридцать восьмого года.) Сохранилось зато деревянное пасхальное яйцо, подаренное Ксении Георгиевне митрополитом Вениамином.

«Ксения Георгиевна, а митрополита Вениамина вы помните?» — «Единственное, что могу вам сказать, что папа раза два, наверное, посылал меня с записками... Причем говорил, что только лично в руки...» — «Вы ходили в Александро-Невскую лавру?» — «Да». — «Вас встречал келейник?» — «Да... Выходил монах. Но поскольку папа говорил: лично! ты меня слышишь? ты меня понимаешь?! — я говорила: я не могу, мне надо передать лично. Скажите, что от Юрия Петровича. И меня впускали... Очень хороший, седой человек, добросердечный такой... Подойдет и поздоровается... и благословит. Видно было, что хороший человек». — «Кого вы еще помните?» — «Чукова... (Настоятель Казанского собора, с 1945 г. — митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий. — Авт.) Богоявленский как-то приходил к папе... Папа мне сказал, что это настоятель Исаакия... Понимаете ли, в чем дело... По-видимому, папа старался, чтобы меня эти дела не затрагивали. Это первое. И второе. На тот случай, когда они приходили, мне было строго сказано, чтобы нос не совать». — «Как вы думаете, для Юрия Петровича арест был неожиданностью?» — «Конечно! Никто из нас не ожидал...»

Приснившийся мне однажды карлик Александр Васильевич Дмитриев был родственник Лидии Александровны Дмитриевой, дочери мыслителя и христианина Александра Александровича Мейера.

Ей девяносто лет, она живет возле Московского вокзала, в коммунальной квартире, где занимает одну, но, правда, просторную комнату.

Своею жизнью в Боге и своей непрекращающейся *осанной* Ему она вы-

зывает в душе щемящее чувство, в котором необыкновенная к ней нежность соседствует с восхищением, а восхищение — с печалью. «Я просто Бога непрерывно благодарю, — трудно дыша и покашливая, говорит она, — и хочу, чтобы все поняли, что сила Божия — любовь».

Она пылает ревностью о Боге и стремлением поделиться с миром открывшейся ей истиной — но с некоторых пор, став словно бы узницей своего маленького, высохшего тела, она довольствуется долгими беседами с теми, кто приходит к ней с вопросами и ждет от нее окончательных ответов. «Мне хочется, чтобы люди, уходя от меня, знали, что Бог любит каждого человека... Но — условие! — и самому любить. Если ты живешь в любви, то тебе нечего бояться... Вот у меня... Священники, которые меня исповедуют... всегда удивляются, что я им первым делом говорю: у меня нет никакого страха Божия. Они удивляются сперва, потом через некоторое время лучше меня узнают и понимают, что я... страх Божий не могу... считать... А ведь это считается основой! Нет... не основа... Не страх Божий, а вера в Его, Бога, любовь».

Во всем свете она, должно быть, единственный оставшийся в живых свидетель. Она помнит, как подъезжали к зданию филармонии, где заседал ревтрибунал, грузовики, в кузовах которых сидели и стояли обвиняемые. Помнит, как благословлял народ из кузова архимандрит Сергей, вскоре расстрелянный. Помнит, что выпускали не с главного хода, а через кассы — с Михайловской улицы. «Пускали по пропускам. У меня был пропуск, мне адвокат достал... Фамилия? Я позабыла. Как только у меня спрашивают фамилию, у меня сразу память... Не пропускала ни одного заседания. Это... как сказать... вспоминались первые времена христианства. Их... наших заключенных... оттуда... со сцены, где сидели судьи, спрашивали такие глупости, таким издевательским тоном! — Тут она приподнялась над столом и заговорила голосом одного из судей, семьдесят лет назад терзавшего и тащившего в могилу невинных и чистых людей: — Чтой-то вы, образованный человек, и вдруг какими-то свечами занимаетесь!»

Я с новым восхищением и любовью на нее посмотрел. Удивительно! В подвале Лубянки, один за другим читая двадцать семь томов дела «По обвинению Казанского и других», я выписал в том числе и это:

«Смирнов (он, правда, был не судья, а главный обвинитель, что, впрочем, совершенно не меняет сути. — Авт.): Что же вы, профессор, юрист с высшим образованием, полагали, что без вас отцы духовные не справились бы с приходскими делами? Новицкий: Этого не полагал, но я был всегда человек религиозный, и когда позволено было свободно идти на служение Церкви, то я пошел».

Я вычитал — а она собственными ушами слышала, запомнила и семьдесят лет спустя, чуть ли не день в день, мне передала.

«Новицкий, — продолжала Лидия Александровна, и видно было, что все это для нее никогда не станет прошлым, никогда не уйдет и не отомрет, а всегда будет бесконечно живым, отзывающимся в сердце любовью и болью, — это была личность. Когда произошла вот эта самая... погубительная, — помолчав и отдышавшись, грозно сказала она, — он решил, что церкви можно сохранить с помощью народа, который в эти церкви ходил. Вот церковь, ее закрывают... Новицкий людей объединил. Посылались им по квартирам, окружающим эту церковь, спрашивать: согласны ли вы считать себя прихожанином такой-то церкви? Организовать такое дело и создать приходы уже с определенной целью, чтобы спасти церкви, — это дело особо Божие. Особо Божие, — повторила она. — Апостолы были посланы, а он пошел сам. Очень представительный такой был человек, молодой еще, очень такой сдержанный, высокий, очень замечательный... Он объединил приходы. И к нам на квартиру... мы жили на Петроградской стороне... к нам приходит какая-то женщина и говорит: вот записываются для Владимирского собора... Вы согласны? Да, пожалуйста, говорю я, записывайте всю нашу

семью Мейер. И вот он таким образом организовал церковную жизнь. Он не был ни архиереем, который обязан заботиться... он был простым... Нет, не простым. Не знаю, я его вспоминать не могу без слез. И когда я вижу эту картину... когда он стоит, около него два конвойных... Ему такую глупость говорят. А он исповедует веру — так, как, наверное, только исповедники в Римской империи. Его, конечно, приговорили».

Юрий Петрович передал дочери, что запрещает ей бывать в суде. Она подчинилась. Лишь однажды, в перерыве, ее привели в зал, и она смогла не только увидеть отца, но и поговорить с ним: *в последний раз*.

«Отец сказал мне: не верь, это все неправда, я ни в чем не виноват».

«Редакция «Известий» ВЦИК, гражданину Стеклову. (Стеклов Ю.М. (Нахамкис) — главный редактор «Известий», член Президиума ВЦИК. — Авт.)

Я прошу Вас о следующем. В 1915 г. в Петроградском Университете Вы держали у меня, тогда доцента Университета, экзамен; тогда же я, заведуя временно вместо секретаря факультета канцелярией юридического факультета, оказал Вам, если только припоминаете, небольшую и конечно ни к чему не обязывающую Вас помощь. Вы, конечно, может быть, и не помните всего этого, но я помню, и помню еще Вашу дочь, которую Вы тогда ко мне присылали. И вот теперь ради своей сироты-дочери, я — вдовец, и, если меня расстреляют, она, 14-летняя, погибнет, а мне грозит расстрел по обвинению Петроградского Митрополита и части Правления православных петроградских приходов в сопротивлении при изъятии ценностей. Между тем изъятие ценностей прошло благополучно: и прошло так именно благодаря, в значительной части, моим стараниям. Я даже ездил в Москву, к Патриарху, доказывать ему, что все ценности можно отдать...

И вот я на скамье подсудимых пишу, ожидая смертного приговора. Между тем, могу ли я подлежать смертной казни по 62 ст. (заговор с целью свержения Советской власти. — Авт.), когда пошел на службу Сов. власти еще в мае 1918... Я знаю, может быть, я никакого права не имею угрожать Вас, но ради своей сироты-дочери; я — вдовец — и после моего расстрела она останется одна. Ради нея прошу вас помогите. Простите, что позволил себе обратиться к Вам в эту тяжелую минуту моей жизни. Утопающий хватается за соломинку, а я хватаюсь за небольшое знакомство с Вами. — Примите еще во внимание, что я создал в Киеве суг по делам малолетних в 1912 г., в 1911 г. — приют для детей ссыльно-каторжных, которые оставались сиротами. Неужели теперь моей дочери малолетней не оставят отца?!

Ю.П.Новицкий. 3. 07. 22 г.».

Резолюция Стеклова (красными чернилами): «Срочно переслать тов. Калинин в дополнение к первому письму, посланному неделю тому назад, 14. 07. 22 г.».

Добытые мною в архиве предсмертные письма Юрия Петровича с их пронзительной тоской о судьбе дочери и безответной мольбой о помощи вселили в меня горькую уверенность, что и Оксану затянул водоворот, погубивший ее отца, миллионы чистых и честных душ, всю Россию. Слава Богу, она осталась жива, и жизнь ее оказалась долгой и вполне счастливой.

Для меня несомненно, что спасена она была молитвами своего мученика-отца, с которыми он обращался к Господу и Пресвятой Его Матери из тюремной камеры, а также его постоянным ходатайством за нее непосредственно на Небесах.

Предназначенную Ксении Георгиевне церковную лепту похищала, как мы знаем, бабушка. Впоследствии же Церковь или потеряла из вида, или

позабыла дочь раба Божьего Георгия, что, принимая во внимание надвинувшуюся на русскую землю беспросветную ночь, было совсем неудивительно. Однако и потом, когда чуть рассвело и Церковь получила возможность перевести дух, мало кто вспомнил, что у Юрия Петровича, жизнью и смертью подтвердившего свою верность Христу, осталось в этом мире единственное и любимое дитя. После войны, правда, пригласил ее Чуков — уже митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий. Она приехала в Лавру, он принял ее в архиерейских покоях на втором этаже — скорее всего там же, где вручала она отцовские письма митрополиту Вениамину.

«Ну что я вам могу сказать, — вздохнула Ксения Георгиевна. — Он очень хорошо меня встретил и спросил, не нуждаюсь ли я... Вы знаете, мне было очень обидно. Боже мой, думаю, сколько лет прошло, и ты ни разу не пикнул ни о чем! А тут я уже зарабатывала прилично, была замужем. Муж у меня был деканом факультета Лесотехнической академии. Поэтому я... И он мне что-то там передал... вот... это было в пасхальные дни... яичко. Где-то оно есть. А в яичке было двадцать пять рублей».

Лет десять спустя Ксению Георгиевну снова пригласили в Лавру. Митрополит умер, упомянув ее в своем завещании. Я спросил: «Что же он вам оставил в память о дружбе с вашим отцом?» — «Не знаю, — ответила Ксения Георгиевна, и мне показалось, что даже с непривычной для нее резкостью. — Потому что я не поехала. Отказалась».

Осталось теперь, может быть, самое главное — к чему шаг за шагом приближался я в этой части моего повествования и что, будучи на первый взгляд всего лишь фактом судьбы Ксении Георгиевны, в конечном счете открывает себя как сердцевина общероссийской драмы, в которой поколение за поколением со слезами, проклятиями, бешенством, отчаянием и восторгом участвует *до самых до смерти* (так некогда отвечал протопоп Аввакум на бесхитростный вопрос терпеливой своей жены: «До самых до смерти, Марковна!»). И нам, ныне живущим, этой участи не избежать.

Итак.

«Ксения Георгиевна, Юрий Петрович заботился о вашем религиозном воспитании?» — «Он приучал меня утром молиться», — «Молитвы помните? «Отче наш», например...» — «Я тут как-то пробовала вспомнить... «Отче наш, иже еси на небесех...» — она коротко рассмеялась. — И все. Да... А вечером уже не очень. В зависимости от того, как, в каких обстоятельствах я засыпала». — «А в церковь ходили вместе с отцом?» — «Только, вы знаете, в очень большие праздники». — «А в какую церковь?» — «Мы, когда жили на Чайковской теперешней... на Сергиевской... а в конце Сергиевской так и называлась — святого Сергия. Теперь там на месте церкви стоит дом. На ее фундаменте... Я в эту Сергиевскую церковь, — помолчав, проговорила она, — пока суд был... бегала просто каждый день... свечи там ставила... молилась». — «И когда вы... — спросил я, с мучительной осторожностью подбирая слова и более всего страшась, чтобы возникшая в потревоженном ее сердце милая тень не оставила по себе новой раны, — узнали...» — «Ужасно было, — скупно ответила Ксения Георгиевна. — Жить не хотелось». Я продолжал с мягкой настойчивостью: «И, наверное, к этому времени вы относите разрыв личной связи с Богом?» — «Да. Пожалуй. Я слишком, понимаете ли, верила, что должно быть спасение. А его не было. И во мне, вы знаете, как обрзало. И потом — все».

Таким образом, опытом собственной жизни и веры будучи подведена к вопросу: если Бог есть, как может он допускать зло? — Ксения Георгиевна в четырнадцатилетнем возрасте раз и навсегда отказала Творцу в праве на существование.

Ужас овладел ею на краю вдруг открывшейся перед ней пропасти.

В светлые дни и ночи июля двадцать второго года летела к Небесам

омытая слезами ее молитва. Ему, Творцу и Вседержителю, чьей мощью устроен мир, — что стоило Ему сохранить родную ей жизнь? Бог, Отец всех живущих и умерших, — отчего не пощадил Он ее ни в чем не повинного отца? Создавший небо и землю, воздвигший горы и наполнивший моря — почему не оградил его неодолимой Своей силой? Она была слишком слаба, чтобы, преодолев боль, воскликнуть: «Слава Богу за все!»; слишком несчастна, чтобы попытаться смирить гнев и отчаяние своего сердца; и слишком сокрушена, чтобы в проявлениях божественной воли понять зло всего лишь как преходящее условие дарованной человеку свободы.

Она замкнула уста для молитвы и сердце — для общения с Богом.

Насилие, совершенное над ее отцом, вырвало неокрепший росток веры из ее души. Постепенно другая вера овладела ею, и дочь растерзанного советской властью мученика и страдотерпца стала в конце концов полноценным советским человеком, убежденной сторонницей коммунистической идеи и твердой атеисткой, не крестившей своих детей и воспитавшей их в материализме и неверии.

Больше того: она вступила в партию. Событие это произошло в 1943 году, блокада была еще не прорвана, и единодушно проголосовавшее за Ксению Георгиевну собрание проходило в бомбоубежище. Юрий Иванович, ее сын, также был обладателем партийного билета, а Мария Ивановна, ее дочь, объяснила мне, что хотя и не была коммунисткой, как мама, сейчас готова вступить в партию, ибо искренне считает коммунистическое общество самым справедливым.

Беседуя с Ксенией Георгиевной и ее детьми, я, может быть, впервые с такой бесспорной очевидностью ощутил реальность понятия *советский народ*. Дочь святого и его внуки были именно советские люди во плоти и крови (а вовсе не выморочные порождения партийного агитпропа) — с чисто советским отношением к прошлому и настоящему, с классической советской убежденностью в правоте своих взглядов, со стремлением воспитанной в советском духе интеллигенции непременно обособить культуру от религии, объявить икону и храм самодостаточными художественными ценностями, бесчувственно вырывая их при этом из материнского лона Церкви.

Советский человек до такой степени любит советскую власть, что не смеет огорчить ее отказом в жертвоприношениях.

«Ксения Георгиевна, вы простили советской власти убийство своего отца?» — «Да. Я считаю, что в тот момент, наверное...» Тут она чуть запнулась, но Мария Ивановна, не колеблясь, продолжила: «Неизбежно было». — «Да», — одобрила дочь Ксения Георгиевна. «Не наш дед, — заметила Мария Ивановна, — так другой какой-нибудь». «Да», — снова кивнула Ксения Георгиевна. «Я вообще, — сказала ее дочь, — стараюсь думать про деда как про живого человека, который, — она возвысила голос, тем самым, должно быть, привлекая наше особенное внимание к дальнейшим своим словам, — как нам всегда говорили, считал, что интеллигент должен нести свой крест».

Хорошо это? Плохо? Нелепый вопрос. Хорошо ли быть русским? немцем? евреем? Точно так же не хорошо и не плохо быть советским и принадлежать к этой почти нации, зачатой, правда, в результате отвратительного насилия.

Родившиеся на свет несчастные дети тут ни при чем. И те, кто оскорбляет их презрительной кличкой «совок», лишь обнаруживают в своих жилах избыток странной советской крови.

В известном смысле на Ксении Георгиевне остановились часы русской истории. Разрыв с верой отца означал, что связывающую времена и сплетенную из религии, культуры и предания драгоценную нить обрубил удар остро наточенного топора. Пропать легла между новомучеником и его до-

черью, между Россией той и Россией этой, которая, подобно Ксении Георгиевне, стала советской.

Мост развели. Уходит из-под ног наспех сооруженная зыбкая переправа.

«НАЧАЛЬНИКУ Д.П.З.

Петрогубревтрибунал настоящим разрешает свидание гр-нам БРЯНЧАНИНОВОЙ КСЕНИИ ЛЕОНИДОВНЕ и НОВИЦКОЙ КСЕНИИ ГЕОРГИЕВНЕ с осужденным НОВИЦКИМ ЮРИЕМ ПЕТРОВИЧЕМ во вторник 15 августа с.г.».

Двумя днями раньше он был уже расстрелян и зарыт в до сих пор неизвестной могиле — вместе с митрополитом Вениамином, архимандритом Сергием и Иваном Михайловичем Ковшаровым.

Семьдесят лет спустя в Ленинграде стояло жаркое лето, сиял купол Исаакия, и в Александро-Невской лавре требовательно кричал полупьяный нищий: «Положи мне копеечку!»

Отчего так смутно, так тяжело душе моей? Отчего иссякает в ней надежда? И отчего моя печаль о Ксении Георгиевне куда сильнее, чем по отношению ее, посеченному свинцом?

Слезы кипят.

Или правду вымолвил протопоп Аввакум?

ВЫПРОСИЛ У БОГА СВЕТЛУЮ РОССИЮ САТОНА, ДА ЖЕ ОЧЕРВЛЕНИТ Ю КРОВИЮ МУЧЕНИЧЕСКОЮ.

ВАВ. ХРОНОГРАФ (продолжение). ПАТРИАРХ УХОДИТ

Вернувшись в Петроград, Юрий Петрович обнаружил в настроении властей резкую перемену. Достигнутые ранее договоренности утратили всякое значение. В Помголе, куда Новицкий поспешил явиться для уточнения совместных действий, его приняли с нескрываемой холодностью и дали понять, что он как представитель митрополита превратно истолковывает свои обязанности. Его дело — готовить *изъятие*, а не обсуждать план пожертвований.

Одиннадцатого марта (по моим соображениям — утром) встретились: митрополит Вениамин, с одной стороны, Юрий Петрович Новицкий, священники Чуков, Чельцов и Егоров, с другой. Вопрос они перед собой поставили классический: что делать? Была, должно быть, некая растерянность... Я подозреваю даже тягостное молчание, возникающее в тех случаях, когда противостоящая грубая сила, не внемля доводам совести и разума, гнет свое.

Догадка: утром 11 марта они, может быть, впервые почувствовали, что над их головами уже занесен топор.

Была огромная потребность в действии — но с учетом всех обстоятельств оставалась всего лишь одна возможность: снова обратиться к власти.

Так появилось второе заявление митрополита от 12 марта 1922 года — на сей раз адресованное в Петроградский губисполком. После напоминания об условиях, при исполнении которых Церковь готова пойти даже на жертву священных сосудов, следовало шесть пунктов. Приведу (в сокращении) три последних:

«4. Наставляя на предоставлении Церкви права самостоятельной организации помощи голодающим, я исходил из предположения, что нужды голодающих столь велики, что Церковь вынуждена будет, при развитии своей благотворительной деятельности отдавать на голодающих и самые священные предметы свои, использовать которые по канонам и Святоотеческим примерам только и может непосредственно сама Церковь.

5. Если бы указанное в сем предложение мое о предоставлении Церкви права самостоятельной организации помощи голодающим Гражданскими властями было принято, то мною немедленно был бы представлен проект Церковной организации помощи голодающим на рассмотрение и утверждение его Гражданской властью. Если же такого согласия не последует, и ... Церкви не будет предоставлено права благотворения и в ограниченной форме, то тогда мои представители из Комиссии будут мною немедленно отозваны, так как работать они мною уполномочены только в Комиссии Помощи Голодающим, а не в Комиссии по изъятию церковных ценностей, участие в которой равносильно содействию отобрания Церковного гостояния, определяемому Церковью как акт святотатственный.

6. Если бы слово мое о предоставлении Церкви права самостоятельной помощи голодающим на изъясненных в сем основаниях услышано не было, и представители Власти, в нарушение канонов Св.Церкви, приступили бы, без согласия ее Архипастыря, к изъятию ее ценностей, то я вынужден буду обратиться к верующему народу с указанием, что таковой акт мною осуждается, как кощунственно-святотатственный, за участие в котором миряне, по канонам Церкви, подлежат оплучению от Церкви, а священнослужители извержению из сана.

Подписано: **Вениамин, Митрополит Петроградский.**

Круглая печать со словами: Митрополит Петроградский и Гдовский и восьмиконечным крестом посередине.

Прибавлю, что в эти же дни (поскольку изъятие кое-где уже началось) питерские священники получили своего рода памятную записку митрополита: «Для руководства духовенству». В ней, в частности, было сказано:

«Ввиду участившихся случаев посещения действующих и закрытых храмов разными лицами для проверки храмовых описей и даже изъятия священных предметов, преподаются следующие руководственные указания, как поступать в таких случаях.

...6). Св.сосуды и освященные предметы священник по церковным канонам и распоряжению Церковной власти не может отдать посетителям. Если же они будут настойчиво требовать, то он должен заявить: берите сами. В самом акте изъятия должно быть отмечено, что перечисленные церковные священные предметы взяты были самими посетителями».

Первая часть трагедии близилась к своему завершению.

Подведем под ней итоговую черту.

Итак: тайных и явных призывов к сопротивлению — не было.

Отказа от участия в помощи — не было.

Попыток обвести власть вокруг пальца — не было.

Было стремление к сотрудничеству и сознание, что только добровольная жертва примирит народ с утратой дорогих ему святых.

Было (у Вениамина) ясное, цельное и совершенно церковное понимание сути вопроса: в пожертвовании идем вплоть до священных сосудов, изъятию всего лишь подчиняемся. При этом ни один верующий и тем более — клирик содействовать опустошению храмов не может. Хотите брать — берите; мы со скорбью отойдем в сторону.

Незамедлительно подняли зловейшей вой советские газеты — как петроградские, так и центральные, московские. Секретное письмо Ильича соратникам по уничтожению России с указанием стрелять священников в возможно больших количествах, последовавшие вслед за тем тайные постановления партийного синаедрона обязали вышколенную большевиками печать «взять бешеный тон». По первой же команде она с остервенением кинулась на Церковь. В опубликованном «Известиями» «Списке врагов народа» Патриарх Тихон был поставлен номером первым; далее шли имена десятков священнослужителей — в том числе митрополита Вениамина, Петроград-

ская «Красная Звезда» изобразила митрополита сидящим на сундуке с деньгами, сопроводив сию карикатуру подписью: «Митрополит Вениамин угрожает». Газеты изощрались, представляя Вениамина в виде Кощея и внушая читателям, что он не желает поделиться с голодающими даже копейкой из накопленных Церковью несметных сокровищ.

Вслед за тем появилось в «Известиях» письмо 12-ти. Семь протоиереев, четыре священника и один дьякон, объявившие себя «Петроградской группой прогрессивного духовенства», высказали в этом письме свое мнение о том, как должна помогать голодающим Церковь.

Замечу здесь, что всякий, кто обращает взгляд в прошлое с единственным и чистосердечным желанием восстановить всю его правду, не обнаружит ровным счетом ничего предосудительного и тем более противоцерковного в послании двенадцати.

(Количество подписавших, сдается мне, определено было не без честолюбивого умысла, и к одиннадцати иереям присоединен был дьякон для создания первоапостольской полноты. Не обошлось, я думаю, и без впечатлений, навеянных новейшей литературой, — главным образом, еще памятной всем поэмой Александра Блока.)

«В частности, по вопросу о церковных ценностях мы полагаем, что нравственный, христианский долг наш идти на эту жертву. Ведь в принципе на это благословил нас и патриарх Тихон и митрополит Вениамин и другие архиереи. Верующие охотно придут на помощь государству, если не будет насилия. ...Верующие отдадут, если надо, даже самые священные сосуды, если государство разрешит церкви под самым хотя бы строгим контролем им самим кормить голодных...»

С таким, по духу вполне вениаминовским обращением выступили двенадцать — с той, правда, разницей, что они переступили некую, до сей поры в церковном мире заповедную черту и в полный голос обличили священнослужителей и мирян, бесцерковно отказывающих в хлебе изнемогающим от голода соотечественникам. *«Думается, что среди именно этой части церковников господствует злоба, которая явно свидетельствует об отсутствии в них Христа».*

Двенадцать, кроме того, защитили тех, кто с «апостольской ревностью» высказался за жертву церковных ценностей для спасения погибающего народа. *«Молва недобрая и явно провокационная объявляет лиц священного звания, так мыслящих, предателями, подкупленными врагами церкви».*

Числом, так сказать, двадцать второго года, его весны и теплых предпассальных дней двенадцать, повторяю, упрекнуть было не в чем или почти не в чем. Правда, Юрий Петрович Новицкий при встрече на правлении указал одному из подписавших письмо (и его, несомненно, главному автору), протоиерею Александру Введенскому на воздвигнутую властью стену, о которую разбиваются все попытки митрополита принять участие в великом деле спасения людей от голода. Задним же числом, числом, к примеру, тех дней, когда, боясь, что меня вот-вот выпрут из подвала, я с утра до вечера гну спину над томами следственного дела, швырять камни в «группу прогрессивного духовенства» стало для нынешних церковных и околоцерковных деятелей как бы признаком хорошего тона и ревностного стояния за историческую правду и чистоту православия.

Примерять апостольские сандали и в то же время именовать себя «прогрессивным духовенством» было, разумеется, верхом безвкусицы.

Впрочем, отсутствие художественного вкуса, являющееся наряду с насилием над личностью одним из родовых признаков советской эпохи, в двадцать втором еще казалось бунтом и освобождением парохода современности от барахла обветшавших понятий и ценностей.

Но если даже литература нуждается в опорах более устойчивых, чем одно лишь огульное отрицание господствовавших в ней ранее законов, то что нам сказать о религии с ее безусловной укорененностью в вечном? Какой-нибудь плодovitый, но вполне бездарный труженик пера, покоя собст-

венное самолюбие, может отклонить упреки в мертвящей скуке своих сочинений горделивым указанием на их никем пока не понятое новаторство — но, Господи, помилуй, какого рода и сорта объяснения можно найти для «прогресса», бочком протискивающегося в церковные врата?

Однако вовсе не из-за этого нынешний суд над двенадцатью и их единомышленниками столь беспощадно суров. Давно подвешенный к ним и оповещающий весь белый свет об их религиозной проказе колокольчик вызывает всего лишь одно слово: *обновленцы*.

= *прегатели*.

Так ли это? Или (точнее): всегда ли и вполне ли это так? До подвала я бы, скорее всего, знак равенства утвердил.

Чем ограниченной знания — тем уверенней суждения.

Теперь противоречивые чувства одолевают меня; смущают открывшиеся мне многочисленные *pro* и *contra*, и за редкими исключениями у меня теперь не останется решимости произнести по поводу какого-нибудь обновленческого деятеля грозное: «Рака!» Да и где вы отыщете, милостивый государь, предполагаемый мой читатель, нечто человечески-однотипное в массе людей, объединенных некоей руководящей идеей или верой, — разве что на съезде Коммунистической партии Советского Союза. И то, скажу я вам, среди стаи партийных волков и шакалов встречались и там в сущности своей недурные люди, честные работяги, мастера богатых уловов и глубоко-го бурения, за чистую монету принимавшие параноидальное вранье отчетных докладов. Вот почему, несмотря на выжженное непримиримыми руками на обновленческой Церкви клеймо, я берусь утверждать, что наряду с клириками, охотно продавшими душу большевикам, и епископами, ради чечевичной похлебки отринувшими свое христианское первородство, наряду со священнослужителями, мытьем или катаньем превращенными Тучковым и его ребятами во *властеслужителей* (с победной усмешкой докладывал сей товарищ наверх — Менжинскому: «Мы имели на соборе (обновленческий собор 1923 г. — *Авт.*) до 50% своего осведомления и могли повернуть собор в любую сторону»), — одним словом, наряду с леной, поднявшейся на поверхность взбаламученного церковного моря, здесь оказались истинные христиане, поборники веры и ревнители евангельской чистоты.

В большевистских вождах мы вынуждены отметить нечто inferнальное еще и потому, что искреннее стремление к исправлению церковной жизни они с необыкновенной ловкостью направили на разрушение Церкви.

Возвращаясь к *двенадцати*. Был, например, среди них священник великого религиозного вдохновения — о.Александр Боярский; был другой — наделенный блестящими способностями, проповедник Божьей милостью, согретый особенным вниманием митрополита Вениамина (митрополит крестил его сына), но в Церкви все-таки более любивший не Христа, а самого себя: о.Александр Введенский; был и третий, честолюбец с недоброй душой, основатель «Живой церкви», едва ли не самый страшный из обвинителей Вениамина в трибунале: о.Владимир Красницкий.

Особенности его натуры служат нам неким увеличительным стеклом, позволяющим в мельчайших подробностях разглядеть изначальноную ущербность идеи родственного союза государства и Церкви, их, если хотите, брака — с последним и решающим словом в нем, всегда принадлежащим власти светской. (Есть любители порассуждать о *симфонии*, якобы существовавшей некогда в Византии и во времена Алексея Михайловича и Патриарха Никона — в России. Историческая натяжка. Сон золотой. Чем теснее сближается Церковь с государством — тем больше Она изменяет Своему Основателю.)

Была власть царская — о.Владимир Красницкий старался ради нее. Настала власть советская — он тут же похерил свой монархизм и стал едва ли не коммунистом.

«ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЯЧЕЙКИ СОЧУВСТВУЮЩИХ Р.К. ПАРТИИ ИЗ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА

1. Мы, нижеподписавшиеся, принимаем всю программу Р.К. партии (большевиков), кроме изложенной в § 13 обязанности участвовать в «самой широкой антирелигиозной пропаганде».

2. Мы считаем, что Р.К. партия действительно служит интересам трудящегося эксплуатируемого класса и по долгу совести желаем поддержать советскую рабоче-крестьянскую власть, проводящую программу партии — своим пастырским авторитетом и теми средствами, которые предоставляют нам наши знания православных священнослужителей.

Священник В.Красницкий, сотрудник политотдела Петроградского укрепленного района.

Он всячески обхаживал новую власть, стремился преподать ей ценные советы и сделаться ее ближайшим конфиденнтом.

Он ей не переставая *шепта* секретными записками:

«О направлении политики Советской власти в отношении к Православной Российской Церкви. Реальная политика государственной власти для достижения положительных творческих результатов должна руководствоваться не только общими теоретическими и принципиальными соображениями, но считаться и с наличной действительностью и проводить свои намерения в условиях реальной жизни, приспособляя к своим целям пригодные элементы и устраняя враждебные.

Церковь православная как организация стоит против социальной революции. В настоящее время гражданской войны православное духовенство во главе с преосвященным Андреем князем Ухтомским, епископом Уфимским, идет вместе с войсками Колчака.

Православный приход (по Уставу, принятому Собором) организован как социальная ячейка с определенной задачей конспиративного противостояния революционному движению.

Строительство новой свободной жизни русского и вместе с тем мирового общества должно начаться с реформы церковного быта, с действительной реформы православного прихода.

12. 07. 1919 г.

Свящ. В.Красницкий».

За три года до убийства Вениамина о.Владимир получил письмо от одной из своих прихожанок.

Он его не только прочел, но и передал *куда слегует*.

Иначе как бы оно оказалось в архиве, где я его списал в мою тетрадь.

«Уважаемый отец Красницкий. Решаюсь Вам писать не будучи лично знакома с Вами. Пишу Вам по поводу Вашей проповеди в воскресенье, поразившей меня необычайно. Я вдова академика, бывшего известного ученого, как в России, так и вне ее; здесь, в Вашем приходе, я недавно, т.к. нет еще года с кончины моего мужа и сюда приехала лишь с половины июня.

Я не имела и не имею решительно никакой причины защищать капитал; но одно могу сказать, что я была и есть убежденная христианка; христианка не по имени только, но по всему своему глубочайшему сознанию, и люблю поистине Господа всем сердцем моим, и всею душою моею, и всем разумением моим...

Ваша проповедь, батюшка, глубоко задела и оскорбила меня как христианку.

В самый храм и в проповеди священников проникла уже нетерпимость и политика, растерзавшая и погубившая наше несчастное Отечество.

Самый смысл сказанного Вами был ужасен, т.к. слова Апостола были искажены софизмом; это был почти что призыв: «Долой буржуев» Сколько бы ни старались, и раньше, и теперь перетолковывать слова Спасителя и Его Апостолов, применяя их к какой бы то ни было политике, старой либо новой, все равно, это не истина, а натяжка; и Христос, и Его Апостолы всегда были чужды политики с ее неправдами и насилиями.

Конечно, софизмами можно доказать, что надо у НН отобрать его имущество, сделать его нищим, и распределить это имущество между десятью другими НН, к чему стремится и чему учит социализм; но чего никогда не проповедывал Христос. Право, довольно с нас и так ненависти, крови, довольно мы страдаем, чтобы еще с церковных кафедр утверждать и узаконять насилие. Толпа, которой проповедуете Вы, далека от совершенства и от какой бы то ни было любви к ближнему, и из Ва-

ших слов она вынесет лишь то, что правы те, кто отбирает чужое достояние (в большинстве случаев даже не богатство, а лишь достаток, приобретенный трудом) для равного распределения земных благ. Но равенство социализма и равенство, о котором говорит религия, совершенно различны. Социализм, который так усердно внедряют в умы невежественных людей, есть религия одной лишь «плоти».

Нельзя служить одновременно Богу и социализму, точно так же, как нельзя служить Богу и Маммоне.

9. 10. 1919 г.

Вдова академика О.М.Фаминцына».

Надеюсь, что ей дали умереть по-христиански и что с миром отпустил ее в жизнь вечную пастырь добрый, а не перевертыш в рясе.

В Москве тем временем все туже стягивалась петля вокруг Патриарха Тихона. Пытаясь ее ослабить, в апреле он выпустил обращение к епархиальным архиереям (написал собственноручно): *«Как стало известно, что проведение в жизнь Декрета об изъятии церковных ценностей сопровождается в некоторых случаях нежелательными явлениями. Прихожане, побуждаемые, несомненно, ревностью о храме Божием, но ревностью, неправильно понимаемой, допускали активное противодействие представителям власти, причем иногда это противодействие принимало формы прямого насилия и даже кровопролития. Едва ли нужно напоминать, что все подобные действия, противные духу христианского учения, и всякие подстрекательства к ним я категорически осуждаю. При этом считаю своевременным предупредить и против таких явлений, когда разные неотчетливые личности пользуются возбужденным состоянием православной массы и направляют это возбуждение против известной какой-нибудь национальности, например, евреев. ... я приглашаю епархиальных архиереев преподать подведомственному им духовенству и пастве архипастырские указания в вышеизложенном духе, всячески предупреждая их против нежелательных выступлений и располагая их к посильной помощи голодающим, в особенности увещевая к сему тех, чья неумеренная ревность иногда приводит к совершенному отказу выделить что-либо из церковного достояния для указанной цели. К тем же, кто и после сего не подчинится руководственным указаниям своего архипастыря, должны быть применяемы меры архипастырского воздействия».*

Рука была точно Патриарха; я узнал бы его почерк из тысячи. И подпись его. Но прибавление в скобках мирского имени: Василий Беллавин — навело на мысль, что все время, пока Святейший писал это обращение, за его спиной стоял некто — скорее всего, сам Евгений Александрович Тучков, в конце концов убедительно попросивший Василия Ивановича для верности указать подлинную свою фамилию, а не монашеский псевдоним.

Из западни, однако, назад хода не было. Московский революционный трибунал 5 мая 1922 г. постановил: «Привлечь граждан Беллавина и Феноменова, именуемых организацией «Православная иерархия» первый: патриархом Тихоном, второй — архиепископом Никандром, к судебной ответственности». «...Они, — сказано в постановлении, — разработали план кампании по противодействию изъятию церковных ценностей и составили воззвание к населению, которое Беллавин Василий Иванович, он же патриарх Тихон, скрепил своей подписью, и распространили через низшие ячейки своей организации для оглашения среди граждан, чем вызвали многочисленные эксцессы и столкновения между введенными в умышленное заблуждение гражданами и представителями советской власти».

Опускаю допросы Патриарха, которые в апреле—мае двадцать второго с неослабевающим большевистским напором то поочередно, то скопом вели Менжинский, Самсонов, Красиков и Тучков. (Секретарь записывал: «Протокол допроса гражданина Беллавина, так называемого патриарха Тихона».)

Приведу только один:

«Тучков: Осуждаете ли вы российское духовенство, которое ведет агитацию, направленную против изъятия церковных ценностей?»

Патриарх: Осуждаю в смысле открытой агитации.

Примечание (рукой Святейшего): Открытой агитацией я считаю, если священнослужитель по собственной воле и желанию распространяет свои мысли, направленные против изъятия церковных ценностей, в любом месте. Не осуждаю агитацию такую, которая выражена священнослужителем на задаваемые ему вопросы верующих с просьбой разъяснить им церковные правила и учения по сему поводу.

Тучков: Что вы намерены предпринять в отношении тех священнослужителей, кои вели и ведут агитацию против изъятия церковных ценностей и тем самым не желают подчиниться декрету советской власти об изъятии?

Патриарх: По этому поводу рассылается циркулярное распоряжение по епархиальным архиереям, чтобы последние разъяснили своим подведомственным священнослужителям, что в случае, если они поведут агитацию против изъятия церковных ценностей, будут предаваться церковному суду.

Тучков: Что вы намерены сделать со священнослужителями, кои производили и производят хищение из храмов ценностей?

Патриарх: Таких лиц предавать церковному суду, который налагает соответствующее наказание, как-то: лишение места, запрещение священнослужения, извержение из сана.

Разговора на равных, которого стремился держаться Патриарх, не получалось. Они обвиняли — он безучастно кивал. Да, Антоний Храповицкий «является заклятым врагом рабоче-крестьянских трудящихся масс России»; да, «письма от беллого контрреволюционного духовенства я получал через иностранные миссии — латвийскую, эстонскую, финляндскую и польскую»; да, действия заграничного православного духовенства «осуждаю»...

«Расписка

Настоящую расписку начальнику секретного отдела ГПУ товарищу Самсонову даю в том, что приговор Московского ревтрибунала от 5. 05. 1922 г. о привлечении меня к судебной ответственности мне объявлен.

9. 05. 1922 г.

Патриарх Тихон (Беллавин)».

«Подписка

Я, нижеподписавшийся, гражданин Беллавин, даю настоящую подписку секретному отделу ГПУ в том, что без разрешения последнего обязуюсь из Москвы никуда не выезжать. При перемене адреса обязуюсь поставить о том в известность секретный отдел ГПУ, и по первому требованию последнего обязуюсь явиться в здание ГПУ для дачи показаний в связи с привлечением меня к ответственности согласно постановления Московского ревтрибунала от 5. 05. 22 г.

9. 05. 22 г. Москва.

Патриарх Тихон (Беллавин)».

Церковная власть шаталась под ударами власти советской.

Из Питера в Москву поспешило «прогрессивное духовенство» — церковную власть захватить. В понедельник, 9 мая (по новому стилю) в столицу прибыли священники Введенский и Белков и примкнувший к ним псаломщик Стадник.

Красницкий был уже в Москве. Ударная группа «прогрессивного духовенства» насчитывала в те дни пять человек. К питерским священнослужителям присоединился московский: настоятель Гребневского (на Лубянке) храма и основатель журнала «Живая Церковь» Сергей Калиновский (вскоре сложивший с себя сан и сделавшийся штатным антирелигиозным лектором).

Четыре дня пронеслись в бурной деятельности. К себе на Лубянку призывал Красницкого, Введенского и прочих сам Тучков и посвящал их в тонкости разработанного им плана церковного переворота.

Патриарх Тихон должен быть низложен; власть — до Собора — примет на себя Высшее церковное управление; первые роли в нем режиссер из ОГПУ отводил «сменовеховским» (по определению Троцкого) полам.

Попы приняли план с воодушевлением и поздним вечером 12 мая, в пятницу, в сопровождении двух сотрудников ОГПУ явились на Троицкое подворье, где жил (в ту пору — под домашним арестом) Патриарх.

«Красиков: Когда вы беседовали ночью с патриархом Тихоном, то вы, очевидно, разъяснили ему, какая позиция создалась в церкви. Коренной ваш тезис был, что церковь до сих пор контрреволюционная.

Красницкий: Тихон уступил перед нами не только во имя этого, а потому, что ему было указано, что его управление развалило церковь в корне. Примером этого было указано на Киев, где произошел разрыв иерархии, где эта реакционная деятельность патриаршего наместника Михаила привела священников-малороссов к тому, что они вынуждены были сами посвятить себе епископа. Патриарх Тихон сказал: это ничтожные люди. Я говорю, хотя это ничтожные люди, но они произвели движение в Малороссии. Потом я указал на Пензу, где 2 архиерея друг друга отлучали...

Красиков: Вы доказывали и доказали по-видимому, что он является игрой в руках окружающей его контрреволюционной клики.

Красницкий: Я указывал, что его имя стало лозунгом контрреволюции. Мне пришлось также указать на Карловацкий собор...»

Введенский (по его рассказу Анатолию Левитину, почти два десятка лет назад вместе с Вадимом Шавровым мизерным тиражом издавшему в Швейцарии насыщенные драгоценными свидетельствами «Очерки по истории русской церковной смуты»): «После Красницкого стал говорить я. Был я тогда молод и горяч, считал, что я даже стену могу убедить. Говорю, говорю, убеждаю, а Патриарх на все отвечает одним словом: нет. Наконец, и я замолчал. Сидим мы против него и молчим. Но что же вы от меня хотите? — спрашивает он. Надо передать кому-нибудь власть, дела стоят без движения, — говорим. Подождите, встал и ушел в другую комнату; через пять минут выносит письмо Калинину, в котором он временно, на время заключения, передает власть одному из митрополитов — Вениамину или Агафангелу. «Я всегда смотрел на патриаршество, как на крест; если удастся когда-нибудь от него освободиться, буду благодарить Бога». Благословил нас, и мы пошли».

«Красиков: Разрешите мне узнать, как обстоит сейчас дело с высшим церковным управлением?»

Красницкий: В основе ВЦУ лежит резолюция Патриарха Тихона, данная на прошение 3-х священников из той группы, которая явилась к нему в ночь на 13 мая и получила от него отречение от управления. Он написал письмо на имя Калинина, что он передает управление и ставит во главе митрополита Агафангела. Мне пришлось ехать к Агафангелу в Ярославль, а три мои собрата, Белков, Введенский и Калиновский обратились к Патриарху Тихону с просьбой разрешить им принять дела патриаршего управления и пригласить к решению этих дел пребывающих в Москве преосвященных. Патриарх положил на этом резолюцию: означенным лицам принять это дело до прибытия митрополита Агафангела. Самой исторической волной предназначено было нам в полном смысле слова взять на себя высшее управление Российской православной церковью. В нем руководящую роль играет белое духовенство, и заместителем председателя Высшего церковного управления был выбран я — как организатор группы революционного белого духовенства «Живая Церковь». Тихон нам сказал: «Вы знаете, я никогда не искал патриаршества, и когда вы меня освободите от патриаршества, я буду вам чрезвычайно благодарен».

Говорил Святейший ночным посетителям о своем заветном желании снять куколь, или Введенский с Красницким приврали, не согласовав, однако, свою ложь и не уточнив между собой: Бога ли собрался благодарить Патриарх за избавление от сана или лучших представителей «прогрессивного духовенства» — теперь уж никто не узнает. Но письмо Патриарха Калинину существует, я списал его из следственного дела гражданина Беллавина В.И. Вот оно:

«Председателю ВЦИК тов. Калинин.

Ввиду крайней затруднительности в церковном управлении, возникающей от привлечения меня к гражданскому суду, почитаю полезным для блага Церкви поставить временно до созыва Собора во главе церковного управления или ярославского митрополита Агафангела, или петроградского митрополита Вениамина.

Патриарх Тихон.

12 мая/29 апреля 22 г.».

На том же листе: *«Действительность подписи п.Тихона (именно так: п. Тихона. — Авт.) удостоверяем.*

Очевидцы:

*протоиерей Александр Введенский,
священник Владимир Красницкий,
священник Ев.Белков,
священник С.Калиновский».*

С письма сняли копию; очевидцы заверили и ее. Кроме них был еще один заверитель: *«С подлинным верно. 12 мая 1922 г. Секретарь секретного отдела ГПУ».*

Что означало свидание в патриарших покоях? Какой смысл имело подписанное Святейшим полуотречение? И что сулило оно Церкви и России?

Ответ в одном слове: **раскол**. Как ни страшно для Церкви само событие раскола, какие бы трещины и до сих пор еще непреходимые пропасти ни оставили по себе случившиеся за два тысячелетия потрясения церковных устоев, с какой бы ожесточенной непримиримостью ни защищали свою правду вчерашние братья во Христе — всякое подобное противостояние есть и трагедия, и самозабвенный поиск истины Божией, и великий нравственный урок народам земли. В расколе все крупно, подчас величественно. Про наших староверов написал Мельников-Печерский, но, худого слова о нем не говоря, лучше бы — Вильям Шекспир. Эпоха, характеры, страсти — все для него. Боярыню Морозову уморили голодом, протопопа Аввакума гноили в яме, потом сожгли, а он, не уступив ни единого аза, в двух шагах от костра лаял Алексея Михайловича. Ну, и пропадай, глупый цариска, блядин пы сын. (Юрий Петрович Новицкий, по воспоминаниям дочери, Аввакума любил — и за жизнь, и за «Житие».)

На кончике аввакумовского ногтя вполне уместится с десяток Красницких и столько же Введенских. Потому что их раскол не изнутри, а вовне; не от сердца, а по наущению; не по вере, а по расчету. Их раскол — это огромная провокация, ставшая, однако, трагедией для тысяч вовлеченных в нее священников и мирян.

«Нелояльная к Советской власти часть Православной церкви — это 90 % из 40.000 православных приходов. Мы страшно усложним работу ГПУ, которое будет поставлено перед таким множеством общин, что едва ли возможен правильный контроль над ними. Следует укреплять Высшее церковное управление. ВЦУ может не только наблюдать, но и агитировать, перевоспитывать массы в смысле создания в них лояльной государственной психологии. Лишаясь ВЦУ, государство лишается могучего аппарата громадного политического достоинства».

Это пишет Тучкову священник Красницкий.

Такова была цель их раскола — соединенными усилиями Церкви и ГПУ воспитать для советской власти несметные толпы рабов.

Все чистое, христианское, самоотверженное в обновленчестве было в его низах; все низменно-политическое, своекорыстное, угодливое — в его верхах. 13 мая они написали и на следующий день опубликовали в «Известиях» свою декларацию. *«Отказом помощи голодному церковные люди пытались создать государственный переворот. Воззвание Патриарха Тихона стало тем знаменем, около которого сплотились контр-революционеры, одетые в церковные одежды и настрояния».*

Хитон Христа был разодран жадными руками.

Вернувшемуся в Петроград членом ВЦУ с особенными полномочиями Введенскому митрополит Вениамин с необыкновенной для него резкостью ответил отлучением от Церкви — до покаяния перед своим епископом.

«Петроградские священники, — сказано было в послании Вениамина к петроградской православной пастве, — протоиерей Александр Введенский, священник Владимир Красницкий и священник Евгений Белков, без воли своего митрополита отправились в Москву, приняв там на себя высшее управление Церковью. И один из них, протоиерей А.Введенский, по возвращении из Москвы объявляет об этом всем, не предъявляя на это надлежащего удостоверения Святейшего Патриарха. Этим самым по церковным правилам (Двукр. собор; прав. Вас.Великого) они ставят себя в положение отпавших от общения со святой Церковью, доколе не принесут покаяния пред своим епископом. Такому отлучению подлежат и все присоединяющиеся к ним».

Трибуналу Вениамин объяснял:

«Введенского я знаю с 1918 года. По характеру должности он был одно время в большом приближении ко мне, я брал его в поездки, он совершал богослужения вместе со мной, и был хорошим проповедником. Но я вам уже показывал, что его поведение было неправильно, что он обвиняет всех в контрреволюции, тогда как мы не являемся контрреволюционерами. Кто же за это будет благодарить человека? До 6 марта Введенский действовал с моего благословения. С 6 марта я ему благословения не давал. Отлучил я его от Церкви за то, что три священника, никем не уполномоченные, не взявшие на это благословения, без воли своего митрополита поехали в Москву и приняли там на себя высшее церковное управление и стали делать распоряжения в моей епархии. Я предложил протоиерею Введенскому покаяться. Я ему написал письмо. В моем письме я вспоминал прежнюю его деятельность, обращение его с паствой и все то доброе, что было им тогда пережито, и чтобы он оставил тот путь отречения от Церкви... Чтобы он покался и исправился».

Но напрасно писал Введенскому Вениамин и напрасно ждал от него покаяния.

ЗАИН. КОМПЛЕКС ИУДЫ

Житейская уязвимость людей высокой нравственности заключается в том, что и всех остальных они считают по крайней мере неспособными на подлость. Чистые души, они и в других охотнее всего видят такую же чистоту. Человеческая низость их, может быть, не столько ранит, сколько поражает. Как, этот дивный проповедник, в своих речах забывающийся зачастую до искренних слез; этот вдохновенный священник, глубоко переживающий таинство литургии; этот бескорыстный друг страждущих, в жертву им сорвавший с себя серебряный наперсный крест — неужто он способен на предательство?! Ведь он действительно любит Христа!

Да, любит. Но самого себя все-таки больше. Преобладающая над всем любовью к себе с утешительной легкостью превратила собственную гнусность в страдание Христа ради. Подлую словоохотливость на предварительном следствии — в стремление очистить храм Божий от менял и торговцев. Союз с яростными богоненавистниками — в глубокий замысел спасения России.

Вениамин будто бы назвал его «Иудой-предателем». А протоиерей Акимов «требовал суда над Боярским за выступления его в пользу голодающих (по поводу изъятия ценностей)». А «Бриллиантов и Карабинов заявили, что с церковно-исторической точки зрения выдача сосудов есть предательство». А «накануне было заседание, в котором меня подвергли всякому поношению за мое письмо в «Правду» (Чуков и Ковшаров)». «Беседовал я потом еще с Вениамином... Когда он задумал послать 2-ое письмо в Смольный и показал мне текст письма, я уговаривал его не делать, т.к. того обмана, о

котором Вениамин пишет, со стороны Советской власти нет и не было, и его утверждения не соответствуют фактам».

Собственной рукой, четким, красивым почерком первого ученика о.Александр Введенский это все написал. И с тем же стремлением доказать власти свою преданность ответил (письменно) на дополнительный вопрос следователя о профессоре Бенешевиче, будто бы сказавшем на собрании в Богословском институте некую крамольную фразу: *«Я только не ручаюсь за стенографическую точность этой фразы, как ее мне поставил следователь. Она гласила приблизительно так: «Поневоле приходится верить всем этим пророчествам, что Советская власть погибнет, гибель погходит, так как теперь власть напивается церковными соками (или кровью)».* Такую фразу я сам слышал на заседании, причем она была сказана в речи проф. Бенешевича.

Прот. А.Введенский».

«ШИФРОМ ЛИТЕР СПР

ТЕЛЕГРАММА

ПЕТРОГРАД ГУБОТДЕЛ ГПУ

МИТРОПОЛИТА ВЕНИАМИНА АРЕСТОВАТЬ И ПРИВЛЕЧЬ К СУДУ ПОДОБРАВ НА НЕГО ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ТЧК АРЕСТОВАТЬ ЕГО БЛИЖАЙШИХ ПОМОЩНИКОВ РЕАКЦИОНЕРОВ И СОТРУДНИКОВ КАНЦЕЛЯРИИ ПРОИЗВЕДЯ В ПОСЛЕДНЕЙ ТЩАТЕЛЬНЫЙ ОБЫСК ТЧК ВЕНИАМИН ВЫШЩЕРКУПРАВЛЕНИЕМ ОТРЕШАЕТСЯ ОТ САНА И ДОЛЖНОСТИ ТЧК О РЕЗУЛЬТАТАХ ОПЕРАЦИИ НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ ТЧК НР 25023/С 1 ИЮНЯ 1922 ГОДА НАЧСОПЕРУПРГПУ МЕНЖИНСКИЙ НАЧСОГПУ САМСОНОВ

С ПОДЛИННЫМ ВЕРНО Е. ТУЧКОВ».

Это документ. А вот — предание: когда в Александро-Невскую лавру явились за Вениамином, оказавшийся там как представитель ВЦУ (советского *Вышщеркупра*) Введенский подошел к митрополиту за благословением. «Отец Александр, — сказал ему Вениамин, — ведь мы с вами не в Гефсиманском саду».

Я где-то читал, что сложившееся за два тысячелетия отношение к Иуде Искаротию мешает нам с должной непредвзятостью рассматривать его поступок в свете общего замысла Бога о земной жизни, крестной смерти и тридневном воскресении Спасителя. Однако, совершив над собой некоторое усилие и отрешившись от школьных представлений, можно обнаружить в Иуде доселе не замеченные черты первого мученика христианства, по доброй воле принявшего на себя согласное проклятье человеческого рода. Подобные рассуждения должны в конце концов привести нас к мысли, что предательство Иуды есть на самом деле подвиг, совершенный им в благом стремлении явить народу израильскому в человеке Иисусе — Иисуса-Бога.

Говорят нам (Ин. 12; 6), что Иуда был жаден и даже подворовывал из денежного ящика, распорядителем которого поставил его Иисус. И что, может быть, именно алчность побудила его *прогать* Христа иудейскому священноначалию. Странная, безумная алчность, между тем как Иуда совсем не глуп. Ибо что такое полученные им за Христа *тридцать сребреников?* Гроши. Алавастровый сосуд с благовониями стоил в два с лишним раза дороже. Еще говорят, что он ревнив. Остальные апостолы мешали ему любить и безраздельно пользоваться ответной любовью Иисуса. Ну и, наконец, ради полноты представления о причинах совершенного Иудой поступка следует упомянуть о будто бы охватившем его горьком разочаровании в Иисусе Христе как Мессии. Где сила избавителя? Блеск власти? Торжество Израиля? И разве позволил бы истинный Мессия схватить себя — как в Гефсимании безропотно отдал себя в руки храмовой страже Иисус?

Иными словами, было бы даже безответственно объяснять Иудино предательство исключительно низменностью его натуры. Если бы так, то разве отправился бы он в храм объявить о невинности Иисуса? Разве жгло бы его сознание совершенного им греха? И разве наложил бы он на себя руки?

Существует, таким образом, комплекс Иуды, в той или иной мере присутствующий, наверное, во всех известных нам предательствах.

У Введенского он представлен едва ли не в полном объеме — с дополнением чрезвычайно высокого мнения о себе. Пятидесятидевятилетний настоятель Владимирской церкви, о. Павел Кедринский сказал в трибунале: «Когда говорят о новой церкви, о новых священнослужителях-прогрессистах — я не знаю, в чем у них прогресс. Разве, что они пользуются если не покровительством, то, по крайней мере, известным, более снисходительным отношением со стороны гражданской власти. Ведь сейчас дело доходит до того, что один из таких протоиереев публично, на собрании пастырей, объявляет, что расстрел 5 протоиереев (в Москве, — Авт.) был ответом на его отлучение. И тот же протоиерей в присутствии епископа заявляет: исход судебного процесса над церковниками будет зависеть от постановления пастырского собрания. Разве это не террор... Я не могу не волноваться. Разве эти прогрессивные, идеологические, народные священники могут такие вещи говорить?»

Кедринский не назвал имени протоиерея, не без сатанинской гордыни объявившего о страшной плате за свое отлучение, — но все знали, что речь идет о Введенском.

Обвинение тут же сделало стойку. Смирнов: «Я ходатайствую последние слова занести в протокол полностью» Приговор Кедринскому: три года лишения свободы «с применением строгой изоляции».

В трибунал Введенский был приглашен свидетелем.

В отличие от Красницкого, который напористо шил митрополиту контрреволюцию, Введенский собирался выступить чуть ли не с апологией Вениамина. По крайней мере, именно так он утверждал впоследствии. Я вполне допускаю, что в своем желании спасти Вениамина он был столь же искренен, как и на предварительном следствии, где головой выдавал советской власти митрополита и своих собратьев-священников.

В комплекс Иуды все это во всяком случае вполне вмещается.

До трибунала, однако, он не дошел.

«Заседание трибунала 12 июня.

В 13 часов 25 минут председатель объявляет заседание трибунала возобновившимся и оглашает заявление протоиерея Александра Введенского о полученном им при выходе с заседания Петрогубревтрибунала 10 июня ранении в голову и невозможности являться в течение нескольких ближайших дней на судебные заседания для дачи свидетельских показаний».

Вылетевший из толпы камень угодил ему в голову. Бросали с близкого расстояния, сильной рукой и, несомненно, метили именно в него. Врач Д.Н. Крачковская 11 июня заключила: «Несмотря на слабость, вызванную большой потерей крови, священник Введенский на другое утро служил обедню. Сегодня к вечеру появилась сильная головная боль, некоторое замедление пульса, сонливость. Последние тревожные симптомы требуют абсолютного покоя в течение двух недель».

Начитанный в Священном Писании и неравнодушно-чуткий к молве, он, должно быть, не захотел даже весьма приблизительно уподобляться Голиафу, сраженному камнем, ловко пущенным из пращи будущим царем и псаломцем.

Пусть человеческой злобе удалось остановить его на пороге трибунала, в котором он собирался потрясти сердца речью в защиту Вениамина.

Недалекие, бедные люди, они думали, что он идет обличать любимого владыку. Что ж, тогда в алтаре, перед Богом, приобщившись Его святых и

страшных тайн, скажет он свое слово о митрополите. Бог будет свидетель его пламенной молитвы о спасении Вениамина!

Душевное состояние Иуды не поддается однозначному определению. Он страдает, может быть, даже сильнее, чем другие ученики.

Однако: как осмелился Введенский переступить ясно выраженную волю правящего епископа, войти в алтарь священником и служить? Разве не был он отлучен митрополитом впредь до принесения покаяния? И разве не знал он, что *развязать* его волен только *связавший*?

Заменивший арестованного Вениамина епископ Ямбургский Алексей (Симанский), будущий Патриарх, «призвав Господа и Его небесную помощь» (из его обращения к пастве. — *Авт.*), признал «потерявшим силу постановление Митрополита Вениамина о незаконных действиях прот. А.Введенского» и восстановил его общение с Церковью.

Он также признал ВЦУ.

Среди приговоренных к смертной казни Петроградским ревтрибуналом был священник Михаил Чельцов.

Советская власть с первых дней своего существования взяла его на мушку.

«Постановление.

Гр-н Чельцов Михаил, священник, писатель, за время с октября 1917 г. лояльности к Советской власти не обнаружил, а как элемент наиболее энергичный и умный из черной кости священства может быть опасным для Социалистической Революции — а потому Чрезвычайная Комиссия определяет: гр-на Чельцова Михаила считать заложником.

За Председатель (Антипов)
Следователь (Смирнов)».

После выстрела носовой пушки «Авроры» в 1922 году о.Михаила арестовали в **пятый раз**.

Смертный приговор висел над ним **сорок дней**.

Кто скажет, что нет тайного смысла в как будто бы случайных совпадениях двух разделенных тысячелетиями точек на кругах истории — сорока дней и ночей, проведенных Иисусом в пустыне, и сорока дней и ночей, в течение которых священник Чельцов и с ним еще девять смертников ожидали приглашения на казнь?

Чельцов оказался среди шести помилованных.

«...Я заплакал, когда 1/ 14 августа 1922 г. объявили мне на Шпалерке, что расстрел заменен 5-ю годами».

Расстреляли его восемь лет спустя, в 1930-м.

В Ленинграде я разыскал младшего из его сыновей: Георгия Михайловича.

Старший, Павел, в двадцать втором сидел вместе с отцом на скамье подсудимых, был оправдан и в сорок втором погиб под Москвой.

Георгий Михайлович, милый человек, инженер-строитель, был арестован в 1946-м и вышел на свободу через десять лет. Он передал мне записки своего отца — в том числе и бесценную для истории Церкви работу «Где причина церковной разрухи в 1918 — 1928 гг.». Вот что писал в ней о.Михаил о епископе Алексии (Симанском):

«Епископ Алексей в Питере явился в 1921 году, будучи переведен сюда из Тихвина, и до обновления ничем себя не проявил. Красивый из себя, ловкий и любезный, вполне светский, он любил светское дамское общество. Даже во время богослужения он нередко посматривал по сторонам и даже улыбался и раскланивался со знакомыми, хотя бы и барынями. Среди народа и большинства духовенства он симпатиями не пользовался. Таким бы средненьким ничтожеством он пробыл бы до конца своих дней, если бы не печальное его вмешательство в дела снятия запрещения с протоиерея Ал-дра Ив. Введенского.

Ал-др Ив. Введенский за его самовольную отлучку из Петрограда в Москву, за дерзкое попрание прав Патриарха и насильственное его удаление с кафедры был митрополитом Вениамином запрещен в мае 1922 года в священнослужении. Это запрещение заметно сильно беспокоило Введенского, и он всячески — то прельщениями, то угрозами (даже смерти) — добивался и даже требовал от Вениамина разрешения от запрещения. Но митрополит Вениамин оставался непреклонным и не убоился смерти, запрещения не снимал. Вениамина арестовали домашним арестом, но он не сдавался. К нему не раз являлся Введенский совместно с Бакаевым, бывшим председателем ЧКа, но все напрасно. Тогда Введенский стал воздействовать на викариев, которые еще пользовались правом свободного доступа к Вениамину. Но и они не желали просить митрополита. Пишу все это со слов еп. Венедикта (епископу Кронштадтскому Венедикту (Плотникову) смертная казнь, как и о.Михаилу Чельцову, была заменена пятью годами заключения. — Авт.), не раз в тюрьме рассказывавшего об этом важном деле. Введенский, совершенно верно оценивая для дальнейшего роста обновления свое правомочие, как свободного от запрещения в священнослужении, собирает в квартире Алексея всех викариев и требует снятия с него запрещения. Викарии вполне резонно отказываются, ссылаясь на общецерковные правила, позволяющие снятие запрещения только епископскому лицу, положившему его: митрополит Вениамин был жив, не в тюрьме, к нему свободно ходил Введенский, а поэтому и снят запрещение мог только Вениамин, и не имеют никакого права викарии. Введенский требует, Бакаев настаивает и грозит, викарии не сдаются. ...С этим все и разошлись по домам. А наутро к своему ужасу и удивлению читают в газетах о снятии запрещения с прот. Введенского еп. Алексием. Все Питерское духовенство было поражено и возмущено этим поступком (я в это время уже сидел в тюрьме), и отношение духовенства к Алексею из безразличного перешло во враждебное.

... в конечном выводе оказывалось, что епископ Алексий, снявший запрещение с Введенского, послужил делу обновления в значительной степени, послужил, как самый ревностный сторонник его. Поэтому вина за обновление на Алексии лежит очень великая и ничем не могущая быть оправданной или извиненной. ...Снял запрещение с Введенского, только потому, что испугался угроз и тюрьмы...»

«Протокол допроса.

1922 года мая 26 дня.

Допрос епископа Ябургского Алексия: Симанского Алексея Владимировича, 44 лет.

Что касается моего личного взгляда на вопрос об изъятии церковных ценностей, должен сказать, что я смотрю на это с юридической точки зрения и признаю, что раз, в силу декрета об отделении церкви от государства имущество церковное объявлено народным, иначе говоря — государственным достоянием, и передано оно коллективам верующих лишь во временное пользование, — государственная власть, когда явилась в нем надобность, могла его взять принудительно, не считаясь с желанием или нежеланием тех, кому оно было передано во временное пользование».

29 апреля 1922 года на Гороховой были выписаны четыре ордера на обыск и арест.

Архимандрита Сергия, Юрия Петровича Новицкого, Ивана Михайловича Ковшарова арестовали, судили и расстреляли.

Епископа Алексия (Симанского) освободили спустя месяц после ареста.

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. ...Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну?» (Мф., 23; 27, 28, 33).

ХЕТ. ИЗЪЯТИЕ

В канун Нового года друг Макарецев добыл мне роскошную бутылку виски, достойной ее закуски, однако, не обеспечив, «Со жратвой еще хуже, чем с выпивкой, — доходчиво объяснил он. — Скоро сдохнем от голода, но пьяные». — «Что делать, — вздохнул я. — У нас в булочной уже три дня хлеба нет. Народ воет». — «Невозможно любить свободу на тощее брюхо. А ты вискарь-то сам оприходуешь или своему архивному чекисту в подвал снесешь?» — «Он что-то в последние дни мрачнее тучи ходит. Доложит начальству, что пора меня в шею, — и выгонят. Я бы им всем там по бутылке поставил — лишь бы не трогали». — «Тогда зайди на всякий случай в гастроном рядом с ЧК. Богатый когда-то был. Повезет — может, колбасы какой-нибудь ухватишь».

Я зашел.

В пустых витринах с присохшими к стеклам раздавленными тараканами россыпью лежали брошюры о волшебных свойствах мумий. У винного отдела шла битва за шампанское. Возле кассы два подсобника в синих грязных халатах прилаживали искусственную елку.

«Наши достижения», — услышал я позади знакомый голос и обернулся.

Это был он — в короткой кожаной куртке с цигейковым воротником и в кепке, довольно легкой даже для слякотного московского декабря. «Вперед за шампанским?» — с холодным интересом взглянув на меня, кивнул он на осажденный прилавок. Я пожал плечами. «Из меня боец никудышный». — «Странно. У меня за время нашей совместной... э-э... деятельности сложилось совсем другое впечатление. Этакий, знаете ли, упорный искаатель правды, мимикрирующий под любознательного и отчасти даже простодушного». — «Какая мимикрия, Бог с вами!» — воскликнул я и двинулся к выходу. Ведь это конец для меня, ей-Богу, конец. Вениамина три тома осталось, Патриарх недочитан, и митрополит Петр мне обещан, его дело я с особенным чувством жду... Я ваньку перед ним валял, а он меня крепкими своими зубами давно разгрыз. И куда я теперь с этой проклятой бутылкой? Поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю всяческого благополучия вам и вашим близким... Не глядя в глаза. Глубоко в себе запрятав самого себя. Я не правдоискатель, что вы! Я всего лишь родственник. Внук. Ваши моего деда убили, и он меня на коленях никогда не качал. И наперсным его крестом в раннем детстве не довелось мне играть. И не от него я узнал и всем моим существом поверил, что Бог — есть. Вы его у меня изъяли — как церковные ценности; как правду; как Россию; и как мое право на скорбь. Вы сначала храмы ограбили, а потом — меня. И теперь едва терпите мое присутствие в хранилище избобличающих ваши преступления свидетельств.

Нет, я ему ничего не сказал. Зачем? Молча пересекли мы улицу, молча открыл он передо мной тяжелую дверь, и молча, кивком головы, я его поблагодарил.

«Совершенно секретно.

Информационная сводка о ходе операции по изъятию церковных ценностей в районах гор. Петрограда, согласно донесений начальников районов:

1-Й ГОРОДСКОЙ РАЙОН.

Операция по изъятию церковных ценностей к 13 мая с.г. закончена, операция протекала удовлетворительно, за исключением незначительных инцидентов (эксцессов), а именно:

1) при изъятии ценностей 25 апреля из церкви «Покрова» — на Боровой ул., Комиссию по изъятию толпа пыталась избить, но при содействии милиции, которой было дано несколько выстрелов в воздух, порядок был водворен, причем из лиц агитирующих к недопущению изъятия было арестовано 5 человек, и дальнейшая операция прошла благополучно,

2) при изъятии ценностей из церкви «Александра Свирского» на углу Боровой и Разъезжей ул., 23 апреля с.г. собравшейся толпой после окончания изъятия были брошены в присутствующих при операции чинов милиции несколько кирпичей, не причинивших кому-либо серьезного вреда, за исключением легких ушибов, полученных Начальником 9-го отделения, квартальным Надзирателем и 2 милиционерами: после данного Милицией залпа в воздух толпа рассеялась, и порядок был водворен.

2-ОЙ ГОРОДСКОЙ РАЙОН.

Операция по изъятию проходит удовлетворительно, за исключением случая, имевшего быть при изъятии ценностей 16-го марта из церкви «Спаса на Сенной» где собравшейся толпой был избит пом. начальника 5-го Отделения, но принятыми милицией мерами дальнейший порядок был водворен, толпа была рассеяна.

СМОЛЬНИНСКИЙ РАЙОН.

Операция по изъятию протекла и закончена удовлетворительно за исключением следующих эксцессов со стороны верующих, а именно: при увозе ценностей из церкви Рождественской (на 6-ой Рождественской) и «Марии Магдалины» некоторыми гражданами по адресу Комиссии по изъятию и милиции были сделаны отдельные выкрики и брошены камни, не причинившие кому-либо вреда, затем у собора «Духа» и церкви «Покрова» (на Охте) к приезду Комиссии на колокольню ударили в набат и к церкви стала собираться толпа, преимущественно из женщин и подростков; но поднявшимся на колокольню членом Комиссии тов. Авдеевым звон был прекращен. При выходе с колокольни он подвергся нападению толпы и получил несколько ударов. Подоспевшей милицией инцидент был прекращен, виновных задержать не удалось.

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН.

Операция протекла и закончилась удовлетворительно, за исключением незначительных эксцессов со стороны граждан, собравшихся к моменту процесса изъятия, как-то: отдельных выкриков и бросания камней в членов Комиссии и то исключительно женщинами и детьми.

МОСКОВСКО-ЗАСТАВСКИЙ РАЙОН.

Изъятие происходит удовлетворительно, за исключением имевшего быть случая, а именно: при указанной операции 28 апреля в церкви «Николая Чудотворца» на углу Мало-Детское-сельского и Международного пр., в момент изъятия, собравшаяся толпа до 1000 человек — препятствовала производству хода операции. Для противодействия толпе, за малочисленностью сил милиции, начальником означенного Района были затребованы в помощь курсанты, которые прибыли в количестве 10 человек.

Дальнейшими принятыми мерами милиции, толпа была оттеснена от церкви, но при отъезде автомобиля с ценностями из нея было произведено по таковому несколько выстрелов, затем толпа постепенно рассеялась. Дальнейшее изъятие ценностей продолжается.

Сия сводка есть превосходный образец казенной речи в пору становления советской власти.

Революция разрушила не только государственный строй России, но и ее язык.

От момента процесса изъятия меня бросило в дрожь, а подвергшийся нападению при выходе с колокольни Авдеев доставил мне несколько приятных мгновений, впрочем совершенно свободных от какого бы то ни было мстительного чувства.

Эксцесс тоже хорошее слово. Но пострадавшие были, это правда. Несмотря на пасхальное воззвание Вениамина («Я своей архипастырской властью разрешаю общинам и верующим жертвовать на нужды голодающих... даже и ризы со святых икон... Но если гражданская власть, в виду огромных размеров народного бедствия, сочтет необходимым приступить к изъятию и прочих церковных ценностей, в том числе и святынь, я и тогда убедительно призываю пастырей и паству отнестись по-христиански к происходящему в наших храмах изъятию... Со стороны верующих совершенно

недопустимо проявление насилия в той или другой форме. Ни в храме, ни около него неуместны резкие выражения, раздражения, злобные выкрики против отдельных лиц или национальностей и т.п., так как все это оскорбляет святость храма и порочит церковных людей... Проводим изымаемые из наших храмов церковные ценности с молитвенным пожеланием, чтобы они достигли своего назначения и помогли голодающим. ...Перестаньте волноваться. Успокойтесь. Прегадите себя в волю Божию. Спокойно, мирно прощая всем вся, радостно встретьте Светлое Христово Воскресенье», народ роптал и при случае не прочь был проводить представителей власти, только что опустошивших церковь, вовсе даже не молитвой, а площадной бранью и камнями. При удачном стечении обстоятельств совдеповских посланцев били. Попало, как мы знаем, товарищу Авдееву — но не только ему.

Некто М.Левицкий, член Р.К.П. Нарвско-Петергофского района (партбилет № 77333), четвертого мая командированный изымать ценности из церкви Путиловского завода, разъяренной толпой был крепко помят. Среди народных мстителей оказались и жулики, стащившие у поверженного коммуниста документы и бумажник с 33 миллионами рублей.

Страшный удар. «Ввиду тяжелого материального положения, т.к. я имею на своем иждивении семью, состоящую из 8 человек, то и прошу через исполком комиссию Помгола удовлетворить меня по возможности в смысле выдачи денег, у меня похищенных».

Восемь человек, голодные рты, бледные дети, нищий быт.

Щемящая нота.

Пагуба революции — в соблазне, которым она прельщает отгородившиеся от света Христова души. Торжество революции невозможно в действительно христианской стране. Стало быть: Святой Руси или не было никогда, или в некие давние или сравнительно близкие времена она покинула эту землю.

Священные сосуды Церкви канули в хищной утробе власти; голодные продолжали умирать; Вениамина расстреляли; Левицкого избили. Мне его жаль. Я представляю его себе человеком весьма слабого телосложения, после первого же удара оказавшимся на земле с трагической мыслью, что вот и ему пришел черед пасть жертвой в этой роковой борьбе. Он остался в живых, вернулся домой, встреченный сострадательными возгласами любящей жены и многочисленных деток, но не перестал быть жертвой — только в совершенно ином, пока еще недоступном ему смысле.

У церкви Путиловского завода вообще оказалось самое горячее место. Агент Ахов доводил до сведения начальства о случившемся при изъятии *кровапролиции*, имея при этом в виду как побои, полученные тов. Левицким, так и разбитый метко брошенным камнем глаз второго члена комиссии. Камнем в голову был также ранен курсант-кавалерист. Вызванная на подмогу пожарная машина охладить водой разгоряченную толпу не смогла — защитники церковного добра перерезали рукава и забросали пожарников камнями. (Расходы, связанные с необходимостью отремонтировать брандспойт, рукава и восемь касок, составили 31100 рублей в дензнаках 1922 г.) Наблюдательный Ахов сообщал далее: «Камни кидали исключительно дети. Курсантами было дано несколько боевых залпов в воздух в виду того, что разъяренная толпа стала закидывать их камнями. Одним из сотрудников было осторожно передано милиции 2 *интелигентные* гражданки, которые подстрекали кидать камнями».

Власть следила в оба, боясь проворонить врага.

«Секретно. Срочно.

Уполномоченному по церковным делам тов. Шибову.

В докладе помощника начальника 2-го отделения Белоусова «О настроении верующих в связи с изъятием церковных ценностей в Путиловской церкви» проходят как весьма активные участники беспорядков граждане Абрахимов, котельный мастер Путиловского завода, Кельнер — в пушечной

мастерской того же завода, Сематов, Колька Жидан, Буранко-Максимов и Горловой Федька.

На основании изложенного прошу через агентуру выяснить этих лиц, арестовать и доставить в трибунал.

Старший следователь Некрасов».

Поименованные следователем путиловские пролетарии под тяжелую руку рабоче-крестьянской власти по неведомым мне причинам не попали. Но и в тюрьме, и на скамье подсудимых было тесно.

У восемнадцатилетнего Якова Гусарова допытывались:

«— Милиция разгоняла народ?

— Разгоняла. Когда я пошел в лавочку, то стоял час в очереди, а когда обратно из лавочки шел, то стояла цепь курсантов...

— Кто резал пожарные рукава?

— Не знаю.

— А шины автомобильные не видели, кто резал?

— Не видел.

— Чем вы занимаетесь?

— Я с апреля месяца безработный. И в тюрьме сижу с 4 мая».

Приговор: шесть месяцев лишения свободы. Взялись за Ивана Герасимова, водопроводчика:

«— Я пошел в лавочку за отца получить хлеб по карточке за проработанный день. Мне пришлось идти мимо церкви. Там женщины плакали.

— А в тюрьме за что сидите?

— Откуда я знаю. Взяли, привели в комендатуру».

Отмерили ему те же шесть месяцев.

К двадцатипятилетнему грузчику Степану Беззаботкину пристал Красиков:

«— Скажите, пожалуйста, вы религиозный человек?

— Я не был в церкви.

— Давно?

— Лет пять.

— В толпе плакали?

— Были женщины, плакали.

— Отчего же плакали? Вы понимали что-нибудь?

— Ничего я не понимал.

— Вам показалось, что они разумно плачут? Может быть, они плакали о голодающих?

— Не знаю».

Шесть месяцев.

Анна Ивановна Савельева:

«Я сидела у дома с курами. Подбегает девчонка и говорит — сколько народу у церкви собралось, прямо невозможно. Я другой раз на свадьбу хожу смотреть. Пришла, около церкви никого почти не было. Церковь была почти пуста, только малолетние ребяташки бегают. Вдруг в боку закололо. Я села прямо на панель. Подходит мужчина, хватает жестоко и говорит: «Баба, уходи». Что же вы меня схватили, надо спросить сначала о здоровьях. Он говорит: «Не разговаривай, уходи». Я не разговариваю, а вы схватили меня за руку. Он отвечает: «Будет вам говорить, я вас сейчас отправлю». Как раз милиционер идет. Он говорит: «Отведите эту бабу, грубиянку». И я два месяца сидела. Вот я и говорю: если каждый мужчина меня будет так схватывать, разве это мыслимо? Вот вся и причина».

Считать по суду оправданной.

Плакать? Смеяться? О, русская жизнь! Есть ли что-нибудь в целом свете горше тебя? Разумны ли, изволите видеть, слезы, которыми женщины провожали Чашу, отобранную у церкви и вырванную прямо из их сердец?

Тупость? Нравственная глухота? Злоба?

Нет.

Иная и тогда еще почти неведомая человечеству порода, которой Господь судил укорениться в российской земле и кровавым цветом на ней расцвести.

Но далее и далее спешит мое перо, а сам я все больше ощущаю себя летописцем, правда, довольно странным — ибо вместо того, чтобы заимст-

воват у жизни, старательно списываю с ее трагических отражений. И слава Богу. Право, мне страшно подумать, что не столкни меня той ночью случай с новым советским вельможей и не помоги я ему тогда в его чрезвычайных обстоятельствах, — то не было бы в моей судьбе ни этого подвала, ни этих, вызволенных мною из нарочитого небытия голосов. Благодарю Тебя, давшего мне возможность оправдать мое появление на свет. Благодарю, гну над томами спину и вздрагиваю при звуке приближающихся к двери шагов... Я жду, что в любую минуту он скажет мне, улыбаясь: «Всё». И я уйду под многоголосый беззвучный вопль покинутых мною в подвале свидетелей, страдальцев и мучеников.

Красиков — студенту богословских курсов Киселеву (21 года от роду):

«— Ведь вы же сын крестьянина, не монаха.

— Папа не монах.

— Почему же вы вздумали пойти?

— Если папа не монах, так и мне нельзя быть монахом?

— Почему вы бросаете хлебопашество, производительный труд?

— Мне нравится монашество.

— Вас утешала мысль, что серебро пошло на голодающих?

— Я не задумывался. Господь знает, куда идет.

— Как Господь?! Почему вы говорите, что Господь?! (Красикова, должно быть, едва удар не хватил. — Авт.)

— Что Господь ни делает — Он все знает. ...Когда меня арестовал милиционер, я шел мимо церкви и крестился, а он мне говорит: «Молись, не молись — все равно не поможет». Я ему говорю: «Молодой человек, нехорошо так говорить, вы затрагиваете меня грубым словом». А он заругал меня и потащил в комендатуру. Я не знал, чего он ругается, не мог понять. А когда шел по лестнице, он меня четыре раза ударил рукояткой револьвера. Я плакал — мне было больно.

Председательствующий: — Почему вы не записали этого обстоятельства в ваших показаниях?

— Потому что следователь спросил меня: «Вы прощаете?» Я говорю: «Прощаю, конечно».

Затем Смирнов за него принялся:

«— А в церкви, вы говорите, перед иконой плакали?

— Этого никто не видел.

— Я спрашиваю вас: плакали или нет. Видел — не видел, это другое дело.

— Да, плакал.

— Вы, может быть, настолько расплакались, что вас пришлось успокаивать?

— Меня никто не видел — я же сказал. Может быть, только икона святителя

Митрофания...

— А Митрофаний видел, что вы плакали. К сожалению, мы не можем Митрофания спросить.

— Почему не можете — спросите.

— Если вы найдете Митрофания в качестве свидетеля, то заявите об этом трибуналу».

Так они шутили.

Шесть месяцев тюрьмы.

Красиков — студенту Николаю Касаточкину:

«— А сами религиозные вопросы, где вы их почерпнули?

— Моя совесть мне подсказывает... Я верю, что есть Бог».

Шесть месяцев тюрьмы.

Возле Иоанновского монастыря, на Карповке, арестовали буфетчицу столовой Совнархоза Марию Пестову. В трибунале у нее допытывался Крастин:

«— Вы каждый день ходите молиться туда?

— Нет, не каждый день, я не могу каждый день, я же на работе.

— А в этот день как попали?

— Потому что Пасха была, праздник был, пасхальная неделя.

— Значит, случайно.

— Нет, не случайно, это праздник был, Пасха.

- Как Пасха?!
- Пасхальная неделя.
- Вы что же, всю неделю ходите?
- Я пришла с работы и пошла молиться.
- Вы всю неделю ходили?
- Нет, не ходила.
- Так я спрашиваю, вы случайно попали в этот день или регулярно?
- Я не понимаю, как — регулярно. Я пришла и пошла молиться».

Он не в состоянии ее понять. Ему нужен переводчик: с человеческого на советский.

Шесть месяцев условно.

Подсудимый Петр Александрович Королев (был штабс-капитаном, с 1918 г. — в Красной Армии, откуда уволился по болезни; полгода безработный; 26 апреля оказался возле Вознесенской церкви):

«Я самый рядовой мирянин, т.е. люблю Бога больше сердцем, чем желаю понять Его умом... В толпе возле церкви я разговорился и не воздержался от своего личного мнения, что как бы быстро власть не произвела изъятие из церквей, но время реализовать в хлеб очень продолжительное нужно, а голод не ждет. Тут подошел какой-то человек в таком полувоенном пальто, постоял, ничего не сказал, отошел.

...Мне, пробывшему полгода без работы, мятущемуся, смотрящему на объявления в столовых, сколько стоит каша, сколько стоит суп, сколько стоит хлеб, особенно тяжело переживалось это время, и я высказался. Я говорю — вот подлинные мои слова: и подлая, говорю, жизнь... Один не может купить полфунта хлеба, а мне точно известно, что открыты карточные клубы и ставят на карту несколько не сумняшеся по 100 миллионов, и все это делается, я говорю, с разрешения власти. Мне точно известно, что в церковном переулке есть такой клуб, что он открыт с разрешения, открыт в Вербное воскресенье. И пошел. Думаю, не стоит больше разговаривать. Дошел до Рузовской и был оклиknут неизвестным человеком, которого сопровождал милиционер: гражданин, стой!»

Он два года был на фронте, был ранен, заработал болезнь сердца.
Два года тюрьмы.

Обвиняемый Алексей Антонов:

«24 апреля, а вовсе не 15 марта, как указано в обвинительном акте, я был на Невском в поисках стекол для очков. Проходя мимо Казанского собора, я зашел туда, чтобы приложиться к образу. В данный момент никакой комиссии не было и даже не предполагалось, как я узнал позже. Служба уже отошла, и в глубине собора служились панихиды. Помолвившись, я направился вон из храма. Невдалеке от входа стояло человек пять старушек, женщин преклонного возраста, о чем-то говоривших. Проходя мимо них, я услышал слова: «Изъятия не будет». Заинтересовавшись этим, я спросил — где изъятия не будет. Они говорят, что изъятия не будет в Казанском соборе, потому что этот собор берет на себя какой-то музей. Тут они стали благодарить Бога, что не будет изъятия, и одна из них говорит, что сколько времени наши прадеды скапывали это имущество и какой грех снимать ризы. Я говорю, что ризы снимать грех с икон, но не по той причине, что они из золота и серебра, а потому, что они освящены. Для нас же, верующих, совершенно безразлично, будут ли они из золота, серебра или железа, а важно то, что они представляют священные предметы, и при этом сказал: «Что нам беспокоиться, на все воля Божия, и в этом я так убежден, что если бы Богу понадобилась моя жизнь, я бы и ее отдал, не только эти ценности». Они стали молиться, а я отошел от них, тоже помолился и вышел из собора. Говорили мы тихо, полушопотом, так что мудро было что либо расслышать. Когда я вышел на улицу, я был арестован.

Крастин: — Вы чем изволите заниматься?

- Студент Института путей сообщения.
- Что у вас общего со старушками?
- Я люблю поговорить со старыми людьми, общего же ничего не было.
- Вы сказали, что готовы отдать Богу жизнь...
- Я сказал, что если бы Богу жизнь понадобилась моя, то я бы ее отдал.
- За что же бы вы ее отдали?
- Я не знаю.

— Значит, вам ваша жизнь не дорога.

— Конечно, не дорога. Если я не буду считаться с волей Бога, то она совсем не имеет значения».

Его отец занимался огородничеством в Луге. Красиков вцепился:

«— Живете по канонам и по Евангелию?»

— По Евангелию.

— А вы огород раздали нищим?

— Огород был такой, что хватало только на себя».

Шесть месяцев тюрьмы.

Трудно передать, с каким чувством я все это переписывал в мою тетрадь. В одно и то же время я переживал до слез трогавшее меня ощущение необыкновенной, прямо-таки родственной близости к тем, кто оказался на скамье подсудимых и кто мучился невозможностью объяснить своим обвинителям и судьям такие само собой разумеющиеся вещи, как веру в Бога, потребность в молитве, сознание над собой высшего и вечного начала, — и вместе с тем едва не задыхался от хватавшей меня за горло ненависти к тупым, самодовольным и жестоким людям, устроившим это судилище.

Гнетущая пошлость сквозила из каждого их слова.

Дьявол — первый лжец и пошляк; таковы же и слуги его.

У нас в России они, кроме того, отличаются удивительной организованностью насилия. В 1922-м, в Питере, на вербовав себе целую армию осведомителей и секретных агентов, они бросали в домзак за одно лишь резкое слово, угрюмый взгляд или просто так: на всякий случай. В церкви Спаса на Сенной им, к примеру, попался чистильщик сапог Абдалов, впервые за три года переступивший порог храма, чтобы поставить свечку к образу святого Пантелеймона и попросить его помощи в исцелении больного сына. Он влип, будто кур в ошип: именно в этот день комиссия выгребала из церкви ценности, толпа шумела, новая охранка хватала людей. Бедный чистильщик резонно, но совершенно напрасно указывал, что он, хоть и бежал из Персии в семнадцатом году, остался персидскоподданным и потому никакого отношения к Русской церкви и ее ценностям не имеет; напрасно уверял, что всей душой приветствует это начинание советской власти; и напрасно член РКП (б), № 88951, ответственный сотрудник б. Всероссийской чрезвычайной комиссии, а ныне начальник Первого исправдома Александров ручался начальству за Абдалова «как вполне честного и преданного и как одного из ассирийцев, который мог распространить нашу идею коммунизма, который организовал союз чистильщиков».

Все напрасно.

Четыре месяца Абдалов не мог распространять идею коммунизма среди ассирийцев и руководить союзом чистильщиков сапог.

Сидел в тюрьме. Пятого июля трибунал его оправдал.

Гребли под одну гребенку: рабочих, студентов, врачей, музыкантов, педагогов, социально близких и социально далеких — священнослужителей, само собой, в первую очередь. Безумную женщину взяли, Анну Ивановну Рачинскую, за воззвание собственного ее сочинения: «Если Царя убили, пускай скажат, где похоронили, в крепость привезем. Если Его в живых нет, то жив род Его, веры достойной, Богом благословенный, а не такой царь-вор, как теперь у нас. Церкви грабит, будто голодных кормить, а сам себе ладит, чтобы удобнее жить».

Долой нехристь!

На престол Царя!

Дружно сплотимся!

Не страшен враг!

Тьма уходит, свет настает. Христос Воскресе!».

На допросе объяснила свой призыв вдохновением свыше. «Мне явился голос Божий и видение, и я прозрела».

Отправили в лечебницу.

(Позднее советской власти стало безразлично душевное здоровье ее бесчисленных врагов, и она запросто пускала в расход людей с несомненным сдвигом — как, например, Семена Харламовича Кузнецова, расстрелянного 23 февраля 1931 года по делу епископа Максима (Жижиленко).

Обвиняемый Никифор Петрович Козеинов, сапожник: «16 числа в 6 часов дня я отправился на Садовую купить газету. Выхожу на Садовую по направлению к церкви Спаса на Сенной — здесь на углу газетами торгуют — увидел кучки народа собрались. В чем дело? Одни говорят: большевики грабить приехали ценности. Другие говорят: ничего подобного, не грабить приехали, а приехали изымать ценности. Дальше пошел по Столярному переулку, домой. Здесь налево, у трамвайного полотна, один агитировал старичок в шинели защитного цвета. Я сначала не расслышал, что он говорит, и по дурацкому соображению спросил — что, здесь проповедают Царство Небесное? Потом я услышал, что агитируют в пользу советской власти. Потом я вернулся к церкви. Стал смотреть, как миллионеры разгоняют публику. Один мне говорит: видишь, как американские бутинки получать, так получили все, а как на голодающих, так никто не хочет давать. Я подтверждаю. Потом он говорит — теперь создали настоящий кинематограф. Я отвечаю — да, но первый в мире и последний в мире, потому что наша советская власть стремится к уничтожению капитала, ценности возьмут, не будет ценностей».

Полгода тюрьмы.

Еще о пострадавших.

Председатель подкомиссии Александр Иванович Грибов явился за ценностями в большую церковь. Собрался народ: больные, сестры, врачи. Один доктор Грибову заявил совершенно прямо: «Мы вообще не доверяем советской власти, в том числе и вам». Александр Иванович в ответ пригрозил: «Не забывайте, что вы находитесь на территории советской власти, а не за границей, вы можете ответить за эти слова». (По просьбе судей Грибов точно указал среди восьмидесяти пяти подсудимых дерзкого доктора. Это был хирург Сергей Соколов. Два года тюрьмы.) «Когда стали уезжать, мне самому пришлось сесть с шофером, и я получил три камня в спину, один очень серьезный, так что и сейчас у меня болит голова».

Но главной жертвой народных волнений в Петрограде двадцать второго года суждено было стать Ивану Васильевичу Никулихину, помощнику начальника 5-го отделения милиции.

16 марта он шел по Садовой и возле церкви Спаса на Сенной как раз угодил в толпу, распалывшую себя старинным призывом *бить жидов*.

Почувяв недоброе и желая защитить власть и порядок, Иван Васильевич стал протискиваться к церкви.

Его узнали, бросили другой клич: «Бей большевиков неверующих!» — и навалились. Никулихин был мужик крепкий, Левицкому не чета. Восемь раз его сбивали с ног, и восемь раз он поднимался. На девятый уже не встал. «Сначала тех, кто меня бил, я помнил, но потом, в девятый раз когда сшибли и стали ударять по голове глыбами льда, у меня были пробиты три раны на голове и восемнадцать зубов вышибли изо рта, в то время я был без чувств» — так повествовал он о своих страданиях революционному трибуналу.

Прискорбное происшествие с Иваном Васильевичем вызвало у обвинителя Смирнова приступ классового бешенства: «Понятно, это пустяки — восемнадцать зубов. Если бы это сделали Казанскому, то тогда бы понятно, как это так, вот изверги, такие-сякие! Но когда убивают, калечат, издеваются, разбивают головы камнями и выбивают по восемнадцать зубов из рабочих и крестьян, то, понятно, вы издевательски где-нибудь, включая и алтари, будете похихикивать и улыбаться, смотря на эту сцену расправы с представителями рабочего класса. Темные фанатики, беспросветные, зашибленные вами

окончательно люди будут выкалывать глаза и избивать камнями рабочих и крестьян, когда они идут из любви к трудовому народу брать для их несчастных детей бриллианты. Целыми полками, целыми ротами, вооруженными пулеметами и в своих мантиях, вы шли в колчаковской армии и вонзали штыки в сердца рабочих и крестьян! (Аглодисменты)».

Крайнее невежество смешалось тут со злобой, злоба переплелась с лицемерием, лицемерие не обошлось без лжи, ложь нашла опору в подлости — все вместе это и называется *большевизм*. Одна лишь речь Смирнова, и вовсе не обязательно, чтобы вся целиком, а лишь несколько избранных из нее мест для разумного и способного к усвоению уроков истории народа могла бы послужить вечной прививкой от чумы, едва не погубившей страну, — но наша Россия поразительна прежде всего своей беспамятностью. Невинных мальчиков и девочек по-прежнему развращают поклонением мумии, осатаневшие пенсионеры тащат над собой портреты *гядьки усатого*, а пробудивший в нас надежду вождь вызывает теперь у обманутых им сограждан горестную усмешку своими ничтожными рассуждениями о якобы сделанном нами раз и навсегда социалистическом выборе.

Насмешка горькая обманутого сына над промотавшимся отцом.

Постоянно возникала еврейская тема.

О содержателе лошадей и экипажей («при империализме») Сергее Дементьевиче Пискареве и его погромном мировоззрении, в дореволюционную пору явном, в двадцать же втором, по словам проникательного агента, «затаенном» и тем более страшном, я уже упоминал. Другой агент, с ласковой кличкой «Майский», счел необходимым отметить противоеврейские настроения некоего Григорьева Александра Николаевича, бывшего дворянина и домовладельца, ставшего в советскую пору церковным старостой. Священник Флеров Константин Николаевич на допросе открещивался: «О еврейской нации я речей не говорил». (Два месяца принудительных работ.) В следственном деле (т. 24, документы) оказался конверт с надписью: «В редакцию журнала «Мухомор»: редактору из русских в собственные (не еврейские) руки». Обвинитель Драницын спрашивал у члена комиссии, рабочего Заинько: «Вы не слышали выражения врача Соколова относительно того, что ценности попадут в карманы комиссаров и жидов?» Обвиняемый Филатов Михаил, семнадцать лет: «Били человека с портфелем. Я слышал, что он еврей». И так далее.

В глазах толпы вредная эта национальность была все равно что партбилет члена РКП(б). Примеров тому было достаточно: в Москве сидел главный еврей Октябрьской революции — Троцкий, в Питере — еврей № 2 Зиновьев, разные советские должности вокруг занимали коммунисты-евреи. Революция — еврейских рук дело, грабеж православных храмов — тоже. Зловещий, но преимущественно бытовой антисемитизм после семнадцатого года приобрел в России политическую окраску.

Евреи-большевики, натурально, были не голуби. Протоиерей Михаил Чельцов, вспоминая свой первый арест, писал о холодной ненависти к нему, православному священнику, молодого сотрудника ЧК, еврея. Отцу Михаилу даже казалось, что допрашивавшие его русские чекисты сами по себе были люди недурные, готовые даже распахнуть перед ним тюремные двери и выпустить на волю — но робевшие перед своими ассистентами-евреями, «так грозно и бранчиво меня, как вообще священника, аттестовавших».

Человек безупречной честности, умница, добросердечный и глубоко верующий, о.Михаил не прибавил и не убавил. Если в 1919-м встретивший вызванного в ЧК на допрос Патриарха Тихона чекист Сорокин (по моим соображениям, как раз у тех самых дверей, куда и мне в первый раз велено было войти) подошел к Святейшему под благословение, то почему бы и о.Михаилу не могло вообразиться сочувствие к себе со стороны русских по крови сотрудников советской тайной полиции?

Мне, между тем, представляется, что взгляд протоиерея — даже поми-

мо его воли, совершенно, так сказать, бессознательно — выделял еврея — представителя власти как некое невиданное доселе явление российской действительности. Были врачи, аптекари, мастеровые, торговцы, среди выкрестившихся были даже священники, один, уйдя к старообрядцам, стал у них епископом, были поэты, художники — но в прошлой жизни редкие из них выбивались в начальники. А тут — сплошь и рядом. Да еще, должно быть, не без мстительного воспоминания о вчерашней черте оседлости, с лица русской земли теперь окончательно стертой и обернувшейся головоружительной возможностью власти, суда и расправы. Еще замечу, и замечу с прискорбием, что антисемитизм с некоторых и весьма давних пор стал словно бы одним из признаков православного и вообще — христианского мира, выросшим из совершенно ложного в историческом смысле представления о соборной и вечной ответственности иудеев за распятие Христа и закрепленным в народном сознании соответствующими толкованиями новозаветных текстов. Помню, как больно поразило меня предисловие к «Первому посланию Апостола Павла к Фессалоникийцам» в лопухинской Толковой Библии. Сказано там, например, о Фессалониках, что «в настоящее время это второй по величине город на Балканском полуострове, к несчастью, густо заселенный евреями».

Там же читаем о низости и двуличии как национальной особенности евреев. Один лишь шаг отсюда, и то — не шаг, а шагок до «Mein Kampf» дядюшки Адольфа (например: «Евреи являются непревзойденными мастерами лжи. Ложь и обман — вот главные орудия их борьбы»), и затем в недалеком совсем расстоянии виден будет черный дым над Европой, черный дым и серый пепел от шести миллионов потомков Авраама, Исаака и Иакова, уничтожение которых словно бы проглядели христианские народы вместе со своими добрыми пастырями.

Это бездна.

Истреби еврея — и будешь счастлив.

Сатанинское искушение.

Святая Русь его не избежала.

Если милая, с чутким и чистым сердцем барышня, Лиза Хохрякова, пересказывает молодому человеку с несомненными чертами святости, Алеше Карамазову, некую прочитанную ею в одной книге леденящую сердце историю про жиду, отрезавшего четырехлетнему мальчику «все пальчики на обеих ручках» а затем распявшего малютку на стене и любовавшегося его мучениями; если она под впечатлением жидовского злодейства рыдает напролет всю ночь; и если Алеша ни единым словом не пытается ее образумить, объяснив, что это все — злобный и подлый вздор, то дело тут не только и не столько в довольно причудливом сочетании в душе самого Федора Михайловича великой любви ко Христу и плохо скрываемого отвращения к жиду вообще. Писатель уровня Достоевского — всегда истинный свидетель существующих в народе настроений. Ведь в конце концов омерзительная книга пошла гулять по России; ведь Лиза Хохрякова даже не колебалась в доверии к ней; и ведь светлый, с обостренным чувством правды Алеша не взроптал в ответ на богопротивную ложь.

Перлы православной экзегетики; пущенные в оборот охранкой и с пылом безумца подхваченные Сергеем Нилусом «Протоколы сионских мудрецов»; ненависть, непостижимым образом соединенная с молитвой перед образами Спасителя и Его Матери... Как образчик всеобщего помешательства я выписал в тетрадь письмо Аграфены Васильевой своему приходскому священнику о книге Нилуса «Есть близ при дверях» с опубликованными в ней «Протоколами»: «Я в бешеном восторге. Но трудно достать — жиды скупили и сожгли. «Протоколы» хорошо бы перепечатать и раздавать бесплатно всем на утреней, обедне и всенощной. На перепечатывание этих «Протоколов» устроить в церкви недельный сбор денег. Дорогой батюшка! На нашу Церковь идут гонения. Большевики ассигновали 5 миллионов на листки, в которых будут православных отвращать от Св. Церкви. Не враги ли наши в

лице жидов все это устраивают, чтобы приготовить путь своему царю — Антихристу? Жиды несколько веков готовились к этому, подтачивая царский трон».

И горько, и смешно наблюдать нам в начале двадцатых Аграфену Васильеву, а на рубеже восьмидесятых—девяностых — ее одышливого однофамильца в черном мундире и пренеприятную свору его соратников, единомышленников и подручных.

Неужто так безнадежно туп человек?! Неужто он всерьез рассчитывал тогда и полагает еще и теперь, что замысел Божий о России и связанные с ним тайны истории можно открыть фомкой заговора, якобы некогда составленного коварными евреями вкупе с их масонскими сподвижниками? Неужто его совесть устроена так ловко, что без труда вмещала и вмещает юдофобство и родившую Иисуса еврейку Марию? Неужто, молитвенной памятью помня Вениамина, он напрочь забудет о защищавшем митрополита Гуровиче? И что за сложность такая — сообразить, что партбилет упраздняет обрезание, отменяет крещение и превращает как еврея, так и русского в идеологических людей, людей без национальности, рода и племени.

Гурович и Равич противостояли Красикову и Смирнову.

Два русских хотели Вениамина и Новицкого убить, а два еврея стремились их спасти.

После этого всякий честный человек обязан плюнуть на «Протоколы» и сказать: «Экое, прости, Господи, дерьмо!»

ТЕТ. ТРИБУНАЛ

Сохранились снимки той поры, я их добыл и вечерами, вернувшись из подвала, кладу перед собой.

Я выучил их наизусть — как любимые стихи.

Пустая улица с трамвайными рельсами; два человека в форме (у одного белая гимнастерка) на лошадях поодаль; битком набитый людьми грузовичок на переднем плане, второй такой же позади. Легковой автомобиль с ним рядом, почти вплотную.

Конвой: помимо двух конных я насчитал еще десять человек.

Так двадцать пять дней, с 10 июня по 5 июля, их возили в трибунал, заседавший в филармонии (бывшее Дворянское собрание), на углу Итальянской и Михайловской. Так их увозили — в Первый и Третий исправдома.

Еще снимок: подсудимые. Сидят в четыре ряда, амфитеатром; в первом ряду, в центре — митрополит Вениамин, в белом клобуке, с панагией на груди; от него слева — епископ Венедикт (Плотников), в клобуке черном.

Карлик Димитриев скрестил ручки.

И еще: сцена, на ней стол, за которым сидят три человека; четвертому за столом места не хватило, и он расположился чуть поодаль, вальяжно откинувшись на спинку стула. Как на шестке, сидя на самом краешке приставленного к торцу стола кресла, что-то пишет женщина в платье с белым отложным воротником.

Странно выглядит за ее спиной концертный рояль.

Два красноармейца в полной форме — буденовка, шинель, сапоги, винтовка с прикинутым к ней штыком — истуканами стоят возле сцены лицом друг к другу. Им, должно быть, жарко.

Видны головы публики. Женщины в шляпках разнообразных фасонов.

Трое за столом на сцене и есть, собственно, революционный трибунал: два недоучившихся студента Петербургского технологического Яковченко (председатель) и Семенов и некто Каузов к ним в придачу; женщина с ними — секретарь трибунала Давыдова.

Наконец: Вениамин в своем белом клобуке стоит метрах в пяти от сцены. Его допрашивают. Караульный с ним рядом.

Председатель: «Признаете ли вы себя виновным?»

Вениамин: «Не признаю».

«Как вы относитесь к Советской власти?»

«Как всякую гражданскую власть я признаю законной и исполняю распоряжения Советской власти».

«С кем вы обсуждали свое первое письмо, прежде чем его написать и обнародовать?»

«Это мое, только мое письмо».

Лидия Александровна Димитриева вспоминала: «Владыка Вениамин, когда он служил... у него была одна особенность... Он стоял всегда абсолютно неподвижный... Особое бесстрашие было в его словах. Он произносил все, что полагается архиерею, как-то так, будто бы душа его знает больше, чем можно выразить теми словами... церковными, которые он произносил. И поэтому он произносил их очень медленно, внятно, тихо, без всяких подчеркиваний чего-нибудь. И вот когда его поставили на первый вопрос... Нет художника, который бы нарисовал: вот стоит он в рясе, в белом клобуке, стоит, опустив руки, смотрит так на них, не пошевелится, отвечает тихим голосом, но очень внятно... Спрашивают всякую глупость. Он отвечает, абсолютно не подчеркивая глупость вопроса. Ответ, конечно, всегда был поведальным такой...»

«По канонам, — терпеливо отвечал митрополит щеголявшему своей начитанностью в церковных правилах Драницыну, — разрешается пожертвование церковных ценностей для голодающих, но я не знаю, чтобы в канонах разрешалось изъятие церковных ценностей для государства. Вместилища святых мощей в пользу государства жертвовать нельзя».

Драницын: «Хорошо. Скажите, вы какой точки зрения придерживаетесь — Иоанна Смоленского, или московского митрополита Филарета, или патриарха Тихона, или у вас есть собственный взгляд?»

«Я смотрю, что на пожертвование для голодающих нужно отдать все».

«Если вы сами, как я вижу, не разбираетесь в канонах, кто вас направлял в этом отношении?»

(Они все знали лучше — в том числе и каноны.)

Вениамин (с тем же терпением): «Толкование Никодима».

Защита (Гурович): «Были в вашей душе и совести какие-либо возражения против отдачи ценностей?»

Вениамин: «Возражений против отдачи ценностей голодающим у меня не было, потому что я высказывал определенный взгляд о том, что нужно отдать на голодающих все церковные ценности».

«Следовательно, ваши возражения сосредотачиваются на форме отдачи?»

«Совершенно верно».

Драницын: «У нас тут юридических фактов, может быть, мало, но это не важно, потому что это есть борьба не на жизнь, а на смерть».

Сердце мое падало и замирало.

О, нет, я чрезвычайно далек от намерения объяснить мое состояние моим же обостренным воображением, во время чтения будто бы превращавшим меня в свидетеля или даже участника жуткого спектакля, почти семьдесят лет назад разыгранного в зале петроградской филармонии. (Излишне говорить, какого рода участие я избрал бы себе.)

Звонки к началу заседаний трибунала только подчеркивали мрачную театральность действия, день ото дня приближавшегося к заранее определенной развязке.

Скорбел же и отчаивался я от непрестанно искушающего меня вопроса: за что?! почему?! Ах, тут не только билет в Царствие Небесное можно было бы вернуть — тут, знаете ли, настолько зримо и нагло торжествовало Зло и настолько всемогущ оказывался дьявол перед удалившимся в райскую тень Творцом, что человеческая жизнь вообще теряла всякий смысл.

В самом деле: зачем жить, если негодяи могут запросто схватить тебя, унижить, а потом убить? Если у бедной правды сапогами исполнительных наемников давным-давно переломаны ребра, отбиты почки и печень, и она, издыхая, корчится в придорожной пыли под трусливыми взглядами редких прохожих? И если — язык мой едва выговаривает страшные эти слова — Небо от нас отказалось?

Египетским казням положен был предел, едва только фараон смирил свое ожесточенное сердце и отпустил евреев в их долгий путь к земле обетованной.

Казням, терзающим Россию, не видно конца.

Там вода превратилась в кровь — у нас кровью пропитана вся земля с наспех зарытыми в ней и не оплаканными мучениками.

Там рыба в реке вымерла и река восмердела — наши реки гниют, отравленные нашими же руками.

Там жабы покрыли землю — у нас же крысы плодятся без числа.

Там мошка жалила подданных фараона — у нас сам воздух иссушает людей.

Там песьи мухи изводили народ — а мы вот-вот задохнемся в собственных нечистотах.

Там моровая язва погубила скот — нам для этого вполне хватило колхозов.

Там воспаление с нарывами замучило людей — у нас же мрут от бессилия медицины.

Там град побил все под раскаты грома и всполохи огня — а мы и без всякого вмешательства стихии никак не можем вырастить хлеб хотя бы себе на пропитание.

Там саранча напала и легла в великом множестве по всей стране — у нас губительный посев Чернобыля долго еще будет всходить на полях и лугах.

Там густая тьма царила три дня — мы многие годы живем в обители мрака, и, как кротам, родившимся в подземелье, свет правды больно режет нам полуслепые глаза.

Там, наконец, все первенцы были поражены: от первенца фараона до первенца узника — мы идолу государства приносим в жертву сердца и души наших детей.

После десятой казни фараон понял, что ни он, ни его жрецы, ни боги египетские не в силах противостоят Единому и Грозному. Он понял, смирился и отпустил сынов Израилевых.

Отчего же мы не можем постичь смысл неисчислимых и непрекращающихся наших бед? Отчего не можем уяснить в них письма, которыми Бог пишет Свою волю? Отчего казни не учат нас?

Не было веры.

Не было истинной Пасхи.

Не было очищения сердца и всеобщего вопля по агнцам, во множестве выхваченным из народа и хладнокровно убитым.

Боже, прости меня и помилуй. Не Ты нас оставил — мы Тебе изменили, сначала сами о себе возмнив, что мы — земля праведная, Третий Рим, опора христианского мира, а затем пав на лице свое к ногам свирепого идола.

Мы сами развязали изначально связанное Тобою зло. Освободившись, оно убило Вениамина.

«Словно лишившись всякого разума, мы не беспокоились о том, как нам умиловать Бога; будто безбожники, полагая, что дела наши не являются предметом забот и попечения, творили мы зло за злом, а наши мнимые пастыри, отбросив заповедь благочестия, со всем пылом и неистовством ввязывались в ссоры друг с другом, умножали только одно — зависть, взаимную вражду и ненависть, раздоры и угрозы, к власти стремились так же жадно, как к тирании тираны».

Так пишет древний историк, проникая в сокровенную суть причин, побудивших Диоклетиана объявить христианам войну.

Как сказал семнадцать веков спустя его коммунистический последователь — не на жизнь, а на смерть.

Председатель: «Вы образование какое получили?»

Архимандрит Сергей (Шейн): «Высшее юридическое».

«С какого времени стали священником?»

«С 30-го августа по старому стилю, со дня Александра Невского двадцатого года».

«До этого времени чем занимались?»

«Что называете «до этого времени?»»

Он отвечал им с мощью и гневом пророка. Ни разу не сбившись, не колебавшись, не воспользовавшись возможностью уклониться или промолчать, отец Сергей ни в коем случае не выглядел подсудимым. Он был Иоанн Креститель, а они — Ироды, погрязшие в преступлениях и лжи.

«До того времени, как стали священником».

«Был на службе».

«Где?»

«Я служил в правлении Главкрахмала».

«А еще раньше? До революции?»

«Член Государственной Думы и действительный статский советник. В Думе был членом вероисповедной комиссии и докладчиком бюджетной комиссии по смете Святейшего Синода».

«Религиозные вопросы вас давно интересовали?»

«Я не помню дня моей жизни, когда я ими не интересовался. Официально же начал заниматься церковным вопросом с 1906 года, когда был привлечен в число членов предсоборного присутствия».

Драницын: «Почему вы огласили послание митрополита?»

Архимандрит Сергей: «Как я мог скрыть документ, который у меня есть? Я со своим приходским советом в прятки не играю».

Смирнов (имея в виду, что в Думе о.Сергий примкнул к фракции националистов): «Вы идейно исповедовали взгляды националистов?»

Архимандрит Сергей: «Раз я примкнул к определенной партии, значит я ее взгляды разделяю».

«Чем объясняете, что с момента роспуска Государственной Думы вы перестали разделять эти взгляды?»

«Я не говорю: перестал разделять. Я говорю, что прекратил свою политическую деятельность».

«Вы и теперь продолжаете разделять эти взгляды?»

«Теперь обстоятельства настолько изменились...»

«Покороче!»

«Я говорю, как хочу. ...что применять политические взгляды — совершенно невозможно».

«Вы были членом партии националистов?»

«Я не был членом партии. Я был членом думской фракции этой партии. Надо было в Думе примкнуть к кому-нибудь, чтобы не быть «диким».

Крастин: «Разницу в направлении так называемой «Живой Церкви», которая обвиняет старую церковь в контрреволюции, — вы понимаете?»

Архимандрит Сергей: «Живую Церковь я знаю только одну, ту, о которой сказано: „Церковь Бога Живого — Столп и Утверждение Истины“».

«Нет, я об этом не спрашиваю — здесь не проповедь — я спрашиваю о реальном явлении жизни, я спрашиваю о реальной фракции церкви, кото-

рая называется Живой Церковью и которую представляют Введенский, Боярский, Красницкий, — это направление».

«Я с ним знаком мало».

«Вы в церковь пошли идейно, вас, должно быть, как человека с высшим образованием, сенатора...»

«Я никогда не был сенатором».

«...члена Государственной Думы, интересовали эти вопросы более глубоко?»

«Церковь так богата разносторонней духовной жизнью, что можно найти в ней интерес и удовлетворение и вне вопросов церковно-общественной жизни. В Церкви есть огромная мистическая жизнь».

«Устройство церкви — кардинальный, радикальный вопрос. Ведь нельзя хорошо делать церковное дело, если она построена нехорошо».

«Я не понимаю, что вам от меня угодно».

«Ведь сейчас чрезвычайно важный был собор — Карловицкий. Там были члены и приятели ваши по церковному собору».

«Слово «приятели» позвольте мне исключить».

«Хорошо, беру его обратно. Собратья или единомышленники».

«Сочлены».

«Они издали свою директиву, что сейчас, в данный момент самая удобная почва для распространения контрреволюционных взглядов — это есть церковная, и поэтому рекомендуется в эту церковь вливаться. Если принять эту точку зрения, понятно, почему в церковь вливаются и сенаторы, и профессора, и всевозможные интеллигенты, и старые чиновники — идут, надевают священнические одежды и распространяют такие воззвания».

«То, что вы изволили сказать, я в первый раз слышу от вас о деятельности Карловицкого собора».

«Чем вы объясните такое повальное вхождение и надевание ряс со стороны сенаторов, профессоров, студентов, инженеров, адвокатов и так далее — как это вы объясняете? Между прочим, это касается и вас».

«Что касается лично меня — это дело моей совести. Я этими вопросами интересовался всегда, в Церкви с детства служил, постоянно около Церкви вращался, поэтому для меня это естественно».

Между тем и митрополит, и священники, и профессора-юристы в особенности — все сознавали, какого рода развязку им приготовил революционный трибунал. Месяц назад пятью расстрельными приговорами завершился точно такой же процесс в Москве, и вряд ли стоило обольщать себя надеждой, что нескорый суд в Питере будет по крайней мере справедлив. Тем более что у обвинения в Москве не было в руках такой козырной карты, какая имела у обвинения петроградского.

Я говорю о Владимире Красницком.

Язык не поворачивается назвать его священником.

Правда, по свидетельству очевидцев, после того как митрополит Сергей (Страгородский) заключил унижительный для Церкви конкордат с государством и у власти отпала необходимость в обновленчестве вообще и в «Живой церкви» в частности, — словом, после ошеломляющего краха всего, ради чего он лгал, предавал, угодничал, изменял Христу, Владимир Красницкий не бежал с церковного корабля, не сложил сана, не записался в штатные богоборцы. Он умер в 1936 году единственным священником церкви Серафимовского кладбища, где с верой и усердием служил последние пять лет своей жизни. На закате дней обновленчество он бранил, о митрополите Сергии молился.

Кто скажет, что нет в человеке загадки?!

Но в двадцать втором году он с яростным упоением громил «старую» Церковь, создавал новую, дружил с Тучковым и обеими руками толкал в пропасть Вениамина.

«Первоначально, — докладывал вызванный в трибунал свидетелем Крас-

ницкий, — последовало послание митрополита запретительного характера, в духе послания Патриарха, где он грозил отлучением за добровольную сдачу церковных ценностей.

Послания митрополита распространялись по всем церквям именно с целью противодействия изъятию церковных ценностей. По моему глубокому убеждению, в Петроградской губернии вела борьбу кадетская партия, которая пользовалась духовенством, захватила в свои руки приходские советы и церковные суммы, заставляла духовенство служить своим интересам».

Смирнов подхватил: «Значит, разрешите понимать ваш ответ, что часть сознательных врагов рабоче-крестьянской власти под видом религиозных убеждений и верующих людей пролезли в главные пункты Петроградской епархии и творили свое преступное дело».

Конечно же! Враги, подтверждает Красницкий, одни враги в «тихоновской» церкви, которые спят и видят реставрацию царского строя. Митрополит со своим архиерейским деспотизмом — враг номер один. А в правлении приходов центральная роль, несомненно, принадлежит кадетской партии, «представителям мирян из адвокатов, профессоров и других чиновников».

«Мы доложили о Вениамине в Высшее церковное управление, где было единогласно постановлено уволить митрополита от должности, как не способного к управлению епархией».

В двадцать втором защита еще полагала, что ей дано повлиять на приговор суда. От прежней России у петербургских адвокатов осталось наивное убеждение в неотразимой силе доказательств и безусловном их значении в состязании сторон. Они еще верили в закон, обеспечивающий всем равное право на справедливость, в беспристрастность суда и презумпцию невиновности. Они уповали на логику — но обвинение крушило ее ломом бесстыдной демагогии. Они ссылались на бесспорные факты — но обвинение плевало на них с высоты классовой морали. Они зывали к человечности — но обвинению нужна была кровь.

Они обращались к суду, забывая или заставляя себя забыть, что для советского суда слово обвинения — закон. Прожив почти пять лет при советской власти, они должны были сознавать, что их усилия — бесплодны, их подзащитные — обречены.

Тем большего мужества требовала от них защита.

Яков Самуилович Гурович аккуратно выпотрошил Красницкого, для начала осведомившись, всегда ли мировоззрение батюшки было именно таким, живоцерковным. В ответ свидетель указал на пять лет, проведенных им в Красной Армии и на различных советских службах. «Нужно было повидать революцию во всем ее масштабе, чтобы затем открыто и определенно говорить о сочувствии мировому коммунистическому интернационалу!» — воскликнул о.Владимир. Гурович тотчас предъявил трибуналу «Петроградский вестник» от 11 июня 1918 года со статьей Красницкого как раз на тему интернационала. Предъявил и прочел: «Русский народ заблудился. Он был прельщен интернационалом». С одной стороны, продолжал защитник Вениамина, свидетель утверждает, что еще с 1905 года «внутренне стоял за лозунг Живой церкви», с другой — всего четыре года назад позволял себе совсем не живоцерковные высказывания об интернационале и, наконец, с третьей — сегодня объявляет о своем горячем сочувствии мировому коммунистическому интернационалу. Поразительное противоречие!

Трибунал противоречий во взглядах Красницкого не обнаружил, обвинение же (Красиков) кинулось на помощь лучшему представителю прогрессивного духовенства и другу власти: «Был когда-то в правом лагере, а теперь в левом... Изменник, какая ему вера? Кому измена, граждане защитники?! Измена черной сотне?!»

Гурович не отступал. У него припасены были другие подробности общественной деятельности Владимира Дмитриевича Красницкого, и он не замедлил выложить их перед трибуналом. Союз русского народа и свое ис-

правное членство в нем о. Владимир проглотил молча. По поводу же доклада, читанного им во время процесса над Бейлисом, признал: было дело, читал. Тут выяснилось между прочим, что отец-основатель «Живой церкви» старался укрепить в народе убеждение в наклонности евреев к ритуальным убийствам, употреблению христианской крови и прочим сатанинским штучкам. «Я протестую против постановки такого вопроса!» — вскричал Красницкий. (В стенограмме после его протеста именно стоит восклицательный знак.) Снова на выручку поспешило обвинение (на сей раз Смирнов), как бы подзабывшее о своей пролетарской любви к еврейской нации: «Шейн был членом Государственной Думы и принадлежал к фракции националистов. Вы понимаете, что это — черносотенная фракция?» Красницкий вздохнул с облегчением: «Очень определенно».

Так оно и шло. На всякий довод защиты обвинение отвечало взрывом убогого красноречия. «О святости великого здания Революционного Правосудия, — негодовал Смирнов, — трудно судить, кому больше дорого это здание — представителям защиты или представителям обвинения. Трудно судить, кто должен дороже ценить это великое здание Революционного Правосудия, которое создал пролетариат своей кровью!»

Каково же было умным людям слушать всю эту ахинею.

Линия защиты, насколько я понял, у адвокатов была такая: зверя ни в коем случае не дразнить, его тупость не обличать, в споры не втягиваться, а тихо, спокойно и неотразимо показать и трибуналу, и товарищу Красикову с компанией, и почтенной публике, что обвинение пусто, как гнилой орех. Нет ничего. Одни слова. Дым. Ноль. Иногда, правда, приходилось поднимать голос. Священника Егорова по требованию Смирнова прямо в зале трибунала решили определить в подсудимые. Гурович взроптал: «Я считаю себя обязанным обратить внимание трибунала, что в настоящем огромном процессе, страшно ответственном, мы должны быть осторожны. Является свидетель, он доказывает искренне, по совести, он ничего не скрывает, он говорит всю правду с полным сознанием ответственности за справедливость своих слов. Ответственности — но какой?! Если свидетель будет предполагать, хотя бы ошибочно, что скользит по краю бездны, что он может превратиться в обвиняемого, — подумайте, граждане судьи, в какое положение вы ставите свидетеля!»

В списке обвиняемых Егорова нет.

Пронесло.

И еще раз пришлось Гуровичу осадить Смирнова: когда тот не без яда заметил, что Вениамин устроился между двух стульев. «С одной стороны — законы патриарха Тихона для вас обязательны, — уколол Смирнов, — с другой — Советской власти законы». «Я нахожу это выражение: обвиняемый сидит между двух стульев, оскорбительным» — так заявил защитник под одобрительные голоса из зала: «Правильно, правильно!» Председательствующий тут же потребовал тишины, пригрозив в случае неповиновения удалить непокорную часть публики.

В конце июня — начале июля 1922 года настали для обвинения и защиты дни заключительных речей, а для подсудимых — время последних слов.

Красиков говорил первым.

«Товарищи судьи Революционного Трибунала, — торжественно сказал он, — я считаю нужным начать с самого существа вопроса. Пролетарское обвинение должно быть прямым и открытым и основываться на революционном пролетарском самосознании и его законе».

Это была по-своему искусная речь.

Читая и переписывая ее в мою тетрадь, я ощутил, что пытаюсь приглушить в себе какое-то с давних лет знакомое мне чувство.

Я боялся признаться в нем.

Надобно заметить, что я довольно долго был вполне советским челове-

ком — не столько по убеждениям, сколько по свойственному подавляющему большинству нежеланию задуматься над смыслом вещей. Скорее всего, я подсознательно понимал, что всякое более или менее честное размышление приведет меня к несогласию с окружающим или даже к протесту против него, после чего моя жизнь неизбежно утратит привлекательную легкость.

Кроме того, моя душа с младенчества была помещена в стеклянную колбу неестественных очертаний. Она выросла уродом под воздействием постоянной и всеобъемлющей лжи, умело приправленной крупичками правды.

В результате немалую часть жизни я прожил верующим человеком.

Государство паразитировало на врожденной потребности человека в вере, предлагая ему вместо Бога — кумиров, вместо религии — идеологию, вместо вдохновенной молитвы — тупое волнение толпы.

Я говорю о себе.

Духовная трагедия моего народа не могла не надломить мне хребет.

Ужас был в том, что еще лет пятнадцать назад я мог бы если не вполне, то хотя бы отчасти поверить Красикову.

Он изобразил Церковь как ударную силу мировой контрреволюции, использующую религиозные предрассудки масс (статья 119 Уголовного Кодекса) в заговоре (статья 62) против рабоче-крестьянской власти.

«Дело идет о церковной организации, о церковной периферии (так! — Авт.) и о примыкающих к ним кругах, которые используют эту объективную религиозность русского мужика, русского рабочего, русского обывателя с целью классово-целью ниспровержения рабоче-крестьянского правительства и вообще строя, который сейчас стремится создать трудящийся класс населения».

Ненависть, которую испытывал Красиков к Церкви, придавала его словам зловещую силу.

«В Октябрьскую революцию, как вам известно, товарищи, был создан патриархат, возобновлен монарх церковный, частица монархической власти, и он ... продолжает существовать до сих пор. Если возьмем руководящие директивы главы русской церкви, этой частички Николая Второго, ... то вы увидите, что это было всегда ударом по советской власти, это всегда было бросание палок под колеса, это всегда есть занесенный нож в спину... Всюду и везде, во всех восстаниях, во всех натисках, во всех интервенциях, всюду и везде духовенство, за немногим счастливым исключением, всегда стояло на стороне оккупантов, на стороне интервентов, на стороне Антанты, на стороне колчаковцев, деникинцев, врангелевцев, Мамонтова, Юденича. Связь русской церкви с контрреволюцией... несомненна».

Так, с варварским напором, он выбрался к той части русского духовенства, которая ушла за рубеж и создала там свое церковное управление. Его глава, митрополит Антоний (Храповицкий), вдали от ГПУ чувствуя себя в полной безопасности, во весь голос призывал к свержению советской власти и восстановлению монархии. Красиков вывел: Антоний высказывает там открыто, о чем *здесь* помышляют тайно. А ежели здешние иерархи в тиши своих келий пестуют подобную мысль, то разве не будут они сопротивляться изъятию церковных ценностей?!

Вслед за тем камня на камне не осталось от канона, «безусловно приспособленного ко всему эксплуататорскому строю». Созданная Красиковым надстройка пошатывалась, но он не дрогнувшей рукой подвел под нее базис в образе самодержавной Византии. Ей влетело по первое число — буд-то она наравне с Патриархом Тихоном и митрополитом Вениамином участвовала в заговоре с целью свержения рабоче-крестьянского правительства.

«Как известно, в Россию эта самая Византия христианская явилась в готовом виде, целиком, с монахами, с канонами, которые писались монархически самодержавными эксплуататорами Византии».

Покончив с Византией, Красиков обрушился на Вениамина — но вовсе не за церковные ценности, а за то, что тот безропотно подчинился патриар-

шему указу, передававшему управление приходами Западной Европы из его рук в руки митрополита Евлогия (Георгиевского).

«...того самого, который удалился вместе с белогвардейцами, который заседал на этом соборе, который провозгласил монархию...»

(Все вранье — кроме того, что Евлогий в январе 1920 года на пароходе «Иртыш» действительно «удалился» из Новороссийска в Константинополь. Отношения двух зарубежных митрополитов — Антония и Евлогия — споткнулись и вскоре совсем разладились именно из-за различия политических взглядов владык. Но кто об этом знал тогда и уж тем более — теперь!)

Однако: отчего так взволновало Петра Ананьевича сужение епископских прав Вениамина? Отчего он ставил в вину митрополиту его нежелание отстоять свои полномочия с дружеской помощью советской власти? Богатство уплыло — вот что возмутило Красикова. Ценности нельзя изъять из храмов Парижа, Ниццы и Берлина.

«Какие меры были приняты Вениамином, чтобы ... вырвать от белогвардейцев эти епархии, колоссальнейшее значение имеющие, колоссальнейшую ценность для белогвардейщины, которая ютится вокруг церквей, которая, отчасти, может быть, питается даже за счет ценностей этих церквей? Какие были меры? Никаких не принято».

Кстати вспомнил инквизицию, сжегшую Джордано Бруно и заставившую Галилея дрогнуть перед костром.

(Петр Ананьевич сам был инквизитор похлеще тех — но за всю его жизнь никто не поставил перед ним зеркала, в котором он мог бы увидеть свое истинное обличье.)

Апофеоз:

«Все это духовенство, которое идет против народа, идет против большевиков, идет к восстановлению старого строя, при котором церковь была создана в качестве полицейского аппарата».

Он потребовал от суда применить к первой группе обвиняемых во главе с Вениамином **ВЫСШУЮ МЕРУ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**.

Позвольте! Где доказательства вины? Основания для смертного приговора? Где организованное сопротивление изъятию ценностей?! Предположим, что Церковь в целом и в самом деле противостояла большевикам — но ведь не по этому поводу собрался Петрогубревтрибунал!

Пустое. Мелочи. Высшая мера социальной защиты — вот властное требование революционной законности.

Вступил затем и с места в карьер запыхал Смирнов.

«Представители высшей церковной власти, имя которых всегда во Христе, они-то и повели атаку на рабочий класс, в то время, когда он, изнемогая, пытался накормить и сохранить от смерти голодных детей и матерей и стариков. Вот что такое политическая борьба церковного фронта. В то время, когда миллионы умирают от голода, когда люди пожирают детей своих, а вот эти невинные люди, — указал он на обвиняемых, — зная, что совершает российский пролетариат в этой героической борьбе с голодом, в это время они там, в алтарях, где угодно говорят разные погромные речи, таят преступную мысль, преступную авантюру, преступную организацию пытаются осуществить. Вот за что вам нельзя простить. Я хотел бы, чтобы в этом зале ко всему этому прибавились сотни тысяч голодных, опухших от голода матерей, которые пожирали своих детей, тогда я посмотрел бы, какой вынесли бы они им приговор».

По абсолютной бездарности он даже трагедию голода умудрился превратить в дешевый лубок.

«Нет, по делам и поделом будет вам вынесен суровый приговор пролетарского революционного суда!»

АПЛОДИСМЕНТЫ.

Председатель: «Я прошу соблюдать тишину».

«Вениамин нам тут говорил: черновики его обращений уничтожены. А зачем? Значит, это было глубоко продумано, глубоко рассчитано было, что, мол, если главный вождь белогвардейского фронта подгадит нам, и нам наступление не удастся, и если рабоче-крестьянская власть волею пролетарской революции разрубит или порвет этот духовный фронт, то, мол, ко мне придут, а черновики уничтожены, никаких доказательств! И вот к этим ко всем, включая сюда и главного вдохновителя белогвардейщины петроградского духовенства за те погромные воззвания, за то неподчинение диктатуре пролетариата, за то выбивание зубов, раздевание женщин, издевательства, я требую ко всем им на основании 62 статьи Уголовного Кодекса высшей меры наказания».

Иначе как бредом назвать все это нельзя.

БУРНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ.

С грозным напутствием он обратился к судьям:

«Оставаясь одни, уходя в совещательную комнату, помните одно: непоколебимость и твердость пролетарской руки завоевала российскую пролетарскую революцию. Помните, кто вас и по чьей воле послали сюда. И последняя просьба: пусть ваш тяжелый меч, врученный вам рабоче-крестьянской мозолистой рукой, беспощадно опустится на головы сознательных преступников совершенного злодеяния!»

Любил говорить красиво бывший булочник Смирнов.

Собственно, все они пустоту доказательств с лихвой возмещали натужным красноречием.

Драницы: «Я, вышедший из той среды, где приходилось наблюдать все лицемерие фарисеев...»

Крастин (как бы пораженный в самое сердце большим количеством молодых людей на скамье подсудимых): «Неужели это те же самые студенты, которые, бывало, наполняли зал при слушании красивого стихотворения «Сакия Муни» и аплодировали так, что зал гремел??»

Но случая показать зубы не упускал: «Дальше. Гражданка Петрова. Она на Охте в то время, когда приехала комиссия, ходила с ребенком на руках и агитировала. Вероятно, этого ребенка держала, как щит для себя на всякий случай. В отношении ее также поддерживаю полностью обвинение».

Что могла противопоставить защита *верховному главарю церковной контрреволюции Тихону, матерям, поедающим собственных детей, революционному правосознанию и пролетарской диктатуре?* Каким оружием можно было выбить из *мозолистой рабоче-крестьянской руки* даже не меч — **топор**, занесенный над головой Вениамина? Чем приглушить громящий вздор, который обвинение обрушило на трибунал, публику в зале и — через газеты — на всю Россию? Как накормить волков, сохранив при этом жизнь овец?

«Председателю Петроградского Губернского Революционного трибунала тов. Озолину.

Петроградского Комитета помощи политическим заключенным и ссыльным

ПРОШЕНИЕ

Петроградский Комитет помощи политическим заключенным и ссыльным просит Вас допустить к защите лиц, привлеченных к суду по делу «церковников» (противодействие изъятию церковных ценностей), нижеследующих граждан:

Жижиленко Александра Александровича, профессора Петроградского университета,

Гуровича Якова Самуиловича, профессора, члена Дома Ученых,

Гирицкого Леонида Ивановича, служащего в Бюро жалоб Рабоче-крестьянской инспекции,

Гартмана Владимира Паулиновича, члена Комитета помощи политзаключенным и ссыльным,
Павлова Петра Леонтьевича».

Шестого июня на прошении появилась резолюция Озолина: «Разрешить».

Участвовали в защите, кроме того: уже известный нам Моисей Соломонович Равич, журналист Николай Элькин, юристы Абрам Моисеевич Рязанский, Масинзон и Ольшанский.

Одиннадцатым по счету адвокатом выступал в процессе Владимир Михайлович Бобрищев-Пушкин.

Все защитники так или иначе объявили себя атеистами — главным образом, я полагаю, для того, чтобы подчеркнуть, что религиозные убеждения не влияют на их отношение к подсудимым-священнослужителям. Со своего атеизма начал, в частности, речь Александр Александрович Жижиленко — родной брат одного из великих исповедников нашего времени, епископа Максима (Жижиленко), расстрелянного большевиками в 1931 году.

Лишь Владимир Михайлович Бобрищев-Пушкин с проникновенным чувством сказал о своей вере.

В ту пору ему было 69 лет.

«Я не боюсь прослыть несознательным. Скажу вам: я верю. Не думайте, что я буду вам говорить о Боге. Для меня священна третья заповедь: «Не произноси имени Господа твоего всуе». Я слово «Бог» не произнесу. Но когда мне сегодня пришлось услышать, что все настоящее дело должно быть сведено к признанию лицемерия в этих людях, потому что они не могут не понимать, что они заблуждаются, и они в это заблуждение втягивают других, я жалел об этих словах, жалел, что они раздавались здесь».

Быть может, Владимир Михайлович еще не вполне сознавал, что и штатный душитель Церкви Красиков, и советский Цицерон — Смирнов, и туповато-злой Крастин, и эти трое молодых людей на сцене, которые именем новой власти произнесут ее приговор Вениамину, — что все они вслед за вождем мировой революции с каким-то низменным наслаждением в любую минуту готовы вытереть свои классовые башмаки о незыблемые понятия нравственности, добра и справедливости. Он им пытался втолковать, что нравственное начало присуще всем людям, неверующим в том числе и, стало быть, и коммунистам. «Отнимите от человека это нравственное начало, которым он руководится, он будет не царем природы, он будет диким зверем!» — восклицал Бобрищев-Пушкин, наивно полагая при этом, что ему удастся заставить пролетарскую Фемиду не скашивать яростный взгляд в сторону митрополита и его союзников. «Я знаю слово Христа, который говорит: «Люби ближнего как самого себя». Отдай голодному последнюю рубашку. Они это делали. Все, что могли собрать — собирали. Если бы они этого не делали — о! тогда я воспылал бы гневом Савонаролы и осуждал бы, быть может, этих людей резче, чем осуждал обвинитель. Но против своей веры они не погрешили. А вы хотите уверить нас, уверить весь мир, что духовенство во главе с высшими представителями растоптало Евангелие, растоптало слово Христа. Нет!»

(Передавали, что речь Владимира Михайловича показалась членам трибунала оскорбительно-церковной и они ответили на нее увеличением списка смертников на две головы. Еще дополнение. Когда год спустя власть собралась усадить Патриарха Тихона на скамью подсудимых — уже и окончательная дата суда была названа: 24 апреля, — Святейший просил допустить защитником именно Бобрищева-Пушкина. Телеграмма об этом из Москвы в Питер ушла 6 апреля. 8-го Бобрищев-Пушкин ответил: «Выезжаю на защиту Тихона». Патриарха захлеб травили газеты, собрания трудящихся требовали суровой кары главарю церковной контрреволюции, его держали под арестом, но соображения личной безопасности в этой связи нисколько не заботили Владимира Михайловича. «Выезжаю на защиту Тихона» — тут и вы-

зов, и мужество, и честь. Патриарх же, я думаю, хотел, чтобы его защищал не только блестящий адвокат, но и верующий человек.

В тех же скобках добавлю. Процесс над Патриархом в конце концов большевикам не понадобился, хотя напечатаны даже были входные билеты в Дом Союзов, где предполагалось провести это судилище. Но в том же двадцатом третьем, в марте, в том же Доме Союзов судили католическое духовенство. Два смертных приговора: прелату Константину Будкевичу и архиепископу Иоанну Цепляку, которого — по его просьбе — защищал Владимир Михайлович Бобрищев-Пушкин. Будкевича расстреляли, а Цепляка обменяли на сидевших в немецкой тюрьме баварских коммунистов.)

Общая юридическая позиция была такова: в деле нет состава преступления ни по одному из предъявленных обвинений. Нет ни разжигания религиозных предрассудков, ни преступной организации, ни преступного образа действий, ни преступных намерений. Изъятие церковных ценностей в подавляющем большинстве храмов Петрограда прошло совершенно спокойно, а Совет приходов вовсе не являлся осиным гнездом кадетской партии. По словам Бобрищева-Пушкина, «разгадка сложности настоящего дела» заключалась в новом Уголовном Кодексе с его требованиями смертной казни за контрреволюционную деятельность. (Главная разгадка заключалась в стремлении партийной верхушки уничтожить Церковь — но сказать об этом в трибунале Бобрищев-Пушкин, натурально, не мог.) Не было бы нового Кодекса, утверждал Владимир Михайлович, не было бы никаких обвинений в контрреволюции. Теперь же «нужно Кодекс подвести к этим деяниям, а деяния подтянуть к Кодексу. Вы понимаете, что происходит? Это какое-то своеобразное Прокрустово ложе, когда растягивают деяния до смертной казни. Неужели вы думаете, что если тут заявляют о международной буржуазии, о карловацких соборах... все это не архитектурные украшения, не канаты, по которым притягивают этих людей к смертной казни?!»

«Как вы ни роитесь... в воззвании митрополита к пастве, — продолжал далее Бобрищев-Пушкин, — вы не найдете состава того преступления, которое инкриминируется. А нам говорят: «нет, это непременно преступно, это самое ядро контрреволюционного деяния». Мой товарищ вам указывал на то, что и двух строк достаточно, чтобы обвинить человека в чем угодно. Подозрительный ум всегда на это способен. Я приведу один исторический пример, который черпаю из летописей инквизиции, этого фанатического суда, пролившего столько крови на почве религиозного фанатизма. «Не скажешь двух слов, — обратился судья-инквизитор к обвиняемому, — чтобы не обвинить себя в вероотступничестве». «Раз, два», — ответил подсудимый. «Сожгите его, — воскликнул судья, — он отрицает Святую Троицу!»,

Прозрачное сравнение с инквизицией революционный трибунал во всяком случае не оскорбило. Я полагаю, что трое молодых людей не без удовольствия воображали себя носителями очищающего огня, который партия доверила им — выжигать контрреволюционную скверну.

Обвинение между тем рассыпалось на глазах.

Красиков, как мы знаем, ставил Вениамину в вину его согласие с патриаршим указом, передававшим управление приходами Западной Европы митрополиту Евлогию.

Яков Самуилович Гурович отбил этот удар играючи.

«То, что заграничная часть епархии митрополита Вениамина еще числилась в его титуле, — сказал он, — это совершенно такое же явление, что в титуле испанского короля до сих пор числится, что он повелитель двух Индий, хотя ни одного вершка индийской земли не находится в его владении».

«Конечно, — говорил далее Гурович, — обвинитель Красиков, как специалист, не мог не понять, что в этом деле, где весь ужас заключается в 62-ой статье, где все эти жизни пригвождены, прицеплены вот к этому самому крюку — к 62-ой статье, где необходимо доказать, что была организация, поставившая себе определенную преступную контрреволюционную цель... без того, чтобы конкретизировать самую организацию, установить ее наличность, 62-ую статью оставлять в этом деле никоим образом нельзя. Нужна организация строго последовательная,

стройная. Без нее обвинение не может прожить ни единой минуты. И обвинитель Красиков эту организацию нашел. Это Церковь, вся православная Церковь. Но тогда, — с убийственной невозмутимостью обратился к трибуналу Яков Самуилович, — как же ее признает советская власть? Обвинение огульно поносит все духовенство. Но еще неделю или полторы тому назад в ответ на телеграмму архиепископа Кентерберийского, который, по объяснению одного из представителей обвинения, выезжает на двенадцати лошадях, советская власть торжественно ответила, что огромное большинство всего духовенства, значительная часть высшего духовенства объединились вокруг советской власти в вопросе помощи голодающим».

Посадил в лужу.

И в частности, и в целом защита то и дело загоняла обвинение в угол.

Красиков представил груду материалов о Карловацком соборе — да, согласился Гурович, гнусная затея. Но какое отношение она имеет к митрополиту Вениамину?!

Обвинитель, говорил Гурович, мечет громы и молнии в митрополита за его проповедь в Лавре 19 февраля, объявляя ее контрреволюционным призывом. Но что в действительности сказал Вениамин? А вот что: «Нам грозит изъятие церковных ценностей. Да минет нас чаша сия». Посланный же в Троицкий собор Лавры агент донес своему начальству, что митрополит произнес речь контрреволюционного содержания.

(Как и Бобрищев-Пушкин, Яков Самуилович сопроводил свой ответ обвинению недвусмысленной исторической параллелью: «Знаменитый в печальном смысле английский судья Джофрейс говорил: „Дайте мне три строчки из любого письма, и я на основании этих строчек сумею убедить, что автора этого письма следует повесить“».)

В инструкции священникам митрополит наставлял: придут забирать ценности — отдайте, к ним не прикасаясь. Это что, спрашивал Гурович, сопротивление Декрету?!

«...Когда, граждане судьи, по какому-то фатальному совпадению за каждый зуб (Яков Самуилович имел в виду выбитые у милиционера Никулихина зубы. — Авт.) требуют одной человеческой жизни, тогда защита вправе ... сказать вам: стоят ли действительно все эти случаи того, чтобы ШЕСТНАДЦАТЬ жизней были принесены в жертву?»

Шестнадцать жизней.

При этом обвинение ссылалось на прошлое подсудимых как на бесспорное доказательство их нынешней преступной деятельности.

Священника Анатолия Толстопятова клеймили его офицерским званием.

Защищавший его Бобрищев-Пушкин говорил:

«Он должен был идти по приказу, от которого уклониться не мог. Был призван на войну в Японию, вернулся, читал в Морском корпусе физику. Революция смела империализм, и он остался на своем посту читать ту же самую физику. Какой политический грех в этом против советской власти? Он, видите ли, был все-таки офицер и надел на себя рясу лицемерия. Меня вовсе не пугает офицерский чин. Может быть, по моим личным условиям жизни: во мне течет кровь двух декабристов, и я свято чту их память, хотя они и были блестящими офицерами».

За профессором Дмитрием Флоровичем Огневым губительными тенями стояли его служба в 4-й Госдуме (был начальником законодательного отдела ее канцелярии) и членство в Сенате при Временном правительстве.

Защита доходчиво объяснила, что в Думе Дмитрий Флорович как законовед высочайшего уровня был равно полезен всем без исключения фракциям — в том числе и социал-демократам. Сенат же Временного правительства, как небо от земли, отличается от Сената дофевральского, царского. «Его сенаторство — это жупел», — подвел черту Жижиленко.

Николай Александрович Елачич имел несчастье не только дослужиться до действительного статского советника, но вдобавок быть еще и сотрудником канцелярии Государственного Совета.

Сообразуясь с духом времени, защита указывала, что Николай Александрович, хоть и дворянин и кругом из *бывших*, никогда не пренебрегал интересами трудового народа. Именно он в 1905 году добился освобождения арестованных выборщиков от рабочих; именно он в 1912 году, будучи ближайшим помощником посланного на ленские золотые прииски сенатора Манухина, раскрыл трагическую истину о расстреле возмущившихся там рабочих, составил двухтомный доклад по итогам ревизии и настойчиво добивался суда над главными виновниками преступной расправы.

Искреннее и деятельное сочувствие, совсем еще недавно проявленное главными подсудимыми к пролетариату, совершенно не тронуло судей.

Иван Михайлович Ковшаров, например, в 1907 году бился в суде за матросов, поднявших восстание в Кронштадте, выступал защитником на процессе солдат Каспийского полка, принадлежавших, между прочим, к большевикам, спасал от виселицы анархистов Одессы. Отец Леонид Богоявленский с 1902 по 1910 год был тюремным священником в Крестах, где бескорыстно и не без риска для себя помогал узникам, о чем свидетельствовала перед трибуналом мать одного из политзаключенных той поры.

Не говорю уже о Вениамине с его любовью к *малым сим*.

Но упоминать об этом с надеждой на ответное воздаяние было куда большим заблуждением, чем ожидать милости от наемного убийцы. Сложившееся с октября 1917 года в России государство вычеркнуло из своего обихода справедливость, сострадание и милосердие.

Защитительная речь Гуровича могла переломить настроение любого суда — но не революционного трибунала.

«Я позволю себе просить и ожидать не только от трибунала, но и от всех: и от моих противников, с которыми мы честно боремся (*честная борьба* в устах адвоката — отчаянная попытка смягчить приговор. — Авт.), того же отношения, терпения и спокойствия, которые мы проявляли в отношении их, и со стороны всех граждан, которые меня слушают в этот важный и ответственный момент моей личной жизни».

Происхождение Якова Самуиловича поначалу заставило его отказаться от предложения взять на себя защиту Вениамина.

Непомерно велика была для еврея ответственность за жизнь православного митрополита.

Передают, что только личная просьба Вениамина побудила Гуровича пренебречь своей национальной принадлежностью как вероятным поводом для злобной клеветы в случае обвинительного приговора.

Он вспомнил также о деле Бейлиса, о том, что русское духовенство отвергло страшный навет, согласно которому христианская кровь якобы необходима евреям для совершения неких тайных обрядов.

В конце концов Гурович пришел к мысли, что его участие в защите Вениамина будет, помимо всего, еще и знаком великой благодарности российских евреев к русским священнослужителям, не допустившим жестокого разгула черни. «Несмотря на все привычки нашего... духовенства к беспрекословному подчинению, — сказал он в своей речи, — кроме двух-трех монахов, не считая, конечно, священника Красницкого, нашлись ли люди из представителей духовенства, в особенности высшего, нашлись ли люди, которые согласились бы своим хотя бы внешним авторитетом поддержать это гнусное падение? Граждане и члены Революционного Трибунала! Питомцы местной духовной Петроградской академии, учреждения, которое является плотью от плоти, кровью от крови высшего духовенства — и что же? три представителя Петроградской духовной академии — их имена Коковцев, Тихомиров и Наруцкий — мужественно явились от имени этой Академии в Киев, в этот процесс, чтобы отвести клевету. Я, как один из представителей этого времени, считаю счастливым моментом своей жизни, когда в эту мрачную минуту, в этот мрачный момент, переживаемый питомцами Петроградской духовной академии, я могу отметить эту светлую страницу в истории современного духовенства».

Заметную неотчетливость вышеприведенного отрывка из долгой, почти шестичасовой речи Гуровича я склонен объяснить его вполне понятным волнением. Он и в самом деле переживал важнейшие дни своей жизни, свой звездный и тревожный час. Кроме того, он вынужден был коснуться величайшей драмы мировой истории, внесшей в отношение христианских народов к евреям отраву постоянной подозрительности и неутихающей вражды. Внезапное ощущение клейма или, если хотите, *звезды Давида* на своей груди помешало ему говорить с той проникновенностью, с какой он в дальнейшем защищал Вениamina.

«Я ПРОШУ НИКОГО НЕ ЗАБЫВАТЬ, ЧТО Я ГОВОРЮ, МОЖЕТ БЫТЬ, ОТ ИМЕНИ УМИРАЮЩЕГО».

«Да, конечно, это не великолепный князь Церкви, это простой, доступный, кроткий человек... Во вчерашнем заседании митрополиту, как и всем другим, пришлось пережить тяжелые минуты, минуты, когда их называли изменниками, предателями, лжецами, лицемерами, трусами и так далее. Я не говорил об этом с митрополитом, но я знаю, что он не огорчен. И если хоть на минуту в его душе шевельнулось горькое чувство, то он, конечно, вспомнил о Том, Кому он искренне молится и Кто пострадал еще больше него.

Сказать, что митрополит испугался революционного трибунала и угрожающей ему участи, нельзя. Митрополит явился сюда и своим спокойным тихим голосом сказал: «Первое письмо писал я». Он закрыл своей рясой и своим клобуком всех: ЭТО Я ПИСАЛ, Я СДЕЛАЛ, ЗА ВСЕ Я ОТВЕЧАЮ. Он пастырь, и как истый пастырь он стоит впереди своей паствы. Он ее закрывает в этом случае своим телом.

Пятого марта митрополит получил повестку в Смольный. Как раз пятого марта было начало Недели Православия. Митрополит служил в Исаакиевском соборе в сослужении с несколькими десятками священнослужителей. Он собрал их в алтарь — как бы предчувствуя ту Голгофу, которую придется ему пройти. Он знает, он чувствует, что его шаг встретит осуждение, что в своем стремлении к успокоению паствы он рискует прослыть соглашателем. И это оправдалось. Он просит молиться за него. Спокойное, без оскорбления религиозного чувства проведение Декрета об изъятии церковных ценностей — вот его мечта.

Чего он требует в первом письме? Требуется... Нет: что он предлагает? Он предлагает создать в народе уверенность, что крайняя необходимость наступила и что ценности пойдут по своему назначению. Это — прямой ответ на те чувства, которые действительно в тот момент волновали фанатически настроенные массы. ИНАЧЕ заявление митрополита не могло быть изложено.

Что он делает с воззванием Патриарха? Он его понимает так, что и Патриарх с ним согласен. Что отдать нужно все и что отлучение и извержение, кощунство и святотатство относятся только к форме. Можно отдать ВСЕ, если добровольно ПОЖЕРТВОВАТЬ. Если у вас будут изымать — не трогайте сами, своими руками. Пусть возьмут. Но не трогайте своими руками, ибо, если вы верующие, это грех, это кощунство, святотатство. За это отлучение, за это извержение. Вот мысль митрополита».

Гурович говорил о том, что Вениамин стремился превратить *изъятие в жертву*.

Об этом же блестяще сказал Бобрищев-Пушкин.

«Тут много спорили о слове «жертва». Я знаю русский язык и понимаю, прекрасно понимаю слово «жертва» в том смысле, как понимал это слово митрополит. ... Можно пожертвовать часть своей души, своего сердца, своей любви, своего почитания святыни. Вот о какой жертве может быть речь. Приведу как исторический пример, на который здесь ссылались, ... возмутительный процесс о ритуальном убийстве, процесс Бейлиса. Наряду с достойными представителями духовенства нашлись бесстыжие богословы, которые уверяли, что жертвоприношение в еврейской религии допустимо. Они ссылались на то, что это ведется со времен Авраама, который принес своего сына в жертву. Да, отец приносил в жертву своего сына, он приносил в жертву СВОЮ ЛЮБОВЬ К СВОЕМУ СЫНУ, он приносил в жертву САМОГО СЕБЯ, потому что что стоила ему жизнь после смерти его сына? И нужно было лгать против исторической правды, чтобы в это

понятие жертвоприношения вкладывать ненависть евреев к христианскому ребенку.

Вот понятие жертвы.

Во всякой религии есть жертвы. В религии еврейской есть жертвы действительно. У них есть одна святыня — свитки, на которых написаны заповеди Моисея. И когда гнусная погромная волна... разносит евреев, первое, что они делают, — они влетают в синагогу и рвут эти свитки. И когда погром кончается, что происходит? Евреи с болью в сердце, со слезами на глазах подходят к этим свиткам. Они для них живые. И они, как живых, их хоронят, потому что они для них живые, эти жертвы ужасного погрома.

С этой точки зрения и подходит митрополит к вопросу о священных предметах. Для него эти чаши не имеют никакого реального значения. Для него это не есть материальные ценности. Он просит, чтобы не было надругательства. Чтобы не было кощунства над этими святынями. Ведь... эти чаши пойдут на рынок. Что говорит чувство религиозного человека, которому не безразлично, что будут делать с этими чашами? Ему страшно, что из этих чаш, к которым верующие подходили со страхом и трепетом, будут здесь тянуть самодгонку, а если пойдут на заграничный рынок, будут пить из них шампанское. Вот что ему больно, вот что жутко, и он обращается с одной просьбой — дать уверенность в том, что не будет надругательства над этими святынями. Была просьба только одна — самостоятельное участие, чтобы успокоить толпу, сказать ей, что не будут оскорблены святыни... Я спрашиваю вас: как нужно растоптать судебную правду, чтобы видеть в этом какое-нибудь контрреволюционное возбуждение толпы?»

«Документальная оснастка корабля обвинения разбита, ее нет, — сказал Гурович и повторил еще раз: — Дела нет, оно отсутствует, обвинения нет. И все-таки страшно... Я блуждаю в какой-то темноте, во мраке, я вижу открытые могилы, к ним подвигаются люди, туда толкает какая-то сила, но для меня сила неведомая. Я не знаю, что она, где она, и от этого объемлет меня холодный ужас. Граждане члены Революционного Трибунала! Что скажет история об этом процессе? Знаете, что скажет история и где она найдет матерьял, главный матерьял, о котором почти ничего не говорится? Она найдет на первой странице пятого тома, где некий милицейский летописец, не мудрствуя лукаво и не думая о процессе, излагал свои впечатления по районам. И вот к этому документу я привлекаю напоследок ваше внимание. «Первый городской район. Операция по изъятию ценностей церковных ... протекла удовлетворительно, за исключением следующих незначительных эксцессов... Второй городской район. Операция по изъятию проходит удовлетворительно...» И так далее. И вот, пользуясь этим документом, будущий историк скажет: с 25 февраля по 4 мая в городе Петрограде происходило изъятие церковных ценностей. Оно протекло блестяще, принимая во внимание фанатизм масс. Всего восемь случаев было насилий, из которых только одно сравнительно серьезное. И тем не менее было дело, судили 85 человек во главе с митрополитом... Остальные строки впишите в историю вы своим приговором.

Граждане члены Революционного Трибунала! Повторяю: я вас ни о чем не прошу. Это бесполезно. Но я говорю, что вашему спокойствию я нахожу противовес в спокойствии вот этого человека в белом клобуке, которого я защищаю. И он спокоен. Он совершенно спокоен за свою участь. Если вы пошлете его на смерть, он — избранник рабочего народа, пойдет на эту смерть спокойно, скромно, как выходил сюда, благословляя всех без исключения: и своих врагов, и друзей.

Еще одно слово, и я кончу. К этому делу, граждане судьи, возможны два подхода: подход объективный, подход судебный, основанный на доказательствах. Вы подойдете с этой стороны — я спокоен за результат дела. Доказательств нет.

Есть другой подход: подход государственной целесообразности. Подходите с этой стороны. Я этого также не боюсь. Свидетель Введенский, тот самый свидетель, который так авторитетен для обвинения, в своем показании, данном на предварительном следствии, говорил: «Церкви предстоит одно из двух: путь мученичества или путь подчинения». Граждане судьи, не ведите Церковь по первому пути. Это большая политическая ошибка. Не творите мучеников!»

Так завершил свою речь Яков Самуилович Гурович.

Надо ли говорить об аплодисментах, покрывших последние его слова при удивительном попустительстве председателя, не потребовавшего тишины и не пригрозившего удалить нарушителей установленного порядка.

«Если Новицкий, — говорила мне Лидия Александровна Дмитриева, — был исповедником, а владыка Вениамин — подвижником... великим подвижником! — то Гурович, некрещеный, еврей, был, несомненно, духом водимый человек. Впечатление от его речи было такое: все! обвинители побиты. Все, в чем обвиняют, это все полностью отпадает. Есть еще такое слово: подлость. Ведь это же все подло было! Весь процесс — это подлость! Оскорбление! Он этого слова не произнес. Он не позволял себе никаких таких выпадов по отношению к суду. Но было совершенно явно, что теперь-то, после его речи, все должны признать и владыку, и веру христианскую, и уж никак не признавать обвиняемыми тех, кого обвиняют. Суд побежден. Приговор был, конечно, неожиданным».

Семьдесят лет спустя читая следственное дело и зная трагический исход суда, я все же не только понимал душевное состояние людей, в которых Яков Самуилович укрепил надежду на спасение Вениамина, но странным и совершенно неразумным образом сам испытал нечто вроде надежды на оправдательный приговор.

Да минует его чаша сия — примерно так можно было бы перевести смутный лепет моего сердца.

Снимок последний: чтение приговора.

Фотограф снимал из глубины сцены.

Все стоят.

Спины членов трибунала. В руках председателя виден лист бумаги. Резные спинки отодвинутых от стола кресел, их гнутые ножки. В зале один из конвойных в белой гимнастерке слушает, облокотившись о край сцены.

Последние слова уже сказаны.

Что бы ни случилось со мной — слава Богу за все.

Это Вениамин.

Возьмите мою жизнь, но пощадите остальных.

Это Юрий Петрович Новицкий.

Для братской могилы у обвинения нет материала.

Это Иван Михайлович Ковшаров.

Все — от Бога, в том числе и смерть.

Это архимандрит Сергей.

Я невиновен.

Это говорили все.

Накануне Бобрищев-Пушкин сказал: «Этот процесс... исторический. Будущий историк развития русской общественной мысли и свободы будет судить об этом процессе по данным дела, по историческим событиям, и он произнесет свой суд над тем, как советская власть относилась к духовенству. Он скажет эти слова. Я предвижу это».

Петрогубревтрибунал десятерых приговорил к расстрелу, остальных — к различным срокам лишения свободы.

Двадцать пять из восьмидесяти пяти подсудимых были оправданы.

Я не историк, но я скажу: советская власть всегда относилась к духовенству *уничтожительно*.

ИОД. ОЖИДАНИЕ КАЗНИ

Свои записки о сорока днях, проведенных приговоренными к расстрелу в ожидании казни, о.Михаил Чельцов начинает с 4 июля.

Суд закончился, 5 июля трибунал должен был огласить свой приговор. Подсудимые — все без исключения — надеялись на лучшее. «Добрый, — пишет о.Михаил, — мы считали в то время всякий приговор, хотя бы с тюрьмой на 10 лет, только без расстрела».

Ни увеличенный против обыкновения конвой, ни добавленный к охране «мотор» с чекистами, ни замкнутость прежде словоохотливых конвоиров — ничто не поколебало в узниках их надежду.

«Следующий день, т.е. утро 5 июля, у меня прошло в приподнятом настроении духа. Помню, по обычаю помолился, прочитал акафист Иисусу Сладчайшему и, ходя по камере, думал, что по всем, казавшимся мне основательными данным, расстрелов не должно быть, и во всяком случае меня они не должны касаться».

Он отмечает, однако, что чем ближе подступало время, когда надо было отправляться в суд, тем тревожней становилось на душе. «...Какая-то щемящая грусть уже стесняла грудь».

Нечто похожее происходило и с остальными.

Тяжко было и в самом суде, где им пришлось шесть часов — с трех дня и до девяти вечера — ждать открытия последнего заседания. «Тень смерти, где-то притаившись, для глаза невидимая, сердцем же ощущаемая, властно царила над сознанием всех». Павел Чельцов, которому судьба судила двадцать лет спустя сложить голову в боях под Москвой и который теперь вместе с отцом-священником ждал исхода его и своей участи, пытался скоротать время, усевшись с кем-то из подсудимых-студентов за самодельные шашки. Игра не клеилась. «...Сердце его горело беспокойством за меня, ему хотелось утешить, ободрить меня. Он подходил ко мне, и мы с ним начинали ходить, одно лишь пережевывая на много ладов: будут ли расстрелы или нет».

С обостренным интересом обсуждали Бог весть откуда и от кого поступавшие известия о приговоре: всякий раз будто бы совершенно достоверные, они, тем не менее, всякий же раз существенно отличались одно от другого. То речь шла о неминуемом для десяти главных обвиняемых расстреле; то количество их сокращалось до восьми или шести; то сообщали, что расстрелов вообще не будет, а митрополиту уготованы Соловки... Утверждали также, что нечего бояться даже и расстрела, который непременно будет отменен Москвой.

Сам Вениамин в эти часы сохранял невозмутимое спокойствие.

Пристально вглядывавшемуся в него о.Михаилу показалось даже, что он как бы «окаменел в своем равнодушии».

Я чувствую здесь неточное слово. Вместо *равнодушия* следовало бы употребить *отрешенность*.

В комнате, где находились обвиняемые, было накурено. Отец Михаил отмечает также запах пота «от жары и изнурения».

Когда около девяти вечера раздались наконец звонки: сначала один, затем второй, и надо было идти в зал и занимать свои места на скамье подсудимых, «невольно у всех, как и у меня, екнуло сердце, рука поднялась к крестному знаменю, и в голове как-то потемнело».

После «наскучившего» (выражение о.Михаила): «Суд идет!» — прозвучало: «Именем РСФСР». При этом «стоящая в большом количестве стража продельвывает шпагами какие-то приветственные жесты в знак приветствия Республике». Само собой, красноармейцы не мушкетеры, откуда бы у них *шпаги*. В состоянии о.Михаила немудрено было принять за шпагу саблю или примкнутый к трехлинейке штык — но дело не в том, что он перепутал вид оружия. Хороша, надо полагать, была вся эта сцена со стуком и лязгом перед глазами людей, ожидающих себе расстрела. «Первые же слова чте-

ния приковыывают к себе все мое существо. Слышится учащенное биение сердца, какая-то дрожь держит все тело, сковывается сознание, оно потемняется; всякое чувство исчезает. Скоро ли, скоро ли моя фамилия??»

РАССТРЕЛЯТЬ, ИМУЩЕСТВО КОНФИСКОВАТЬ.

«...раздались многочисленные, дружные, громкие аплодисменты — как оказалось, от студентов Зиновьевского университета. Ох, тяжело здесь почувствовалось, досадно на них: значит, есть еще люди, радующиеся нашей беде».

В ту же комнату, где обвиняемые ожидали приговора, десять человек из них во главе с Вениамином вернулись *смертникам*.

Отец Михаил передает далее трогательную сцену своего прощания с сыном, которому суд открыл дорогу на волю; и сообщает, что смертники были не в пример спокойней тех своих союзников, кому посчастливилось избежать сурового приговора. С точки зрения осужденного на казнь, они вели себя, может быть, даже недостойно, браня судей, не предоставивших им полной свободы. Возмущался приговором и священник Семен Никиташин, направленный на принудительные работы без содержания под стражей сроком на два месяца. «Я даже подошел и сказал о.Никиташину какую-то резкость, на что он мне ответил тем же».

Что ж, это вполне по-человечески: браниться с тем, кто только что осужден был на смерть.

Снова стали умножаться слухи — теперь уже напрямую связанные с приговором, вернее, с его отменой или смягчением. Решающая роль отводилась Москве. Туда будто бы уже отправилась делегация от питерской еврейской общины с просьбой о помиловании смертников. Сострадание евреев имело и вторую цель: «привлечь симпатии православных на свою сторону». В Москву, по слухам, собрался и сам Зиновьев: само собой, отдельно от евреев, но также с намерением добиться отмены казни. По словам Юрия Петровича Новицкого, хлопотать за него в Москву поехали весьма солидные люди, представляющие петроградский ученый мир. «Если помилуют меня, — сказал Юрий Петрович о.Михаилу, — то, конечно, и всех остальных. За исключением, разве, митрополита...» Новицкий прибавил еще, что смертный приговор о.Михаилу Чельцову есть наилучший повод к кассации.

Под усиленным конвоем конных курсантов в красных фуражках и двух автомобилей с чекистами по светлым ночным улицам Петрограда смертников повезли в тюрьму. Ехали они теперь, однако, не в 3-й исправдом, где находились во время следствия и суда, а в 1-й, где обыкновенно ожидают исполнения приговора все осужденные на казнь.

Собравшийся в небольшом количестве возле Сергиевского собора народ благословил их.

В новой тюрьме узников огорошили известием, что им не положено ни свиданий, ни передач. «Я сильно призадумался, — пишет о.Михаил. — Но тут же слышу успокоение, что дело в Москве продлится не свыше 2-3 недель. Ну, думаю, это время и без передач можно прожить — не умру; а там или смерть, или облегчение положения». Размышления о.Михаила были прерваны ссорой, вдруг вспыхнувшей между Ковшаровым и Огневым. Дмитрий Флорович Огнев, по своему обыкновению, не в меру разговорился, и Иван Михайлович Ковшаров, всплыв, назвал его «старым болтуном». (Ковшарову в ту пору было — и так и осталось — 44, Огневу же — 59 лет.) Огнев с обидой ответил, что Ковшаров не вправе делать ему замечания. «Помню, мне было очень тоскливо выслушивать всю эту перебранку. Вот, думалось, люди накануне смерти, почти вычеркнуты из списка людей, и бранятся. Где у них сознание важности и тяжести минут...»

Так вздохнул про себя о.Михаил.

Перед тем как отправить всех в камеры, каждого тщательно обыскали. У о.Михаила отобрали подаренный сыном нож и сняли с брюк веревочку: «...я должен был руками держать штаны, чтобы они не упали».

Вместе с архимандритом Сергием о.Михаил был отведен в камеру №3.

Здесь, перекусив и помолившись, они улеглись вдвоем на единственную койку. «Отец Сергей, оказавшийся превосходным человеком, за помещение с коим я доселе благодарю Господа, только все вздыхал и отрывочными фразами приговаривал: «Ну и попались мы...» Или: «Бог не выдаст, помилует...» У о.Сергия оказалась с собой маленькая подушечка, у меня что-то в узелке, на что я положил свою утомившуюся и пулю в лоб ожидавшую головушку».

В Москву, во ВЦИК, тем временем ушла телеграмма:

«22 часа 5 июля Петроградский Губревтрибунал приговорил к расстрелу митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина (Казанского Василия Павловича), 49 лет, священнослужителя духовного звания, Новицкого Юрия, профессора университета, бывшего присяжного поверенного, интеллигента, 39 лет, сотрудника отдела народного образования Ковшарова Ивана, 44 лет, бывшего присяжного поверенного, мещанина, преподавателя военно-автомобильной броневой школы Елачича Николая, 50 лет, юриста, настоятеля Казанского собора Чукова Николая, 52 лет, духовного звания, епископа Кронштадтского Венедикта (Плотникова Виктора, 50 лет), священника духовного звания, настоятеля Троицко-Измайловского собора Чельцова Михаила, 52 лет, протоиерея, духовного звания, настоятеля Исаакиевского собора Богоявленского Леонида, 51 года, священнослужителя, сына чиновника, Огнева Дмитрия, 59 лет, бывшего профессора Военно-юридической академии, бывшего начальника законодательного отдела 4-й Государственной Думы и сенатора Временного правительства, дворянина, архимандрита Сергея (Шейн Сергей), 56 лет, священнослужителя, интеллигента, по обвинению в преступлениях, предусмотренных статьями 62 и 119 Уголовного Кодекса в период времени от конца февраля по 4 мая с.г. Всего десять человек. Не признали себя виновными.

Председатель Яковченко».

Москва ответила незамедлительно:

«СРОЧНО О ПОМИЛОВАНИИ ЗАПИСКА ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ПОД ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛИТКОМА ПЕРЕДАТЬ НЕМЕДЛЕННО АДРЕСАТУ

ПЕТРОГРАД ГУБРЕВТРИБУНАЛ

ПРЕЗИДИУМ ВЦИК ПРЕДАГАЕТ ПРИОСТАНОВИТЬ ПРИГОВОР НАД ОСУЖДЕННЫМИ РАССТРЕЛУ ДЕСЯТЬЮ ГРАЖДАНАМИ ... ОСУЖДЕННЫХ 5 ИЮЛЯ ПО ОБВИНЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 62 И 119 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 6 ИЮЛЯ 20 ЧАСОВ 20 МИНУТ

СЕКРЕТАРЬ ВЦИК А.ЕНУКИДЗЕ».

Теперь мне понятно, что это была, в основном, рассчитанная советская игра: приговорить к стенке десять человек, а затем, наморщив ленинский огромный лоб, четверых вывести в расход, остальных же до поры упрятать в тюрьму. Но в двадцать втором, да еще с учетом абсолютной бездоказательности приговора, да плюс безупречные на всякий нормальный взгляд судьбы смертников, да вдобавок посильная поддержка еще не вполне замордованной российской общественности — нет, тогда невозможно было расстаться с надеждой даже в советской России.

«В Петрогубревтрибунал.

По делу о Василии Казанском, Викторе Плотникове, Юрии Новицком и других обвиняемых по 62, 119, 69 и др. статьям Уголовного Кодекса.

Нижеподписавшиеся, осужденные приговором Губревтрибунала от 5 июля, настоящим заявляют, что они уполномочивают защитников Жижиленко, Гуровича, Бобрищева-Пушкина, Равича, Гартмана, Элькина, Павлова, Гамбургера обжаловать в кассационном порядке состоявшийся приговор от имени всех осужденных, а также ходатайствовать о смягчении приговора и о помиловании».

Десять подписей насчитал я под этой доверенностью.

Десять подписей — десять последних надежд.

Защитники пустили по этажам и кабинетам власти кассационные жалобы, одна из которых с пометкой «Срочно! По смертному делу» 17 июля легла на стол к Авелю Енукидзе. К доводам, уже высказанным на процессе, прибавились доказательные утверждения о грубейших правовых ошибках трибунала. Абрам Моисеевич Рязанский (он назван в другой доверенности) вывел как дважды два, что трибунал вообще не имел права приговаривать подсудимых к расстрелу. Он сослался при этом на законодательство, предоставлявшее возможность применять смертную казнь лишь судам, действующим в условиях военного положения. В Петрограде же летом 1922 года порохом, как известно, не пахло.

Абрам Моисеевич, кроме того, выудил из приговора множество правовых нелепиц. Например: «Новицкий, — пишет он, — обвинен в *перерыве* переговоров, между тем, как другие осужденные к расстрелу обвинены в *участии* в этих самых переговорах».

Всего он насчитал в приговоре 14 нарушений действующего законодательства.

Понимая, должно быть, что в данном случае политика намертво задавила право и вот-вот прикончит осужденных, защитники под суммой неотразимых доказательств о невиновности их подопечных и грубейших судебных натяжках подводили итоговую черту в виде *просьбы* о помиловании. «Если же, наконец, Верховный революционный трибунал не найдет возможным удовлетворить кассационную жалобу, как таковую, то защита позволяет себе обратиться с *просьбой* о помиловании всех осужденных, основывая это свое ходатайство как на том материале, который изложен выше в настоящей жалобе, так и на общей характеристике осужденных».

С *просьбой* о помиловании Вениамина Яков Самуилович Гурович обратился в Президиум ВЦИК. «Прошлого его, до сего времени, с любой точки зрения было безупречно. Всю отраду существования он находил в тесном религиозном единении с простой, верующей массой. Ее духовными радостями и печальми он исключительно жил и волновался. Этого — единственно для него ценного — общения он теперь бесповоротно лишился. Этим ему нанесен тягчайший удар. Следует ли у него после этого отнимать еще и жизнь? Уверен, что нет. Я прошу — и глубоко надеюсь, что моя *просьба* будет услышана — о помиловании Казанского».

Среди адвокатов с особенным чувством переживал исход процесса Леонид Иванович Гиринский. Он взял на себя защиту Юрия Петровича Новицкого и о.Николая Чукова, настоятеля Казанского собора, но заболел («припадок сердечной болезни прервал мою защитительную речь») и после 5 июля мучил себя мыслью, что, быть может, сумел бы спасти жизнь своим подопечным. Само собой, *красный* суд наплевал бы и на Цицерона, но Леониду Ивановичу было от этого не легче. Сознание собственной вины изводило его, и, составив проникновенное «Ходатайство о даровании жизни» («Если бы я мог поклясться, я поклялся бы, если бы я мог поручиться своей головой, я поручился бы, но, конечно, ни моей клятвы, ни моего ручательства ВЦИК не примет; быть может, он примет просто честное слово человека, который по глубокому убеждению, с принятием на себя ответственности за свои слова говорит: ни Новицкий, ни Чуков не только не были контрреволюционерами, не только не были против самого широкого использования церковных ценностей для помощи голодающим, но всякий, кто с ними достаточно сталкивался... не может не признать их безусловной гражданской честности. Во имя справедливости умоляю даровать им жизнь»), он кинулся в Москву, к самому Троцкому.

Три дня он обивал пороги его приемной.

«Лев Давидович.

Не откажите поверить, что я, конечно, понимаю всю внешнюю нелепость лезть из Питера, чтобы беспокоить Вас в единственный свободный

день. Но все же я это решил сделать в надежде, что Вы не откажете ради 10 жизней погарить мне 20 мин., только 20 минут. Необходимо именно Вас, именно Вас.

Гиринский.

Вчера меня к Вам не пустили; очень прошу не отказать в этом сегодня».

Знал бы Леонид Иванович тайные планы Ленина и Троцкого по поводу Церкви! Знал бы, искренний человек, что у Льва Давидовича какой-нибудь десяток погубленных жизней не вызовет даже легкой бессонницы...

«Р.С.Ф.С.Р.

Управляющий канцелярией
Председателя
Революционного Военного Совета

Республики
18 июля 1922 г.

№ 3031

Москва.

В Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
При сем препровождается заявление во ВЦИК и письмо гр. Гиринского.

Тов. Троцкий Гиринского не принимал, т.к. касательства к делу, по которому Гиринской просит приема у тов. Троцкого, не имеет.

Пом. Управляющего Канцелярией ПредРВСР.
Ст.делопроизводитель».

Милости к осужденным просила у власти, как я уже говорил, и общественность.

К М.И.Калинину обратился, в частности, председатель Петроградского комитета помощи политическим ссыльным и заключенным М.Новорусский. «Тов. Озолин (председатель Петроградского губернского ревтрибунала. — Авт.) мне определенно сказал, что такой приговор необходим по политическим соображениям, но что приведение приговора в исполнение зависит от Москвы. Прежде чем окончательно решить казнь, выслушайте голос старого шлиссельбуржца, который когда-то тоже получил смертный приговор».

Духовное сословие, утверждал далее сын сельского дьячка и бывший узник Шлиссельбурга, не представляет политической силы, не блещет одаренностью (тут, может быть, не без умысла он назвал приговоренного к смерти Вениамина *недалеким*) и ничем не угрожает существующему строю. Вспомним, наконец, взывал Новорусский к своему однополчанину по борьбе с самодержавием, сколько революционеров вышло из духовного сословия! Вспомним хотя бы знаменитого Кибальчича, который был сыном священника! Вспомним — и сохраним жизнь приговоренным. «Делать... смертную казнь орудием для запугивания других, простите, это в настоящий момент не политично».

Во ВЦИК, к тов. Калинину с просьбами о помиловании осужденных обращались: Московский Политический Красный Крест, вдова убитого на Сибирском фронте большевика Григория Усиевича Елена Феликсовна Кон-Усиевич, профессор Н.Гредескул, академики С.Ольденбург и Н.Марр.

Зачем, спрашивали два академика, нужны эти смертные приговоры?

«Устрашить? Но ведь мы все стоим уже года, окруженные смертью и убийствами, и никого в России мысль о смерти теперь не страшит. Но мысль о возможной казни людей, такой кары не заслуживших, озлобляет людей и ставит перед каждым из них вопрос, какая для них возможна мирная и плодотворная работа строительства в стране, где суд выносит такие приговоры, за которые ответственны нравственно все граждане страны? Во имя исстрадавшегося веками русского народа ...отмените казни, которые мешают жить и строить, озлобляют и озверяют людей. Пусть будет, наконец, в России человеческая жизнь, а не постоянная братоубийственная война».

Призыв, не потерявший своего значения и по сей день.

Имя академика Ольденбурга встречаем также под телеграммой, которую вместе с ним подписал президент Российской Академии наук Карпинский:

«Срочная Москва Председателю ВЦИК Калинин»

Просим смягчения участи приговоренных смерти церковному процессу».

К сапогам власти припадали родные осужденных на смерть.

Дети о.Николая Чукова — студенты Николай, Борис и Анна, ученик Петроградской консерватории Александр и школьница Вера — умоляли Президиум ВЦИК «вернуть им отца» и обещали (сквозь слезы): «В этот торжественный миг мы даем обет всю свою жизнь отдать на служение трудовому народу».

Заклинали ВЦИК «не дать совершиться ужасному, непоправимому несчастью» жена и дочь Дмитрия Флоровича Огнева.

Просила о помиловании мужа Наталья Яковлевна Елачич, дочь поэта Полонского. «В моем воспаленном мозгу нет ничего, кроме боли и обиды. За что? За что нас объявили врагами народа? Ни богатства, ни имущества, ничего, кроме труда от первых дней нашей жизни и поныне, кроме великой любви к народу у нас не было. Все наше богатство — интеллигентская трудовая убогая квартира и честная жизнь».

Богоявленские: «Слезами исходят наши души и тяжкой болью исполнены сердца. Все помыслы, все мысли направлены на сохранение жизни любимого и невинного человека и не угасает надежда, что высшее государственное учреждение — ВЦИК выслушает нашу просьбу...»

Просили о помиловании и обновленцы — в том числе и главный подручный убийц Вениамина Красницкий.

Поначалу ВЦУ (архиепископ Антонин (Грановский), председатель, протоиерей В.Красницкий, его заместитель, и прочие члены) пыталось внушить рабоче-крестьянской власти, что до исполнения приговора надо бы передать преступников вместе с изобличающими их материалами в руки церковной юрисдикции. И уж после церковного суда, после «обнажения их от их вероучительного авторитета» можно, пожалуй, и казнить. Чуть позже, но в тот же день теми же мудрецами и в тот же адрес (ВЦИК) направлена была «Усердная просьба» (таково у сей бумаги название) смягчить приговор: «...особенно же осужденным на высшую меру наказания». Церковное наказание «вплоть до снятия сана и отлучения от церкви» при этом гарантировалось.

Выступила и «Живая церковь» (почерк Введенского, вместе с ним поставили свои подписи еще пятнадцать человек, в том числе и протоиерей Александр Боярский): «... мы ясно видим... что среди осужденных есть личности, слишком ничтожные, чтобы быть действительно опасными врагами власти. Оставьте жизнь этим преступникам, в безумии своем попытавшимся чрез церковь помешать великому делу освобождения человечества от векового насилия капитала и неправды».

«Живая церковь» направила во ВЦИК «Характеристики десяти присужденных... к высшей мере наказания», составленные о.Александром Боярским. Все они — за исключением, может быть, положительно-бесцветного отзыва о епископе Венедикте (Плотникове) — представляют собой своего рода апологии несчастным смертникам и уж во всяком случае ни одного из них не аттестуют *преступником*.

У меня нет и тени сомнений в искренности желания о.Александра Боярского спасти Вениамина.

Я не сомневаюсь также, что вполне искренним был в своем стремлении и о.Александр Введенский.

Но если Боярский в составленных им «Характеристиках» доказывает невиновность осужденных и пытается именем милосердия и справедливо-

сти отбить их жизни, то Введенскому перемена участи Вениамина нужна не сама по себе, а в связи с его далеко идущими планами обновленческого церковного строительства. Приведу в доказательство списанное мной почти полностью его письмо к Калинин.

«Я лично знаю всю неправду Тихоновской церкви, ее связь с буржуазией, ее косность и т.д. Я первый из русских священников на страницах «Петроградской правды» бросил слово негодования лицемерию буржуазного христианства по поводу голода еще в феврале, до издания декрета об изъятии ценностей.

И с этой поры, начиная с Тихона, меня травило и травит духовенство, превращая мою жизнь в пытку. Сейчас я еще не оправился от удара в голову камнем от руки моих церковных врагов.

Поэтому меньше всего из личных соображений я ходатайствую перед Вами о помиловании преступников.

Да, они преступники. Они служили не Христу, Великому Учителю любви, другу бедных, а угнетению трудящихся.

Они — жалкие безумцы, попытавшиеся подняться против законного рабоче-крестьянского правительства.

Суд произнес свой суровый, но справедливый приговор, квалифицировав их преступление, как заслуживающее высшей меры наказания. Но это — жалкие люди, как личности. Победоносный русский пролетариат может пощадить их милостью своей.

Эту милость они не заслужили, но обстоятельства дела обновления церкви понуждают меня всемерно просить об этой милости. Нас обвиняют, что это мы, обновленцы, расстреливаем митрополита Вениамина, которого любят массы ... и который (не считая истории с ценностями) придерживался в своих речах аполитичности. Из него враги нашего движения хотят сделать мученика, умерщвленного «красными попами». Это страшно повредит нашему делу, а мы хотим ведь большого дела — сделать из церкви не оружие буржуазии, а, наоборот, бороться за права пролетариата, за правду Октябрьской революции. Государство, ведь, гостаточно сильно, чтобы иначе обезвредить этих своих врагов, не прибегая к фактическому уничтожению».

Перед тем как вернуться к темнице и воспоминаниям и письмам о.Михаила Чельцова, скажу несколько слов о моих занятиях в подвале. Читал я по-прежнему с лихорадочной поспешностью, читал и писал беспрестанно, заканчивая уже третью толстую тетрадь. Друг Макарец, встретив однажды меня, по внешнему моему виду тотчас определил истощение: несомненное физическое и надвигающееся нервное. Да и сам я как врач ощущал, что в последнее время со мной творится нечто неладное. Причем не физическое мое состояние внушало мне тревогу — тут все можно было поправить в неделю-другую регулярного питания и длительных прогулок. Беда была в том, что я стал бояться сна. То есть спать я хотел ужасно; я едва доползал до кровати с одной-единственной мыслью: упасть и отключиться. Но стоило мне смежить веки, как голова начинала пылать от наплыва мыслей. Считая, например, десятилетия, минувшие со дня гибели Вениамина, и находя, что нравственное содержание нашей жизни с течением времени становилось все ничтожней, я требовал от окружающей меня ночи незамедлительного ответа на главный, истерзавший меня вопрос: зачем были эти жертвы? Кровь мучеников зачем была пролита? Признаю, что, как Иов, требовал отчета от самого Господа. Суда справедливого требовал! Если нечестивцы благодествуют, чернь ликует, в Церкви заправляют низкие люди, променявшие христианское первородство на чечевичную похлебку в позолоченной миске, то не напрасно ли погиб Вениамин? И Юрий Петрович? И Ковшаров? И архимандрит Сергей? И тысячи и тысячи других исповедников, всё никем не исчисленное множество их, скорбный сонм легших в землю с пулей в груди, или истаявших от голода в лагерьях, или замученных на допросах? Зачем руками злодеев Ты взял их жизни?

Иов склонился, признав непостижимость Твоих замыслов; но я не хочу склоняться! Если Ленин, Троцкий и Сталин действовали исключительно по собственной воле, если воодушевившая их сатанинская сила безнаказанно пренебрегла общим Божественным замыслом о судьбах всего мира и России в том числе, то, стало быть, вся наша жизнь вообще лишена смысла. Я не отмщения жаждал — я домогался ясности. Господи, какое отмщение? Кому?! Памятникам, которые вот-вот примется крушить толпа? Но чем же мы тогда отличаемся от язычников, поровших плетью своего Перуна?

Однажды среди этих мучительных для меня размышлений я забылся коротким сном — и очнулся в слезах.

Плакал же оттого, что во сне в голову мне пришла мысль о крушении христианства в России.

В нашем Отечестве Кесарь победил Христа.

Приставленный ко мне *сотрудник* сказал при выдаче последних трех томов следственного дела Вениамина: «Если государство стремится быть сильным — а это стремление и есть его природа — оно должно подчинить себе все: личность, культуру, семью...» — «И Бога?» — «Бога — в первую очередь. — Он холодно на меня взглянул. — Вы думаете, что вот это, — ткнул он в картонную обложку одного из томов, — затеяно было только ради того, чтобы какого-нибудь попа поставить к стенке? В таком случае овчинка не стоила бы выделки. Бог должен служить государству. Ах, он отказывается выполнять свой гражданский долг? Прекрасно. Мы его заменим. Все будет точно так же: церкви, попы, обряды... Иконы те же самые. Только Бог будет другой». — «Какой?» — едва смог вымолвить я. Он усмехнулся. «Да не переживайте вы так. Читайте себе. Ищите вашу правду. Но я бы хотел, чтобы вы поняли... Я вам даже скажу кое-что, о чем мне говорить совершенно не положено, но я скажу. Церковь — здесь. — И он плавно повел рукой, указывая на стены подвала и его потолок. — Вам пояснить?» — «Не надо», — мрачно ответил я.

Незадолго перед нашим разговором случилась заминка с выдачей последних томов следственного дела Вениамина. (По словам моего опекуна, они были внезапно затребованы начальством для составления справки в ответ на запрос Московской Патриархии.) Все это время я исправно посещал подвал и успел прочесть собранные под обложки из плохого серого картона материалы ГПУ о митрополитах Петре (Полянском), Кирилле (Смирнове), Иосифе (Петровых), епископах Максиме (Жижиленко), Андрее (Ухтомском), Евгении (Кобранове), Дамаскине (Цедрике), Федоре (Поздеевском) и других священнослужителях Русской православной церкви.

Все — или почти все они — были убиты.

Стариков-митрополитов Иосифа и Кирилла перед казнью били, требуя от них признаний в контрреволюционной деятельности.

«Признавая себя, — на свой манер излагал следователь вымученные из митрополита Иосифа слова, — одним из организаторов нелегального контрреволюционного центра церковников, я чувствую потребность не скрывать от власти ничего того, что сделано контрреволюционным мною и моими единомышленниками».

Это было пятнадцать лет спустя после гибели Вениамина.

Власть превратила Россию в огромную могилу.

Никаких судов.

Никаких сообщений в газетах.

Никаких просьб о помиловании.

Тройка.

Капитан ГВ Кальнинг.

Подпись: красный карандаш, длинный росчерк.

«Коменданту УНКВД т.Мартынову.

Немедленно приведите в исполнение приговор тройки в отношении Смирнова Константина (Кирилла) Илларионовича. Об исполнении составьте акт, который представьте мне».

Возьмет, и кто возбранит Ему? кто скажет Ему: «Что Ты делаешь?»

Я скажу. Пусть я всего лишь слабое создание Твое, надломившееся под грузом горького знания, — но я вместе с тем образ Твой и подобие Твое, и я вправе понимать... На какую страшную жизнь Ты обрекаешь меня, не открывая мне тайну безмерно пролитой в России крови.

Зачем Ты это сделал?

Продолжаю.

На стене камеры о.Михаил прочел надписи, не прибавившие ни ему, ни архимандриту Сергию бодрости: «...осужден на расстрел 16 января 1922 года... 18 января в 10 часов вечера взят для расстрела».

«Ну, подумалось, из сей камеры путь-дороженька в могилу. Куда-то мы выйдем?»

На четвертый день им велели срочно собрать вещи и готовиться к отправке в другую тюрьму — на Шпалерной. У о.Михаила и о.Сергия одновременно явилась мысль: не обман ли это и не пойдут ли они прямо из камеры в свой последний путь — на расстрел? «Отче, — сказал архимандрит Сергий, — неизвестно, куда нас повезут. Еще неизвестно, как мы там будем жить и что с нами приключится. А поэтому исповедуй-ка меня».

«О.Сергий исповедывался горячо и слезно. Это была его последняя земная исповедь...»

(В соседней камере точно так же предложили собираться Юрию Петровичу Новицкому и о.Николаю Чукову. Только на их вопрос: «С вещами или без вещей?» с убийственным безразличием ответили, что, скорее всего, налегке. Ледяным дыханием смерти повеяло на них. Новицкий застыл. «Собирайтесь же!» — в отчаянии крикнул ему о.Николай).

В тюрьме на Шпалерной о.Михаила, Елачича, Огнева и Ковшарова поместили на четвертом этаже, в так называемом *Особом ярусе*. «... Нам, смертникам, — с горькой усмешкой подумал о.Михаил, — так и нужно быть ближе к небу, куда скоро придется переселиться».

Вениамин сидел в одиночке на втором этаже.

Камера: два с небольшим метра ширина, четыре с половиной — длина. «Налево от двери прикрепленная к стене железная кровать с очень жиденьким мешком, в котором когда-то была солома, но от которой остались лишь незначительные напоминания. Можно сказать, что железный переплет на кровати был покрыт только одним мешком, и ложе мое было не хуже ложа любого древнего, а тем более современного пустынноика; железные переплеты койки врезались в тело, и приходилось немало поворочаться, чтобы приспособить свою брэнность к сонному успокоению».

Кроме того: намертво привинченные к полу железные стол и стул, в углу, возле окна — «клозет с умывальником и водой в баке наверху».

Из прочих бытовых подробностей *подсмертного*, по замечательному выражению о.Михаила, бытия следует отметить почти еженедельные банные дни, не только вносящие разнообразие в томительную жизнь осужденных, но всякий раз приятно удивлявшие образцовой чистотой ванных комнат, где каждый мылся сколько его душе угодно — правда, в одиночестве и замкнутый снаружи ключом надзирателя. Тело радовалось воде и мылу, душа позволяла себе обмануться ощущением свободы — «...как будто и не в тюрьме сидел».

Обстановка если не вполне *царская*, то, по крайней мере, еще далеко не *советская*.

В могильную тишину Особого яруса проникали вести с воли — то вынужденно короткими письмами родных, то скупыми обмолвками надзирателей о будто бы уже решенном помиловании. Кого же?! — с трепетом спрашивал о.Михаил, безмерно тоскуя о семье и со слезами представляя себе, что будет с женой и детьми без него, их кормильца, надежды и опоры... Страшно ему было услышать свое имя среди окончательно обреченных. С

осторожной оглядкой отвечал надзиратель, что под расстрел пойдут митрополит, Ковшаров и Новицкий... Был еще один, кому в помиловании отказано, но кто именно — этого сострадательный тюремщик вспомнить не мог.

Но все равно: надо было духовно готовиться к уходу.

Смертникам разрешили получить нужные им книги. Отец Михаил попросил Евангелие, Каноник, а немного погодя — Иерейский Молитвослов.

«Молитва в тюрьме доставляла мне величайшее утешение и подкрепление. Только там я научился истинной молитве и молился так, как именно нужно, чтобы молитва доставляла радость и успокоение. ...Тяжело, очень тяжело жилось в Особом ярусе на Шпалерной, но нередко вспоминается то время с некоторым сожалением. Уж очень там хорошо было Богу молиться, уж очень молитвенное настроение там было. Верно, что когда горько на душе, мы к Богу тянемся, а как отлегло — далеко от Него пребываем».

И хотя молитва, к которой о.Михаил подчас принуждал себя, зная по опыту, что его духовное усилие непременно будет вознаграждено трепетным ощущением связи, вдруг установившейся между ним и Небесами, буквально спасла его в эти сорок дней и особенно ночей постоянного ожидания смерти, он все-таки не избежал минут глубочайшего отчаяния. Да и как, в самом деле, можно было сохранить постоянное душевное спокойствие, когда каждый шаг, вдруг прозвучавший за дверью, или позвякивание ключей в руках у надзирателя, или какой-то, пусть даже померщившийся шепоток в тюремном коридоре, — тревожно-обостренным слухом и волнением сердца воспринимались несомненными предвестниками конца. «Однажды я совсем было уже решил, что час мой пришел: я уже лег и почти задремал, в камере уже стемнело, вдруг слышу звяканье ключей в моем замке, именно моей камерной двери. Зачем ее отпирают в такой поздний час? Ответ мог быть только один и самый печальный. Я привстал, перекрестился и приготовился идти. На душе было как-то совсем спокойно, какая-то решимость овладела мной. Дверь отворилась, но быстро же и захлопнулась, и я услышал только слова: „Извините, мы ошиблись...“»

Семнадцатого июля по новому стилю (четвертого, стало быть, по старому) о.Михаил услышал благовест, вспомнил, что назавтра — память преподобного Сергия, игумена Радонежского, и догадался, что звонят в расположенном неподалеку от тюрьмы Сергиевском соборе, отмечающем свой престольный праздник. Он встал с постели (была уже ночь) и отслужил молебен преподобному.

Наступившим полднем произошло событие, которое о.Михаил воспринял как чудо, совершившееся по милости Божьей и по молитвам преподобного Сергия. Из рук дежурной надзирательницы он принял завернутый в красный платок позолоченный ящичек с только что освященными в храме за литургией Святыми Дарами. Отделив для себя часть, он вернул их для передачи остальным смертникам. Теперь, однако, перед о.Михаилом возник вопрос: что со Святыми Дарами ему делать? Иными словами: потребить их нимало не медля, сейчас же, или дождаться утра? Но к незамедлительному причастию он ощущал себя не готовым и, кроме того, уже успел отобедать. «Решено, что Св.Дары, завернув в чистую бумажку, положу в укромное местечко, и если ночью придут за мной для расстрела, то первым долгом возьму Св.Дары и потреблю их. Если же этого не произойдет, то Св.Даров мне хватит дня на 4—6».

Он причащался пять дней подряд.

«Св. Дары, причащение Их сильно бодрило и даже успокоительно примирало со смертью. Хотя умру, но все же со Христом, через причащение Его Тела и Крови...»

Если и я, со скрещенными на груди руками подходя к Чаше и повторяя про себя невероятной высоты слова об огне, пополающем недостойных, и о Божественном Теле, соединяющем дух с Небом и таинственно питающем ум, — если и я в эти минуты не узнаю свою душу, вдруг наполняющуюся робким восторгом, то какое же, должно быть, во сто крат сильнейшее чув-

ство переживали они там, в тюрьме, на рубеже жизни и смерти, в ежечасном ожидании казни?! Для приговоренных к расстрелу причастие становилось уже как бы несомненным залогом, что их ждет Тот, Кому они молились в звенящей тишине своих одиночных камер.

Он не оставит.

Разрешение на передачу смертникам Святых Даров получено было у тюремного начальства благодаря настойчивым просьбам Вениамина.

Передают, что в своей камере все сорок дней митрополит молился по четырнадцать часов в сутки.

Приставленные для постоянного наблюдения за ним надзиратели отказывались от своих обязанностей, объясняя это тяжким впечатлением, которое производил на них погруженный в молитву Вениамин.

Скорее всего, им становилось страшно, ибо они собственными глазами видели человека, находившегося в камере-одиночке, но в то же самое время в ней как бы совершенно не присутствовавшего.

Поистине, святость внушает трепет.

О чем был его последний разговор с Богом?

Мне кажется, с точностью почти безусловной можно ответить на этот вопрос, если вспомнить Гефсиманию. *«Отче! о, если бы Ты благословил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет».*

В камере смертника познал Вениамин муку перенесенного Господом бременя. И, как Господь, молил о чаше, чтобы она миновала его; и, как Господь, склонял голову перед волей Отца.

Однажды он уже умер — в тот день, когда из Василия стал Вениамином, из жителя мира — монахом. Вторая смерть теперь ожидала его — и перед дверью, которую готова была ему открыть услужливая рука палача, он славил Бога за все.

Пославшие его на казнь люди были непоколебимо уверены, что в жизни митрополита последней точкой станет приготовленная ему пуля. Их убогое воображение не могло допустить, что, по слову Апостола, в смертной плоти Вениамина *открылась жизнь Иисусова* и что, умирая, он воскресает для встречи с Господом.

Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. (1 Кор., 15;53).

КАФ. ВОРЫ

Сразу же после вынесения приговора власть отправила своих мытарей вышибать из осужденных судебные издержки.

У большинства пролетариев взять, однако, оказалось нечего. С торжеством революции в кармане у них не прибыло, и судебных исполнителей в их жилищах встречала ужасающая нищета. Добрый человек, управдом Гофшнейдер даже выдал удостоверение весовщику Сенюшкину, чей сын влип в церковное дело. «Настоящим за свой страх и полную ответственность удостоверяю тяжелое материальное состояние рабочего Сенюшкина, проживающего в доме Товарищества в кв. № 7, имеющего на своем иждивении семью в 7 человек без него и обладающего чрезвычайно убогой мебелью, состоящей исключительно из предметов самой первой необходимости. Дано сие для представления в Ревтрибунал для исхода тайствования отмены взыскания судебной пошлины за осужденного сына в размере 10 000 руб. в дензнаках 1922 г., каковую гр. Сенюшкин не в состоянии внести».

Само собой, власть не замедлила протянуть руку к имуществу смертников. 5 июля был оглашен приговор, а уже 11-го следователь Петрогубревтрибунала получил команду наложить арест на имущество приговоренных к высшей мере. Родственники несчастных отбивались как могли, защищая не только и не столько свое добро, сколько свое право честным трудом добывать себе пропитание. Наталья Яковлевна Елачич преподавала музыку и пение и в связи с этим просила освободить от описи рояль, который ей еще

до замужества подарил отец, поэт Яков Полонский «...свидетелями чего могут быть профессор С. И. Габель, директор консерватории А. К. Глазунов и многие другие».

Власть потребовала выкуп — 80 000 рублей.

Описали и выгребли подчистую мебель из двух комнат, которые в Александро-Невской лавре занимал Вениамин.

Нет никаких сомнений, что стулья, столы, столики, лампы, кровать — все было разграблено судейской верхушкой и ее прихлебателями. Уверенность моя имеет документальное подтверждение.

На бланке:

«Член Коллегии Петроградского Губернского
Революционного Трибунала

Фонтанка д. № 24 телефон № 5-51-51

Председателю Петрогубревтрибунала

Рапорт

Прошу Вашего распоряжения выдать мне часть мебели из квартиры ранее занимаемой Шейном по Фонтанке 44, за наличный расчет 1 буфет, платьяной (так в оригинале. — Авт.) шкаф, 8 стульев зеленого плюша, 1 диван зеленого плюша, 1 кушетку зеленого цвета, 1 настольную лампу, 2 люстро (так в оригинале. — Авт.), 1 письменный стол, 1 обеденный стол, 1 кровать, 1 комод и 1 круглый стол и часы и 6 стульев.

Рогаткин».

Все это счастливый товарищ Рогаткин получил почти даром — за 3945 рублей. (Сравним с выкупом, установленным для Наталии Яковлевны Елачич, а также с суммой судебных издержек, установленной трибуналом для смертников: с каждого по 100 000 рублей в дензнаках двадцать второго года). Более того: в конце концов даже квартира архимандрита Сергия отошла Рогаткину. И он зажил в ней в свое удовольствие, и спал на кровати о.Сергия, и жрал на его столе, и сидел на его стульях, и вечерами при свете его настольной лампы вникал в тайный смысл передовых статей газеты «Правда». Он убил и ограбил — но скажи мне кто-нибудь, что сон Рогаткина временами бывал неспокоен и что какой-то человек в черном иногда мерещился ему по углам его новой квартиры, я, право же, лишь рассмеюсь. Дело тут даже не в том, что у Рогаткиных нет совести. Они глубоко уверены, что все награбленное принадлежит им по праву: 2 люстро, 1 круглый стол и вся Россия.

Вслед за Рогаткиным принадлежавшие архимандриту вещи потянулись грабить другие. Помкомеданта трибунала Метелкину достались два круглых столика, трюмо и книжный шкаф; делопроизводитель трибунала Найдорф ухватил письменный стол, следовательно Ильяшенко — полубуфет и четыре стула... Зампред трибунала предписал коменданту, т.Кондакову: «Изъяты (здесь и далее — в точности по оригиналу. — Авт.) из кв. Шейна картину, икону, часы и 2 вышетыя картины и доставит в трибунал».

Поразительно все-таки сочетались в них качества хладнокровных убийц и банальных воров.

Или в этом и была их суть?

ЛАМЕД. ПЛАЧ ПО ВЕНИАМИНУ

«Выписка

из протокола № 51 заседания Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Крестьянских, Красноармейских и Казачьих депутатов от 3 августа 1922 г.

Слушали:

Дело петроградских церковников.

Постановили: В отношении осужденных Казанского, Новицкого, Шейна и Ковшарова приговор Петроградского Ревтрибунала оставить в силе. В отношении осужденных Плотникова, Огнева, Елачича, Чельцова, Чукова и

Богоявленского заменить высшую меру наказания пятью годами лишения свободы.

8 августа 1922 г.

Енукидзе».

Лидия Александровна Дмитриева передала мне рассказ своей подруги, за точность ее слов, впрочем, не ручаясь. Будто бы в августе двадцать второго объявился в городе некий солдатик, почти безумный... Из смутной его речи можно было понять, что он оказался в расстрельной команде и что именно ему выпало встать напротив Вениамина и в него стрелять. «Но он меня простил!» — так будто бы восклицал несчастный убийца и в доказательство полученного им прощения объявлял, что видит митрополита каждую ночь.

Вскоре он исчез бесследно. Никто не знает, что с ним случилось — как по сей день неведомо никому, где закопаны тела четырех мучеников.

Солдатик этот, по моему разумению, был скорее всего фигурой вымышленной, созданием народного воображения, отчего-то стремящегося непременно разгадать всякую тайну или на свой лад перетолковать события нашей исторической жизни. Старец Кузьмич, явившийся вместо скончавшегося в Таганроге Александра Благословенного, или царевич Алексей, чудом спасшийся и проживший долгую жизнь в советской Сибири, — вот, может быть, самые запоминающиеся попытки переписать русскую летопись, поправив при этом несправедливый замысел судьбы.

Неизвестность тяжелее могильного камня.

Я много думал об этом, стоя перед крестом, поставленным на символической могиле Вениамина на Никольском кладбище, неподалеку от дома, где он жил, и собора, где он служил. (От крыльца архиерейских покоев до паперти собора — сто двенадцать шагов по прямой; я сам считал под настороженным взглядом вышедшей из церкви бледной женщины в черном платке.) Мало-помалу я пришел к мысли, что дорогие останки когда-нибудь будут обреты. Но было бы в некотором роде совершенно против истины, если бы это произошло непосредственно в нынешние дни. Ибо мы не выплакали еще у Бога наших новомучеников. Кто покался в их муках и гибели? Кто завопил, моля Небеса о прощении? Кому невмочь стал белый свет от сознания своего вольного и невольного соучастия — как в распятии невинных, так и в предательстве памяти о них? Власть откупается от своего преступного прошлого благоволением к священноначалию. Церковь, с оглядкой на власть приступая к прославлению новомучеников, хранит гробовое молчание о своем почти семидесятилетнем отречении от них. А толпой поваливший в храмы народ более озабочен внешними признаками собственного православия, чем сокровенной мыслью о тех, кто ценой жизни подтвердил свою верность Христу.

Страшно мне за Россию.

Бедное мое Отечество! Будешь ли ты плакать о Вениамине? Вымолвишь ли ты наконец драгоценное Господу слово покаяния?

О, святитель и мученик Вениамин! Пока я о тебе в одиночестве плачу возле креста, под которым нет твоего гроба. Но бессмертной твоей душе не все ли равно, где уготовил Бог место упокоения твоего тела? Казненный втайне — вернулся явно; погребенный в бесславии — восстал в славе; оклеветанный на земле — оправдан на Небе. Помогите нам заступничеством своим.

ЛЕШЕК А. БАЛЬЦЕРОВИЧ

ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ ОБРАЗЦЫ

Вероятно, не будет преувеличением сказать, что Бальцерович является отцом всех серьезных реформ в странах Восточной Европы, поскольку Польша была в этом деле первопроходцем. На ее успехах и ошибках учились остальные. В том числе и Егор Гайдар, осуществлявший наши экономические преобразования с января 1992 года.

Биография Бальцеровича тоже похожа на биографию Гайдара. Родился он в 1947 году. Окончил факультет внешней торговли Главной школы планирования и статистики в Варшаве, став, таким образом, профессиональным экономистом. Продолжил обучение в Нью-Йорке, где получил степень Master of Business Administration. Впоследствии был научным сотрудником и профессором в вузе, который сам окончил. С 1990 г. — доктор экономических наук. В 1981 году стал консультантом по экономическим вопросам профсоюзного объединения «Солидарность» — главной оппозиционной силы по отношению к коммунистическому правительству (здесь отличие от Гайдара, который не был связан с оппозицией ввиду отсутствия таковой при коммунистическом режиме в СССР).

Когда «Солидарность» по сути дела взяла власть в свои руки, Бальцерович стал вице-премьером и министром финансов в правительстве Тадеуша Мазовецкого (сентябрь 1989 года). Одновременно Бальцерович возглавлял Экономический комитет Совета министров, т.е. руководил всем ходом реформ. Однако по мере того, как сходила на нет эйфория поляков, связанная с падением коммунистов, правительство стали подвергать все более ожесточенной критике. В итоге вынуждены были уйти в отставку и Мазовецкий, и Бальцерович, и все прочие реформаторы. Недавно проиграл президентские выборы и Лех Валенса.

Тем не менее можно сказать, что плоды труда Бальцеровича поляки сегодня уже пожинают. В прошлом году инфляция в Польше составила лишь 23 процента (у нас примерно в восемь раз больше), причем ей сопутствовал шестипроцентный экономический рост (у нас трехпроцентный спад). Трудно оспорить тот факт, что экономическая политика Бальцеровича и его последователей привела к успеху.

В России принято не верить собственным реформаторам («Нет пророка в своем отечестве»). Но не поверить Бальцеровичу можно, только закрыв глаза на факты. Поэтому для всякого читателя, действительно стремящегося понять, как реформировать нашу экономику, главы из книги отца польских реформ, публикуемые «Звездой», могут представить значительный интерес. Каких бы взглядов мы ни придерживались, оценки человека, сделавшего жизнь своего народа лучше и богаче, должны нас заинтересовать.

Бальцерович анализирует несколько известных и интересных моделей экономического развития. Вокруг них «наверчено» множество мифов как в Польше, так и у нас. Часто, ссылаясь на Японию или Латинскую Америку, нам рекомендуют делать именно то, что там было осуществлено неудачно. Нам рекомендуют усилить государственное вмешательство в экономику, протекционизм, финансовую поддержку отраслей, которые почему-то особо симпатичны влиятельным чиновникам. Бальцерович развеивает мифы, доказывая на конкретных примерах преимущества экономического либерализма.

В книге часто можно встретить параллели с развитием польской экономики. Фактически во всех случаях, когда в тексте встречается слово «Польша», мы можем подставить слово «Россия». Все трудности наших западных соседей, все их заблуждения и неудачи

Главы из книги «Свобода и процветание. Экономика свободного рынка».

Текст печатается по изданию: Balcerowicz Leszek. Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku. Kraków, 1995.

© Лешек А. Бальцерович

© Н.А. Папчинская (перевод)

© Дмитрий Травин (вступительная заметка)

характерны и для нас, с той только разницей, что Россия еще дальше стоит от правильного понимания проблем реформирования.

Рекомендуя читателю главы из книги Бальцеровича, я разделяю подавляющее большинство выводов Бальцеровича. Однако один момент вызывает у меня сомнения: автор книги явно не считает факторы культурного развития определяющими и даже достаточно значимыми при изучении экономических реформ. Например, при анализе успехов и проблем, стоящих перед государствами Восточной Азии, Бальцерович не склонен обращать внимание на специфику развития конфуцианства — важнейшей составной части менталитета народов этих стран. С моей точки зрения, он здесь несколько односторонен и потому не вполне убедителен. В науке есть линия, идущая от известного немецкого социолога Макса Вебера, в соответствии с которой культурные особенности народов принято учитывать при выяснении причин экономических успехов. Вебер обратил внимание на роль протестантизма в развитии Европы Нового времени. На мой взгляд, успехи Японии и «тигров» неразрывно связаны с модификацией конфуцианства, что ни в коей мере не принижает значения правильной экономической политики по Бальцеровичу.

Не исключено, что Лешек Бальцерович рано или поздно будет признан одной из крупнейших исторических фигур конца XX столетия. Его труды и практические действия станут изучать. Будем надеяться, что данная публикация положит начало серьезно-му знакомству россиян с польским реформатором и ученым.

Дмитрий Травин

ЯПОНИЯ: БЛЕСК И СУМЕРКИ

Япония восхищает едва ли не весь мир. Источник такого восхищения — ее особая культура. Такие слова, как самурай, камикадзе, харакири, теперь уже общеизвестны. Внимание к Японии приковывал также небывало высокий темп ее экономического роста, начавшегося в конце XIX в., но особенно усилившегося после второй мировой войны. Япония — до сих пор единственная страна не европейской культуры, оказавшаяся в числе наиболее развитых государств мира.

В 1950—1979 гг. Япония обогнала все развитые капиталистические страны по темпу экономического роста. В 1950—59 гг. он составлял 9,5% в год, в 1960—69 гг. — 10,5%, а в тяжелые семидесятые годы — 4,9%¹.

О некоторых поверхностных суждениях

Чрезвычайные успехи вызывают удивление, но и порождают самые разнообразные теории, пытающиеся объяснить эти успехи. Авторами таких теорий являются не только многие журналисты, но часто и люди с учеными званиями. По одной из них причиной экономического успеха Японии является всего лишь то, что там живут... японцы. Японцы, якобы, обладают некими необычайными чертами психики и культуры, которые принципиально отличают их от других обществ (в частности, исключительная работоспособность, частично сохранившиеся феодальная лояльность и патернализм).

Каждое общество, бесспорно, несет в себе своеобразные черты, связанные с его историей, выкованные ею. Естественно, что мы наблюдаем это и у японцев. Однако не трудно доказать, что такие особенности не могли сыграть принципиальной роли в экономическом успехе Японии, впрочем, как и любой иной страны. Японцы жили в Японии и в XIX в., но тогда страна развивалась значительно медленнее, чем Западная Европа.

Столь же ошибочна и попытка объяснить необычайные успехи Южной Кореи особыми чертами корейцев. Известно, что в начале шестидесятых годов страна эта была чудовищно бедна и ее называли «большим человеком Азии». Только экономические реформы, начатые тогда, и прежде всего создание условий, благоприятствующих экспорту, способствовали такому стремительному расцвету экономики, который удивил даже самих корейцев. Далее — корейцы живут ведь и в Северной Корее, стране, которая несколько десятков лет назад имела более развитую промышленность, чем Южная Корея. Ныне же в Северной Корее национальный доход в четыре раза ниже, чем у ее южной соперницы. Вывод достаточно прозрачен:

¹ Подробнее с концепцией, дополняющей Бальцеровича, можно познакомиться в работах: Травин Д. «Пути реформ». СПб., 1995, или Травин Д. «Реформы и реформации». «Звезда», 1993, № 1.

считать единственной или главной причиной необычайных успехов (равно, как и неудач) какого-либо общества некие особые черты психологии его населения — глубоко заблуждение, проявление своего рода интеллектуальной поверхностности. Подлинные принципиальные причины экономических достижений страны следует искать в условиях экономической деятельности ее народа. И только в тех случаях, когда этого недостаточно, чтобы в полной мере понять смысл и источники экономического успеха или неудачи, допустимо привлечь дополнительные факторы, в частности, четко сформулированные психологические особенности данного общества. Следует учесть и уровень образования, опасность возникновения этнических конфликтов, методы воспитания детей, роль семьи.

Всемогущее государство?

Другая популярная теория пытается объяснить огромные экономические успехи Японии неким особым интервенционизмом государства (то есть активным проникновением в экономическую жизнь. — *Per.*). Мозговым центром Японии считается хорошо известное Министерство внешней торговли и промышленности (МВТП), которое разрабатывало стратегию развития экономики, а затем с помощью разнообразных механизмов способствовало ее реализации. Некоторые сторонники централизованного планирования с завистью смотрят на Японию, как на страну, где, по их мнению, осуществлен их идеал. Многие польские сторонники МВТП и т.н. «промышленной политики» полагают, что если и в Польше создать подобное мощное министерство экономики, а еще лучше — министерство экономической стратегии, то страна станет второй Японией.

Мне представляется подобное мнение наивным. Обратимся к фактам и к самим японцам. Общеизвестно, что огромных успехов Япония достигла в производстве и экспорте легковых автомобилей. Но, как свидетельствует известный японский экономист Кэнити Омаэ, автомобильные компании Японии достигли успехов вопреки планам ее правительства. Ибо, как известно, несколько лет назад МВТП пришло к выводу, что девять японских автомобильных монополий не выдержат конкуренции с американской Тройкой из Детройта. Тот же автор подчеркивает, что правительство с его интервенционистской политикой оставляло в стороне такие реально конкурентоспособные отрасли японской промышленности, как электроника, полиграфическое оборудование, оргтехника, производство автомобилей². В то же время, как отмечает американский экономист из Массачусетского технологического института Поль Кругман, сталелитейная промышленность Японии, субсидируемая правительством, не казалась прибыльной. Два американских исследователя, Ричард Бизон и Дэвид Вайнштейн, недавно проанализировали зависимость между объемом помощи государства (льготные кредиты, налоговые льготы, субсидии и защита от импорта) и темпом роста в 13 отраслях японской промышленности в 1955—1990 гг. Оказалось, что зависимость — обратно пропорциональная: чем больше помощь, тем ниже темп роста. Японские чиновники, видимо, по недомыслию, вкладывали народные деньги в отрасли с относительно низким потенциалом развития. Зато отрасли, которые развивались особенно динамично, не получали такой поддержки, а вырвались вперед вопреки ожиданиям чиновников из МВТП (например, автомобилестроение и электроника). Тщательные исследования японской экономической политики, проведенные за последние десятилетия, приводят многих исследователей к выводу, что достижения японской промышленности стали возможны не благодаря особому руководству, а как раз вопреки ему³. Мне довелось в 1993 г. беседовать с сотрудниками всех ведущих правительственных экономических учреждений Японии. Похоже, что и там достаточно сторонников подобного мнения. Чиновники МВТП даже подчеркивали, что времена, когда правительство пыталось оказывать влияние на экономическую структуру Японии, давно прошли, и роль своего министерства они видели в создании благоприятной атмосферы для дискуссий между представителями бизнеса и правительства о путях развития страны. В деловых кругах МВТП уже не пользуется высоким авторитетом. Опрос, проведенный среди ведущих *civil servants* (гос. служащих. — *Перев.*) в 1993 г., показал, что МВТП заняло третье место в списке мало влиятельных министерств и правительственных учреждений⁴.

С чем же связано столь широко распространенное мнение, что в основе успехов экономики Японии лежит некий особый интервенционизм, а именно деятельность одного могущественного государственного учреждения? Полагаю, что здесь проявилась обычная тенденция видеть причины необычайных коллективных успехов в каком-то одном эффектном явлении, лежащем на поверхности, а не в сочетании нескольких трудно уловимых механизмов. Более того, сторонники такого подхода порой считают причиной реальных или мнимых неудач и трудностей —

заговор определенных сил: международной финансовой верхушки, Международного валютного фонда, зарубежных советников и пр.

Подлинные слагаемые успеха

Как же объяснить исключительные успехи экономики Японии, которые мы наблюдали до недавнего времени? Думаю, что в их основе лежит не какой-то один значительный фактор, а целый узел элементов. Япония, за исключением периода конца сороковых годов, благодаря низкой инфляции, имела надежную, стабильную валюту. Это еще один аргумент, опровергающий мнение, что стимулирование экономики, то есть вливание в нее «пустых» денег якобы способствует быстрому ее развитию. Налогообложение и бюджетные затраты японской экономики были значительно ниже, чем в высоко развитых странах (не говоря уж о Польше).

В экономике Японии преобладал и по-прежнему преобладает частный сектор. Государственные фирмы занимают там еще меньшее место, чем в странах развитого капитализма. В Японии приватизированы даже железные дороги. Первая приватизация была там проведена в конце XIX в., после того, как в эпоху Мэйдзи государство взяло на себя роль инвестора в экономике. Правда, оно довольно скоро от этого и устранилось. Следующая, весьма важная составляющая японских успехов в экономике — ориентация на экспорт при острой внутренней конкуренции между отечественными производителями, особенно в промышленности. Далее, после периода весьма жестких отношений между работниками и работодателями в первой половине 50-х годов, в Японии сформировалась система трудовых отношений, которая способствовала развитию предпринимательства, следовательно, инвестициям и созданию рабочих мест, а не близорукому проеданию прибыли. Японские профсоюзы, как правило, понимают, что источником роста реальной заработной платы и, возможно, более полной занятости является постоянное повышение производительности труда. Такая модель отношений в промышленности частично связана с еще одним звеном «японского узла»: высокой экономичностью и активными инвестициями. Наконец, следует упомянуть и о высоком уровне образования японцев, о многолетней политической стабильности, которая и в экономике позволила рассчитывать на устойчивый рост.

Перечисленные выше факторы, способствующие реформам, существуют по отдельности и вне Японии. Однако необычайно трудно организовать дело так, чтобы все они заработали одновременно. Японии это удалось. В этом, мне представляется, и заключена главная причина японского экономического чуда. Впрочем, то же можно сказать и о чрезвычайных достижениях других «азиатских тигров». Любая страна, в которой удастся осуществить этот «японский узел», получит шанс для исключительных экономических свершений.

Японские институциональные особенности

Японская экономическая система обладала и в значительной степени продолжает обладать определенными особенностями. Одна из них — согласование решений между различными уровнями на больших предприятиях: согласование занимает, правда, много времени, но зато гарантирует четкость реализации принятых решений. Вторая характерная черта — так называемая пожизненная занятость работников на одном предприятии. Следует, однако, помнить, что она охватывала всего лишь 25% от общего числа работающих в корпорациях⁵. А тем, кто на это идет, приходится иногда соглашаться на рискованные перемены места работы в пределах данного предприятия. В остальных случаях действует эластичный конкурентный рынок труда. Третья особенность японской экономики — наличие больших групп предприятий — кэйрэтсё, члены которых совместно владеют акциями. С этой особенностью связана четвертая — многолетние, взаимовыгодные, надежные отношения крупных промышленных предприятий с соответствующими банками, часто входящими в тот же кэйрэтсё.

Такие же длительные отношения, в свою очередь, объединяли производителей конечного продукта с их субпоставщиками. Все перечисленные черты создавали особую систему прочного коллективизма внутри самих структур, коллективизма, который сочетался с жесткой конкуренцией между ними.

Эти и другие особенности до недавнего времени рассматривались рядом наблюдателей как наиболее важные факторы экономического успеха Японии; их считали своего рода козырями по отношению к «либеральным» моделям англосаксонской экономики. Но такой взгляд представляется мало убедительным⁶. В отличие от описанных выше основополагающих черт японской экономики, довольно трудно представить себе механизмы, которые способствовали реализации этих

особенностей и привели в конечном счете к необычайно высокому темпу развития экономики. Однако перечисления специфических черт недостаточно. И вовсе не все, что лежит на поверхности, является в действительности причиной экономического расцвета страны.

В подтверждение этой мысли следует обратиться к фактам: что происходило с «японской» моделью, начиная с конца семидесятых годов? Уже в 1973 г. темп роста в Японии резко упал — до уровня 3—4% в год. В значительной степени это была цена успеха. Япония практически догнала, особенно в промышленности, наиболее развитые страны мира и в связи с этим потеряла своего рода «выгоду от опоздания», то есть возможность копировать западные образцы, что так успешно осуществляла до сих пор. Кроме того, нарастал (и продолжает нарастать) процесс старения общества, а это, в свою очередь, приводит к сокращению объема сбережений и инвестиций: пожилые люди экономят меньше, чем молодые — они тратят то, что накопили. Таким образом, существует весьма серьезная зависимость между демографической структурой общества, сбережениями и инвестициями, с одной стороны, и экономическим ростом, с другой.

С конца семидесятых годов на описанную ситуацию наложились дополнительные сложности — кризис на рынке недвижимости и в банковской системе, а также рост курса йены по отношению к доллару на 24% в течение нескольких лет. Это, в свою очередь, снизило ценовую конкурентоспособность японских товаров. Япония вступила в период длительного спада. В этой новой ситуации те особенности, которые до недавнего времени считались факторами экономического успеха, начали казаться причинами слабости и даже стали подвергаться ревизии. В частности, было замечено, что прочные взаимоотношения крупных предприятий с банками могут стать источником необузданной экспансии, грозящей стране грандиозным крахом. Принятие решений путем консенсуса грозит ослаблением индивидуальной ответственности и чрезмерным замедлением принятия решений. В связи с этим на некоторых крупных японских предприятиях (например, Хонда и Саёно) меняется структура управления и система принятия решений. Пересматривается также и система пожизненного найма в крупных корпорациях. По всей вероятности, она сохранится лишь в отношении тех, кто уже трудится; новые же работники, видимо, будут наниматься по тем правилам, которые существуют ныне в других капиталистических странах. Ослабевают и связи в рамках некоторых кэйрэтсё⁷.

Деформация, кризис, реформы

Еще более радикальному пересмотру подвергается оценка тех черт японской экономики, которые уже давно считались причинами деформации, снижающей средний показатель качества жизни в Японии. Одна из таких черт — неимовверный протекционизм в сельском хозяйстве. Он привел к тому, что японские потребители платили за продукты в два раза больше, чем потребители в Соединенных Штатах, а за мясо — в четыре раза больше. Это вызвало огромное перепроизводство риса, за что, естественно, платит налогоплательщик⁸.

Антирыночный интервенционизм в сельском хозяйстве — это часть более широкого явления: наличия высоких официальных и неофициальных барьеров для импорта в некоторых отраслях. Три известных японских экономиста недавно подсчитали, что японский потребитель теряет из-за этого по крайней мере 75—110 миллиардов долларов, что составляет 2,6—3,8% национального дохода. В привилегированных отраслях производства сохраняется при этом не более 180 тыс. рабочих мест; причем достигается это огромной ценой — годовая затрата на сохранение одного рабочего места доходит до 600 тыс. долларов. С другой стороны, тормозится создание значительного количества рабочих мест в развивающихся отраслях⁹.

Бюджет японского потребителя пострадал также из-за низкого качества работы сферы услуг; а снижение это произошло потому, что государство ввело внутренние барьеры для конкуренции. Подсчитано, что средняя производительность в сфере услуг, особенно в торговле, банковском деле и телекоммуникации, на 40—50% ниже, чем в США¹⁰. Это означает, что в данном секторе велика скрытая безработица.

Таким образом, в Японии существует как бы двойная система экономики: с одной стороны, четко работающая, благодаря конкуренции, промышленность, а с другой — малоэффективная сфера услуг и те отрасли, где конкуренция значительно слабее. Однако, по мере роста дохода на душу населения, роль промышленности в экономике снижается, а роль услуг — возрастает. Значит, без либеральных реформ в сфере услуг Японии грозит дальнейшее снижение темпа роста экономики.

Самый большой разрыв между высоким денежным доходом *per capita* (на душу населения. — *Перев.*) и качеством жизни проявляется в области жилищных условий. И это не только следствие высокой плотности населения — плотность значительно высока и в Голландии, а условия жизни там неизмеримо выше, — но и результат гипертрофированного интервенционизма государства в сельское хозяйство и в сферу недвижимости. Искусственное повышение цен на с/х продукты косвенно повышает цену на землю и таким образом ограничивает возможность ее использования под жилье. Положение усугубляется жесткими инструкциями, которые исключают возможность передачи на эти цели даже участков низкого качества. В результате в Токио пустует 160 тыс. акров непродуктивной земли, то есть в два раза больше, чем территория, занятая частными домами¹¹.

Для того чтобы выявить глубинные причины теперешнего положения дел в Японии, следует коснуться и политической системы страны. С 1956 до 1993 года в Японии правила одна партия, Либерально-демократическая (ЛДП). С одной стороны, это способствовало на протяжении многих лет проведению такой экономической политики, которая обеспечивала быстрый темп развития; но, с другой стороны, это привело к возникновению той деформации, которая, в конечном счете, понизила уровень жизни в Японии. ЛДП, впрочем, находилась в сильной зависимости (в том числе и финансовой) от деловых кругов, которым она гарантировала привилегии — другая сторона упомянутой деформации. Специфическое деление страны на избирательные округа приводило к непропорционально сильному влиянию сельского населения, с которым ЛДП была особенно тесно связана. Положение о выборах, действующее с 1899 года, благоприятствовало возникновению в партиях фракций и политической коррупции (впрочем, и личной также)¹².

Экономический кризис и серия политических скандалов в конце 80-х годов лишили ЛДП безраздельной власти. Япония вступила в период политического хаоса и — перемен. С августа 1993 года до конца 1994 в Японии сменились три премьера. Но одновременно было введено новое положение о выборах, которое должно было противодействовать вышеперечисленным нарушениям. Продолжается интенсивная реструктуризация партийной системы.

Перелом в политической системе открыл путь для либерализации и благодаря этому создал возможность постепенно ликвидировать деформации в экономике¹³. У японцев есть все шансы для того, чтобы больше доходов получали широкие круги общества, а меньше — группировки бизнеса. Выиграет от этого качество жизни в стране.

ТИГРИНЫЙ УЗЕЛ

Презентация тигров

Самым старшим среди «азиатских тигров» является Япония, которая начала соревноваться с Западом уже в конце XIX века, но особенно большую скорость набрала в начале нынешнего столетия. В последние годы, однако, в экономике Японии наблюдается глубокий спад, а некоторые элементы ее экономической модели, в частности, пожизненная занятость работников в крупных корпорациях, которая считалась до последнего времени важнейшим рычагом ее успеха, теперь начинают рассматриваться как источник слабости. В начале 60-х годов в гонки включились еще четыре страны: Тайвань, Южная Корея, Гонконг и Сингапур. Наконец, в 70-х годах на путь быстрого развития встали такие государства, как Таиланд, Малайзия и Индонезия. Самый младший «тигр» сегодня — Китай, который за 1977—1987 гг. удвоил свой национальный доход. Похоже, что по этому пути пойдет и Вьетнам. Однако две последние страны заслуживают особого рассмотрения как примеры посткоммунистической трансформации в азиатском издании. Добавлю, что источник быстрого роста посткоммунистических «азиатских тигров» следует искать в их особой экономической структуре на старте: относительно простой приватизации в сельском хозяйстве и небольшом количестве промышленных отраслей, деформированных социализмом.

Согласно опубликованному в 1993 г. отчету Мирового банка¹⁴, экономический рост в группе «азиатских тигров» с 1960 г. был в три раза выше, чем в странах Латинской Америки и Южной Азии, и в пять раз выше, чем в странах Южной Африки; мало того — он протекал значительно быстрее, чем в развитых капиталистических и «нефтяных» странах. И при таком исключительно динамичном развитии расслоение населения по уровню доходов было значительно меньшим, чем в большинстве стран Латинской Америки или в странах Азии, где экономика разви-

вадась медленно, например, на Филиппинах. Определенные факторы динамичного развития «азиатских тигров» способствовали повышению материального уровня бедных слоев, а следовательно, тормозили процесс экономической дифференциации. Быстрый экономический рост при относительно небольшом материальном неравенстве привел в этих странах к радикальному улучшению основных социальных показателей. Средняя продолжительность жизни выросла с 56 лет в 1960 г. до 71 года в 1990. Процент населения, живущего в абсолютной нищете (т.е. лишнего необходимого прожиточного минимума и крыши над головой), упал в Индонезии с 58% в 1960 г. до 17% в 1990 г. За этот же период в Индии этот показатель составил соответственно 54 и 43%.

Спорные теории

Восточноазиатское чудо вызвало, разумеется, огромный интерес и породило немало теорий, пытающихся объяснить этот феномен. Некоторые теории фиксируют внимание на факторах, наиболее заметных и эффективных. Одна из таких теорий объясняет экономические достижения «азиатских тигров» их «азиатскостью», то есть тем, что эти страны расположены в Азии (Восточной). Такое объяснение, однако, нельзя считать серьезным, поскольку быстро развивались и некоторые страны, расположенные за пределами Азии. Например, Западная Германия в 1950—1960 гг. увеличивала свой национальный доход в среднем на 8% в год. Весьма динамично развивалась экономика Италии. Вместе с тем, и в Азии есть страны, где экономика развивалась крайне медленно: это и Филиппины на востоке континента, и Индия в южной его части. Только в последние годы эти страны приобрели некоторые черты динамизма «тигров», да и то только после частичного отказа от тотальной интервенции государства, парализующей экономику.

Следует помнить, что до появления восточноазиатского чуда его, в сущности, никто не ожидал. В 1947 году правительственный отчет одной страны представил весьма пессимистическую картину: тяжелый физический труд крайне непопулярен; производительность труда падает, а заработная плата завышена; предприятия неэффективны и зависят от субсидий; страна неконкурентоспособна и угрожает стать тяжелым грузом для остального мира. Этот правительственный отчет был составлен в... Японии. Точно так же Южная Корея еще в начале 50-х гг. считалась «большим человеком Азии», жизнь которого держалась на американских субсидиях. Однако угроза сокращения этих субсидий вынудила, наконец, Южную Корею изменить курс экономической политики и это привело ее к неожиданно прекрасным результатам.

Не выдерживают критики и те объяснения, которые считают главным фактором успеха некую общую культурную основу «азиатских тигров». Особенно широко распространено мнение, что главной движущей силой быстрого развития этих стран является конфуцианство. Но ведь «азиатские тигры» в культурном отношении очень разнородны! Влияние конфуцианства, пришедшего, как известно, из Китая, заметно на Тайване, в Гонконге, Сингапуре, но никак не в Таиланде или Индонезии. Кроме того, конфуцианство было опорой бюрократии, которая в Китае, с недоверием относится к торговле и частному капиталу, часто тормозила экономическое развитие. У китайских городов не было той автономии, какой пользовались города Запада. А императорские указы в Китае запрещали серьезные научные исследования.

В 1405—1433 гг. китайский флот состоял из сотен судов, которые заходили в порты от полуострова Малакки до Занзибара. Самые большие из них имели водоизмещение до 1500 тонн. Но в 1436 г. императорским указом было запрещено строить океанские и многомачтовые суда. Китай отвернулся от мира, а его морские границы открылись для завоевателей.

Если «азиатскость» как-то и сказалась на том, что в Восточной Азии возникла группа быстро развивающихся стран, то только благодаря известному в антропологии механизму культурной диффузии, то есть заимствованию другими странами данного региона некой модели развития, прошедшей проверку лидерами. Какова эта модель? Какие ее компоненты обеспечивают мощный экономический динамизм?

Основные объяснения

На последний вопрос можно ответить без труда, если обратиться к факторам, лежащим на поверхности. Здесь практически нет споров относительно источников восточноазиатского экономического чуда. Факторы первого ряда, влияющие на экономический рост, — это скорость, с которой увеличиваются производственные

фонды страны, а также темп роста отдачи этих фондов, — как накопленных, так и введенных в действие в данный период. Производственные фонды можно трактовать в узком и широком значении этого понятия. В широком смысле этот термин включает в себя не только строения, дороги и машины, но также знания и квалификацию людей, то есть человеческий капитал. Расширение производственных фондов называется капиталовложениями (инвестициями). Капиталовложения должны быть обеспечены, то есть финансированы за счет той части национального дохода, которая не предназначена на потребление. (Инвестиции могут идти и из-за границы.) Наконец, рост отдачи производственных фондов проявляется в том, что поток реальных (очищенных от инфляции) доходов, образованных при его (росте отдачи) помощи, растет быстрее, чем сами фонды.

Следовательно, исключительный динамизм «азиатских тигров» объясняется тем, что эти страны очень быстро увеличивали свои производственные фонды, экономия и инвестируя большую часть текущих доходов, и одновременно добивались высокого, в среднем, темпа роста отдачи. В 1965 г. сэкономленная часть доходов (т.е. уровень сбережений) была у «азиатских тигров» ниже, чем в Латинской Америке. В 1990 г. она уже превышала латиноамериканский уровень на 20 процентных пунктов. В 1965 г. уровень инфляции в обеих группах стран был одинаков, а в 1990 г. «азиатские тигры» инвестировали в два раза больший процент своих доходов, чем страны Латинской Америки. «Азиатские тигры» в среднем быстрее увеличивали отдачу своих стремительно растущих производственных фондов, чем другие страны третьего мира.

В бывших социалистических странах был также высокий уровень сбережений и капиталовложений. Однако этот уровень был в определенной степени навязан обществу недемократической и антирыночной системой, где государство-партия контролировало распределение валового дохода для потребляемой и инвестируемой частей (а также избирало направления и цели капиталовложений). При этом большие капиталовложения при социализме сопровождались сравнительно низкой и постоянно уменьшающейся отдачей производственных фондов. В итоге произошел спад темпа экономического развития, поначалу относительно высокого, а затем наступил огромный разрыв в уровне развития социалистических и капиталистических стран. Достаточно сравнить национальный доход на душу населения в некоторых странах, там, где еще несколько десятилетий тому назад этот уровень был сопоставимым: Восточная — Западная Германия, Чехословакия — Австрия, Польша — Испания, Северная — Южная Корея.

Главная особенность «азиатских тигров» состоит, таким образом, в том, что там удалось сочетать исключительно большие сбережения и капиталовложения с быстрым и устойчивым темпом наращивания отдачи производственных фондов. Что же скрывается за «тигриным узлом»? Для ответа на этот вопрос следует обратиться к глубинным факторам, идентификация которых вызывает значительно больше споров. Но об этом ниже.

РЫЧАГИ ТИГРИНОГО ПРЫЖКА

Итак, восемь восточноазиатских «тигров» — Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, Малайзия, Таиланд и Индонезия в течение последних тридцати лет развивались значительно быстрее, нежели остальные страны мира. Феномен этот можно объяснить, обратившись к непосредственным причинам: все эти страны хозяйствовали исключительно бережливо и много инвестировали, и в то же время в этих странах, в отличие от бывших социалистических государств, быстро росла отдача производственных фондов.

Три объяснения восточноазиатского чуда

Что же скрывается за этим тигриным сплетением больших капиталовложений и быстро растущей отдачей производственных фондов? Вот здесь и начинаются споры как среди экономистов, так и в кругах широкой общественности. Думаю, что споры эти можно решить, подвергая известные факты простому логическому анализу. Для этого следует ввести понятие фундаментальных факторов (кратко — фундаменталов) развития, таких, как право и структура собственности, финансовая стабильность, отношения с внешним миром, налогообложение, бюджетные затраты и пр. Роль государства в развитии экономики заключается в том, чтобы создавать и укреплять эти факторы, а в случае необходимости — активно действовать

для поддержки определенных отраслей промышленности, для сохранения заниженной процентной ставки, создания специальных инвестиционных банков и предоставления льготных кредитов. Те, кто требуют «интервенционизма государства», настаивают именно на таких формах его (государства) активности, словно само по себе создание и укрепление фундаментальных факторов не явилось основой для развития экономики и не свидетельствует о значительной активности именно государства.

Все сказанное выше позволяет нам сформулировать три конкурирующие между собой точки зрения относительно рычагов тигриного скачка:

1. Главный двигатель развития экономики — интервенционизм государства; фундаментальные факторы не играют принципиальной роли.

2. Фундаментальные факторы и решительное вмешательство государства одинаково существенны.

3. Главный рычаг — чрезвычайно широкий диапазон действия фундаментальных факторов; вторжение государства мало существенно, а порой и вредно.

А нужно ли вмешиваться?

Прежде всего следует удержаться от соблазна принять гипотезу 2 только потому, что она находится посередине. Механическое следование «золотой середине» ведет порой к бездорожью. Истина отнюдь не всегда лежит посередине. Для оценки хорошо проверенных фактов лучше прибегнуть к логике. В нашем случае речь идет об утверждении, что исключительно быстрое развитие экономики в указанных странах — общее для них явление — следует объяснять факторами, общими для всех этих стран. Но как раз вторжение государства не соответствует этому критерию. Оно наблюдалось только в некоторых странах «азиатского узла»: в Японии, Южной Корее и Сингапуре. В других же, особенно в Таиланде и Гонконге, такого вмешательства практически не было. Тем не менее, вся восьмерка стран Восточной Азии достигла очень высокого темпа экономического роста.

Итак, первую гипотезу, которая движущей силой быстрого роста считает особое вмешательство государства и не придает значения фундаментальным факторам, можно решительно отбросить. Если бы эта точка зрения была верна, то наиболее быстрое развитие экономики имело бы место в социалистических странах. Интервенционизм государства был наиболее характерным именно для данной системы, системы, которая в значительной степени исключала «работу» фундаментальных факторов развития.

Не выдерживает логического анализа и вторая точка зрения. Она, правда, признает роль фундаментальных факторов, но большое значение придает решительной интервенции государства. Такая спорная точка зрения представлена в недавнем отчете Мирового банка под названием «Восточноазиатское чудо». Впрочем, многие факты, приведенные в этом отчете, заставляют усомниться в правоте авторов отчета. Дело не только в том, что, как уже отмечалось, энергичная интервенция государства имела место лишь в отдельных странах Восточной Азии, а быстрое развитие — во всех. Следует учесть еще ряд обстоятельств. Во-первых, точный анализ интервенции там, где к ней прибегали, показывает, что она (интервенция) была или могла бы стать вредной для экономики данной страны. Вредной была, например, для Южной Кореи в 70-е гг. инвестиционная экспансия в тяжелой промышленности, управляемой государством. Экспансия эта привела к росту иностранного долга и лишила средств отрасли экономики, ориентированные на экспорт. В результате правительство Южной Кореи вынуждено было скорректировать экономическую политику, а затем и начать либерализацию экономики.

Во-вторых, даже в тех странах из группы «азиатских тигров», где интервенционизм имел место, он все же был менее ощутим, чем в большинстве стран третьего мира, не говоря уж о бывших социалистических странах. Так, например, степень таможенной защиты внутреннего рынка в 1987 г. в среднем составляла в странах Восточной Азии 21%, в Южной Азии — 77%, в Латинской Америке — 33% (в последнее время все эти страны значительно снизили уровень протекционизма).

В-третьих, результаты особого вмешательства государства, хотя и не обязательно положительные, оказались в странах Восточной Азии более значительными, чем в других странах; это произошло потому, что там были сильные фундаментальные факторы, которые практически отсутствовали в других государствах. Особенно большое значение имела ориентация экономики на экспорт. Такая ориентация позволяла корректировать ошибки в экономической политике гораздо быстрее, чем в странах, изолированных от внешнего мира. Успехи работы на внешнем рын-

ке в странах с экспортной ориентацией являются важным источником информации о правильности или ошибочности такого вмешательства государства.

В-четвертых, в тех странах «азиатского узла», где проводилась энергичная интервенция государства, было компетентное руководство, какого не имело большинство стран с похожим или с более низким уровнем развития. Попытки подражать особому «восточноазиатскому» вмешательству при худшем административном управлении неизбежно приведут к худшим результатам. Даже если и допустить (что представляется сомнительным), что в некоторых странах Восточной Азии именно интервенционизм был главным фактором экономического развития, это не гарантирует положительные результаты такого вмешательства в других странах.

И, наконец, в-пятых, меняются внешние условия, которые прежде позволяли некоторым «азиатским тиграм» осуществлять вмешательство государства. Например, соглашения в рамках ГАТТ (Генеральное Соглашение по тарифам и торговле. — *Reg.*) исключают особо энергичные формы покровительства экспорта, а возросшая подвижность капитала приводит к тому, что страна, занижающая процентные ставки, может потерять капиталы из-за их утечки за границу.

Главное — фундаментальные факторы

Отбросив гипотезы 1 и 2, остановимся на гипотезе 3: главной движущей силой быстрого развития «азиатских тигров» была широчайшая сфера действия фундаментальных факторов развития. И в самом деле, в каждой из этих стран можно отметить определенные общие элементы, которые легко связать с быстрым экономическим развитием. Одним из таких факторов успеха была более высокая, чем в остальных странах третьего мира, финансовая стабильность. А она, в свою очередь, была результатом твердой денежной и бюджетной политики. Это способствовало сбережениям и инвестированию. Второй элемент — преобладание частной собственности по сравнению с государственной. Третий компонент — ориентация на экспорт. Условия для производства товаров на внутренний рынок были не лучше, чем для экспорта; благодаря этому местные производители должны были постоянно противостоять внешней конкуренции, а заодно могли и вынуждены были использовать западные образцы.

Четвертым фактором успеха было низкое налогообложение экономики и невысокие бюджетные расходы. Однако при всей бюджетной экономии на базовое образование и инвестиции выделялись большие суммы, чем на классические социальные цели. Пятым фактором был эластичный рынок труда¹ и ориентированность трудовых отношений на воспроизводство: прибыль предприятий была защищена от чрезмерных претензий на повышение заработной платы. Прибыль использовалась для инвестиций, а те, в свою очередь, шли на создание новых рабочих мест и повышали производительность труда. В результате росла реальная заработная плата. Этот фактор был тесно связан с тем, что большинство предприятий были частными и в них отсутствовали воинственные профессиональные союзы. Шестой фактор — преобладание свободных цен; процент контролируемых и искаженных цен был значительно ниже, чем в других странах третьего мира. И, наконец, седьмой фактор — многолетняя политическая стабильность в странах «азиатского узла». Стабильность была той базой, на которой постоянно строился фундамент быстрого развития экономики. Политическая стабильность в сочетании с добротной экономической политикой дает в итоге Южную Корею, а та же стабильность в сочетании со скверной экономической политикой — Корею Северную.

Сравнивая «азиатских тигров» с другими странами, где когда-то был столь же низкий уровень дохода на душу населения, стоит отметить, что ни в одной из последних не наблюдалось стольких фундаментальных факторов развития. Исключительно широкий диапазон действия этих факторов и дает убедительное объяснение причин «тигриного» успеха. Отдельные факторы можно связать с непосредственными причинами быстрого экономического роста: высоким уровнем сбережений и инвестиций, а также быстрым ростом отдачи фондов. Первая причина главным образом связана со стабильностью денег, привлекательностью процентов по сберегательным вкладам, правовой стабильностью частной собственности и ориентацией на воспроизводство, препятствующей «проеданию» прибыли. Вторая причина связана с частной собственностью как таковой, ориентацией на

¹ Рынок труда считается эластичным, когда повышение заработной платы вызывает адекватный рост предложения труда и наоборот. — *Примеч. рег.*

экспорт, рынок и конкуренцию. В сумме эти факторы создавали мощные стимулы для принятия и реализации наиболее прогрессивных решений.

Следует также отметить, что некоторые факторы быстрого развития способствовали в то же время и ликвидации нищеты, а следовательно, противодействовали резкой дифференциации доходов. В частности, ориентация на экспорт давала возможность бедным странам Азии использовать их главный козырь — дешевый труд. Развивались главным образом трудоемкие отрасли, где создавались новые рабочие места. Этому же способствовали и трудовые отношения, ориентированные на воспроизводство, а не на проедание доходов предприятия.

Итак, рецепт быстрого роста экономики, приносящего все новые плоды, чрезвычайно прост: как можно больше опираться на фундаментальные факторы развития. Таковы были основные принципы стратегии и для Польши сразу после переломного 1989 г. Вот только останутся ли они в силе и сейчас?

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ МОДЕЛЬ

Двойное недоразумение

Критики стабилизации и трансформации польской экономики ссылались и ссылаются на то, что, мол, в Польше вводится «латиноамериканский» капитализм. Такая точка зрения свидетельствует о явном невежестве, поскольку в 80-е гг. в Латинской Америке окончательно обанкротилась экономическая модель, которая имела много общего с социализмом. Реализация предложений критиков польских перемен привела бы к тому, что в Польше утвердилась бы именно такая модель, что означало возвращение основных черт социализма. Стремясь преодолеть глубокий экономический кризис, большинство стран Латинской Америки в последние годы успешно проводит реформы. Эти реформы в значительной мере напоминают польские перемены в экономике, то есть те изменения, которые осуждаются критиками «латиноамериканского капитализма». Таким образом, налицо двойное недоразумение: то, что наши (польские. — *Перев.*) критики хотели бы провести в Польше, обанкротилось в Латинской Америке, а перемены, которые, по мнению этих критиков, следует остановить, выводят Латинскую Америку и Польшу на путь экономического развития.

Так называемую латиноамериканскую модель можно определить как нестабильный и деформированный государством капитализм. Основная особенность этой модели, роднящая ее с восточноевропейским социализмом, — э т а т и з м, то есть чрезмерная и искаженная роль государства в экономике. Различие же этих систем состояло в том, что при социализме государство исключало рынок и частную собственность в принципе, в то время, как в Латинской Америке и рынок, и частная собственность существовали, но были государством скованы, а их жизнедеятельность глубоко искажена.

Огромный государственный сектор

Одна из основных черт латиноамериканской модели — это наличие в экономике стран Латинской Америки гораздо большей доли государственных предприятий, нежели в странах Восточной Азии и высоко развитых капиталистических странах. Эти государственные предприятия обеспечили большую часть инвестиций в проекты, малоэффективные и пагубные для окружающей среды. Государственные инвесторы проявляли в этих странах пристрастие к гигантским проектам, напоминавшим «флагманы строительства социализма» — в частности, Хуту в Катовицах (крупнейший комбинат по добыче угля, черной и цветной металлургии. — *Перев.*). Эти инвестиции, так же как и в случае с Хутой, осуществлялись за счет растущего внешнего долга. Общественный сектор был неэффективен, нес огромные финансовые потери, которые покрывались кредитами, а точнее, «пустыми» деньгами из центрального банка. В итоге — высокая инфляция, столь характерная до недавнего времени для латиноамериканской экономики. Таков один из латиноамериканских уроков, о котором, как кажется, не знают в Польше и противники быстрой приватизации, и сторонники смягчения требований по отношению к государственно-му сектору. Многочисленные обещания и требования безусловного погашения задолженности государственных предприятий в сущности — приглашение отбирать у людей их деньги. Поскольку кто-то же должен за это платить.

Протекционизм и антиэкспортный уклон

Второй характерной чертой латиноамериканской модели были мощные барьеры импорту, то есть протекционизм. Ставки таможенных пошлин были чрезвычайно высоки и вместе с тем невероятно дифференцированы — в зависимости от нажима разнообразных лобби производителей. Необходимость получения лицензии на импорт вынуждала предприятия сосредоточивать всю свою энергию на противоборстве в бюрократической сфере: тот, кому удавалось добыть соответствующую лицензию, получал шанс немало заработать. Раздача привилегий политиками и чиновниками порождала коррупцию. Помимо этого жесткий протекционизм приводил к созданию антиэкспортной структуры экономики. Правда, из-за барьеров на пути импорта продукция, предназначенная для внутреннего рынка и замещающая импорт, окупалась лучше и быстрее. Но в экономике все взаимосвязано: если государство гарантирует большие прибыли в одних отраслях, то одновременно тормозит развитие других. Следовательно, повышение пошлин — это антиэкспортный шаг.

Крайний протекционизм и вытекающая из него антиэкспортная ориентация характерны были не только для стран Латинской Америки, но и для бывших социалистических стран, что и отличало эти последние от «азиатских тигров», где «работали» сильные стимулы для развития экспорта.

Высокая инфляция

Наиболее характерной особенностью латиноамериканской модели была хроническая высокая инфляция, порой перераставшая, вследствие широкого популизма, в гиперинфляцию. В частности, цены в Аргентине в 1989 г. выросли почти на 5000%, в Бразилии почти на 2000%, в Никарагуа — на 1700%, в Перу — 2800%, а во всей Латинской Америке в среднем на 1200%. Латиноамериканская болезнь — монетарная дестабилизация — охватила и Польшу в 1989 г., затем разорвала Украину, где цены в 1993 г. росли со скоростью 100% в месяц. Во всех случаях источником гиперинфляции был дефицит бюджета в сочетании с печатанием «пустых» денег центральным банком. Суть латиноамериканского порочного круга заключалась в том, что чем больше печаталось денег, тем быстрее люди от них избавлялись, и тем больше приходилось их печатать снова. Вот об этом латиноамериканском уроке, который и мы сами недавно проходили, забывают многочисленные сторонники «подпитки» польской экономики при помощи пустых денег и «дешевого» кредита. Я не побоюсь утверждать, что именно отношение к дефициту бюджета и является в настоящее время лакмусовой бумажкой для определения степени ответственности в спорах о будущем Польши.

Деформированный финансовый сектор

Четвертая особенность латиноамериканской модели — подавленный государством и деформированный финансовый сектор. Государство удерживало процентные ставки ниже уровня инфляции — для того, чтобы кредиты были «дешевы». Главным результатом стала массовая утечка капитала за границу, где его можно было более выгодно поместить. Утечке капитала способствовала и общая дестабилизация экономики, и связанная с нею тревога, что отечественная валюта будет вновь и вновь девальвирована. В 1979—83 гг. из Аргентины был вывезен капитал в размере 19,1 млрд долларов, из Мексики — 26,7 млрд. Другим последствием удерживания процентной ставки значительно ниже уровня инфляции стало то, что люди перестали хранить свои сбережения в отечественной валюте. В итоге отношение денежной массы к национальному доходу в 1980—86 гг. в Аргентине упало с 22,6 до 16,3%, а в Бразилии с 15,5 до 5,3%. Под влиянием высокой инфляции наступила демонетизация экономики.

Значительная часть общей массы кредита попадала — и на льготных условиях — к «избранным» секторам. Такой кредит «для избранных» в 80-х гг. в Мексике составлял 25% от общего объема, в Колумбии — 30%, в Аргентине — более 40%, в Бразилии — 80%. Предоставление кредитов по критериям, негласно установленным политической властью, было характерно и для восточноевропейского социализма. В странах Латинской Америки этот кредит теоретически должен был служить финансированию различных широко разрекламированных задач. А на

Для сравнения: в России инфляция составила в 1992 г. — 2318%, в 1993 — 841%, в 1994 — 203%, в 1995 — 145%. — *Примеч. рег.*

практике — деньги оказывались в руках тех, у кого были «свои каналы». Доминирование государства в финансовой сфере тормозило развитие рынка капитала, то есть биржи, инвестиционных фондов и т.п., и, следовательно, мешало созданию независимого от политической конъюнктуры механизма распределения средств для развития экономики. В 50-е гг. в Колумбии на фондовой бирже котировались акции 400 компаний, а к концу 80-х гг. их осталось менее 100. Политизированное распределение финансов в соединении с мощным протекционизмом приводило к тому, что прежде всего инвестировались никуда не годные программы (то же имело место и в социалистической экономике). В конечном итоге инвестиционная масса только ослабляла развитие экономики и меньше способствовала созданию рабочих мест, чем у динамичных «азиатских тигров».

Барьеры иностранному капиталу

Пятой особенностью традиционной латиноамериканской модели следует назвать сильные ограничения иностранным инвестициям. Многие отрасли экономики были практически недоступны для иностранных предприятий, причем это делалось во имя так называемых «стратегических» интересов страны. Жесточайшие ограничения касались и вывоза прибыли. Такая политика сопровождалась отсутствием элементарного порядка при получении и правительством, и государственным предприятиями иностранных кредитов. Для социализма типичной была практически полная блокада иностранных инвестиций и вместе с тем, — в некоторых странах, к сожалению, и в Польше в 70-е гг., — поразительная безмятежность относительно глубокой задолженности иностранному капиталу.

Неэффективные и несправедливые ассигнования на социальные нужды

Во многих странах Латинской Америки существовала весьма разветвленная, но неэффективная система социального обеспечения, в том числе и пенсионного. Как и в ряде постсоциалистических стран, в частности в Польше, пенсионная система Латинской Америки стала источником кризиса финансов страны. Соотношение числа пенсионеров и получающих пособие с числом работающих, которые своими взносами и финансировали первых, было крайне неблагоприятно: в Аргентине один пенсионер приходился на 3-х работающих, в Чили — на 2-х (в Польше 25 лет тому назад на одного пенсионера приходилось 5 работающих, сейчас — только 2). Кризису финансовой системы социального обеспечения способствовала также практика (и в социалистических странах тоже) узаконенного раннего выхода на пенсию.

Характерной особенностью латиноамериканской модели было и то, что ряд бюджетных затрат, которые предназначались для самых бедных, в действительности служили в основном богатым. Например, в странах Латинской Америки, в отличие от «азиатских тигров», в полном запустении находилось среднее образование, а огромные суммы сужались на образование высшее, которое, впрочем, формально считалось бесплатным, то есть оплачивалось всеми налогоплательщиками. В университеты же попадала, как и в социалистических странах, молодежь из наиболее благополучных семей. Получалось, таким образом, что более бедные своими налогами оплачивали образование более богатых. То же самое можно сказать и о дешевом бензине — им пользовались в основном люди благополучные, поскольку именно они имели автомашины. Все это иллюстрирует общую закономерность: финансирование социального обеспечения из бюджета углубляет дифференциацию доходов в обществе. И потому очень важен вопрос — кто пользуется, а кто платит.

Трудовые отношения, тормозящие развитие

Наконец, последняя существенная особенность экономической модели латиноамериканцев — деформированный рынок труда, антагонистические отношения работодателей с наемными работниками. Существовали жесткие правила, которые затрудняли увольнение и предписывали платить высокие выходные пособия. Это, разумеется, не стимулировало предпринимателей нанимать новых работников. Жертвой такого положения вещей оказывались прежде всего молодые люди, которые попадали на рынок труда и не могли найти работу. Высокие налоги на зарплату — эквивалент польских взносов на УСС (Управление социального страхования. — Перев.) — в сумме увеличивали цену труда и, следовательно, снижали конкурентоспособность экономики, а значит, ограничивали возможности создания новых рабочих мест.

Все это мешало экономике гибко реагировать на изменение условий функционирования и не давало работникам быстро переходить из одних отраслей в другие. Организация забастовок была мало рискованным делом и для профсоюзов, и для бастующих: значительно менее рискованным, чем в развитых странах, не говоря уж о Южной Корее. В странах Латинской Америки, равно как и в Польше, бастующие нередко получали зарплату за время забастовки. В большинстве этих стран работодатели были лишены права на локаут и найм новых работников. Поэтому нет ничего удивительного в том, что забастовки там возникали чаще, чем в любом другом государстве мира, за исключением, пожалуй, Польши времен Солидарности. Профессиональные союзы монополизировали выполнение некоторых работ, и благодаря этому их члены имели определенную выгоду за счет не-членов профсоюза. Широко распространено было снижение профсоюзами высокой оплаты (кассирование): поднаем за небольшие деньги не-членов профсоюза. Так, в Мексике с каждой тысячи долларов, которую члены профсоюза получали в портах за погрузку контейнеров, 50 долларов выделялось для найма не-членов профсоюза, остальное пряталось в карман. Поистине это была настоящая эксплуатация человека человеком.

Результат: медленно и неровно

Описанная выше модель смогла, однако, обеспечить некоторый экономический рост в ряде стран Латинской Америки вплоть до 80-х гг. Так было и в социалистических странах. Правда, в обоих случаях экономика развивалась вопреки отрицательному влиянию государства, и экономический рост в этих странах был достигнут ценой увеличения балласта проблем. Особой проблемой для Латинской Америки был и остается огромный разрыв в доходах и размере имущества, более ощутимый, чем в быстро развивающихся странах Юго-Восточной Азии. В значительной степени это объясняется отсутствием реформы сельского хозяйства, то есть сохраняющейся до сих пор огромной концентрации земельной собственности в одних руках. Однако главной причиной разрыва в доходах была описанная выше политика государства.

Деформированная экономическая структура обеспечивала мало рабочих мест, следовательно, порождала безработицу. «Дешевые» кредиты, протекционизм и доминирование государства в распределении капитала неверно ориентировали инвестирование и ослабляли отдачу от инвестиций. Высокая и переменчивая инфляция ударяла прежде всего по бедным, поскольку именно они в наименьшей степени были от нее защищены. Богатые обычно знают, как разместить свой капитал. Это один из парадоксов политики популизма. Как показывает Р. Дорнбуш и С. Эдвардс в книге «Экономика популизма», популизм использует недовольство бедных для проведения политики денежной экспансии, которая, однако, наносит удар именно по бедным. Таким образом, для латиноамериканской модели капитализма, скованного и искаженного государством, был характерен более медленный экономический рост и большая дифференциация общества, чем для свободной, частной и рыночной экономики. Вот это и есть самый важный урок латиноамериканской модели. О дальнейшей ее судьбе в следующей главе.

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЕ РЕФОРМЫ

Обанкротившаяся модель

Итак, подведем некоторые итоги. В Латинской Америке до недавнего времени существовал капитализм, скованный государством. Для него была характерна значительная доля государственных предприятий, крайний протекционизм, хроническая инфляция, деформированная государством финансовая система, большие ограничения для иностранных инвестиций и одновременно полная беспечность при получении кредитов из-за границы. Система социального обеспечения подрывала финансы страны, она служила больше богатым, чем бедным. Деформированный рынок труда с агрессивными профсоюзами способствовал как росту безработицы, так и возникновению забастовок. Многие из этих перечисленных особенностей, как легко заметить, напоминали черты социализма, особенно в период его заката.

Семидесятые годы подвергли латиноамериканскую модель жесткой проверке: резко подскочила цена на нефть и одновременно стали более доступными иностранные кредиты. Типичной реакцией стран Латинской Америки, да и

Польши тоже, было быстрое получение кредитов — прежде всего государством и государственными предприятиями. Но неразумное использование этих кредитов и резкий рост процентных ставок на мировом финансовом рынке вовлекли Латинскую Америку (да и Польшу тоже) в долговую зависимость от внешнего мира. В связи с этим в обоих случаях были введены чрезвычайные ограничения на импорт — чтобы сэкономить средства на погашение долга. Сокращение импорта привело к резкому уменьшению инвестиций и, вслед за этим, к экономической стагнации. Восемидесятые годы в странах Латинской Америки — это «упущенное десятилетие». В 1991 г. в двадцати странах из тридцати доход был ниже, чем в 1980 г. В Польше мы потеряли по крайней мере десять лет из-за иностранных долгов, сделанных в семидесятые годы.

80-е гг. принесли Латинской Америке новый рост и без того высокой инфляции. Аргентина, Бразилия и Перу продемонстрировали тогда, как не следует бороться с гиперинфляцией: главное усилие правительства там было направлено на контроль за ценами, а не на создание барьера главному источнику инфляции — растущей массе необеспеченных денег, покрывающей дефицит государственного бюджета. Поначалу инфляция быстро снижалась, но вскоре цены резко возросли.

В Польше появилась теория «выжатой губки»: из экономики, мол, «выжать» деньги, поэтому ее, экономику, можно безопасно стимулировать быстрым накачиванием денежной массы. Нам, в Польше, следует вспомнить популярный эксперимент, проведенный в Перу в 1985—87 гг. Этот эксперимент, впрочем, был в значительной степени повторением опыта Чили 1970—73 гг. при Сальвадоре Альенде. В обоих случаях была решительно отброшена монетарная дисциплина и осуществлена концепция пресловутой «выжатой губки». И в Чили, и в Перу результат оказался одинаковым: сначала краткое оживление, а затем катастрофа. В Перу, во время правления Алана Гарсии, были заморожены цены, повышена зарплата и началось быстрое «накачивание» денег в экономику, чтобы покрыть растущий дефицит бюджета. По мнению правительственных экономистов, в перуанской экономике было так много неиспользованных резервов, что рост денежной массы в руках граждан и предприятий (то есть рост спроса на деньги) должен был привести и к росту производства, что, в свою очередь, привело бы к снижению цен. Подобные же взгляды выражали и некоторые «эксперты» во время очередных избирательных кампаний в Польше. Ситуация в Перу в первые месяцы, казалось, подтверждала прогнозы правительственных экономистов: производство заметно выросло, реальная зарплата повысилась, инфляция упала. Но повышение спроса повлекло за собой истощение заграничных резервов и увеличение внешнего долга. И вскоре произошел настоящий взрыв инфляции: цены в 1988—90 гг. подскочили на 6,5 миллионов процентов, национальный доход упал на 25%, реальная заработная плата резко снизилась, валютные запасы страны иссякли полностью. Популисты, пришедшие к власти на волне недовольства бедных слоев населения, этих же бедных сделали еще беднее. В 1985—90 гг. в столице Перу Лиме потребление среди самых бедных слоев упало на 60%!

Чилийский образец

Поражение традиционной модели нестабильного и деформированного государством капитализма, а также катастрофы, произошедшие в некоторых странах из-за давления популизма, привели к тому, что в 80-е гг. среди политической элиты стран Латинской Америки стало расти стремление принципиально пересмотреть взгляды на экономику. На рубеже 80—90-х гг. во многих странах континента начались радикальные рыночные реформы. Этому способствовал и пример Чили, страны, которая после популистско-социалистического эксперимента 1970—73 гг. уже в семидесятые годы вступила на путь развития стабильной и свободной экономики. Преодолев огромные трудности в 1982—85 гг., эта страна в настоящее время имеет наиболее динамичную экономику на континенте.

Составные части реформ

Составные части радикальных реформ в Латинской Америке хорошо известны в Польше: стабилизация денег, либерализация внешней торговли, ликвидация барьеров иностранному капиталу, приватизация государственного сектора, изживание интервенционизма государства, особенно в банковской системе. Дорогой таких реформ, помимо Чили, дальше всего пошли Мексика, Боливия, Перу, Колумбия и с 1991 г. Аргентина.

Последняя из названных стран заслуживает особого внимания. В начале XX в. Аргентина была одной из самых богатых стран мира. Но популистская экономиче-

ская политика, начиная с 30-х гг., превратила Аргентину в страну третьего мира; последующие неудачные программы по стабилизации хронически большой экономики привели к тому, что Аргентину практически списали со счета. Нынешний президент Карлос Менем пришел к власти в середине 1989 г. на гребне популистского перонизма (по имени аргентинского диктатора, а позже президента, генерала Перона. — *Ред.*). Однако уже через месяц он высказался за радикальные реформы. Реализация их под руководством министра финансов Доминго Кавалло привела к тому, что Аргентина стала наиболее многообещающей страной Латинской Америки.

Все реформы в Латинской Америке (как и в Польше после 1989 г.) были направлены на обуздание бешеной инфляции. Для этого прежде всего нужно было радикально сократить дефицит государственного бюджета, который обычно финансировался печатанием необеспеченных денег. В итоге, инфляция в Аргентине снизилась с почти 5000% в 1989 г. до 19% в 1992 г., в Боливии — с более чем 8000% в 1985 г. до 10—18% в 1987—92 гг., в Мексике — со 160% в 1987 г. до 12% в 1992 г., а в Перу — с 7650% в 1990 г. до 57% в 1992 г. При таком резком снижении инфляции общественность должна быть уверена, что экономика и деньги не будут вновь разрушены с очередным приходом к власти политиков популистского толка. В Аргентине такую уверенность гарантирует законодательно установленный жесткий курс песо к доллару; в Мексике и ряде других стран Латинской Америке монетарная политика передана независимому центральному банку, который и отвечает за стабильность местной валюты.

Другой важной составляющей латиноамериканских реформ является стабилизация внешней торговли. Средний уровень таможенного тарифа снизился: в Чили с 36% до 11%, в Мексике с 34% до 4%, в Коста-Рике с 92% до 16%, в Аргентине с 28% до 15%, в Бразилии с 80% до 21%, а в Перу с 64% до 15%. Были радикально ослаблены и другие импортные барьеры. Таким способом прежнюю, искусственно завышенную рентабельность защищенной пошлинами продукции снизили и, следовательно, увеличили относительную рентабельность продукции, предназначенной на экспорт. Как и ожидалось, такое «перемещение рычага» вызвало заметный рост экспорта. Возросшая иностранная конкуренция и широкий контакт с внешним миром заметно повысили эффективность экономики. Именно такая картина перемен в Латинской Америке и предстает при внимательном изучении опубликованного недавно Мировым банком отчета, откуда и почерпнуты мною данные, приведенные выше.

Открытость внешнему миру привела к ликвидации высоких барьеров притоку иностранного капитала, который уже несколько лет как получил доступ к ряду отраслей, прежде считавшихся монополией отечественного государственного капитала, в частности, авиатранспорт, телекоммуникация, энергетика, газовая и горнодобывающая отрасли промышленности.

Следующей составляющей латиноамериканских реформ следует назвать приватизацию государственных предприятий. Их доля в экономике была значительно меньше, нежели в бывших социалистических странах, но достаточно высокой, чтобы представлять весомый балласт для общества. В Латинской Америке были свои «Урсусы» (тракторостроительный гигант под Варшавой. — *Перев.*), которые тянули экономику вниз. Общий убыток государственных предприятий составил в Аргентине в 1981 г. 6% национального дохода, в Уругвае в 1989—1990 гг. — 4%. Этот убыток покрывался обычно либо денежной эмиссией, либо бессмысленными кредитами, что вновь и вновь порождало рост инфляции. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно сокращение размера государственного сектора путем приватизации было признано важнейшим элементом восстановления экономики стран Латинской Америки. В Мексике в 1983—91 гг. количество государственных предприятий уменьшилось с 1155 до 80. Были приватизированы порты, авиалинии, банковское дело, горнодобывающая промышленность, сталелитейное дело. В Аргентине за последние три года были приватизированы почти все государственные фирмы, и стоимость приватизированных предприятий составила 19 млрд долларов — во много раз больше, чем в Польше. Приватизация охватила отрасли, которые до недавнего времени в общественном мнении относились к сфере государственного сектора: телекоммуникацию, авиалинии, газовую промышленность, энергетiku и водоснабжение. В Перу и Чили началась подготовка к приватизации самых крупных в мире предприятий по добыче меди. В приватизации принимает участие и иностранный капитал.

На этом фоне торпедирование подобной приватизации нашего комбината по добыче меди в Люблине элитой профсоюзов — типичный пример отвергнутого в Латинской Америке, — но по-прежнему живучего в Польше, латиноамериканского менталитета. Еще немного подобного запаздывания в приватизации и модерниза-

ции — и профсоюзы, которым кажется, что они сидят на золотой жиле, протянут руку за помощью к своему бедному государству.

Самый важный урок

После нескольких лет проведения реформ страны Латинской Америки представляют весьма неоднородную картину. Нерешенными остались многие проблемы. По-прежнему велика нищета. Необходимо преобразовать скованный и деформированный рынок труда. Не исчез и популизм: в Уругвае, например, после демagogической кампании судьба всеобъемлющей приватизации была передана на референдум. Тем не менее, в большинстве стран радикально снижена инфляция, начался экономический рост, идет приток иностранного капитала. И самое важное — как и в странах Центральной и Восточной Европы, — там, где последовательно проводятся смелые экономические реформы, успехи — значительно большие, чем в других странах. Чили и Мексика, страны, где проводились самые решительные реформы, за несколько лет смогли в значительной степени выбраться из нищеты. Радикальные реформы прекрасно служат обществу в целом. И в этом самый важный урок, преподанный нам Латинской Америкой в последние годы.

ШВЕЦИЯ: РАЙ, КОТОРЫЙ ОБАНКРОТИЛСЯ

Еще несколько лет тому назад две страны притягивали взгляды поклонников «третьего пути», пути между капитализмом и социализмом: Югославия и Швеция. Югославия распалась при трагических обстоятельствах. Это, правда, произошло не из-за ее системы самоуправления, а в результате глубоко укоренившихся этнических конфликтов. Однако и из теории, и из практики известно, что модель самоуправления, которая так привлекала сторонников «третьего пути», менее динамична, чем конкурентоспособная капиталистическая экономика. И теперь, в условиях свободного выбора экономической системы, мало кто высказывается в пользу самоуправления.

Сначала капитализм

История развития экономики Швеции значительно менее драматична. Поэтому в Польше можно и сейчас встретить политиков, использующих лозунги социал-демократов и считающих «шведскую модель» образцом для Польши. Это серьезное и опасное заблуждение. Шведская система появилась в тридцатые годы, когда в стране существовала гибкая капиталистическая экономика, и именно на таком фундаменте эта система смогла удержаться. Значит, существовал двигатель, мотор, который способствовал экономическому развитию. Как подчеркивает шведский экономист Петер Штейн (из статьи которого взяты основные данные)¹⁵, сначала имел место расцвет шведской экономики, а потом появилась и «шведская модель». Несмотря на столь благоприятные условия существования, эта модель в последние годы практически обанкротилась и для спасения экономики страны сейчас проводится пересмотр этой системы.

В 1870 г. Швеция была беднее большинства стран Западной Европы; в последующие десятилетия она сократила этот разрыв и стала производителем и экспортером промышленных товаров высокой технологии. Успехи Швеции можно объяснить рядом причин: большие пространства страны при относительно низкой численности населения, огромные естественные богатства и 150 лет мира. Европа в это время была обескровлена постоянными войнами. Следует также иметь в виду, что капиталистическая экономика Швеции с самого начала развивалась в атмосфере конкуренции на мировом рынке. Шведские фирмы взаимодействовали с международными ассоциациями. Экономическая свобода была гарантирована юридически еще в 1864 г. Правительственный аппарат был немногочисленным, но компетентным, его деятельность сосредоточивалась на укреплении правового порядка для частной экономики и на развитии системы образования.

Сущность шведской модели

Модель социального шведского государства начала формироваться в тридцатые годы, но в полной мере реализовалась лишь после второй мировой войны, в

рамках высоко развитой экономики. Элементами этой модели были мощные рычаги по перераспределению доходов и прежде всего — высокопрогрессивное налогообложение личных доходов. Налоги на предприятия, однако, были достаточно низкими. И все же совокупное бремя налога в 1985 г. в Швеции составляло 50,5% национального дохода, тогда как во Франции — 46%, в Германии и Великобритании — 38%, а в США — 29%. В итоге, мелкие хозяйства в целом больше занимали деньги, чем накапливали, то есть имели отрицательный уровень сбережений. Важно отметить и второй элемент «шведской модели» — широкий диапазон финансовых ассигнований из бюджета, то есть из кармана налогоплательщика. Эти расходы обеспечивали ощущение социальной безопасности, однако требовали высоких налогов. Для «шведской модели» было характерно и то, что государственному финансированию упомянутых ассигнований сопутствовала практически абсолютная государственная монополия на некоторые виды деятельности. Например, до недавнего времени в Швеции было чрезвычайно трудно открыть частную врачебную практику.

Наемные работники были объединены в узкопрофессиональные организации. «Шведская модель» отличалась также сильной концентрацией профсоюзного движения: единый центр вел переговоры между работодателями и работниками в масштабе всей страны. В таких переговорах профсоюзы руководствовались принципом минимизации разрыва в зарплате между различными профессиональными группами. Все эти годы профсоюзы, однако, понимали, что без четкого работающей капиталистической экономики можно добиться лишь нереальных уступок. Руководители профсоюзов не подрывали стабильность экономики чрезмерными требованиями в отношении зарплаты, не препятствовали увольнению и переводу работников (что могло бы ослабить динамичность и гибкость экономики), то есть не торпедировали проведение быстрых изменений в структуре экономики. В 1938 г. между профсоюзами и работодателями было подписано соглашение, которое ознаменовало начало периода долгого общественного согласия. Этому сопутствовала и активная политика государства по борьбе с безработицей.

Основой для общественного спокойствия был прочный фундамент рыночного капиталистического хозяйства. Доля общественного сектора, помимо сферы, финансируемой из бюджета — образование, здравоохранение и пр., — была очень низкой. В отличие от правительств Великобритании и Франции, шведские социал-демократы не пытались национализировать частные предприятия. Последние были, впрочем, крепко объединены: огромную роль в Швеции играла, в частности, экономическая империя Валленбергов. Государство не проводило так называемую промышленную политику (то есть не вторгалось в деятельность различных предприятий или отраслей), которую обычно оправдывают либо «давлением снизу», либо стремлением реализовать свои идеи в экономике. Только рынок определял, кто развивается быстрее, кто медленнее, а кто становится банкротом. И, наконец, — и государство, и предприятия подчинялись жесткой финансовой дисциплине. Итак, экономика Швеции представляла собой сочетание либеральных экономических институтов, разумной экономической политики и постепенного решения социальных проблем. В определенной степени такая экономика отвечала представлению выдающегося либерального экономиста Джона Стюарта Милля, который, в отличие от Карла Маркса, считал, что либеральную капиталистическую экономику можно примирить с другими формами отношений в сфере распределения национального продукта. Шведский опыт, однако, показал, что есть предел социализации сферы распределения, — если его перейти, капиталистический двигатель начинает глохнуть, сокращает обороты и, наконец, — почти останавливается.

На пути к кризису

В 1950—1970 гг. Швеция еще увеличивала свой национальный доход в среднем на 3,3% в год, правда, значительно медленнее, чем Германия, Италия и Франция, но быстрее, чем Великобритания. Этому умеренному темпу сопутствовало, однако, нарастание скрытых проблем «шведской модели». Они отчетливо проявились в семидесятые годы, когда резко подскочили цены на нефть, а в сфере экономической политики не были сделаны выводы из ошибок и не предпринимались необходимые решительные шаги. Политика обрела ощутимо доктринерский характер. Еще в конце 60-х гг., под давлением профсоюзов, становившихся все более радикальными, основное внимание в экономической политике было сосредоточено не на создании рабочих мест в новых отраслях, способных выдержать международную конкуренцию, а на сохранении любой ценой прежних рабочих мест в отраслях, уже существующих. Экономика, таким образом, теряла свою гибкость. В ответ на нефтяной шок Швеция начала экспансивную денежную политику. Усилива-

ется нажим в оплате труда, а это ведет к росту стоимости продукции и эрозии конкурентоспособности. Резко упали прибыли предприятий, а вслед за этим и инвестиции. Правительство ответило на это субсидиями для неэффективных предприятий и национализацией некоторых из них.

В 1970—1982 гг. расходы бюджета росли на 6% ежегодно, дефицит государственного бюджета в 1983 г. достиг 14% валового внутреннего продукта (ВВП), инфляция заметно выросла.

В 1982 г. социал-демократическое правительство ввело жесткую экономическую программу, согласно которой решительно снижался дефицит бюджета, смягчался рост налогообложения личных доходов, была проведена девальвация шведской кроны. Все эти меры, однако, принесли лишь временные успехи, они не могли преодолеть накопившихся противоречий, заложенных в шведской модели, поскольку не было предпринято глубоких структурных реформ.

С 1990 г. Швеция погружена в глубокий кризис. Дефицит бюджета вновь достиг 13—14% ВВП, а государственный долг поднялся до уровня, который грозит перманентной задолженностью. Безработица, в 1990 г. по официальным данным составлявшая 1,5% (в действительности существовала большая скрытая безработица), в 1994 г. достигла уровня 13%¹⁶. Национальный доход снижался три года подряд, начиная с 1990 г.

Помимо этих кризисных явлений обращают на себя внимание и еще более глубокие неприятные тенденции в шведской экономике. Начиная с 70-х гг. наблюдается заметное падение реальной заработной платы. Весь рост занятости в 79—90-х гг. был достигнут в общественном секторе, который финансировался из налогов поступлений и обеспечивал социальные нужды, прежде финансировавшиеся в рамках домашнего хозяйства (например, всеобщая опека над детьми дошкольного возраста). Это значит, что рост национального дохода, и без того весьма скромный, был в большой степени статистической иллюзией. Социальные услуги, финансируемые в рамках семьи, не отмечаются в статистике, но те же услуги, оказанные вне домашнего хозяйства, увеличивают статистический показатель ВВП. Попытки правительства уменьшить дифференциацию номинальной заработной платы изменением ее структуры роковым образом сказались на системе образования. Эта политика привела к резкому сокращению разницы оплаты труда людей образованных и необразованных и, следовательно, понизила спрос на получение образования. Активная политика преодоления безработицы была, в сущности, как показали последние исследования, разбазариванием общественных средств, бездумной их растратой¹⁷.

Консервативно-либеральное правительство премьера Бильда и социал-демократическая оппозиция разработали в 1992 г. новую программу, которая предполагала глубокую ревизию шведской модели, признанную главным источником кризиса экономики и ухудшения условий жизни общества. Но сохранить обанкротившийся рай невозможно. Сокращены отпуска, снижены выплаты по болезни, отменен пересмотр пособий и пенсий, начата приватизация предприятий. Специальная комиссия под руководством известного шведского экономиста Ассара Линбека подготовила рапорт, в котором предложен ряд мер для оздоровления экономики. В частности — очередное сокращение бюджетных расходов, глубокая реформа системы назначения пособий и пенсий, создание более гибких правил по найму и увольнению работников, сокращение пособий по безработице для стимулирования поиска новой работы, отказ от централизованных переговоров о зарплате, ужесточение антимонопольного контроля, ликвидация контроля над квартирной платой, установление гражданской ответственности работников и их представителей за нарушение договоров о найме, укрепление институтов, ответственных за денежную стабильность. Все эти меры, по мысли авторов проекта, должны стимулировать развитие эффективной экономики.

Правительство Карла Бильда пыталось осуществить реформы, которые должны были оздоровить шведскую экономику. Однако подобная терапия, крайне необходимая, имеет и обратную сторону. И вот, на выборах, проведенных в 1994 г., большинство избирателей вновь проголосовало за социал-демократов, явно в надежде на сохранение status quo. Конечно, подобные надежды, как в прошлом, так и в настоящем — необоснованны. Шведская модель пересекла некую критическую границу и оказалась на зыбучих песках. Никакие перемены власти теперь уже не избавят шведов от необходимости критически пересмотреть эту модель.

ГЕРМАНИЯ: ОТ ЭКОНОМИКИ «СОЦИАЛЬНОЙ» ДО ЭКОНОМИКИ «СВЕРХСОЦИАЛИЗИРОВАННОЙ»

В дебатах об экономике в Польше в последние годы большую популярность приобрел термин «социальное рыночное хозяйство». Боюсь, однако, что эта популярность не связана с пониманием его истоков и первоначального смысла. Определение «социальная», разумеется, вызывает восторженное убеждение в том, что это принципиально иной и, безусловно, лучший тип экономики, нежели капитализм и свободный рынок. Главное «преимущество», видимо, следует искать в большем покровительстве государства, которое выражается главным образом в значительных социальных затратах.

Первоначальная концепция: либеральный капитализм

Как ни удивительно, концепцию «социального рыночного хозяйства» ввели в употребление после второй мировой войны в Западной Германии известные... либеральные экономисты: Вальтер Ойкен, Вильгельм Рёпке, Альфред Мюллер Армак (автор самого термина), а Людвиг Эрхард, министр народного хозяйства ФРГ с 1949 г. и федеральный канцлер в 1963—66 гг., принял эту концепцию за основу своей практической экономической политики.

«Социальное рыночное хозяйство», по крайней мере в теории, не есть отказ от свободнорыночного капитализма. Вальтер Ойкен, пожалуй, самый известный немецкий экономист межвоенного периода и первых лет после войны, основополагающими чертами такой экономики считал частную собственность, сильную конкуренцию, свободу контрактов, устойчивость валюты, стабильность экономической политики — то есть фундаментальные факторы быстрого развития. Роль государства сводилась таким образом к решительному противодействию монополии, заботе об окружающей среде (и в этом Ойкен опередил свою эпоху), коррекции неестественной реакции производителей на изменение рыночной ситуации. Как пишет Дитер Гроссер, автор изданной и широко используемой в Польше работы о «социальном рыночном хозяйстве», суть концепции Ойкена можно выразить следующим образом: «Государство определяет общие рамки деятельности, заботится о правовом порядке, адекватном рыночной экономике, следит за тем, чтобы рынок был открытым и чтобы существовала конкуренция. Независимому Центральному банку поручается обеспечивать устойчивость валюты. Государство отказывается от интервенции, а регулирование экономических процессов оставляет рынку»¹⁸.

Точно так же считал и Л. Эрхард. Некоторое вмешательство государства допускал Альфред Мюллер Армак, однако, и он подчеркивал, что эта интервенция не должна мешать механизму ценообразования свободного рынка. Правда, приходится констатировать, что из-за антирыночного протекционизма в сельском хозяйстве в большинстве стран Запада эта оговорка «не работает». Армак подчеркивал также, что масштаб перераспределения доходов не должен тормозить рост производительности труда.

Первоначальную концепцию «социального рыночного хозяйства» можно в конечном счете свести к двум положениям: 1) примат комплексной политики формирования условий для частной инициативы и конкуренции над интервенционизмом; 2) примат развития над перераспределением.

В чем же тогда заключалась «социальность» этой экономики? Ойкен видел социальный характер экономики свободного рынка в том, что в ее структуре создание и использование монополии было невозможно. Для Эрхарда же социальность рыночной экономики напрямую зависела от ее свободы. Главные создатели описываемой концепции были решительными противниками вездесущего государства-опекуна. Людвиг Эрхард писал в 1956 г.: «Нельзя совместить систему рыночной экономики, которая предоставляет индивидууму право самому принимать решения в вопросах производства и потребления, с отказом от права самостоятельно обеспечивать собственную безопасность в различных житейских ситуациях, особенно тогда, когда человек способен и склонен сам о себе позаботиться. Экономическая свобода и тотальная принудительная социальная защита несовместимы. И потому совершенно необходимо, чтобы принцип активной помощи был одним из основных факторов в области социальной защиты, а индивидуальная ответственность имела максимальное преимущество»¹⁹.

Манипуляция без злого умысла?

Итак, можно утверждать, что концепция «социальной» рыночной экономики в сущности означала либеральный, рыночный капитализм, дополненный такими формами деятельности государства, которые должны были сохранять его (капитализма) динамизм и при этом смягчать некоторые нежелательные побочные эффекты (например, воздействие на окружающую среду). Такие формы деятельности вполне согласуются с разумным интервенционизмом. С точки зрения логики термин «социальное рыночное хозяйство» был по сути дела плеоназмом, т.е. маслом масляным. Принят он был на Западе в условиях первых послевоенных лет из-за его большой политической емкости, когда и в общественном мнении, и среди политиков существовало убеждение, что капитализм не состоялся (впрочем, сам термин был придуман именно противниками капитализма). Сыграла свою роль и память о Великой депрессии 30-х гг., причину возникновения которой не вполне справедливо усматривали во «врожденных» особенностях экономики свободного рынка, а не в порочной интервенции государства²⁰. Нельзя сбрасывать со счетов и впечатление от военных успехов СССР. В такой ситуации решение проблем виделось в национализации основных отраслей промышленности и общехозяйственном планировании. Этатизм был в моде. Именно этого в Западной Германии добивалась СДПГ, а программа ХДС еще в 1947 г. начиналась с критики капитализма²¹. В этих условиях либеральные экономисты вынуждены были поплыть против течения, и, ради спасения рыночного капитализма на практике, решились, как мне представляется, на понятийную манипуляцию — в общественном сознании она создавала пусть искусственную, но все же дистанцию между предлагаемой ими системой и «тем» капитализмом. Точно таким же образом некоторые реформаторы социализма пытались протолкнуть в жизнь элементы капитализма под лозунгом «социалистической рыночной экономики». И в том, и в другом случае признавалось, видимо, что вред, наносимый языку, — важнейшему средству общения между людьми, — а следовательно, и мышлению, значительно меньше, нежели польза в виде лучших условий жизни.

Возможно, что о вреде просто не задумывались. Не стоит этот вопрос и выяснять, но следует обратить внимание на то, что термин «социальное рыночное хозяйство» довольно быстро начал жить своей собственной жизнью (скорее, как магическое заклинание), и, под влиянием определения «социальное», приобрел интерпретацию, далекую от первоначального смысла. Продукт вышел из-под контроля. Один и тот же термин стал обозначать совершенно разные реалии, что и явилось, как часто бывает, причиной логической путаницы. Именно новое значение описанного термина, противоречащее его первоначальной сути, и попало на берега Вислы в качестве политического лозунга и здесь уже превратилось в источник дезинформации.

Немецкое экономическое чудо

Вернемся, однако, в ФРГ. Экономическая система страны после 1948 г. претерпела весьма значительные изменения, хотя и называлась все время «социальным рыночным хозяйством». В период 1949—62 гг. суть ее больше всего приближалась к первоначальному смыслу концепции: принципиальная либерализация экономики, открытость миру, относительно небольшие отчисления на социальные нужды, жесткая дисциплина бюджетной и денежной политики. Профсоюзы вели себя благоразумно — реальная заработная плата росла медленнее, чем производительность труда, благодаря чему быстро растущая прибыль предприятий способствовала созданию большого количества новых рабочих мест для гигантской волны беженцев. Правда, уже тогда, поддаваясь политическому давлению, правительство вынуждено было ввести ряд новшеств, против которых возражал Л. Эрхард, исходящий из интересов долгосрочного развития.

Л. Эрхард особенно возражал против участия самих работников в управлении своими немецкими предприятиями и против введения зависимости размера пенсий и пособий от роста реальной заработной платы (так наз. *dynamische Rente*)²². Его опасения подтвердились: произошла финансовая дестабилизация пенсионной системы и в дальнейшем приходилось постоянно ее корректировать. Как вспоминает многолетний близкий сотрудник Эрхарда Хорст Фридрих Вунше, тот хотел провести более глубокую либерализацию рынка жилья, чем это удалось на практи-

²² Направление политической мысли, рассматривающее государство как высший результат и цель общественного развития. — *Прим. перев.*

ке: по словам Вунше, Эрхард не был сторонником активного государственного контроля над арендной платой, т.к. это начинало сказываться на частных инвестициях в строительство доходных домов²³. Так что не следует, как это часто случается, ссылаться на авторитет Эрхарда и концепцию «социального рыночного хозяйства», чтобы оправдать ее деформацию.

Цена этих отступлений сказалась на развитии хозяйства позже, а в 1949—62 гг. экономика еще не была отягощена ни социальными затратами, ни нажимом со стороны заинтересованных групп. Западная Германия в тот период достигла в экономике значительных успехов, названных немецким «экономическим чудом». В 1950—60 гг. ВВП рос в среднем почти на 8% в год (только Япония развивалась быстрее), инфляция составила неполных 2% в год, а безработица — 2,2%.

Такие внушительные достижения объяснялись и весьма благоприятными внешними условиями. Это и помощь в рамках плана Маршалла (правда, в пересчете на душу населения она была значительно ниже, чем в других странах Западной Европы), и ускоренное в начале 50-х гг. корейским бумом и либерализацией международной торговли развитие мировой экономики. Однако мало кто сомневается в том, что основной вклад в развитие экономики ФРГ внесла прежде всего «социальная», а в сущности, либерально-капиталистическая экономическая система.

Конец экономического чуда

Если «экономическим чудом» считать исключительно быстрый темп экономического роста, то можно сказать, что это чудо закончилось в ФРГ в начале 60-х гг. В 50-е гг. Западная Германия увеличивала свой доход на 7,8% в год и уступала среди высокоразвитых капиталистических стран только Японии. В 1960—69 гг. ФРГ достигла приличного темпа роста в 4,8%; по-прежнему ее опережала Япония (10,5%), но уже выдвинулись и другие страны: Испания (7,5%), Франция (5,8%), Италия (5,7%), Канада (5,6%), Голландия (5,1%). В 70-е гг. темп экономического роста ФРГ упал до 2,8% и был ниже, чем в Японии (4,9%), в Канаде (4,2%), Испании (3,8%), Франции (3,7%), Италии и Голландии (по 3,2%), США (3%)²⁴. В 80-е гг. наступило некоторое улучшение положения ФРГ в экономической гонке, но страна значительно уступала Японии и Великобритании. Последняя, некогда списанная со счета как «больной человек» Западной Европы, ускорила свое развитие благодаря твердым реформам гособози Тэтчер. В 1992—93-х гг. ФРГ уже переживала глубокий экономический спад.

Уменьшение темпа роста в определенной степени — объективная закономерность: оно отражает постепенное истощение своего рода «аванса на опоздание», т.е. возможности учиться у более развитых стран, чтобы приблизиться к ведущей группе государств мира. К тому же в 70-х гг. заметное ухудшение условий хозяйствования в мире повсеместно снизило темп развития. В значительной мере это было вызвано резким повышением цен на нефть и расстройством международной валютной системы. Пришлось бороться с инфляцией, опасно возросшей в значительной степени из-за кейнсианской политики «накручивания конъюнктуры» (по имени английского экономиста Дж. М. Кэйенса, рекомендовавшего стимулировать спрос на товары посредством государственных расходов, что не может не вызвать рост цен. — *Рег.*). Однако все это не объясняет, почему в ФРГ так значительно по сравнению с прочими странами Запада снизился темп роста. Ведь и там действовали неблагоприятные факторы, и нельзя сказать, что страны, экономика которых окрепла, менее пострадали от объективных внешних условий того времени. Следовательно, объяснение, хотя бы частичное, следует искать во внутренних причинах: темп экономического роста в ФРГ заметно снизился вследствие искажения ее экономической системы, то есть из-за отказа от первоначальных либеральных принципов «социальной» рыночной экономики. В итоге «перевес» в экономическом отношении, который имела в 50-е гг. Германия над многими странами Запада, начал постепенно уменьшаться, а в ряде случаев (в частности, относительно Великобритании 80-х гг.) обернулся отставанием.

В экономическом развитии Германии после первого периода «экономического чуда» 50-х гг. можно выделить несколько этапов. С середины 60-х гг. до 1982 г. обнаружилась заметная эрозия первоначальной модели либеральной экономики. Стратегия «развития с помощью формирования институциональных рамок экономики»²⁵ (т.е. с минимальным государственным вмешательством. — *Рег.*) стала заменяться кейнсианской политикой управления эффективным спросом. Автор такого поворота, проф. Карл Шиллер, министр экономики в 1966—72 гг., противился, правда, росту бюджетных расходов на социальные нужды. В 1972 г., однако, он ушел из правительства, а затем покинул ряды СДПГ. Доля бюджетных расходов государства в национальном доходе выросла (и это была новая тенденция) с 31,3%

в 1950 г. и 37,1% в 1965 г. до 50% в 1982 г. Все бóльшая часть доходов распределялась политико-бюрократическим методом с учетом постоянного увеличения социальных затрат. Возросли дотации на сельское хозяйство, угледобывающую промышленность, верфи (с 1,8% в 1960 г. до 4,0% в 1980 г.); это тормозило структурные изменения и ни в коей мере не сдерживало заметный уже с середины 70-х гг. рост безработицы.

Безработица росла главным образом из-за увеличения размеров налогообложения экономики, что всегда задерживает создание рабочих мест и искажает нормальную работу рынка труда. Как пишет известный экономист Хорст Зиберт, Западная Германия в 1973—83 гг. потеряла 800 тыс. рабочих мест, в то время как в США было создано 18 млн. мест, а в Японии — 5 млн. «Германия превратилась в прообраз евросклероза»²⁶. Происходило размывание двух основных принципов первоначальной концепции «социальной» рыночной экономики: примата комплексной политики над интервенционизмом и примата развития над перераспределением.

После 1982 г. правящая коалиция изменилась: возник союз ХДС-Св. ДП. Была предпринята попытка затормозить возникший процесс и вернуться к изначальным принципам «социального рыночного хозяйства». Как и другие страны Запада, Германия отошла от практики кейнсианского управления спросом к монетаристской политике, пытаясь, впрочем, не всегда успешно, формировать предложение денег в темпе, который соответствовал бы долгосрочному экономическому росту. Финансы публично-правовых организаций упрочились и отношение бюджетных затрат к ВВП снизилось с 50% в 1982 г. до 45,3% в 1989 г. Однако преждевременное снижение налогов привело к росту дефицита бюджета. По мнению Х. Хаммель, не были в должной мере использованы все шансы возможного и необходимого сужения роли государства. Поэтому социальная рыночная экономика, ставшая в 1990 г. базой для объединения Германий, была уже совсем не той экономикой, которая в 50-е гг. вызвала «экономическое чудо»²⁷. Благоприятные внешние условия, и прежде всего искусственно завышенный курс доллара, который увеличивал конкурентоспособность немецких товаров²⁸, в значительной мере заслоняли внутренние структурные проблемы.

Объединительный «шок»

Все эти слабости явно обнаружили в связи с «объединительным шоком» после 1989 г. День за днем в Восточную Германию переносилась «социальная» рыночная экономика, но уже в версии, разительно отличающейся от первоначально-го замысла. Это приводило к огромному росту социальных расходов, которые финансировались западногерманским налогоплательщиком. В сложившейся ситуации у правительства ФРГ было очень ограниченное поле маневра: менее привлекательные решения социальных проблем привели бы к увеличению волны эмиграции из восточных земель в западные, а установить барьеры на пути этой эмиграции — невозможно политически. Оглядываясь назад, сейчас можно сказать, что «сверхсоциализирование» экономической системы Западной Германии предыдущих лет, о которых говорилось выше, отомстило в ситуации неожиданного объединения. В бывшую ГДР пришлось перенести модель, совершенно непригодную для страны, экономика которой оказалась крайне отсталой. Более того, решения, принятые по реприватизации в бывшей ГДР, привели к большой путанице в отношении прав на собственность, что тормозило инвестирование и развитие. До 1993 г. было подано 2,5 млн. претензий от трех категорий заявителей. Это были евреи, — жертвы нацизма после 1933 г. или их потомки; бывшие владельцы, у которых советская власть конфисковала имущество в 1945—49 гг., и, наконец, люди, лишившиеся своего имущества в результате конфискации, проведенных режимом ГДР после 1949 г. По общей оценке все правовые споры, связанные с рассмотрением этих дел, заблокировали инвестиции по меньшей мере на сумму 2-х миллиардов немецких марок²⁹.

Однако самый тяжелый удар по экономике бывшей ГДР, а потом и ФРГ, был нанесен резким ростом затрат труда. Это произошло сначала в результате невыгодного для конкурентоспособности восточноевропейской экономики пересчета восточной марки на западную в отношении 1:1, а затем — и это был еще один мощный удар — из-за взрывного роста оплаты труда. В обычных условиях такой резкий рост привел бы к столь же резкому скачку инфляции и связанной с ней дестабилизации экономики. Но Восточные земли подчинялись жестким всенемецким монетарным ограничениям со стороны Бундесбанка. Поэтому оплата труда росла абсолютно независимо от динамики производительности труда, что и привело к молниеносному разрушению большей части экономики бывшей ГДР. Это, в свою

очередь, потребовало огромных перекачек денег из бюджета Западной Германии — порядка 180 миллиардов немецких марок в год!

Платить же за все пришлось, разумеется, западногерманскому гражданину. Вопреки предвыборным обещаниям канцлера Коля в конце 1989 г., были увеличены налоги. Это вызвало резкий рост дефицита бюджета Германии: с 0% в конце 80-х гг. до почти 7% в 1993 г. А это, в свою очередь, означало, что немецкое государство вынуждено было брать кредиты в самой Германии и в мире, удвоив государственный (публичный) долг в 1990—94 гг. и повысив процентные ставки. После некоторого оживления в 1990—91 гг., вызванного бумом закупок неожиданно обогатившимися потребителями бывшей ГДР (обогатившимися, кстати, за счет западногерманских налогоплательщиков), Германия в 1992—93 гг. погрузилась в глубокий спад.

Вот тогда и проявились вновь слабости «сверхсоциализированной» и «сверхрегулируемой» экономики. Замечательный американский экономист немецкого происхождения Рюдигер Дорнбуш язвительно писал в 1993 г.: «Германия, которая страдает от «излишков» и избытков зарплаты, вступает в полосу глубокого кризиса конкурентоспособности. Та самая Германия., которая ввергла Европу в пропасть, сама являет миру наиболее слабую экономику в Европе (Западной. — *Перев.*) с точки зрения перспективы экономического роста, развития конкурентности и занятости»³⁰. К основным проблемам необходимо добавить слишком высокую зарплату, завышенные социальные начисления, финансовый кризис пенсионной системы и системы медицинского страхования, ослабление гибкости рынка труда³¹. Диапазон перераспределения достиг такого масштаба, что невольно вспоминается образное предостережение Людвиг Эрхарда относительно системы, в которой «каждый будет держать руку в кармане каждого»³². С 1980 по 1993 гг. рост производительности труда в промышленности Западной Германии был самым медленным среди семерки наиболее развитых стран Запада.

Интересно отметить, что из-за сложностей в экономике в последнее время (как и в случае с Японией — см. «Япония: блеск и сумерки». — *Автор.*) растут сомнения относительно положительной роли некоторых особенностей экономической системы ФРГ, которые до сих пор в глазах ряда исследователей были главными источниками ее силы. Речь идет в основном о тесной связи определенных банков непосредственно с предприятиями, что значительно уменьшает роль фондовой биржи, а также о централизованной системе переговоров об оплате труда и даже о столь часто восхвалявшейся системе профессионального обучения. При этом никто не сомневается в положительной роли независимого Бундесбанка и в важности для экономики ФРГ малых и средних фирм.

Экспансия ассигнований на социальные нужды привела к патологическим явлениям, и в этом известные своей дисциплинированностью немцы не исключение. В немецком языке появилось новое слово *Sozialbetrug* — «вылуцпвание не полагающихся пособий». Потерянные вследствие такого «вылуцпвания» суммы достигают 10 миллиардов немецких марок в год³³. Как своего рода реакция на высокие налоги возросла утечка капиталов за границу. Одной из форм тихого бунта налогоплательщиков стал перевод денег (в чемоданах, в полиэтиленовых мешках) в Люксембург, в банках которого соблюдается жесткая тайна банковских вложений. Подсчитано, что немцы депонировали там около 150 миллиардов немецких марок, увеличив тем самым размер недоимок налогов поступлений почти на 15 миллиардов немецких марок³⁴. Проведенный в начале 1995 г. опрос показал, что из-за роста налогов люди значительно терпимее стали относиться к тем, кто от них уклоняется. Две трети немцев оценивают уклонение от налогов как «ловкость», но не как преступление. Произошло обеднение нравственных оценок. Что значит ныне «социальная»? — спрашивает известный немецкий экономист Ханс Вильгеродт. И с горькой иронией отвечает: «... примаг перераспределения над трудом и производством; это также, на первый взгляд, «даровые» услуги и искусственно завышенные цены на продовольствие. Усилилось убеждение, что все мало-мальски важное следует немедленно вывести из-под влияния свободного рынка. Основные средства существования должны идти от государства... Не каждый помнит, — заключает Вильгеродт, — что именно такое мнение господствовало во времена нацизма»³⁵. От себя добавлю: у этатизма много имен.

Назад к первоисточникам?

Нагромождающиеся проблемы вынуждают проводить порой болезненные урезания и реформы: сокращаются пособия для безработных, предполагается увеличение пенсионного возраста, вводятся жесткая реорганизация и ограничение расходов в здравоохранении, предпринимаются попытки преобразовать некоторые

секторы, до сих пор оберегавшиеся от конкуренции (например, связь), проводится приватизация телекоммуникации. Руководство страны было вынуждено предпринимать подобные шаги под давлением экономических кругов, предупреждавших, что в противном случае экономика страны будет задушена в объятиях «государства благоденствия»³⁶.

Еще более решительно реорганизуются немецкие предприятия. Этому способствует и растущая сдержанность профессиональных союзов. С 1993 г. начала снижаться стоимость единицы рабочей силы, что увеличивает конкурентоспособность немецких товаров и прибыль предприятий. В начале 1995 г. прогнозировалось, что экономика Германии в ближайшие годы будет развиваться в приличном для развитой страны темпе — 3% в год.

Итак, складывается впечатление, что Германия, мощная и богатая, наращивает работоспособность своей экономики и пытается вернуться к тем либеральным принципам, которые после 1949 г. принесли стране несколько лет «экономического чуда». А Польша, имевшая до 1989 г. значительно более слабые исторические шансы, — будет ли она в состоянии развиваться быстро и сможет ли уменьшать, хотя бы постепенно, ту огромную экономическую дистанцию, которая отделяет ее от могучего соседа? Для этого необходимо ускорить проведение реформ, ускорить приватизацию, рационализацию общественных расходов, усилить экономику и увеличить инвестиции, а также приложить огромные усилия, чтобы снизить высокую инфляцию.

МИРНАЯ БОМБАРДИРОВКА

Бывшая ГДР преподала миру два урока: она показала, что такое социализм и чем грозит отсутствие экономической дисциплины в период перехода к капитализму.

Социализм обанкротился также и в ГДР

Еще несколько лет назад ГДР была для многих людей наглядным доказательством того, что социализм может-таки функционировать и даже приносить пользу, не достижимую при капитализме: очень дешевые продукты питания (благодаря огромным субсидиям), бесплатный отдых и полную социальную защищенность. Состояние экономики ГДР, каковым оно предстало миру после падения этого государства, резко подорвало такое представление. Все экономические успехи ГДР оказались в значительной мере лишь на бумаге — вследствие широко распространённой во всем социалистическом лагере фальсификации статистики. Сильно занижались, в частности, официальные показатели роста цен, что увеличивало рост национального дохода. В этом смысле ГДР была поистине «бумажным тигром». Социализм ГДР поддерживался значительным вливанием твердых, капиталистических, западнонемецких марок. Частично они поступали от особого экспорта в ФРГ своих собственных «неблагонадежных» граждан. В итоге экономика ГДР, быть может, в большей степени, чем экономика других социалистических стран, оказалась банкротом, живущим за счет своего будущего. Это проявилось в числе прочего и в мнимой экономии — в пренебрежении к ремонту и консервации всех основных фондов.

Другой формой поддержания текущего потребления за счет будущего стала внешняя задолженность, в счет которой финансировались текущие расходы. (То же самое, но в огромном масштабе, имело место в семидесятые годы и в Польше.)

Горькое пробуждение

Падение социализма в ГДР не сразу обнаружило банкротство восточногерманской экономики. К тому же не было времени для разработки солидной программы экономического объединения с Западной Германией. Следует вспомнить и о вполне естественной эйфории тех месяцев, а выборы в ФРГ были уже на носу. В такой ситуации экономическая интеграция обеих Германий казалась легкой и безболезненной. Канцлер Коль в своем предвыборном заявлении обещал, что ни одному западному немцу не придется платить за объединение.

Принуждение к эмиграции из ГДР диссидентов за определенную сумму вносимую правительством ФРГ. — *Примеч. перев.*

Спустя три года стало ясно, что фактическое развитие событий сильно отличается от ожидавшегося. Уровень национального дохода и объем произведенной продукции в бывшей ГДР упал значительно больше, чем в Польше. Продукция промышленности Восточной Германии в 1993 г. составляла едва 3—4% от общегерманской. Остатки восточногерманской промышленности целых 90% своей продукции производят на местный рынок. Кардинально уменьшилась доля экспорта. Около 15% населения живут на пособие. Если к этому количеству добавить еще лиц, требующих переобучения или работающих на сокращенном режиме, то уровень безработицы достигнет 35%.

Несмотря на резкое снижение произведенного национального дохода и рост безработицы, уровень потребления в бывшей ГДР быстро вырос. Это стало возможным благодаря вливанию средств из бюджета Западной Германии. В 1993 г. совокупный взнос составил 180 миллиардов западногерманских марок, то есть значительно больше, чем весь национальный доход Польши. Рядовой гражданин бывшей ГДР в два раза больше потребляет, чем производит. И все-таки, несмотря на рост потребления, в Восточной Германии сильно ощущается недовольство и общественная напряженность. Это доказывает, что общественные и политические настроения в период великих трансформаций нельзя объяснять только экономическими факторами. Много недовольных (также в связи с экономическим объединением) есть и в западной части Германии. Для финансирования огромных субсидий для бывшей ГДР пришлось повысить налоги, хотя, как мы помним, и было обещано, что объединение ничего не будет стоить. На таком фоне возникла заметная напряженность между богатыми *Wessis* и бедными *Ossis*.

Сравнительно больше успехов достигнуто в приватизации. Из 13000 государственных предприятий приватизировано 10000, закрыто 2500, еще 500 фирм готовятся к приватизации. Такая быстрая приватизация была проведена при помощи огромной армии специалистов, главным образом из Западной Германии, занятых в приватизационном ведомстве (*Treuhändanstalt*). Богатая Западная Германия смогла взять на себя долги приватизированных восточногерманских предприятий (в Польше взвалить эту ношу пришлось бы на далеко не богатых граждан). Но успех приватизации как таковой отнюдь не означает успеха самих приватизированных предприятий. По мнению Хайнера Фласбека, сотрудника Немецкого института экономических исследований, типовое предприятие несет потери, равные 30% годового оборота. Кроме того, *Treuhändanstalt*, завершив в 1994 г. приватизацию, оставило долг в 275 миллиардов марок — почти в два раза больше годового дохода Польши.

Большие проблемы — ошибочные теории

Большие проблемы порождают самые разнообразные теории. Многие склонны видеть в ситуации ГДР доказательство пагубных последствий быстрого перехода к капитализму. За такой интерпретацией кроется простая, хотя и ошибочная, ассоциация экономических проблем ГДР с неприемлемой стратегией радикального перехода к капитализму, а может, и с антипатией к данной системе в целом. Стратегии «шоковой» противопоставляется невнятно сформулированная стратегия «мягкого» или постепенного перехода, в описании которой содержится много возвышенных слов о человеке, но нет и следа аналитического мышления. Аналитическое же мышление опирается не на благие намерения, а на конкретные действия и их результаты. Результаты эти надо сравнивать с последствиями иных действий при тех же условиях на старте и тех же внешних обстоятельствах, сопровождавших перемены в экономике. Такой подход к реальной действительности и покажет, что страны, где была применена радикальная экономическая стратегия (Польша, Чехия, Эстония, Латвия), оказались в значительно лучшей экономической ситуации, нежели государства, избравшие совершенно иной путь. Там, где стремились отойти от шоковой терапии как можно дальше, приходится констатировать подлинную катастрофу (Украина).

Развал рабочих мест

Вернемся, однако, к бывшей ГДР. К экономической катастрофе эту страну привела не быстрота перехода к рынку, а сам способ этого перехода: перенос в разрушенную социализмом страну «сверхсоциализированной» экономической модели Западной Германии, а также чудовищная запутанность отношений собственности, вызванная характером и порядком реприватизации³⁷. Восточная Германия пострадала (впрочем, как и другие постсоциалистические страны) и вследствие разрушения экспорта в бывший СССР. Но особенно сильно содействовали ее эко-

номическому краху еще два фактора. Первый — это принятый на волне предвыборной эйфории и вопреки позиции Бундесбанка обмен восточногерманской марки на западную в отношении 1:1. В таком соотношении был проведен в бывшей ГДР и перерасчет оплаты труда, выгодный для работников, но только до тех пор, пока они сохраняют работу. Однако скоро стало очевидным, что при таком перерасчете и при значительно более низкой производительности труда предприятия бывшей ГДР становились все более неконкурентоспособными. Себестоимость единицы продукции на большинстве предприятий намного превышала цену ее реализации. Но еще более разрушительным оказался второй фактор: под давлением профсоюзов и при полной пассивности восточногерманских государственных работодателей заработная плата, и без того достаточно высокая, выросла в течение 9 месяцев — в разных отраслях — от 50 до 80%!³⁹

Как пишет Томас Майер, «с момента объединения Германии экономические процессы там проходят, кажется, в соответствии с мрачной логикой греческой трагедии»³⁹. Истоки возникшего краха были заложены еще в 1990 г., когда было принято фатальное решение о резком повышении зарплаты в Западной Германии, а затем об уравнивании оплаты в бывшей ГДР с оплатой в капиталистической части Германии. В марте 1991 г. работники и мощный профсоюз металлистов заключили соглашение, которое предусматривало повышение зарплаты в несколько этапов, с тем, чтобы уже к 1994 г. оплата в бывшей ГДР достигла уровня оплаты в Западной Германии. Правда, уже тогда возникли сомнения относительно осуществимости подобного соглашения. Работодатели, в частности, настаивали на включении в соглашение особого пункта, который допускал бы новые консультации по зарплате на случай, если экономические процессы пойдут иначе, чем предполагалось. Однако профсоюзы решительно отклонили всякую возможность ревизии соглашения о росте оплаты труда. На позицию профсоюзов повлияла и готовность правительства субсидировать несостоятельные отрасли хозяйства в бывшей ГДР, и высокие пособия по безработице, соответствовавшие нормам, принятым в «сверхсоциализированной» экономике ФРГ, разумеется, за счет западногерманского налогоплательщика.

Резкое повышение оплаты труда естественно опережает рост производительности труда, которая не в состоянии столь же быстро повышаться. Рост оплаты, опережающий динамику производительности труда, напоминает резкое прибывание воды в резервуаре с двумя отверстиями с надписями «инфляция» и «безработица». Если правительство проводит «мягкую» политику печатания центральным банком денег для покрытия быстро растущей зарплаты, то тем самым оно, правительство, как бы прикрывает отверстие «безработица». Вода выливается через отверстие «инфляция», цены взмывают вверх и повышение зарплаты приводит к благополучию на бумаге. Страна оказывается на пороге гиперинфляции.

Так произошло в Польше в 1989 г. Другая серьезная причина гиперинфляции в нашей стране (Польше. — *Перев.*) — резкое повышение (под давлением Объединенной крестьянской партии) закупочных цен на с/х продукцию при замороженных (до августа 1989 г.) потребительских ценах. Пришлось радикально увеличить субсидии, что и взорвало госбюджет. Если же правительство ведет твердую политику и не печатает денег для обеспечения резко повышенной зарплаты (а следовательно, не девальвирует местную валюту), то оно как бы частично прикрывает отверстие с надписью «инфляция», и вода выливается через отверстие «безработица». Денег на покрытие высокой зарплаты нет, и, естественно, значительная часть работников вынуждена распрощаться с работой.

Именно это и случилось в бывшей ГДР, причем в наиболее обостренном виде. В Восточной Германии независимый Бундесбанк, ответственный по конституции за сохранение устойчивости западногерманской марки, проводил последовательную антиинфляционную политику. Резкий рост зарплаты при жестком монетарном сдерживании и твердом курсе местной валюты можно сравнить с «мирной» бомбардировкой предприятий, то есть с быстрым, но тихим уничтожением экономической стоимости этих предприятий. Вопреки широко распространенному мнению стоимость эта вовсе не равняется сумме, которая была в прошлом вложена в данное предприятие. Если, например, кто-нибудь строит дорогой, роскошный дом, но этот дом из-за дефектной конструкции оказывается непригодным для жилья, то стоимость такого дома в лучшем случае равна той сумме, которую можно выручить за продажу использованного материала (да и то за вычетом стоимости работ по демонтажу). Итак, экономическая стоимость связана не с былыми затратами на данный объект, а с возможной выгодой от его функционирования в будущем. На предприятии эта стоимость состоит из будущей прибыли от реализации его продукции. Резкий же рост зарплаты приводит к тому, что расходы на производство становятся выше доходов от реализации, и тем самым уничтожается возможная

прибыль. Точно таковы и последствия от физической бомбардировки. Рост зарплаты вызвал потери на предприятиях бывшей ГДР уже сразу после приватизации. Затраты труда в пересчете на единицу продукции в 1993 г. оказались в среднем на 70% выше, чем в Западной Германии.

Последствия макроэкономической катастрофы в бывшей ГДР смягчаются огромными денежными вливаниями из западной части Германии, что, в свою очередь, вызывает там серьезные экономические трудности — рост бюджетного дефицита, хозяйственный спад и т.п.

Значение приватизации

Польская радикальная экономическая программа отличалась от восточногерманской прежде всего тем, что помимо общей для обеих программ политики сохранения валютной устойчивости в Польше был введен жесткий контроль зарплаты в государственном секторе. Характер формы собственности в этом секторе предопределил слабый иммунитет государственных работодателей к чрезмерным требованиям (независимым от производительности труда) повышения зарплаты. Следовательно, именно здесь была самая низкая дисциплина в вопросе вознаграждения за труд. Главная задача состояла в том, чтобы увеличить шансы на выведение страны из гиперинфляции и уменьшить масштаб явления, которое приобрело катастрофический характер в бывшей ГДР — ликвидации предприятий, а значит, и рабочих мест, из-за резкого повышения заработной платы. Разумеется, контроль над зарплатой («попивек» — налог на сверхнормативную зарплату, выплачиваемый государственным предприятием. — Перев.) — весьма несовершенный, временный инструмент. Поэтому крайне необходима дальнейшая быстрая приватизация предприятий, чтобы создать пространство для разумных переговоров между работодателями, заинтересованными в повышении прибыли предприятий и, следовательно, в повышении производительности труда, и работниками, заинтересованными в свою очередь в высокой оплате своего труда. Таким образом рациональная стратегия (в Польше) связана с эффективным ускорением приватизации, дабы как можно скорее и без риска для общества избавиться от контроля оплаты. Отказ от него без такой увязки, а также замедление приватизации поставили бы Польшу на опасный путь экономической дестабилизации.

*Перевод с польского Н. А. Папчинской
пог редакцией Д. Травина*

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См. Herman Van der Wee, Prosperity and Upheaval. The World Economy 1945—1980, New York, 1986, s.50.

² См. No Thanks to Government, «Newsweek», 6.03.1989, s.11.

³ Chalmers Johnson, автор книги «MITI and the Japanese Miracle», California, 1982, пишет: «Высокий темп экономического роста был результатом реакции частного сектора на силы рынка, а не следствием интервенции правительства».

⁴ См. Emiko Terazono, Success Has Whittled Away MITI's Powers, «Financial Times», 6.12.1994, s.Y.

⁵ См. Peter Drucker, Japan: the Problems of Success, «Foreign Affairs», апрель 1978, s.571

⁶ Ср. P. Drucker, ук. соч.

⁷ О ревизии «японской модели» см. Losing its Way, «The Economist», 18.09.1994, s.78—79; Japanese Industry, «Financial Times», 6.12.1994.

⁸ P. Drucker, ук. соч., s.576.

⁹ См. Yoko Sazanami, Shujiro Urata, Hiroki Kawai, Measuring Costs of Protection in Japan, Washington, 1995.

¹⁰ «Financial Times», ук. соч.

¹¹ См. Kenichi Ohmae, For Japan's Economy: a Call to Arms, «The Wall Street Journal», 13.01.1994.

¹² См. Japan's Long March, «The Economist», 1.10.1994, s.74—75; Stanislaw Grzymkowsky, Czas na zmiany, «Rzeczpospolita», 24—25.12.1994, s.12.

¹³ См. «Financial Times», ук. соч.

- ¹⁴ См. The East-Asian Miracle, Washington, 1993.
- ¹⁵ Peter Stein, Sweden: Failure of the Welfare State, «Journal of Economic Growth», 1989, t.2, ss.31—40.
- ¹⁶ Judgment Day, «The Economist», 18.02.1995, ss.41—44.
- ¹⁷ См. Richard B. Freeman, Brigitta Swedenberg, Robert Topel, Economic Troubles in Swedens Welfare State — Introduction, Summary and Conclusions, 1995 (текст не опубликован).
- ¹⁸ См. Dieter Grosser, Spoleczna gospodarka rynkowa — bezpieczeństwo socjalne, Warszawa, 1994.
- ¹⁹ Ludwig Erhard, Grundbedingungen einer freiheitlichen Sozialordnung, B: Grundtexte zur Sozialen Marktwirtschaft, red. Karl Hohmann i in., t.II Stuttgart, 1988, s.14, цит. по: Astrid Rosenschön, Abschied vom Sozialpolitischen Interventionismus, «Orientierungen zur Wirtschafts — und Gesellschaftspolitik», nr.3, 1992, s.69-70.
- ²⁰ См. M. Friedman, Intrygujący pieniądz, Łódź, 1994.
- ²¹ См. D. Grosser, ук. соч. s.12.
- ²² См. D. Grosser, ук. соч.
- ²³ См. Hans Willgerodt, Soziale Politik: Gutgemeint und unsozial, в: «Orientierungen zur Wirtschafts — und Gesellschaftspolitik» nr. 3, 1992, s.633.
- ²⁴ См. H. Van der Wee, ук. соч., s.50.
- ²⁵ См. Hannerole Hammel, Soziale Marktwirtschaft: Anspruch und Realität eines Ordnungspolitischen Konzepts, в: Soziale Marktwirtschaft. Ein Modell für Europa, red. W. Klein i in., Berlin 1994, s.121.
- ²⁶ Horst Siebert, Why Has Potential Growth Declined? The Case of Germany, в: Policies of Long-Run Economic Growth, Jackson Hole, Wyoming, 1992, s.4.
- ²⁷ H. Hammel, ук. соч., s.123.
- ²⁸ См. Rodiger Dornbusch, Can Germany Compete, в: Two Reports on the State of German Economy, Washington, 1993, s.18.
- ²⁹ См. «Newsweek», 12.04.1993, s.17.
- ³⁰ См. R. Dornbusch, ук.соч.
- ³¹ Подробнее об этом см. в: R. Dornbusch i Wolfgang Roth, Two Reports on the State of German Economy, ук. соч.
- ³² См. Ludwig Erhard, Wohlstand für Alle, Düsseldorf, 1990, s.248.
- ³³ См. Werner Bruns, Sozialkriminalität in Deutschland, Frankfurt am Main, 1993, цит. по: «Der Spiegel», nr. 12, 1993, s.60.
- ³⁴ См. German Tax Revolt in Luxemburg, «International Herald Tribune», 26—27.11.1994, s.11.
- ³⁵ См. Hans Willgerodt, ук.соч.
- ³⁶ См. «Financial Times», 10.10.1994, s.3.
- ³⁷ См. Alfred Schüller, Systemwechsel und Systemwandel in Deutschland — Die Soziale Marktwirtschaft an der Wende zu einer grundlegenden Veränderung? B: Soziale Marktwirtschaft. Ein Modell für Europe, red. W. Klein i in., Berlin, 1994, s. 207—231.
- ³⁸ См. Don't Mention the Wall, «The Economist», 6. 04. 1991, s. 63. Развернутый анализ восточногерманского «шока» см. в: Horst Siebert, Das Wagnis der Einheit, Eine Wirtschaftspolitische Therapie, Stuttgart, 1992.
- ³⁹ См. T. Mayer, So Much for Solidarity, «The Wall Street Journal», 5.05.1993, s. 6.

К 300-летию РОССИЙСКОГО ФЛОТА

В. А. БЕЛЛИ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Прадед адмирала Владимира Александровича Белли — Вильям Белли (Baille) — родился в Шотландии, в Эдинбурге, в 1769 году. В царствование Екатерины II был приглашен в Россию и стал со временем Василием Васильевичем Белли, директором Ширшимских заводов в Архангельской губернии, статским советником. В этом чине и скончался в Архангельске в 1827 году. И родоначальник российских Белли, и его потомки верно служили России — новому отечеству. На гербе их дворянском значилось: «Где хорошо — там и отечество». В России им было хорошо. Как выяснилось много позже — до поры, до времени.

Первым моряком в роду Белли стал дед Владимира Александровича — Александр Васильевич Белли, выпущенный из морского корпуса в 1821 году. Отец В. А. Белли — Александр Александрович — по стопам родителя не пошел, избрал иную стезю. Зато внук, автор воспоминаний, в 1900 году после третьего класса гимназии поступил в Морской корпус и в апреле 1907 года стал мичманом.

Службу офицерскую мичман Белли начал в трудное для Российского флота время. Большая часть кораблей его погибла в Порт-Артуре и в Цусимском сражении. Авторитет флота упал. «Самотопы» — так в газетах именовали морских офицеров. Но среди прошедших тяжкие испытания русско-японской войны нашлись люди, понимавшие необходимость, неизбежность коренных реформ на флоте. В Петербурге возник «Морской кружок», который возглавил отважный командир крейсера «Новик» и броненосца «Севастополь» капитан 1-го ранга Н. О. фон Эссен. Входившие в него офицеры анализировали причины поражения России в русско-японской войне, предлагали пути возрождения флота, восстановления его мощи. В кают-компаниях немногих оставшихся в строю кораблей говорили о том же. И мичман Белли, получив назначение на «Цесаревич» — один из трех уцелевших броненосцев на Балтике, сразу же услышал острую критику в адрес бывшего руководителя морского ведомства и смелые проекты на будущее. Эссен, его окружение — Ливен, Колчак, Зеленой, Кербер и другие — оказали значительное влияние на формирование Белли как морского офицера.

После трех лет плавания на «Цесаревиче» в Средиземном море и Атлантике Белли поступил в Минный офицерский класс в Кронштадте. После его окончания служил минным офицером на крейсере «Громобой» и на «Цесаревиче», именовавшемся уже линкором. На «Цесаревиче» встретил он начало первой мировой... В 1915 году Белли становится вторым минным офицером штаба Минной дивизии — самого активного и многочисленного соединения Балтийского флота. Он ведет радиосвязью, делом еще новым.

Начиная с 1915 года мощь Балтийского флота стремительно росла — в строй вступали линкоры-дредноуты, эсминцы, подводные лодки. Укреплялась береговая оборона, заново создавалась морская авиация, радиоразведка. Росла уверенность в скорой победе Антанты в войне с Германией. Но пришел февраль 17-го... В своих воспоминаниях Белли пишет, что был «лично предан императору Николаю II, но считал необходимой конституционную монархию... Я даже не понимал разницы между социал-революционерами и социал-демократами, между ними и кадетами». (Все они были для Белли «анархисты», то бишь «левые».) После добровольного отречения от престола царя и Михаила Александровича автор воспоминаний, так же как и другие офицеры, принял присягу на верность Временному правительству.

Незадолго до октября 17-го Белли, уже капитана 2-го ранга, назначают в штаб Балтийского флота, в Гельсингфорс. Он продолжает там службу и после Октябрьской революции, когда власть на флоте перешла к Центробалту. И когда из Гельсингфорса в

© Архив РГАВМФ

© Сергей Зонин (вступительная заметка)

© Л. И. Спиридонова (подготовка текста)

Кронштадт весной 1918 года вышел штабной корабль «Кречет» и другие корабли, на мостике рядом с командующим флотом капитаном 1-го ранга А. М. Щастным (и вевашим оперативной частью капитаном 2-го ранга М. А. Петровым) стоял Белли. (С «Кречета» осуществлялось руководство вошедшим в историю Ледовым переходом Балтийского флота, спасшим его от захвата Германией.)

В Петрограде В. А. Белли назначают командиром строящегося эсминца... «Капитан Белли». Судьба или кто-то забывается? Эсминец в 95%-й готовности, но выйти на нем в море Владимиру Александровичу не довелось. Корабль стоит у стенки, и его командир использует свободное время для изучения японского языка. Может быть, пригодится... Но в мае 1919 года неожиданно все меняется — Белли назначен флагманским минером в штаб Коморси (начальника Морских сил Республики), переведенный годом раньше из Петрограда в Москву.

С 1921 года Белли вновь в Петрограде, заместителем начальника Управления военно-морских учебных заведений. И вновь берется за изучение японского, поступив вольнослушателем в Институт восточных языков. В какой-то мере пригодилось... В 1922 году он отправляется в Пекин военно-морским экспертом в советское полпредство — иначе говоря, в посольство военно-морским атташе.

Перед отъездом в Китай Белли вызвал комиссар Морских сил В. И. Зоф и поручил встретиться в Корее с Ю. К. Старком. Бывший командир Минной дивизии (Белли служил под его началом) оставил ее в 1918 году, не желая служить у большевиков, перебрался на Дальний Восток. Там он принял командование Сибирской флотилией. Перед приходом белых во Владивосток Старк увел корабли в Корею. Белли предстояло предложить Старку вернуть корабли во Владивосток, награда — амнистия за все прегрешения против Советской власти... Миссия, однако, не удалась — Старк отверг все предложения и увел корабли на Филиппины...

С 1925 года В. А. Белли вновь в Москве, служит в штабе Морских сил, возглавляя его Иностранный отдел. О реалиях того времени, о том, кто и как служил в штабе, — в публикуемых страницах воспоминаний. Начиная с середины 20-х вал арестов, все нарастая, обрушивался на «бывших». Об их судьбе, о систематическом уничтожении офицерского корпуса дореволюционного флота ВЧК-ГПУ-НКВД журнал уже рассказал ранее (см. «Звезда», 1994, № 9). Уверен, что немало петербуржцев встретит на страницах воспоминаний В. А. Белли имена своих близких и знакомых, людей трагической судьбы.

С 1926 года Белли в Ленинграде — начинает преподавать в Военно-морской академии. 23 года читал он курс, вначале — морской стратегии, затем — оперативного искусства. Служба на главной, основополагающей кафедре Академии не была легкой. На смену ее начальнику, бывшему капитану 1-го ранга Б. Б. Жерве, подлинному ученому и интеллигенту, и ведущему курс «Боевая деятельность флота» М. А. Петрову в 1928 году пришел «красный академик» А. П. Александров, в прошлом матрос торгового флота, после Октября — ревтрибуналец, свирепствовавший в Одессе... Новый начальник кафедры сразу перевел дискуссионные вопросы оперативного искусства в сферу политическую. Жерве, Петрова и Белли арестовали в 1930—31 гг. Тюрьма, лагерь, снова тюрьма... Очень сдержанно, очень лаконично рассказывает об этом Владимир Александрович в публикуемых в журнале воспоминаниях. Видимо, и при работе над ними не оставляла его выработанная годами крайняя осторожность. И опять имена, имена, имена — тех, кто разделял с ним тяжкую судьбу. Воспоминания Владимира Александровича Белли уникальны и позволяют понять многое в драматической истории флота. Не сомневайтесь, что в скором времени они будут опубликованы полностью.

В начале 1933 года В. А. Белли был освобожден. Как и многим инженерам и ученым, военным из бывших офицеров, ему дали возможность вернуться к своей профессии. Советская власть еще не могла без них обойтись... Не знали тогда Белли и другие моряки из «бывших», что освобождены они по особому решению ГПУ, не будучи реабилитированными, оправданными. Все приговоры оставались в силе, и «изъять» любого могли без задержки. И вскоре начали...

За годы службы в Академии В. А. Белли сделал многое для военно-морской науки — оперативного искусства, военно-морской истории. Его перу принадлежат многочисленные труды, по которым и до войны и после нее готовились руководящие кадры нашего ВМФ. Имя В. А. Белли с уважением произносил каждый офицер, адмирал. Многие его работы не утратили своего значения и по сей день.

В ШТАБЕ В МОСКВЕ

По прибытии в Москву я явился на Варварку, 12, к начальнику Морских сил Э. С. Панцержанскому, начальнику Морского штаба Республики А. В. Домбровскому и комиссару Морских сил В. И. Зофу. Наиболее дружелюбный прием я встретил у В. И. Зофа. Что же касается Э. С. Панцержанского, то он принял меня холодно и свысока. А А. В. Домбровский отнесся ко мне просто враждебно. Это ему не помешало охотно принять бутылку привезенного мною коньяку. Когда в разговоре, при котором он сидел, а я стоял, я сообщил о сделанном мне в свое время предложении Я. Х. Давтяном перейти для службы в Наркоминдел, то получил реплику, что и надо было соглашаться. Словом, со всей очевидностью было показано

недоброжелательное ко мне отношение. Тут же я узнал о назначении меня начальником Иностранного отдела Оперативного управления штаба вместо С. М. Холодовского, по какой-то причине уволенного от службы. Временно после его ухода и до моего прибытия начальником отдела был Борис Александрович Сокольников. Он с семьей хорошо обжился в Москве, и его совершенно не устраивало переезжать в Ленинград, куда Б. А. Сокольников получил назначение начальником Оперативного отдела штаба Балтийского флота. Меня же совсем не устраивало оставаться в Москве. Мы с ним сделали даже попытку поменяться должностями. Получили согласие командующего Балтийским флотом А. К. Векмана на мое назначение в его штаб, но Б. А. Сокольников все же начальником Иностранного отдела назначить начальство не соглашалось. После месячного отпуска я вступил в должность начальника Иностранного отдела.

Оперативное управление штаба возглавлял Аркадий Александрович Тошаков, бывший старший лейтенант, очень способный и деловитый человек. Помощником у него был Виктор Константинович Васильев, <...>

Структура Оперативного управления была сходна с прежним российским МГШ — Морским генеральным штабом: стратегический отдел, тактический, организационно-мобилизационный, исторический и иностранный. Стратегическим отделом ведал В. К. Васильев, а после его назначения помощником начальника Управления — Владимир Петрович Калачев. В этом же отделе служили Владимир Александрович Аекин и Орест Сергеевич Солонников. Начальником Тактического отдела был Эверлинг, организационно-мобилизационного отдела — Рябинин, тоже из бывших офицеров и даже перешедший от белых; Исторический отдел находился в Ленинграде, и его возглавлял Егоров, бывший гардемарин, коммунист, чахоточный, очень достойный и порядочный человек; если не ошибусь, к отделу имел какое-то отношение Николай Васильевич Новиков, хотя его основным местом службы была редакция «Морского сборника». В Иностранном отделе моими старшими помощниками были Николай Иванович Ордынский и Стефан Иванович Надачин, младшими помощниками — Борис Сергеевич Готшалк и бывший радиотелеграфный старшина, забыл его фамилию, человек в высшей степени достойный, очевидно, назначенный в отдел в качестве партийного наблюдателя. Имелся еще делопроизводитель Кикин из недоучившихся гардемарин и переводчица. К сожалению, Н. И. Ордынский не особенно долго служил вместе со мной. Вскоре его назначили начальником Организационно-мобилизационного отдела вместо арестованного Рябинина.

Я перечислил не всех сотрудников Оперативного управления. Кроме состава Иностранного отдела, фамилии других работников Управления у меня унесло время, и я их не помню. Служили там еще Касперкевич, Заболотский, а через некоторое время прибыли окончившие Академию А. А. Ждан-Пушкин и Н. М. Кедров.

Даже из неполного списка работников Оперативного управления видно, что в основном это беспартийные, бывшие офицеры. С этой точки зрения состав Управления несколько напоминает те времена, когда я служил в 1919—1920 гг. в штабе Коморси, хотя теперь, как выяснилось, большинство сотрудников значительно моложе — из бывших мичманов и лейтенантов. И даже начальник Управления А. А. Тошаков имел в прошлом всего лишь чин старшего лейтенанта. Он служил штурманом на эскадренном миноносце «Капитан Изильметьев». <...>

Политический аппарат в штабе выглядел куда внушительнее, чем когда-то в штабе Коморси. В каждом управлении имелся свой комиссар и его помощник. У нас комиссаром был бывший унтер-офицер с одного из миноносцев — Драницын, человек очень сдержанный, спокойный и доброжелательный. У него имелся помощник — Дмитрий Александрович Ладыгин, тоже из бывших матросов. Тогда говорили, что он уполномоченный от ГПУ.

В общем, многое напоминало штаб Коморси в 1919—1920 гг., но бросалась в глаза и существенная разница. В то время взаимоотношения между сотрудниками основывались на доверии и доброжелательстве. Теперь следовало опасаться подвохов, если даже не доносов. Когда я прибыл в штаб, мне кто-то сказал: будьте осторожны, у нас и стены имеют уши. Я привык к полному доверию, каким пользовался в Китае, и меня крайне шокировал, чтобы не сказать больше, постоянный контроль. Д. А. Ладыгин, например, входил в кабинеты сотрудников и через плечо смотрел, чем каждый из них занимается!

Иностранный отдел занимался различными морскими международно-правовыми вопросами и поддерживал постоянную связь с экономическо-правовым отделом НКВД. Во главе этого отдела стоял Андрей Владимирович Сабанин, а его ближайшим помощником был Николай Петрович Колчановский. Оба правоведа, то есть окончившие Императорское училище правоведения, в прошлом сослуживцы по Министерству иностранных дел, очень квалифицированные работники. А. В. Сабанина

очень ценил Л. М. Карахан, как до своего пребывания в Пекине, так и по возвращении в Москву. Видимо, это обстоятельство послужило причиной гибели А. В. Сабанина в ежовские времена вместе с Л. М. Караханом. Что же касается Н. П. Колчановского, то меня с ним связывало еще близкое знакомство наших отцов. Все же, отдавая должное деловым качествам обоих этих людей, нельзя не сказать, что со мной, а вернее сказать, с нами, т.е. с представителями Морского штаба, они держались холодно, чопорно, обращались свысока. Должно быть, сказывалась привычка, унаследованная со времен Училища правоведения и Министерства иностранных дел.

Разведывательных функций Иностранный отдел не имел, и когда требовались статистические сведения об иностранных флотах, то мы пользовались материалами Разведывательного управления РККА. Эта область работы отдела лежала на Б. С. Готшалке, и он с нею отлично справлялся. Правда, на полугодовом отчетном заседании начальников отделов у начальника Управления А. А. Тошаков заявил о своем недовольстве работой Иностранного отдела в части сведений об иностранных флотах. Мне показалось несколько странным, что за истекшее до этого время об этом не заходило раньше речи. Думаю, что «сработали» наветы со стороны В. П. Калачева и других, недоброжелательно относившихся ко мне лично.

Одной из обязанностей начальника Иностранного отдела был прием иностранных морских атташе. На счастье мое, их тогда в Москве наличествовало только два — итальянец, капитан 1-го ранга Луиджи Миралия, и японец, капитан 1-го ранга, кажется, по фамилии Икенака. По неизвестным для меня каналам им стало известно о моем назначении начальником отдела. Миралия прибыл в парадной форме. Через пару дней я ездил в итальянское посольство, отвез ему ответную визитную карточку. Японец пришел в повседневной форме и сообщил о своем отъезде из Москвы в Японию в ближайшее время и о прибытии на его место капитана 2-го ранга Массаки. Как итальянец, так и японец хорошо говорили по-русски. Они имели неприятную для меня манеру приезжать в штаб неожиданно, без предварительного уведомления. В кабинете мы помещались втроем, кроме меня еще Н. И. Ордынский и С. И. Надачин. Как только иностранец входил в дверь, С. И. Надачин бежал за Д. А. Ладыгиным, который обязательно присутствовал на беседе. По уходе же посетителя я немедленно писал рапорт по начальству с подробным изложением содержания беседы. Я привык, будучи за границей, к вежливым взаимоотношениям с иностранцами, а здесь иногда я получал упреки от В. И. Зофа через А. А. Тошакова, будто «опять в Иностранном отделе расшаркивались» перед иностранным атташе. Думаю, что это шло от Д. А. Ладыгина, который почему-то с самого моего появления в штабе относился ко мне явно недоброжелательно.

Может быть, я не сумел себя правильно поставить. При моем предшественнике, С. М. Холодовском, начальник отдела имел непосредственный доклад начальнику Морских сил и комиссару Морских сил. Когда я принял отдел, все изменилось. А. А. Тошаков мне заявил, что я имею право доклада только ему и в высшие инстанции непосредственного доступа лишен. Мне это было безразлично, но престиж Иностранного отдела все же упал. Думаю, А. А. Тошаков делал это по соглашению с А. В. Домбровским.

Капитан 1-го ранга Миралия держал себя чрезвычайно корректно. Он, вероятно, имел связи с какими-нибудь московскими семьями и потому представлял положение беспартийных специалистов из числа «бывших». Предположение это подтверждается тем, что Миралия продолжал брать уроки русского языка, конечно, вполне частным образом. Другим показал себя Массаки. Этот развязный японец, видимо, полагал, что с русскими следует обращаться панибратски, развязно. Как-то раз, зайдя в кабинет, он попросил, чтобы я ему дал схему организации нашего штаба. Я ему дипломатично ответил, что в настоящее время идет реорганизация штаба и потому для него не представлял бы интерес такой документ. Он продолжал настаивать, и я довольно резко ответил, что не могу дать подобные сведения.

Миралия так освоился с нашими порядками, что стал приходиться одетый в гражданскую одежду, в бюро пропусков предъявлял свой документ и неожиданно появлялся в нашем кабинете. Я получил приказание В. И. Зофа прекратить такие посещения. В очень деликатной форме, ссылаясь на неудобство ему самому обращаться в бюро пропусков, я просил итальянца впредь просто звонить мне по телефону о предполагаемом его приходе. Тогда он будет встречен при входе в штаб, и не будет надобности самому обращаться за пропуском. С этого времени неожиданные визиты Миралии прекратились. <...>

После установления дипломатических отношений с Францией встал вопрос о возвращении нам так называемой Бизертской эскадры, т.е. кораблей, уведенных в 1920 г. белогвардейским командованием из Севастополя в Бизерту. Вокруг этого дела разыгрались страсти. Румынские, и отчасти турецкие, власти не хотели, чтобы

корабли вернулись в Черное море, дабы не было резкого усиления Красного Черноморского флота, который в это время состоял из крейсера «Коминтерн» (бывший «Память Меркурия»), двух эскадренных миноносцев — «Незаможник» и «Петровский» (достроенные эсминцы типа «Новик»), пяти канонерских лодок типа «Эльпидифор», пары старых угольных миноносцев, тральщиков и т. д. Шведское правительство не хотело усиления нашего флота на Балтике и тоже старалось воздействовать на Францию, чтобы корабли не были возвращены Советскому Союзу. <...> Французские капиталисты, вообще владельцы облигаций займов, в свое время предоставленных Францией России, настаивали перед своим правительством, чтобы бизертские корабли пошли в счет непоплаченных долгов царского времени. В конце концов Национальное собрание Франции отказало в возвращении нам кораблей, и они пошли на слом. <...>

Однако в период всех этих переговоров и интриг был момент, когда казалось вполне вероятным возвращение кораблей Советскому Союзу. В. И. Зоф вызвал меня и приказал пригласить итальянского атташе, чтобы спросить, может ли итальянское правительство предоставить этим кораблям право захода в итальянский порт для небольшого ремонта и снабжения, учитывая продолжительность перехода из Бизерты в Севастополь. Миралия был предельно внимателен, и на следующий день мы уже получили ответ, что таким портом может служить Палермо на Сицилии. Воспользоваться, однако, этим разрешением не пришлось.

Осенью 1924 г. Миралия получил разрешение посетить Балтийский флот. В штабе разработали соответствующую директиву командующему флотом, в которой указывалось, что нельзя показывать гостю. В частности, речь шла о трехтрубных торпедных аппаратах миноносцев. По директиве запретные объекты накрывались чехлами. Пожалуй, все эти предосторожности оказались лишними. Два эскадренных миноносца на Балтике — «Автроил» и «Спартак» — сдались англичанам во время гражданской войны. В Бизерте тоже находились новые миноносцы-«новики» и новейший линейный корабль «Воля», бывший «Император Александр III». Так что все наши технические секреты давно перестали быть таковыми. Итальянского атташе эти дела и не интересовали. Меня послали сопровождать Миралию. В Ленинграде мы сели на посыльное судно «Пионер» и отправились вниз по Неве. Чтобы гость особенно не рассматривал судостроительные заводы, ему сразу же предложили какую-то скудную закуску — такое было время. Однако гость на эту удочку не попался и выскочил на палубу. В это время на Балтике в строю было два линейных корабля — «Марат» и «Парижская коммуна», два других — «Гангут» и «Полтава» — уже давно стояли у Балтийского завода в ожидании очереди на восстановление. Незадолго до описываемого времени вышло распоряжение вводить в строй «Гангут», и он был переведен в Кронштадт в док. Миралия, выйдя на палубу «Пионера», сейчас же заметил отсутствие «Гангута» и спросил: «Вы вводите «Гангут» в строй?» Вероятно, он уже об этом знал от своих агентов и только проверял полученные сведения. Я ему ответил, что «Гангут» введен в док для осмотра подводной части и итальянский атташе его увидит в доке в Кронштадте.

Позднее Миралия побывал также и на Черноморском флоте, но уже без моего сопровождения.

Ранней весной 1925 г. мне пришлось тоже съездить в Севастополь. Кто-то из начальства заметил, что командный состав кораблей недостаточно осведомлен о состоянии иностранных флотов. Потянули к ответу Иностранный отдел, хотя, несомненно, обучение личного состава флотов никак не могло входить в обязанности отдела. Кончилось дело тем, что к отправлявшейся в инспекторскую поездку на Черное море комиссии пристегнули меня с задачей прочитать лекции по иностранным флотам. Е. Е. Шведе любезно снабдил меня новейшими материалами, и, кажется, моя лекция в штабе флота вышла неплохой. Инспекторскую комиссию возглавлял комиссар штаба Георгий Павлович Галкин, в члены комиссии вошли Анкудинов, Феодотьев от Финансового и Технического управлений и я. Направились в Севастополь. Много времени уделили осмотру береговых батарей, побывали на кораблях, в авиационных частях. Совпало все это с Пасхой. Мы с Феодотьевым побывали у заутрени (в штатском, конечно), а затем пошли на разговенье к начальнику штаба флота Георгию Андреевичу Степанову. Из Севастополя мы на катере перебрались в Николаев, посетили Одессу и вернулись в Москву. Я упустил сказать, что к этому времени произошла смена главного морского командования. В. И. Зофа назначили начальником Морских сил вместо Э. С. Панцержанского, получившего должность командующего Черноморским флотом. А. В. Домбровский стал помощником начальника Военно-морской академии в Ленинграде. Вместо него начальником штаба был назначен Сергей Павлович Блинов, служивший в Гидрографическом управлении в Ленинграде и упорно не желавший переезжать в Москву. Его хорошо знал В. И. Зоф

как начальника Оперативного отдела в 1919—1920 гг., когда Вячеслав Иванович состоял членом Военного Совета Балтийского флота. Получилось все-таки не совсем ладно. В. И. Зоф как неспециалист моряк, как вообще не военный, хотя и умный человек, конечно, мало подходил к должности начальника Морских сил. А начальник штаба, его правая рука С. П. Блинов все время говорил, что не хочет занимать эту должность и только и мечтает вернуться в гидрографию. Пожалуй, такая позиция этого, несомненно, очень способного человека, очень порядочного, могла способствовать грустному концу. Его арестовали в 1930 г. и расстреляли.

В мае 1925 г. в Ленинград прибыли итальянские эскадренные миноносцы (лидеры) «Pantera», «Tigre» и «Leone». Командовал отрядом капитан 1-го ранга Каваньяри — командир «Pantera». Визит этот организовывал итальянский атташе во второй раз. В предыдущем году приходил в Ленинград эскадренный миноносец «Mirabello» под командованием капитана 2-го ранга Пини.

Я был отправлен в Ленинград в качестве представителя главного морского командования. Организация приема возлагалась на начальника Учебного отряда Балтийского флота Николая Александровича Бологова, державшего свой флаг на канонерской лодке «Красное Знамя» (бывший «Храбрый»).

Первый прием командиров кораблей состоялся у агента Наркоминдела Вайнштейна. Агентство помещалось на Невском против улицы Гоголя, в небольшом двухэтажном доме. Завтрак же в честь итальянцев Вайнштейн давал в бывшем особняке великого князя Кирилла Владимировича на улице Глинки. Этот особняк был тогда в распоряжении НКВД и служил для приемов гостей. Кроме итальянских командиров кораблей на завтраке присутствовали итальянский морской атташе и я. Завтрак проходил хорошо, в дружелюбных тонах. Но вот гости чокнулись между собою рюмками и произнесли слова «O la-la». Я тогда не обратил на это никакого внимания, хозяин — тоже. Позднее же я узнал, что это фашистский клич, призывающий к истреблению евреев. Сколько же наглости надо было иметь, чтобы, будучи в Советском Союзе, находясь в гостях по официальному приглашению представителя НКВД, еврея по национальности, проделать такую штуку. Расчет был, конечно, на то, что ни Вайнштейн, ни я не поймем, в чем здесь дело. Каваньяри и в дальнейшем вел себя не особенно дружелюбно.

Балтийский флот устроил для личного состава итальянских кораблей прием в Доме офицеров на Литейном проспекте. С нашей стороны были приглашены многие начальники разных степеней из военного порта, из Гидрографического управления, из военно-морских учебных заведений, все носившие нашивки широкие и одну или две средних. С итальянской точки зрения это все были адмиралы, и Каваньяри мне на другой день с иронией сказал: «J'etais dans une corbeille d'admiraux» (т.е. «Я был окружен адмиралами»). Теперь уже не помню, но были и другие случаи его нетактичного поведения. Между прочим, Каваньяри во время второй мировой войны одно время командовал итальянским флотом. Последний прием состоялся на «Pantera». На завтраке присутствовали кроме командиров итальянских кораблей и Миралини итальянский консул в Ленинграде Бомбиери и наши представители: Вайнштейн, Н. А. Бологов, я, может быть, еще кто-нибудь, не помню. Хозяева подарили каждому из нас по маленькому жетончику с изображением пантеры. Каваньяри и здесь не мог не съехидничать. «Они серебряные», — сказал он, видимо, считая, что при наших скромных ресурсах того времени получить серебряный жетончик размером с двугривенный — событие.

В декабре 1925 г. ожидалось прибытие в Одессу шведского учебного крейсера «Фильгия». В. И. Зоф приказал мне ехать в Одессу в качестве представителя главного морского командования. Организация приема возлагалась на командование Черноморским флотом. Для этой цели в Одессу прибыл эскадренный миноносец «Петровский» под брейд-вымпелом командира дивизиона. Офицер связи — сотрудник штаба флота Бекман — действовал в полном согласии со мной. Так как в шведском посольстве в Москве не имелось ни морского, ни военного атташе, то для приема крейсера прибыл в Одессу первый секретарь посольства.

Командиром «Фильгии» был молодой уже капитан 1-го ранга Хэг, человек очень приятный, хорошо воспитанный. Он совершенно откровенно говорил мне (мы разговаривали на английском языке), что никак не ожидал увидеть в Одессе богатый рынок со всевозможными продовольственными товарами, в том числе с прекрасным маслом. Очевидно, он представлял себе, что в Советском Союзе в 1925 г. еще продолжает свирепствовать голод. Он делился со мной своими впечатлениями совершенно доброжелательно. Опасался он также подходить к нашим берегам, так как читал в «Извещениях для мореплавателей» инструкцию береговым батареям открывать огонь по всякому неожиданно подходящему к берегу судну. Оказалось же, по его словам, что приняли шведов радушно, лобезно... После приемов для

шведов на берегу в последний день командир «Фильгии» принимал нас у себя за обедом. Присутствовали с нашей стороны командир порта, командир дивизиона миноносцев, начальник гарнизона, Бекман и я. Все было бы хорошо, если бы начальник гарнизона не опоздал больше чем на полчаса, чем вызвал у шведского командира понятное неудовольствие. Расстались мы с капитаном 1-го ранга Хэггом и с секретарем шведского посольства очень тепло. Скажу, что прием у шведов показался мне много приятнее и искреннее, чем у итальянцев в Ленинграде. Позднее я как-то встретил в театре секретаря шведского посольства. Поздоровались, он был очень приветлив, но я постарался поскорее уйти в сторону, нам ведь запрещалось иметь бесконтрольные сношения с иностранцами.

Опыт двух приемов иностранных кораблей побудил меня к написанию пространной инструкции по этому вопросу. Как раз в это время к нам прибыла соответствующая книжка шведского флота. Используя ее, я представил Ф. Ф. Тыртову в Уставный отдел составленную мною работу. После рассмотрения и редактирования в Уставной комиссии вышло «Наставление по взаимоотношениям с иностранными кораблями и властями». Это была первая официальная инструкция такого рода, предусматривавшая случаи посещения иностранными кораблями наших портов и определявшая линию поведения наших кораблей за границей.

Однажды я получил телеграмму на английском языке от Смолвуда, англичанина, моего попутчика по вагону в поезде Пекин — Москва в 1924 г., сообщавшую о его приезде в Москву и размещении в гостинице «Савой». Это была тогда гостиница для иностранцев. Телеграмма вызвала некоторый переполох. А. А. Тошаков мне сказал: «Ну, это у вас еще отрыжка пребывания за границей». Действительно, произошло это в сравнительно скором времени после моего возвращения из Пекина, когда я, привыкший в Китае к полной свободе взаимоотношений, еще не знал о совершенно других условиях в Москве. Я считал долгом вежливости посетить Смолвуда и с некоторым затруднением со стороны Д. А. Ладыгина все же получил разрешение. Поехал в гостиницу «Савой». Швейцар сказал, что Смолвуда нет дома. Я оставил карточку, на обороте которой написал по-английски мое сожаление, что я его не застал. На другой день, с еще большими препонами, я получил разрешение проводить моего знакомого на вокзале. Он уезжал обратно в Пекин. Англичанин был рад меня видеть, сказал, что мою карточку ему передали только сейчас, когда он окончательно уходил из гостиницы. Я просил передать мой привет madame Смолвуд. Она мне прислала как-то письмо и пару открыток. Я ответил только один раз письмом. Теперь, побывав в Москве и в британском посольстве, Смолвуд был осведомлен о запрещении нам переписываться с заграницей. Он намеком дал мне понять, что ему это известно. На этом закончилось мое знакомство с семейством Смолвуд.

Вскоре по моему возвращению из-за границы меня иногда наводили на разговор о связях с иностранцами. У меня же их действительно не было. <...>

Из вопросов международно-правового характера мне пришлось принять участие в подписании протокола между СССР, Эстонией и Финляндией о мореплавании в водах Нарвского залива. Советскую делегацию возглавлял Н. П. Колчановский, членами состояли представитель морской пограничной охраны и я. Все вопросы настолько заранее согласовали, что протокол подписали на первом же заседании.

Давали мы также отзыв по предстоявшей заключению с Японией рыболовной конвенции. Я старался, сколько мог, сократить число пунктов у побережья, где японцам разрешалась бы ловля рыбы в наших водах. В те времена Япония была нашим потенциальным противником, и следовало непременно ограничивать ее агрессивные тенденции.

Однажды мне пришлось сопровождать В. И. Зофа на межведомственное совещание в НКВД по вопросу о режиме Черноморских проливов. Совещание возглавлял народный комиссар Максим Максимович Литвинов. Только тогда мне пришлось видеть этого умного, культурного, тактичного человека. В то время действовали положения, порожденные версальской системой после первой мировой войны. Для нас существовавший режим Проливов был невыгоден, и, пользуясь хорошими отношениями с Турцией, предполагалась возможность исправить положение вещей. Однако этого достигнуть удалось значительно позже, когда заключили в Монтрé новую конвенцию о режиме Проливов.

Г. В. Чичерина мне пришлось видеть тоже всего один раз и то мимоходом. Я пришел в жилой дом НКВД, где квартировал вернувшийся в Москву Я. Х. Давтян. На площадке меня остановил Г. В. Чичерин, спросил, откуда я приехал. Очевидно, моя заграничная одежда в те времена бросалась в глаза. Я ответил, что из Пекина, и даже тогда сразу не догадался, что говорю с Г. В. Чичериным, сообразил это позже, когда разговор уже закончился.

Когда я был начальником Иностранного отдела, морские атташе за границей у нас имелись только в Англии и во Франции — Е. А. Беренс, и в Финляндии — А. К. Петров. А. К. Петрова почему-то вскоре отозвали и уволили совсем от службы. Оставался только Е. А. Беренс, но его послали в Англию в миссию Красина не только и не столько как морского атташе, но как человека, ранее много служившего за границей, имевшего там знакомства. Е. А. Беренс подчинялся непосредственно Революционному Военному Совету СССР, и всякие обращения с нашей стороны носили характер просьб, сопровождаемых выражениями: «Если возможно», «Если вы найдете возможным» и т.п.

В Турции атташе отсутствовал. Одновременно с моим отправлением в Китай в Анкару морским атташе направили Левговда, но он вскоре не поладил с полпредом и был возвращен обратно. По желанию В. И. Зофа в Анкару послали Александра Александровича Соболева, бывшего лейтенанта, участника гражданской войны. Мне, как начальнику отдела, эта кандидатура казалась неудачной, но, конечно, я об этом говорить не имел права, коль скоро было получено прямое приказание начальника Морских сил. Я как будто предугадывал, что произойдет, хотя мое отрицательное отношение к кандидатуре А. А. Соболева не имело политического содержания. Он покинул полпредство и обратно в СССР не вернулся.

В Китай вместо меня никого не направили. Но так как установили дипломатические отношения с Японией, то туда послать моряка в качестве атташе, конечно, следовало. Однажды меня вызвал начальник штаба С. П. Блинов, только что вернувшийся с доклада Склянскому — заместителю председателя Революционного Военного Совета, куда он ездил, заменяя заболевшего В. И. Зофа. Склянский спросил после доклада: «Есть ли у вас такой Белли? Карахан просит назначить его морским атташе в Японию. Каково ваше мнение?» С. П. Блинов поддержал мою кандидатуру. «Ну что же, назначим», — сказал Склянский.

Через некоторое время я встретил на улице в Москве начальника Дальневосточного отдела НКВД Мельникова, с которым мы были знакомы по Китаю, он служил, если не ошибаюсь, в Харбине. Мельников меня остановил и говорит: «Скоро поедете в Японию, представление в правительство со стороны НКВД уже сделано». Я ответил, что надо еще согласие Реввоенсовета СССР. «Ну, это уже неважно, раз НКВД представление сделал». Еще прошло некоторое время, и я узнаю, что на заседании РВС СССР стоял вопрос о моем назначении в Японию. Кто-то что-то сказал, и вопрос сняли. Так я и не попал в Японию, и даже авторитет Л. М. Карахана не сыграл решающей роли. Я не сказал еще, что Л. М. Карахан в это время, вернувшись из Китая, снова стал заместителем Народного комиссара иностранных дел. Для меня осталось неизвестно, кто сказал про меня какую-то гадость на заседании. Когда я еще раз встретил на улице Мельникова, он очень холодно со мной поздоровался... В Японию никого не назначили, а я получил от В. И. Зофа записку следующего содержания: «Прекратить всякие разговоры о назначении кого бы то ни было морским атташе за границу, в том числе в Японию».

В начале 1926 г. меня как-то вызвал А. А. Тошаков и сообщил о назначении в наше Управление Евгения Константиновича Престина, бывшего лейтенанта, а по последней службе — начальника штаба Тихоокеанской флотилии. Я, может быть, не совсем точно привел название этого объединения. Названия тогда часто менялись. Е. К. Престин оказался не по душе А. А. Тошакову, а существовала вероятность его назначения помощником начальника Управления на место В. К. Васильева, ушедшего в Академию учиться на Высших академических курсах. Поэтому А. А. Тошаков предлагал мне перейти на должность его помощника, передав Иностранный отдел Е. К. Престину. Уж не знаю, был ли А. А. Тошаков вполне искренним, но мотивировку предстоящего перемещения высказал настолько убедительно, что я дал согласие. Думаю, что я сделал тогда очень неосмотрительный шаг. Дела Иностранного отдела я знал и, в общем, в этой роли чувствовал себя на месте. Дела же других отделов я не знал и руководить ими, конечно, не мог. Это обстоятельство не замедлило сказаться. Начальники отделов меня совершенно игнорировали. К тому же А. А. Тошаков уехал в отпуск, и я в продолжение месяца должен был вести незнакомые мне дела, ходить с ними с докладами к В. И. Зофу, не будучи сам в них достаточно компетентным. Назначение мое помощником начальника Управления не утвердил Реввоенсовет СССР, так что я исполнял эту должность временно. Об отказе от утверждения меня в должности мне сообщил Д. А. Ладыгин, как мне показалось, с большим удовлетворением и иронией. Нудно тянулось время без интересной работы и с чувством изолированности от остальных сотрудников Управления.

Вернувшись из отпуска, А. А. Тошаков принял от меня дела, но дальше никаких поручений мне не давал. Вот почему я стал сомневаться в искренности его предложения быть его помощником.

Единственным для меня событием этого времени стала командировка в Баку, в составе инспекции для проверки Каспийской военной флотилии. Инспекцию возглавлял Андрей Семенович Максимов, бывший вице-адмирал, командующий Балтийским флотом в 1917 г. после смерти А. И. Непенина. Теперь А. С. Максимов состоял для особых поручений при В. И. Зофе. Несомненно, его огромный опыт и здравый смысл могли быть хорошо использованы. Андрей Семенович в 1924 г. командовал посыльным судном «Воровский» и благополучно перевел его из Архангельска во Владивосток. По возвращении из Владивостока он не служил. Содержал в период НЭПа молочную ферму на станции Лосиноостровская, под Москвой. Сколько он имел коров и как все это организовал, я, конечно, не знаю, но А. С. Максимов жил обеспеченно. Каким образом произошло его приглашение на должность для особых поручений, я тоже не знаю. Но после ухода В. И. Зофа Андрей Семенович снова уехал на станцию Лосиноостровская, получив пенсию 200 рублей в месяц, что по тогдашнему времени и ценам выглядело очень хорошо. Говорят, он приходил еще в штаб во время Великой Отечественной войны, причем тогда явно нуждался. Он умер в 1951 г.

Каспийской флотилией командовал тогда бывший капитан 2-го ранга Петр Петрович Михайлов, хорошо известный председателю комиссии. Работу свою комиссия проделала весьма добросовестно и материалы представила начальнику Морских сил.

К этому времени относится начало моей литературной деятельности: небольшие статьи в газете «Красная Звезда» и в журнале «Военный вестник». <...> Две или три статьи поместил в «Морской сборник».

К осени 1926 г. прошла крупная реформа в отношении флота. Штаб РККФ, который я не совсем точно называл Морским штабом Республики (название это он имел до 1923 г.), упразднился. Оперативные функции передавались в сухопутный штаб, т.е. в штаб РККА. Высшим центральным органом морского ведомства стало Учебно-строевое управление. Само его название показывает ограниченность его функций. Начальником Управления назначили Михаила Александровича Петрова. В. И. Зофа, отстаивавшего самостоятельность флота, сместили и назначили управляющим Каспийским пароходством. Вместо него начальником Морских сил прибыл Ромуальд Адамович Муклевич.

Возможно, что тогдашний состав флота делал ненужным существование настоящего штаба, но поспешная ликвидация управления флотом говорила, что в дальнейшем не планируется рост и развитие отечественных Морских сил.

Сотрудники Оперативного управления получили новые назначения. А. А. Тошakov пошел начальником штаба Балтийского флота, некоторые перешли в штаб РККА (В. П. Калачев), другие остались в Учебно-строевом управлении, некоторых вовсе уволили от службы. На меня пришел запрос из Разведывательного управления, и я дал согласие там служить. Но однажды меня вызвал П. И. Курков, заместитель В. И. Зофа, и сказал о моем назначении преподавателем Военно-морской академии. Я ответил, что Академию не кончал и преподавателем там быть не могу. «Что же вы думаете, другие там лучше вас?» — возразил он. Я тогда попросил меня уволить от службы вовсе. «Вы — ценный специалист, и мы вас уволить не можем», — ответил П. И. Курков. Началась переписка с Академией. Там решительно возражали против моего назначения. Я это вполне понимаю, так как я действительно Академии вовсе не был нужен. Нажим на Академию из Москвы продолжался, и, наконец, получили очень условное согласие: учитывать образование Белли (читай — не кончал Академию), знание языков, но и состояние здоровья (я тогда сильно бодел), можем взять на испытательный срок. Я послал письмо начальнику Академии Б. Б. Жерве с просьбой окончательно от меня отказаться, чтобы я мог уйти совсем со службы. Ответа я не получил, и назначение мое в Академию все же состоялось.

Я посвятил службе в Академии отдельную главу своих воспоминаний, так как она заняла период в 23 года и являлась большим этапом в моей жизни и служебной деятельности.

28 ноября 1926 г. я впервые вошел в красивое серое здание на 11-й линии Васильевского острова как постоянный сотрудник помещавшейся в нем Морской академии. Вошел с тяжелым чувством человека, вторгнувшегося в чужой дом помимо воли его хозяев. С тяжелым чувством еще и потому, что отчетливо представлял себе неподготовленность мою к педагогической или научной деятельности в Академии...

РЕПРЕССИИ

В ночь на 15 октября 1930 г. я был арестован. В ту же ночь был арестован Л. Г. Гончаров. Несколько раньше подвергся аресту А. В. Домбровский. Он долго находился в ссылке, вернулся в Ленинград уже после окончания второй мировой

войны и через несколько лет умер. Специализировался он на преподавании в средней школе, а в военно-морскую службу назад вернуться не смог. Помощником начальника Академии после ухода А. В. Домбровского назначили еще при Б. Б. Жерве Левгова. Он держал себя очень независимо, мне думается, был на месте в этой должности, но при К. И. Душенове помощником начальника Академии стал начальник кафедры военно-морской географии В. Е. Егорьев. Я почти не застал его в этой должности, но говорили другие, что было с ним весьма тягостно, решения не принимались, все дела откладывались, бумаги залеживались в ящике письменного стола... Куда девался дальше Левгов, я не знаю. <...>

Итак, арест... Одни сутки я провел в тюрьме на Шпалерной, дальше меня перевезли в Москву и поместили во внутреннюю тюрьму при главном здании ОГПУ на Лубянке. Обвинения мне не предъявили до самого конца пребывания в тюрьмах, и я думал, что являюсь жертвой действий моего начальника кафедры А. П. Александрова. В день ареста в помещение нашей кафедры морской стратегии А. П. Александров зашел в сопровождении начальника отдела кадров Управления Военно-Морских сил в Москве Батиса. Оба еле со мной поздоровались... Думаю, они знали, что ночью я буду арестован. Поэтому я все время считал, что мне инкриминируется распространение «вредных» военно-морских теорий. Только в 1953 г., когда был полностью реабилитирован, я узнал, что арест связан с группой лиц, служивших вместе со мной в свое время в штабе в Москве. Когда в 1932 г. меня освободили, я встретил в Управлении Военно-Морских сил Д. А. Ладыгина. Он поспешил заверить, что он им «говорил, что не надо Белли трогать». Уж не знаю степени его искренности. А может быть, он и явился инициатором моего ареста?

В небольшой комнате во внутренней тюрьме нас помещалось 14 человек. Было абсолютно чисто (уборку и натирку пола мы выполняли, конечно, сами), стояли хорошие кровати с чистым бельем, хорошими одеялами и подушками. Кормили хорошо. По вечерам ежедневно появлялся врач. На прогулку не выпускали.

В камере я занял место только что куда-то отправленного Дмитрия Сергеевича Лемтюжника, тоже бывшего морского офицера, артиллериста, несколько лет плававшего на крейсере «Адмирал Макаров», а последнее время — преподавателя по оптике в Артиллерийском классе. Из моих спутников по камере хорошо запомнились двое: морской летчик дореволюционного времени Полубояринов и бывший начальник Советской военной академии, бывший генерал Генерального штаба Андрей Евгеньевич Снесарев. Полубояринов был очень приятный, общительный и добрый человек, он как бы ведал нашим хозяйством, т.е. теми покупками, которые мы могли делать в местной лавочке (через надзирателя, разумеется) в дополнение к казенному питанию. Я не знаю, что с ним было дальше, никогда его больше не встречал. А. Е. Снесарев окончил восточный факультет Петербургского университета по языку хиндустани, специализировался вообще по Индии. Затем перешел на военную службу, определили его в Генеральный штаб и, по его словам, отправили в продолжительную командировку в Индию с разведывательными задачами военно-географического характера. Дальше он закончил Академию Генерального штаба, участвовал в войне с Германией, был награжден Георгиевским крестом. После революции продолжал служить в Академии Генерального штаба, а по ее переформировании в Военную академию РККА — был ее начальником.

Мы с ним сблизились. Человек он был широкого образования, много видавший, чрезвычайно интересный собеседник. Находился он в этой камере уже давно. Едва ли не каждую ночь Снесарева вызывали на допрос. Отворялась дверь, входил надзиратель, спрашивал: «Кто тут на С?» Андрей Евгеньевич называл свою фамилию. «Инициалы полностью», — это означало сказать свое имя и отчество. После этого Андрея Евгеньевича уводили. Раз как-то, вернувшись утром, он мне сказал, что больше выдержать не мог и подписал все, что от него требовали. После этого он мне откровенно рассказал свою историю. Оказывается, в день Георгиевского праздника (26 ноября старого стиля) у него собрались бывшие офицеры и генералы — Георгиевские кавалеры. Кто-то, должно быть, донес об этом сборище, придав ему политическую окраску. После ареста А. Е. Снесарева заставляли признаться в участии в контрреволюционной организации, имевшей задачу произвести в Москве восстание, захватить Кремль и т.д. <...> А. Е. Снесарев оставался в камере, когда меня из нее перевели, и больше я его не встречал. Слышал, однако, что, получив 10 лет заключения в исправительно-трудовом лагере, он вскоре там умер.

Сидел еще в камере какой-то немец, не говоривший или делавший вид, что не говорит по-русски. Что ему инкриминировалось, я, конечно, не знаю. Но иногда он говорил по-немецки: «Я понимаю, у вас идет классовая борьба, но я-то здесь причем?» Был еще бывший сотрудник торгпредства в Стокгольме Головань и бывший гвардейский офицер Головкин. Других не помню, да, кроме того, население камеры систематически менялось.

В феврале 1931 г. меня перевезли в Бутырскую тюрьму. В смысле бытовом там было гораздо хуже. В камере находилось около 100 человек, так что спали впритык один к другому в три этажа: два на нарах, третий — на полу под нарами. Питание тоже много хуже. Обилие насекомых. Зато было более свободно, каждый день выпускали на час на прогулку во двор. В первые мои дни в этой тюрьме мне очень помог материально и морально Д. С. Лемтюжников, уже привыкший к тюремной жизни. Практиковались у нас по вечерам лекции и рассказы. Принимал в них участие и я. Так прошла зима. Население камеры непрерывно менялось. Одни уходили для отправки в лагерь, другие уходили совсем... Приходили новые. Состав заключенных был самый разнообразный: инженеры, экономисты, транспортники, преподаватели, бывшие офицеры. Всплыв в это время шла борьба с вредительством... Наряду с представителями интеллигенции появлялись и уголовники. Держали они себя скромно. «Своих», т.е. находившихся в той же камере, они, конечно, не обворовывали и не обижали... Остались у меня добрые воспоминания о некоторых соседях по нарам. Об инженере путей сообщения Воронцове-Вельяминове. Он, кажется, занимал должность министра путей сообщений у Колчака и, должно быть, по этому признаку попал в камеру. Года через два-три я его встретил на улице в Москве. Его тоже освободили. Хороший был человек москвич Борисевич, если не ошибусь, работавший по советской торговле, инженер путей сообщений Головин, наш молодой корабельный инженер Жаринцев, конструктор по торпедной части Ричард Никодимович Мусселиус и немало других.

В начале июня Д. С. Лемтюжников, кстати сказать, никогда не терявший хорошего настроения, откуда-то узнал, что все мы — бывшие морские офицеры — получили приговор: заключение в лагерь на 10 лет. Дмитрий Сергеевич сказал, что убежден — нас выпустят гораздо раньше. И в конечном счете он оказался совершенно прав.

Пришел день, когда нас отправили на этап. Это означало, что весь день мы провели в большом общем помещении, из которого отправляли группами в лагерь по разным направлениям. Здесь я неожиданно встретил моего товарища по выпуску из Морского корпуса А. М. Невинского, прослужившего всю службу до революции в Черноморском флоте. Ночью нас посадили в арестантские вагоны, где-то еще была пересадка в другие вагоны. Наконец прибыли в Пермь. Здесь Монтлевича, Жаринцева, Ричарда Никодимовича и меня посадили на крышу парохода и повезли по Каме в Усолье. На следующий день перевели в лагерь в Красновишерск. Работали по устройству дороги в лесу, на уборке у лесопильного завода и т.д. И вот оказалось, что начальник речного пароходства по реке Вишера — бывший балтийский матрос Эрнест Лапинг, когда-то писарь штаба Минной дивизии, в дальнейшем комиссар. В чем-то перед властью провинившийся, он оказался в лагере. Отбыл свой срок и стал во главе пароходства. Узнав, что я в лагере, он немедленно взял меня к себе в контору, сказав, что хорошо знает по штабу Минной дивизии, каков Белли работник. Правда, в конторе мне делать было совершенно нечего, там и так имелся перекомплект людей. В конторе работал и Владимир Георгиевич Гончаров, брат нашего академического профессора.

Я очень многим обязан Э. Лапингу. Во-первых, он выхлопотал мне ежедневный свободный выход из лагеря на пристань в контору. Во-вторых, приблизительно через месяц он устроил командировку вверх по реке для проталкивания застрявших судов и грузов. Я уже имел документы на отъезд в командировку, даже нужные с собой вещи перевез на пристань, как вдруг меня вызывают в контору лагеря. Там меня принял грузин, я забыл его фамилию. Вероятно, он тоже был из заключенных. Вы, говорит, в командировку собрались. Нечего вам ехать, давайте документы обратно. Я молча повиновался. Тогда, перейдя с довольно грубого тона на очень мягкий, он меня спросил: «У вас какой приговор?» Я ответил: «А сколько вы сидите?» Тоже ответил: «Ну так вот, больше и не будете сидеть, поняли? Только пока об этом никому не говорите». Читатель! Вы, вероятно, поймете, какое состояние глубокой радости меня охватило!..

Через 3—4 дня наша четверка — Монтлевич, Жаринцев, Ричард Никодимович Мусселиус и я — отправилась на пароходе в Пермь, но уже не на крыше, под дождем, а в помещении, правда, под охраной. В Перми нас посадили в купе классного вагона и отправили в Москву. Я был полон оптимизма, но мои спутники его не разделяли и до известной степени оказались правы. По прибытии поезда на Ярославский вокзал в Москве нас довольно долго продержали под конвоем в зале ожидания, затем посадили в «черного ворона» и доставили снова в Бутырскую тюрьму. Всего в лагере я пробыл около двух—двух с половиной месяцев. В Бутырской тюрьме сначала нас — моряков — поместили всех в одной камере. Я встретил здесь Николая Васильевича Новикова, Павла Владимировича Мессера, Юлия Юльевича Кимбера и многих

других. Спал я на нарах рядом с профессором стратегии Военной академии Александром Алексеевичем Свечиным. Затем почему-то нас разделили по разным камерам. Оказался я вместе с очень хорошим человеком, опытным подводником Иконниковым. Он никогда не терял хорошего настроения и был убежден, что все это скоро кончится. На самом деле оказалось не совсем так. Сидели мы в камерах месяц, другой, и никакого движения. Между тем за стенами тюрьмы обстановка сложилась следующая. В погоне за раскрытием вредительств оголили в стране все учреждения, высшие учебные заведения, т.е. всюду, где находились на службе старые специалисты. То же произошло в Красной Армии и во Флоте. И вот неукомплектованы штабы, катастрофически не хватает преподавателей в академиях и в училищах. Говорили тогда, что первым поднял вопрос о том, что необходимо как-то исправить положение, перед правительством К. Е. Ворошилов — по армии, за ним — начальник Управления Военно-Морских сил В. М. Орлов (он сменил Р. А. Муклевича). Пока вопрос решался, мы продолжали сидеть в тюрьмах. Между прочим, Бутырская тюрьма за это время стала неузнаваема. В камерах появились индивидуальные койки типа гамаков, но на подставках, перенаселенности больше не наблюдалось (очевидно, уже всех арестовали), совершенно вывели насекомых. Уполномоченные от заключенных в каждой камере в определенные дни отправлялись в местную лавочку, где покупали булки, пироги, печенье, конфеты, копчености и т.д. Ни на какие допросы нас не вызывали, так что речь, видимо, шла не о пересмотре дел, а о каких-то принципах, которые позволят отпустить нас на свободу.

В декабре моряков снова объединили в одной камере, называемой пересыльной, из которой обычно направляют заключенных в разные места. Хотя там были нары, но все же совершенно чисто. Спал я теперь рядом с М. А. Петровым. В последних числах декабря большую группу моряков освободили. Нам из окон было видно улицу, и для доказательства, что они на свободе, кое-кто из моряков показавшись на улице у стен Бутырской тюрьмы в один из последующих дней.

Я не сказал еще, что в этот период пребывания в тюрьме многие из нас поступили на службу в конструкторское бюро, открытое при тюрьме, и в разные другие организации.

31 декабря, под вечер, я стал несколько раздраженно говорить, что Новый год мне приходилось встречать во многих местах: в Неаполе, в Александрии, в Бизерте, на Сицилии, в Пекине, в Гельсингфорсе, Ревеле, не говоря уже о Петербурге. Прошлый год встречал во внутренней тюрьме, а теперь — в Бутырской. Как раз в это время открылась дверь и меня вызвали с вещами из камеры. На площадке надзиратель сказал: «Сейчас выпускать будут». После процедуры осмотра вещей и дачи мною подписки, что я немедленно явлюсь к начальнику Управления Военно-Морских сил, в ночь на 1 января 1932 г. я оказался на свободе за забором Бутырской тюрьмы. Куда деваться? Я сел в трамвай, доехал до какого-то вокзала (кажется, Павелецкого) и вошел в него. Швейцар (тогда еще стояли дежурные швейцары у дверей вокзалов) меня предупредил, что сейчас вокзал закроют и обратно уже не выйти до утра. Я ему ответил, что именно это мне и нужно. В полном блаженстве я провел эту ночь, сидя на своих вещах и пожевывая какую-то оставшуюся корку хлеба...

Наутро, сдав вещи в камеру хранения на вокзале, зашел в парикмахерскую, постригся, побрился. А одежда-то на мне рваная... Ну, ничего. Отправился в Управление Военно-Морских сил. В. М. Орлов отсутствовал, очевидно, в связи с Новым годом. Меня принял И. М. Лудри, объявивший, что я буду оставлен в переводном бюро при Управлении. Мне даже выдали соответствующее удостоверение личности, какую-то сумму денег и разрешили уехать домой в Ленинград, впредь до вызова на службу. Я отправился на вокзал, взял билет на вечерний поезд и затем вернулся в Управление. Оказывается, здесь меня всюду искали, и теперь И. М. Лудри мне сказал, что вышла перемена и меня направляют в Академию, хотя не исключено, что через некоторое время все же возьмут в Управление. Получил я новое удостоверение личности и на следующее утро, т.е. 2 января 1932 г., прибыл домой...

*Вступительная заметка Сергея Зонина
Подготовка текста Л. И. Спиригоновой*

ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО

ПИСЬМА Б. М. ЭЙХЕНБАУМА К А. С. ДОЛИНИНУ

Аркадий Семенович Долинин (1880—1968) — литературовед и критик, имя которого прочно связывается в первую очередь с исследованием творчества Ф. М. Достоевского — достаточно вспомнить его монографии «В творческой лаборатории Достоевского» (1947), «Последние романы Достоевского» (1961), четырехтомное собрание писем писателя (1928—1959), вышедшее под редакцией А. С. Долинина и с его же обширными комментариями, не говоря уж о более мелких работах.

Б. М. Эйхенбаум и А. С. Долинин были знакомы со студенческих лет: они учились на историко-филологическом факультете Петербургского университета в одно и то же время, но интерес друг к другу зародился, как можно понять по первому письму Бориса Михайловича, только на последнем курсе, когда он перешел с романо-германского отделения на славяно-русское, где учился и А. С. Долинин. Взаимная симпатия переросла в многолетнюю дружбу; замечу, что Борис Михайлович был одним из немногих, с кем Аркадий Семенович был на «ты».

Переписка, по которой можно проследить, как складывалась их дружба, началась в феврале 1912 г. и длилась более трех с половиной лет. Оба они жили в это время в Петербурге (не считая недолгих летних выездов на дачу), и пусть современному читателю такая переписка не покажется странной — ведь в те времена телефонные аппараты стояли далеко не в каждой квартире, автоматической связи еще в помине не было, да и для счастливых обладателей телефона он был всего лишь средством краткой информации, а не способом вести долгие разговоры. Тогда еще было принято писать длинные письма, подробно излагая в них свои мысли по тому или иному поводу — особенно когда поделиться с другом какой-то новой идеей необходимо вот сейчас, сию минуту — а боишься не застать его дома или, что еще хуже, прийти невпопад. Иногда же, при серьезных расхождениях, пока излагаешь свое мнение письменно, можно несколько остудить полемический пыл, а если ссора все же возникла, то с помощью писем легче «наводить мосты».

В письмах Долинина и Эйхенбаума много споров. К сожалению, в архиве Бориса Михайловича письма А. С. Долинина не сохранились, так что мы слышим в этой дружеской полемике лишь один голос, но он настолько выразителен, что читатель может составить себе представление и о другом участнике диалога.

Они очень разные — и по характеру, и по происхождению. Б. М. Эйхенбаум — потомственный интеллигент, внук еврейского поэта и ученого; его родители — врачи, притом мать, Надежда Дормидонтовна, урожденная Глотова, — русская дворянка, дочь адмирала. Борис Михайлович получил прекрасное домашнее воспитание, был образован и начитан, занимался музыкой и успел до историко-филологического факультета несколько лет поучиться в Военно-медицинской академии. В публикуемых ниже ранних письмах уже ощущаются глубина, научная дисциплинированность и логическая последовательность мысли и вместе с тем — иронический склад ума, о котором впоследствии будут говорить все мемуаристы.

Иным был путь к университету у А. С. Искоза, взявшего себе литературный псевдоним Долинин. Он — интеллигент в первом поколении, сын синагогального служки в местечке Монастырщина Могилевской губернии, поначалу — самоучка: лишь в 1902 г. ему удалось сдать экстерном экзамены за гимназический курс, а в 1907 г. стать сначала вольнослушателем, затем действительным студентом историко-филологического факультета Петербургского университета. Конечно, ему долго еще приходилось восполнять пробелы своего доуниверситетского образования. Талант в соединении с упорством, умением трудиться и горячей любовью к русской литературе, которая открылась ему позже, чем многим его университетским сверстникам, выдвинули А. С. Долинина в число наиболее ярких участников пушкинского семинара проф. С. А. Венгерова, откуда и началась его карьера литературоведа и критика.

Стилю Долинина, всегда стремившегося проникнуть в самую глубину психологии художника, была свойственна не столько строгая дисциплинированность научного анализа, сколько эмоциональная манера эссеиста, с увлечением развивающего ту мысль, которой он поглощен, находя ей все новые и новые подтверждения. За поистине рыцарское служение своим идеалам, за темпераментную защиту их, чего бы это ни стоило, он

заслужил от Б. М. Эйхенбаума шуточное прозвище «Дон Искоз». И, в общем, вполне объяснимо, что в некоторых письмах, касаясь теоретических вопросов, Эйхенбаум обращается к нему как к младшему, хотя на самом деле Долинин был старше своего друга на шесть лет.

Это письма начинающих литераторов: Долинин еще не связал свою судьбу с Достоевским, он пока автор работ о Пушкине и Чехове, критических статей о современных писателях; Эйхенбаум здесь — еще «доопоязовский», у него нет пока четко определенного круга тем, он пишет преимущественно рецензии, библиографические обзоры, охватывающие и русскую, и западную литературу и литературоведение, ищет свой собственный философско-эстетический подход к изучению художественного творчества.

Эти искания, как показали ранее М. О. Чудакова и Е. А. Тоддес (Наследие и путь Б. М. Эйхенбаума. В кн.: Б. Эйхенбаум. О литературе. М., 1987), нашли свое отражение не только в ранних его статьях, но и в письмах к родителям, к старшим коллегам и учителям — Л. Я. Гуревич, А. А. Шахматову. Своими соображениями он делится и с А. С. Долининым, и здесь, в письмах к другу-однокласснику, его тогдашние литературные размышления могут предстать в несколько ином ракурсе.

Так, например, раздумья Б. М. Эйхенбаума о природе художественного произведения, отраженные в письме к А. С. Долинину от 12 августа 1913 г. («Я отличаю художественное произведение от иного, если чувствую в основе его — не формулу, не правило, не мысль, а образ»), несомненно перекликаются с его статьей «Роман или биография?» («Русская молва», 1913, 18 февраля). Оценивая роман Р. Роллана «Жан-Кристоф», Б. М. Эйхенбаум говорит, что в этом романе, несмотря на обилие интересных сведений, мыслей, наблюдений, чувств, «под оболочкой повествования мы не чувствуем одной пружины, которая делает его живым, цельным, напряженным» (О литературе, с. 288). Заметка Б. М. Эйхенбаума посвящена судьбам современного европейского романа; что останется от него, если отнять «эмоцию были» — один «словесный звон». Но мысль работает дальше — глубже и обобщеннее: в чем же сама по себе суть художественности? Этим же летом пишется рецензия на повесть Е. Замятина «Уездное» («Страшный лад». — «Русская молва», 1913, 17 июля), где, в противоположность роллановской «энциклопедичности», чувствуется «то художественное знание, которое позволяет ему из маленького сюжета сделать вещь довольно значительную» (О литературе, с. 291). В письме же к А. С. Долинину ответ на вопрос о природе художественности сформулирован наиболее четко. Развивая в письме это утверждение, Б. М. Эйхенбаум приходит к выводу: «Искусство — всегда синтез, потому что рождение образа есть процесс синтетический. Мы не верим автору, если он в повести слишком волнуется, тревожится, потому что чувствуем отсутствие синтеза». Это — логическое завершение мысли, начатой в той же статье о Замятине, — об особенностях новой литературной школы: «Школа эта отвергает лирический стиль рассказа. Рассказчик не только беспристрастен, каким должен быть художник, но и бесстрастен. Не так давно автор волновался и страдал в своих произведениях больше, чем его герои, и не старался скрывать это. Так было у Андреева. Теперь мы переходим к совсем иному стилю» (с. 290).

Отношение Б. М. Эйхенбаума к декадансу как эпохе, уходящей в прошлое, которое отразилось в его шуточном письме от 4 июля 1912 г., позднее будет высказано в статье о Рихарде Демеле («Северные записки», 1914, № 3). Затронутый в обзоре журнала «София» («Русская мысль», 1914, № 1) вопрос об отношении литературы к традициям раскрывается более подробно в письме к А. С. Долинину от 20 февраля 1914 г., и в том же письме находит интересное развитие сопоставление психологического, исторического и филологического методов в литературоведении, намеченное в рецензии на «Историю западной литературы» («Заветы», 1914, № 2), а затем — уже через год, в связи со статьей А. С. Долинина о Мережковском (письмо от 25 марта 1915 г.), Б. М. Эйхенбаум выскажется по поводу психологического метода еще более резко, осуждая его именно в духе нового «философско-филологического» подхода к литературе, который он пытается нащупать: «Я теперь убеждаюсь, что нам нужно строить что-то вроде «теории познания» искусства, работать каким-то гносеологическим методом».

В спорах с другом Б. М. Эйхенбаум не проявляет нетерпимости, не навязывает своего мнения, а стремится подкрепить его доказательствами, допуская в то же время возможность применения и иной методологии — достаточно сравнить его оценку статьи А. С. Долинина о «Цыганах» с письмом к нему же от 18 мая 1914 г., где он также ищет путей философического подхода к исследованию литературы.

Несомненный интерес представляют замечания Б. М. Эйхенбаума об эволюции его литературных вкусов (письма от 25 марта и 13 мая 1914 г.), в частности, его замечание о Тургеневе и особенно — об увлечении Гоголем (письма от 25 марта 1914 г. и 1 сентября 1915 г.), предвосхищающие его «опоязовский перелом» 1917—1918 гг. Письмо от 25 марта важно еще и рассказом Бориса Михайловича о его работе в гимназии и формулировкой (возможно, первой) цели школьного преподавания, как он себе ее тогда представлял: «Приблизить их (учеников. — А. Д.) к тексту, заставлять вчитываться, чувствовать форму, развивать вкус». Впоследствии (лето 1915 г.) эта мысль найдет свое развитие в статье «О принципах изучения литературы в средней школе».

В ноябре 1914 г., в начале первой мировой войны, между друзьями начинаются серьезные принципиальные разногласия: если философа Эйхенбаума война подталкивает к религиозно-философским размышлениям и обобщениям, убеждает в непреходящем значении культуры в эпохи великих потрясений, то импульсивный Долинин видит в войне прежде всего великое народное бедствие, рушащее реальные судьбы, трагедию, перед которой, как ему кажется, все рассуждения о культуре — ничто.

Они не могут понять друг друга. Следует обмен резкими письмами, из них здесь публикуются только два письма Эйхенбаума, остальные три из этой серии непонятны без ответных писем Долинина и поэтому мною опущены. Однако, при всей накаленности спора, у них в конце концов хватает сил протянуть друг другу руки, отказаться от взаимных обид и возобновить чуть не прервавшуюся дружбу (письмо от 11 ноября 1914 г.).

Последнее в этой переписке письмо Б. М. Эйхенбаума датировано 1 сентября 1915 г. Вскоре после этого А. С. Долинин уехал в действующую армию, и условия, в которых он находился, не способствовали литературным спорам в письмах. Вскоре после демобилизации в 1918 г. он оказался с семьей в Архангельске, где провел три года в полном отрыве от Петрограда. Когда он вернулся, было уже ясно, что литературные пути с Б. М. Эйхенбаумом у него разошлись: Долинин полностью углубился в изучение творчества Достоевского, по-прежнему придавая большое значение психологии творчества и отрицательно относясь к формальному методу, к которому в то время тяготел Б. М. Эйхенбаум. Тем не менее теплые личные отношения сохранились у них на всю жизнь.

В личном архиве А. С. Долинина имеется 27 писем и открыток от Б. М. Эйхенбаума. Из них здесь публикуется 15; помимо упомянутых трех писем (7, 8, и 10 ноября 1914 г.), оставлено в стороне еще 8 открыток чисто делового содержания: сообщение адреса, назначение встречи и т. п.

I

4 февр. 1912 г. СПб

Дорогой Аркадий Семенович!

Я очень хочу Вас видеть — а посему или жду Вас к себе, или приеду к Вам, если Вы укажете время и день. Меня Вы почти всегда застанете дома между 3-мя и 7-ю ч. дня, а большею частью и вечером.

Расстроились наши занятия! Впрочем, ученики-то, может быть, и довольны?

Отвечайте скорее — Вы знаете, как я тяготею к Вам. Вы ведь во многих отношениях — единственный для меня.

От Ляли¹ — сердечный привет. Она тоже очень хочет увидеться с Вами. Адрес мой: Екатерининский канал, д. № 24 (это у самого Невского), кв. 55.

Жму руку!

Ваш БорЭйх

¹ Ляля — Раиса Борисовна Броуде (1889—1946), жена Б. М. Эйхенбаума.

II

10 февр. 1912 г. СПб

Дорогой Аркадий Семенович!

Если я и был грешен, то только в излишней предосторожности — решал выдержать некоторый карантин, памятуя, что Вы теперь — строгий государственный.¹

Хочется шутить и болтать, но прежде всего — вот что: я, извините за выражение, в Университет не хожу и как раз в удобное для Вас время всегда сижу дома, т<ак> ч<то> мои объятия — к Вашим услугам. Это не мешает мне воспользоваться и Вашей густобородностью, то есть посетить Ваш дом и прильнуть к Вашей груди, — тем более, что за мной давно числится такой долг.

Грешу с утра до позднего вечера, а вечерние часы отдаю исповеди и замаливанию прегрешений. Это значит: до вечера — переписка, реферат об игумене Данииле и проч<ее>, вечером — читаю и пишу. Особенно читаю Достоевского, мечтаю о Пушкине, кой-кого читаю и из иностранных.

Написал рассказ — как всегда о земле, о звездах, о снеге, а людей мало: один, да и то плохой — следовательно. А все-таки не унываю, п<отому> ч<то> чувствую в себе что-то новое, свое.

Рая ходит теперь вдвоем: отяжелела. Завелось у нее что-то злое — мучит пока ее порядочно. Осенью познакомимся. Авось — гений!

На моем языке — Ляля.

Ну вот. Серьезного теперь от меня ничего не ждите — я теперь «исправленный и дополненный»: все шучу или раскисну и молчу.

Жму Вам крепко руку.

Ваш БорЭйх

¹ А. С. Долинин к этому времени закончил курс историко-филологического факультета Петербургского университета и собирался сдавать государственные экзамены.

III

12 дек. 1912 г. СПб

Как Вы себе хотите, Аркадий Семенович, а я все-таки существую — и даже больше: пложусь и размножаюсь.¹

Давно уже вспоминаю Вас и хочу видеть. Живем мы, оказывается, не очень далеко друг от друга. Это раз. А два — Вы знаете мою к Вам слабость. А три — я сотрудник «Запросов жизни»² и «Против течения»³, а Вы — знаменитый Долинин. Отсюда — желаю интервьюировать.

Притом же — Вы одно из тех мифологических существ, которые сдают государственные экзамены.

Отсюда — желаю поглазеть.

Ваш БорЭйх

Крестовский остров,
Морской пр., д. № 13, кв. 8.
Телефон — до 4 ч. 419-37,
после — 586-36.
Борис Михайлович Эйхенбаум.

¹ 9 октября 1912 г. у Р. Б. и Б. М. Эйхенбаумов родилась дочь Ольга.

² «Запросы жизни» — еженедельный критико-библиографический журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге в 1909—1912 гг.

³ «Против течения» — еженедельная художественно-общественная газета, приложение к журналу «Свободным искусствам», выходившему в Санкт-Петербурге в 1910—1913 гг.

IV

4 VII 1913. Лебяжье.

Ну здравствуйте, Аркадий Семенович! Все время у нас было солнце, благорастворение воздушных и ароматов, и я о Вас думать забыл. А сегодня вот туча нависла, дождь пошел — и вспомнил Ваши очки, глаза строгие, речь суровую, статью в «Заветах» свирепую¹... Экие времена пришли! Уж и пошутить-то поэтам нельзя — сейчас откуда ни возьмись — туча черная нагрянет и хлынет из нее. Нет, видно поэтам капут пришел, как говорят немцы. Видно им, под предводительством Сережи Городецкого, надо выйти из своего департамента и наняться в дворники — старую пыль, которую *господа-символисты* в глаза пускали, метелочками собрать, да на хранение истории русской литературы сдать, а там — видно будет. Она — русская литературочка-то — добрая. Может — из городецких и в городничие произведет. Я, как Вы знаете, к дворницкой деятельности не приспособлен, а потому и в поэзию не очень лезу. Так — когда мускулами поворочать захочется, возьмешь и метнешь. А то — все читаю, все Клоделем занимаюсь, буду о нем статью писать.²

Затем — жена моя очень кланяется, а дочь совсем не кланяется, потому что стала прекрасна и задрала нос. К 1 августа мы вернемся на Крестовский. Не хотите ли взять у нас комнату — мы будем одну сдавать. Что Вера Ивановна,³ как сложится у Вас зима?

В сущности, это — все. Тем более, что я не уверен, дойдет ли это письмо до тех стран, в которых Вы, скрывшись от петербургских Адамов и Ев, пасетесь сре-

ди допотопных зверей и дышите ветрами с Белого моря.⁴ Если же дойдет, то отвечайте немедленно по адресу: Ст. Ораниенбаум Балт. ж.д. Селение Лебяжье — мне.

Должен сказать Вам на ухо, и весьма скрытно от Веры Ивановны, что Рая Борисовна каждый день твердила мне тут: «Напиши Аркадию Семеновичу». — «Да тебе-то что?» — «Я хочу». — «Пиши сама». — «Нет, ты напиши». Вот тут и дружи с Вами: очки, глаза строгие, речи суровые, статьи свирепые, а женщины тают. Акмеист Вы — и больше ничего.

Ну, все-таки помиримся. В случае чего я ведь тоже не дурак, не акмеист какой-нибудь. Сделаю грустный вид, а Вера Ивановна-то меня и пожалеет.

Так вот смотрите — чтобы никаких, а то сейчас к Вере Ивановне.

А что у Вас там в Архангельской губернии? До 1-го пишите мне сюда.

Крепко жму Вам руку и преклоняюсь перед Верой Ивановной.

Ваш БорЭйх

¹ Имеется в виду статья А. С. Долинина «Акмеизм» // «Заветы», 1913, № 5, отд. II, с. 152—162 (см.: Достоевский и другие. Л., 1989, с. 408—418).

² Клодель Поль Луи Шарль (1868—1955) — французский писатель. Статья Б. М. Эйхенбаума «О мистериях Поля Клоделя» была напечатана в «Северных записках», 1913, № 9.

³ Вера Ивановна — В. И. Щепкина (1888—1980), невеста А. С. Долинина, весной 1913 г. окончившая Женский медицинский институт в Петербурге и собиравшаяся ехать на работу в земство.

⁴ А. С. Долинин и В. И. Щепкина проводили лето 1913 г. у сестры Веры Ивановны, М. И. Щепкиной, работавшей врачом в Архангельской губернии.

V

12 VIII 1913.

Да, Аркадий Семенович, статья прочитана — и не раз.¹ Вы — умница, настоящий умница. Взяли Сологуба за самые рога и пригнули к земле — ты, мол, такой же «униженный раб», как и мы. В начале — скучновато: все о центростремительности кажется как-то не совсем глубоким, думаешь — так, да не так. А потом становится все интереснее, все глубже. О лирике — хорошо, о языке; очень хорошо сопоставление с Достоевским и выделение антитезы «я да мир». Так что прежде всего поздравляю Вас с большой победой над всеми своими недоуменными думами: ни на что ответить не можете (помните наш лунный идиотизм в тот вечер?), а хорошую статью о Сологубе написали. Теперь — «но», без которого Вы, наверное, не отпустите меня. Вы написали, собственно, не о Сологубе, а о Тетерникове. Вы написали о том, что думает себе Тетерников, когда он — не Сологуб. Это интересно, но не рано ли? Не видно у Вас, чтобы Сологуб был «большим и оригинальным художником», а видно только, что он много думает, много грешит, много страдает. А вот кстати о художественном произведении, помните — мы с Вами молчали о нем? Я отличаю художественное произведение от иного, если чувствую в основе его — не формулу, не правило, не мысль, а образ. Оно может быть написано совсем не образным, самым простым и даже неуклюжим языком, но за этим языком я чувствую *ощущение* образ. «Так говорил Заратустра» — не художественное произведение, несмотря на образный язык, потому что там нет *единого*, основного образа, а есть основная мысль. А «Бедные люди» — художественное. И вот я думаю еще, что самое рождение образа должно сопровождаться особой душевной гармонией, особой художественной мудростью, которая стоит выше проблем, ибо совершенно не рационалистична по своему происхождению. Эта гармония есть у Достоевского — не согласна? Так вот — неужели нет ее у Сологуба? Неужели он весь — в антитезе и никогда не творит хотя бы бессознательный синтез? Искусство — всегда синтез, *п<отому> ч<то>* рождение образа есть процесс синтетический. Мы не верим автору, если он в повести слишком волнуется, тревожится, *п<отому> ч<то>* чувствуем отсутствие синтеза. Вы сами говорите, что Сологуб спокоен, холоден. Верно, и у него есть эта художническая гармония, которая *несоизмерима* с антитезами.

Сейчас так жарко, а на душе у меня от многих причин так смутно, что Вы не очень хмурьтесь, если найдете что-либо нелепым. Напишите — больше будет материала для будущих архивников. <...>

А что Вы скажете, если я начну иронические вещи писать? Представьте — ирония заедает. Хочется писать в каком-то совсем непривычном для меня духе — не статьи, а штучки. Вы трясете гривой — на то Вы еврей чистый, прямо от Христа, а я — двойной, помесь Христа с Марфой.² Вам полагается брать Сологуба за рога, а мне и пошутить, и позубоскалить можно.

Как нравится Вам сия теория? А насчет практики — молчу. Секрет.

Рая Борисовна читает Толстого. Меня не любит, а Вас уважает. Вот и подите! А Ольга спит — она когда-нибудь задаст нам с Вами, когда Вы оплешивеете!

Ваш БорЭйх

P.S. Вы теперь — леший, а я от креста не отхожу.

¹ Речь идет о статье А. С. Долинина «Отрешенный (к психологии творчества Федора Сологуба)» // «Заветы», 1913, № 7, отд. II, с. 55—85 (см.: Достоевский и другие, с. 419—451).

² Б. М. Эйхенбаум, вероятно, имеет в виду свое происхождение от еврейского отца и русской матери (об этом см. в предисловии).

VI

15 октября 1913. СПб

Дорогой Аркадий Семенович, позвольте поздравить меня — я вчера кончил университет, причем все профессора нашли меня «в<есьма> у<мным>».¹ А Вы летом, кажется, сомневались — вот Вам «объективное» доказательство. Теперь я и Вас не боюсь. Когда мы увидимся? Когда можно зайти к Вам? Я слышал от А. Л. Бема,² что Вы еще не кончили «мерещиться»,³ но приближаетесь к концу. Сочувствую Вашим мукам.

Привет от Раи Бор<исовны>.

Ваш БорЭйх

¹ Здесь Б. М. Эйхенбаум обыгрывает наименование принятой в дореволюционной России высшей экзаменационной отметки «весьма удовлетворительно».

² Бем Альфред Людвигович (1886—1945) — литературовед и критик, в студенческие годы занимавшийся в том же семинаре С. А. Венгерова, что и А. С. Долинин. С 1919 г. жил и работал в Чехословакии.

³ А. С. Долинин в это время писал статью о Д. С. Мережковском (см. прим. 1 к письму от 25 марта 1915 г.).

VII

20 февраля 1914 г. СПб

Дорогой Аркадий Семенович. Дабы не испытать на себе всю силу Вашей методической злости, хочу тоже написать предварительно несколько слов. Очень ценю Вашу горячность, но считаю ее неосновательной. И вот почему. Исторический метод я не смешиваю с социологическим, а считаю, что последний восходит к первому. Хотя бы цель исследования была по существу и социологической, *метод* все равно остается историческим, идея *развития* все равно стоит в центре. Что касается второго — метода психологического, то здесь — совершенно то же самое: биографического *метода* нет, п<отому> ч<то> биография не есть метод. Биограф, если он пишет не «канву», а исследование, должен работать методом психологическим. Что касается «выяснения процесса творчества», то здесь не только метод, но и самая цель — психологическая. Таким образом, биография восходит к «психологии творчества». Этим я хочу объяснить Вам, почему, вместо дальнейших подразделений, я в своей «декларации» (совсем футурист!) употребил термины только самых общих и, по существу, полярных методов: исторического и психологического.

Теперь перехожу к «двум вопросам». На первый отвечаю сначала тоже вопросом: к чему изучать прошлое, если вся цель — в «выяснении процесса творчества»? Ведь тогда совершенно достаточно взять первого попавшегося (подчеркиваю

случайность, которая значится у Вас во втором вопросе) автора и сделать его материалом для психологического анализа. Если верить в законы психологии творчества и в возможность их определения, то исследователь даже *обязан* брать случайные объекты, чтобы показать неизменность этих законов. Теперь отвечаю от себя. Цель не в «хваленой современности» (хотя почему и не возлюбить ее, если, например, мы с Вами, такие хорошие люди, принадлежим к ней?), а в постоянном вскрывании ценностей, с которыми современность может быть связана. Я — не футурист именно потому, что вся культура есть для меня перебой традиций. Ни одна эпоха не может сказать ничего нового, пока она не определила, какую традицию следует ей отвергнуть и какую — принять. Искусство — самая традиционная из всех культурных ценностей (как и язык). Поэтому, отвергая исторический *метод* именно потому, что он не дает вскрывать ценности, я обращаюсь к прошлому с методом, который, может быть, следует назвать критико-филологическим или как-нибудь еще иначе. «Историзм» является для меня только вспомогательным средством. Полагая, что каждая эпоха есть синтез, что каждая эпоха определилась путем отвержения одной традиции (Тредиаковский, например, определенно отвергает традицию «словенщины») и интимным приятием другой, я хочу исследовать наш XVIII век, потому что чувствую в нем ценности не вскрытые, а для нашей современности нужные и близкие. В объективную науку о литературе я не верю, а потому современность для меня — не «единственный критерий ценности» (объективный?), а просто основной импульс моей работы, основной смысл научного творчества. Второй Ваш вопрос, о *случайности*, отпадает сам собой. Очевидно, не все равно — Шекспир или Софокл. Вы думаете, что «современность проявляется, совершенно не справляясь у предшественников». Нет, это не так. Это вот — настоящий футуризм! И позвольте предложить Вам это звание ввиду ясно проявленных Вами в письме наклонностей к такому мировоззрению. У меня прошлое не держится на слабой нитке, п<отому> ч<то> я — традиционалист, п<отому> ч<то> прошлое мне необходимо, п<отому> ч<то> каждая эпоха, стремясь быть индивидуальностью в истории (это — главная ее задача), должна сказать свое слово о прошлом, должна определить свою традицию, чтобы не быть футуристической. «Наплевать на прошлое» — это Вы, друг мой Аркадий, не обо мне говорите, а чуть ли не о себе. От долгого вдумывания в современность я совершенно естественно иду к прошлому, п<отому> ч<то> не хочу быть крикливым студентиком, весь пафос которого — в отвержении всяческих традиций. Футуризм — одна из форм постоянно-бродящего нигилизма. Это — явление вовсе не художественное, а общественное. Футуристы — современные публицисты. А мы с Вами — люди умные и такими вещами не занимаемся.

Очень буду рад, если Вы придете завтра. Я буду дома целый день. Поговорим — авось и пойдем друг друга.

Жму Вам руку.

Ваш БорЭйх

VIII

25 марта 1914 г.

Дорогой Аркадий Семенович. Во-первых — сын. Сегодня ночью родился. Пока в нем — одно достоинство: весит 9¹/₂ ф. Все пока хорошо. Теперь у нас — замкнутая семья, маленький «универсум». И я в этом универсуме — премьер. Прошу уважения.

С моим учительством дело идет так. Сначала я просто одурел, и что такое говорил в классах — не помню. Дух «учительской комнаты» подействовал на меня так, что я первые дни совсем дураком ходил. Какой-то такой протухлой стариной дохнуло, так стало грустно от этой утомленности, разочарованности, от этого «смеха сквозь слезы», что я не знал, о чем говорить. А тут — сотня юных лиц, нужно учить, следить, останавливать. Такой был я плохой первые дни, что думал — нет, это не по мне, не выдержу, не сумею и т.д. А потом вдруг как-то иначе себя почувствовал. В VII кл. взялся за Гоголя. Так увлекся и так определенно почувствовал свой метод преподавания, что тоска прошла и дело как будто налаживается. Я совершенно отклонил всякие «историко-литературные» обобщения, вроде «лицных людей» или «исторического значения Записок Охотника», а стараюсь об одном — приблизить их к тексту, заставить вчитываться, чувствовать форму, развивать вкус. Оченьчитаюсь с тем, нравятся ли эта вещь данному ученику или нет.

На первом уроке в VII кл. прочитал нечто вроде лекции о Гоголе, а затем перешел к беседам. Кстати — я сам страшно увлекаюсь Гоголем. И как же он еще не оценен, как еще мало понят! В V и VI кл., конечно, не так интересно, но отношения, кажется, устанавливаются. В VIII кл. повторяем. Повторили Гончарова, теперь Тургенева. Сейчас перечитал «Дворянское гнездо». Странная вещь — есть во всей манере Тургенева что-то удивительно-дилетантское. Очень мило, очень мило, но нигде размаха, нигде нет «последних слов». И ужасно от него холодно. Совсем он мне теперь чужд. Даже в пейзажах его не чувствую подлинного волнения.

Ну вот Вам весточка. Сам я мог бы заглянуть к Вам, например, в субботу, в 8½ час. веч. Как находите? Хотелось бы и о Гоголе с Вами потолковать.

Крепко жму Вам руку.

Ваш БорЭйх

В последнем томе «Еврейской энциклопедии» есть, говорят, большая заметка о деде.¹ Вы не могли бы достать этот том?

В пятницу я познакомлюсь с Золотаревым.²

¹ Дед Б. М. Эйхенбаума — Яков Моисеевич Эйхенбаум (1796—1861), ученый-математик и поэт, писавший на древнееврейском языке. Заметка о нем была помещена в т. XVI Еврейской энциклопедии, с. 186—187.

² Золотарев Алексей Алексеевич (1879—1950) — прозаик, критик, краевед, публицист, общественный деятель социал-демократической ориентации, друг М. Горького.

IX

18 мая 1914 г.

Крест. остр., Морской просп., д. 5, кв. 4.

Ах, Аркаша, Аркаша (я тоже уменьшаю по любви)! Как жалко, что Вы меня не застали — ведь выбрал как раз такой день, когда я в 8 ч. утра уехал, а в 2 ч. ночи вернулся! Так мы и не увиделись, а между тем — исполнилось Ваше желание: мне в «Русской мысли»¹ дали для отзыва «Пушкиниста», и слава Ваша теперь — в моих руках. А я именно сейчас кончил Вашу статью о «Цыганах».² Придется похвалить. Придется сказать, что в авторе чувствуется большая сосредоточенность и углубленность, что вообще он — малый умный и талантливый и что, значит, будем ждать, что он еще скажет.

Нет, без шуток — хорошая, серьезная статья. Я вспомнил Вашу статью о «Повестях Белкина» и другие³ — и подумал: следовало бы Вам, в самом деле, собрать их все и издать книгу. Ведь у Вас все время — одна тема, т<ак> ч<то> книга не казалась бы сборником случайных статей, а определенного рода исследованием. Мне кажется, что в последнее время Вы как-то точно отошли от этой центральной своей темы, передвинулись куда-то, на что-то себе ответили и «проблему индивидуализма» как будто возвели к чему-то иному. А может — ошибаюсь.

А говорю об этом потому, что мне самому ведь «проблема индивидуализма» как таковая чужда. Может быть, именно поэтому мои увлечения не совпадали с Вашими. Ни Пушкиным, ни Толстым, ни Достоевским я до сих пор еще не зачитывался, они в целом не дали мне того, что дали Вам. А увлекался я в молодости (!) Тургеневым, потом Тютчевым, а теперь к Тютчеву прибавился Гоголь. Мне индивидуализм как-то просто неинтересен, потому что он кажется отражением, и то частичным, чего-то более основного. Мне вот важно, как человек жизнь воспринимает — как призрак, как обман, или любит ее, чувствуя правду в самых ее искажениях. Иначе говоря — идеалист он или реалист. Идеалист может смеяться, плакать, проклинать, создавать Чичиковых и Хлестаковых; реалист, будь он романтик, как Тютчев, или натуралист, как Толстой (кстати, интересно, что Толстой любил именно Тютчева!) — он воспевает мир и возненавидит и ужаснется только смерти.

Я сейчас не так настроен, чтобы говорить об этом много и подробно. Мне только хочется сказать, что «проблема индивидуализма» кажется мне уже какой-то вторичной, которая не должна служить основанием анализа. Ведь и в Тютчеве можно отыскать эту «проблему индивидуализма», как и находит Мережковский, но это — периферия, отражение внутреннего света. И многое при этом пропускаяется, многое тускнеет — хотя бы в Руссо и в Шатобриане. Ведь «призыв к природе» Руссо — это гораздо более призыв к чувству природы, к непосредственному ее

восприятию. Ведь когда мы говорим, что Руссо восставал против культуры — мы же не серьезно это говорим, это же — чепуха! «Цивилизацию» он ненавидел — это верно, но не культуру. В «цивилизации» он чувствовал духовную слепоту, духовный автоматизм и, как неизбежный вывод, художественный идеализм или просто — очки вместо глаз. Классицизм возмущал его тем, что все восприятия в нем были опосредствованные — потому и античность пригодилась как готовая формулировка. А в Шатобриане — сколько любви к плоти, к краскам в его «Génie du christianisme»! С каким волнением пишет он о женщине, о материнстве, о животных и цветах, об искусстве. «Плакальщик» — а как любит жизнь! И христианство за то полюбил, что есть в нем, несмотря на аскетизм, элемент обожествления материи.

Вот тут многое еще не выяснено. И кажется, что «проблема индивидуализма» как основание анализа сделала свое дело и должна уступить место иному анализу. Как Вы думаете?

Сегодня я был у А. А. Шахматова⁴ — взял разрешение брать на дом книги из Академии. Познакомился там с Пиксановым,⁵ немного поговорил с ним. Типичный «исследователь» — и больше ничего. Личности — никакой. Говоришь с ним, а думаешь — какой же ты, брат, скучный-скучный! И что тебе — литература?

Рая Бор<исовна> тоже начала сегодня Вашу статью — только Виктор не дает кончить: «Брось, — говорит, — дрянная статья! Я куда лучше напишу — дай только свое отсосать да писать (ударение в этом случае необходимо) научиться, я тогда покажу всем Вам!» А пока кричит — «я, я, я...», совсем как Хлестаков.

Очень я Вас люблю, Аркаша, и очень уважаю — и потому напишите скорее. Надо насчет осени побеседовать — что Вы думаете? И ведь надо же Вам к «Русской мысли» пристать. Я говорил о Вас с Любовью Як[овлевной] Гуревич.⁶ Привет Вам от всех нас. И Вере Ивановне — сердечный привет.

Ваш БорЭйх

¹ «Русская мысль» — ежемесячный научный, литературный и политический журнал либерального направления, издававшийся в Москве в 1880—1918 гг.

² «Цыганы» Пушкина // Пушкинист. Историко-литературный сборник. Т. 1. Под ред. проф. С. А. Венгерова. Петроград, 1914, с. 17—44. (см.: Достоевский и другие, с. 32—54).

³ Статья А. С. Долинина «Повести Белкина» была напечатана в томе IV сочинений А. С. Пушкина под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1910, с. 184—201; там же (с. 237—264) напечатана его статья «История села Горюхина». К этому времени были уже опубликованы и его статьи об А. Ремизове («Обреченный» — «Речь», 1912, 17 июня, № 163); о Б. Зайцеве («Тихие зори» — «Речь», 1912, 1 октября, № 269), об акмеизме (см. прим. 1 к письму от 4 июля 1913 г.), о Ф. Сологубе (см. прим. 1 к письму от 12 августа 1913 г.) и др.

⁴ Шахматов Алексей Александрович (1864—1920) — языковед, историк древнерусской литературы, профессор Петербургского университета.

⁵ Пиксанов Николай Кирькович (1878—1969) — историк русской литературы, текстолог.

⁶ Гуревич Любовь Яковлевна (1866—1940) — прозаик и критик. В 1912—14 гг. возглавляла беллетристический и критический отделы журнала «Русская мысль».

Х

14 июля 1914 г. СПб

Дорогой Аркадий Семенович. Вот, наконец, захотелось написать Вам. И прежде всего хочу Вас огоршить — я, по экстремному предложению редакции «Сев<ерных> Зап<исок>», написал статью о Чехове.¹ Статья — маленькая, но ядовитая, принципиальная. Итак, вот, наконец, мы столкнулись с Вами прямо, лбами. Я едва терпю — так хочется прочесть Вашу статью.² Вы на меня за мою статью, наверное, наброситесь и даже, боюсь, руки не захотите мне подать — мне ведь всегда от Вас достается. Правда, я похвалил Вас в заметке о «Пушкинисте» — она будет напечатана в июльской книжке «Русской мысли».³ Это, надеюсь, смягчит Ваш гнев противу моего легкомыслия. Вы о Чехове, верно, листов 5 написали? Ой, как интересно! Июльская книжка «Сев. Зап.» выйдет, вероятно, в самом конце ме-

сяца, п<отому> ч<то> я еще только завтра буду читать корректуру. А если Вы, па-че чаяния, не станете ругаться, то уж кто-нибудь да отхлестает меня — чувствую, что даром мне эта статья не пройдет!

Хорошо только одно — написал я ее жадно, с увлечением, и каждое слово в ней — мое собственное. Несмотря на свой размер (верно — страниц 6) — это, по-моему, самое значительное, что я до сих пор написал.

А меня все преследуют, Аркаша! Представьте — не хотят утверждать учителем в гимназии Гуревича из-за тех арестов!¹ А еще важнее — до сих пор не выдали мне свидетельства о полит<ической> благонадежности для оставления при ун<иверсите>те. Но это последнее уладится — Браун² лично поедет к градоначальнику. А гимназия, по-видимому, — тю-тю. Позвольте, collega, позать Вашу руку. Нас, очевидно, считают за слишком больших людей и жалеют наши таланты. А я и правда стал думать — не лучше ли воздержаться от учительства в гимназии? Ведь при этом труде, в сущности, ничего больше нельзя делать, а мне очень хочется писать и заниматься. Сейчас-то мне совсем недурно, зимой будет похуже.

Я работаю понемногу — образование свое подвигаю и немножко сижу над XVIII веком. Хочется большую работу сделать. Я пока что крепко заинтересовался «культурой» и совершенно разочаровался в «реакции на вечность». Вечные ценности для меня как-то потускнели, и я стал все воспринимать с точки зрения культурного ритма. Вы и по статье моей о Чехове это почувствуете. Теория «вечных ценностей» приводит к эклектизму — самая гнусная для меня вещь. Выходит, что у того — «кое-что есть», и у этого — тоже.

Ну, это длинная история. Мы это словесно обсудим.

А тяжело все-таки как-то пишется. Надо бы проехаться — на Волгу, может быть, удастся. В начале августа отец приедет, верно, ко мне — сейчас он в Париже. А от смерти — у меня впечатление торжественное. Тут я вдруг почувствовал совсем не то, чего ждал — страшную серьезность, страшную глубину жизни. Если есть смерть, значит, жизнь — не просто случайный дар, брошенный нам из милости, а какой-то цикл, что-то оформленное. В этом роде думалось, и потому не так было больно, как до ужаса торжественно на душе. И я ведь слышал последний выдох, я накрыл простыней... А за 12 часов до этой минуты мама смотрела на меня, хотя уже ничего не могла сказать, и узнала ли — я не уверен.

И когда думаю, что и я буду умирать, что меня не просто швырнули на землю, как камень, а заботятся обо мне, придут за мной — мне хорошо.

Лялюня поглощена сыном — он очень мил. Оля начинает говорить. Я — строгий папа и вообще блюститель порядка в доме. Когда Вы приедете? Шлем Вам самый дружеский привет. Вере Ивановне — благоговейный поклон. Напишите!

Ваш БорЭйх

¹ «Северные записки» — литературно-политический ежемесячный журнал либерально-демократической направленности; издавался в Петрограде в 1913—1917 гг. В нем сотрудничали многие известные поэты, прозаики и критики «серебряного века». Статья Б. М. Эйхенбаума «О Чехове» была напечатана в № 7 за 1914 г., с. 167—174.

² Речь идет о статье А. С. Долинина «Путник-созерцатель (Творчество А. П. Чехова)» // Заветы, 1914, № 7, отд. II, с. 64—102 (см.: О Чехове (Путник-созерцатель) в кн.: Достоевский и другие, с. 289—331).

³ Б. М. Эйхенбаум. Новое в области «Пушкинизма» // Русская мысль, 1914, № 7, раздел XIX, с. 23—27. О статье А. С. Долинина в рецензии (с. 25) сказано следующее: «А. С. Долинин-Искос знаком нам по многим своим критическим статьям <...> Реферат о «Цыганах», очевидно, одна из самых ранних его работ: здесь стиль еще неустойчив, пафос еще не совсем глубокий. Но и здесь уже заметна полная оригинальность и замечательная сконцентрированность мысли, которой отличаются все его работы. «Цыганы» для него — трагедия индивидуализма. Алеко — родной отец Карамазовых и Раскольников. Статья написана с большой силой, с большим подъемом. Чувствуется, что автору самому близка была трагедия Алеко: «Мы все больны тяжелым недугом индивидуализма: он нам не по силам, и нам всем хочется верить в свое обновление, в избавление от бремени нашего я» (с. 43). Мы теперь уже отошли от того момента, когда индивидуализм был нашим «недугом»; проблема эта уже не кажется нам основной, и самый индивидуализм кажется нам результатом «иллюзионизма», отношения к миру как к призраку, почему и чужая душа — призрак, а реальность — только я. Но, благодаря такой острой постановке вопроса, «Цыганы» приобретает некоторый новый смысл, а вместе с этим открываются новые области в мирозерцании Пушкина. И является мысль, что, может быть, должны будут со временем поколебаться утверждения о «гармонических аккордах» пушкинской поэзии; может быть, под легкой и

совершенной оболочкой его стиха обнаружатся мучительные волнения его духа» (см.: Б. М. Эйхенбаум. О литературе. М., 1987, с.308—309).

⁴ Впервые Б. М. Эйхенбаум был арестован во время революционных событий 1905—1906 гг. за участие в студенческих волнениях (как студент Военно-медицинской академии он состоял в санитарной группе); второй раз — в 1908 г. по ошибке: его спутали с братом Всеволодом — анархистом (сообщено О. Б. Эйхенбаум).

⁵ Браун Федор Александрович (1862—1942) — филолог-германист, профессор Петербургского университета, декан историко-филологического факультета.

XI

2 — XI — 14.

Дорогой Аркадий Семенович. Я не написал тебе сейчас же, потому что читал твою открытку на ходу, а писать теперь — уже не совсем то. Прежде всего — спасибо за глубокое, искреннее слово. Это теперь — не часто. Радует меня, что в тебе — такая живая душа, что нет этой «бемовщины», которая, по правде тебе сказать, очень угнетала меня, когда я был тогда у тебя. Это — такая типичная интеллигентщина с ее страхом «растеряться» и потому с вечным пожиманием плечами перед всем, не укладывающимся в рамки их добродетельного кодекса! И не от близости ли Бема стало тебе так тяжело? Мне, собственно говоря, было просто жаль тогда слушать, как он гнал тебя сквозь строй силлогизмов, чтоб поставить точку.

И огорчает меня только, что ты говоришь о «тоске». Это что за чувство? Положим, ты прибавляешь — «тоска своей неопределенности». Да, это уже понятнее. Я тоже ощущаю это, но, с другой стороны, война так толкнула меня к обобщениям, к философии, к углублению смутных религиозных основ моего мироощущения, что эту неопределенность я ощущаю как тот хаос, из которого рождается космос. В этом процессе нового самоопределения я вижу свой духовный подвиг — взамен подвига другого, который для меня невозможен. И потому неопределенность свою ощущаю не как пустоту и не как бремя, а как первоначальную стадию творческого процесса.

Хорошо, пусть мы некоторое время не увидимся — ты, может быть, и прав. Но тогда пиши, а когда почувствуем, что пера не хватает, — увидимся.

Ни слова не пишешь о здоровье Веры Ивановны — ведь она-то уж к действительному подвигу готовится — к настоящему превращению хаоса в космос. И, право, тебе сейчас, рядом с ней, стыдно предаваться тоске и «топить» ее в Бергсоне. Это что-то по Белинскому, что-то из сороковых годов...

Ну ладно. Пиши скорее. Крепко жму тебе руку. Привет Вере Иван[овне]. От Раи — тоже.

Твой БорЭйх

XII

4 ноября 1914 г.

Есть в тебе, Аркадий Семенович, одна странная черта — ее Бем, кажется, называет «эмоциональной возбудимостью». Ты вот вдруг и бухнешь: стыдно за свое прошлое, культура, писатели, реализм, романтизм — черт побери все это! Выходит, значит, что пока мир и благодушие — все это значительно, а нет этого — черт побери! Да что же ты, в таком случае, разумеешь под словом «культура»? Наднациональной культуры нет, культуры без войны нет и быть не может (разумея, конечно, что убийство не есть необходимый и вечный элемент войны), история есть состязание разных сторон человеческого Духа — все это становится для меня ясным. Культура есть подвиг, и, с этой точки зрения, мне как-то чужда противоположность между индивидуальным и неиндивидуальным — противоположность, которая издавна и до сих пор грызет твою душу. Я не знаю, что — «соль земли», но чувствую, что рожден этой землей, ею возрощен и ей отдаю каждое свое дыхание. Я тоже не знаю плохих и хороших народов, но знаю, что жизнь народная не тянет-

ся по прямой линии, а совершает кривую и знает не только подъемы, но и спады. И тут индивидуальный подвиг, подвиг внутренний, есть акт общенародного значения, акт религиозно-культурный. Не приемлю поэтому твоего презрения и даже возмущения. И право, в такой буре, как сейчас, я, кажется, больше чувствую Бога — настоящего, стихийного, древнего Бога, чем в обычное время. «Мир рушится», пишешь ты — вот тут-то и чувствуешь «мойру». Бог ведь и должен быть, с нашей точки зрения, жестоким, он владеет не только космосом, но и хаосом, и мы нужны ему и для хаоса <...>

Я сейчас не могу писать подробнее, п<отому> ч<то> нет времени. Думаю, что ты как-нибудь выберешься из этого мрака — может быть, ценою разрыва с «тем дорогим и святым», в чем ты прежде чувствовал Бога. Над чем-то тебе нужно поставить крест, чтобы идти дальше.

Крепко жму твою руку и жду еще письма.

Твой БорЭйх

XIII

11 ноября 1914 г.

Аркадий Семенович. Я сейчас ужасно занят срочной работой, так что не смогу ответить тебе на все «не личное» — сделаю это в ближайшие дни. А о личном — скажу только, что мне очень хочется пожать тебе руку. Мы оба были гневны — ты, потому что страдал от непосредственных впечатлений, я — потому что, как можешь кстати убедиться, ответ *нелегко мне дался* и «спокойствие» мое родилось не от бездушия, как это тебе в порыве гнева показалось. Я теперь чувствую, что именно это меня сильнее всего оскорбило, п<отому> ч<то> ты, конечно, не стал бы так меня «жалить», если бы верил, что к «спокойствию» этому я скорее стремлюсь, чем его достигаю, полагая эмоциональность в такие моменты ненужной, навивной и стремясь поэтому к некоторой духовной твердости, закованности. Здесь вот мы и вспыхнули.

И право — хорошо сделали. Я провел мучительную ночь, когда получил от тебя первое резкое письмо и ответил сейчас же коротко. Это, к тому же, совпало с болезнью, с жаром — у меня была инфлуэнца. До твоего письма я лежал в дремоте, совсем слабый. Рая принесла мне это письмо, я прочитал — и прямо кровь в лицо бросилась. Я вскочил и сейчас же написал. Потом не мог заснуть, на другой день написал еще, и даже инфлуэнца сразу прошла!

Мы потом еще, может быть, разберемся в истории этого искозо-эйхенбаумовского гнева. Сейчас мне хотелось бы очень горячо потрясти твою руку. Теперь нам надо вдуматься в те вопросы, которые во всем этом пожаре вспыхнули, и, как ты пишешь, «зорче всмотреться». Мы еще не оттолкнулись, а столкнулись, как две тучи — сверкнула молния и загремело. А после грома бывает и солнце — эта возможность нами еще не утеряна. Я продумаю еще положительную часть твоего последнего письма и отвечу, а там мы, я думаю, сможем и увидеться — тогда, конечно, все разъяснится.

Так вот, если разрешаешь — горячо, горячее прежнего, жму твою руку. Ребят от твоего имени погладил, а Рая, видя, что я сижу над работой и не пишу тебе, настаивала, чтобы я сегодня же тебе написал хоть немного — свидетельство ее «великодушия», ибо она тоже по-своему была «ужалена».

Твой БорЭйх

P.S. А Вера Ивановна тоже возмущалась мною?

XIV

25 марта 1915 г.

Дорогой Аркадий Семенович. Я собираюсь побывать у тебя в пятницу или в субботу, а пока хочется написать о впечатлении от твоей статьи,¹ хотя имя Мерджковского так мне за последнее время опротивело, огнуснело, что и читать о нем трудно. Я не о нем буду писать, а о твоей статье. У меня — несколько соображений. Прежде всего — общий метод этой статьи. Мне кажется, что она очень ослаблена исключительным «психологизмом». Ты одно время стал упрекать меня в

историзме — и был прав. Я теперь добиваюсь иного — надо онтологию, а то неизбежен тупик Бороздина,² вино и пр. Но и ты — в опасности. «Психологизм» приведет тебя к Овсяннико-Куликовскому.³ У тебя уже и в этой статье слишком много «субъективизмов» и пр. За психологизмом всегда ведь скрывается что-то, похожее на позитивизм. В философии религии, напр<имер>, психологистом делается тот, кто в явлениях религиозной жизни видит только проявления *душевной* жизни человека, а не *духовной*. Вот почему назвать тебя позитивистом, зная тебя лично, я не могу, а по статье твоей, несмотря на слова о Боге и интуициях, чувствуется что-то на позитивизм похожее, потому что — душевность. Вначале это — ничего, но к концу статьи все больше и больше ждешь духовного, Духа, ждешь разрешения психологических антитез, и потому убийственно действует заключение, в котором ты повторяешь начало и отрицаешь всякую надежду на исход из «психологизма». Выходит так, как будто творчество ничем не отличается от настроения. Есть в психологизме какая-то внутренняя ложь, какое-то умаление. Поэтому ты позволяешь себе иногда частично похвалить Мережковского — психологизм, умаляя духовность творчества, позволяет дробить. Я теперь убеждаюсь, что нам нужно строить что-то вроде «теории познания» художества, работать каким-то *гносеологическим* методом, чтобы освободиться и от Бороздиновщины, и от Овсяннико-Куликовщины. И мне кажется, что психологизм тебе испортит все дело. Он уже теперь портит тебе *композицию*. Твоя статья — неподвижная, без внутреннего ритма. Она — как глыба камня. Ровная, закругленная, с какой стороны ни подойдешь — все то же. Это было уже немного в твоей статье о Чехове, но тут — гораздо сильнее. Поэтому, выражаясь несколько грубо, — скучно. Скучно потому, что чувствуешь зависимость между отсутствием композиции и психологизмом. Художник никогда не бывает психологистом — поэтому есть «геометрия». Не согласен, что у Достоевского нет «эстетики геометрии» — большая, чем у Толстого! Построение «Идиота» — это положительное совершенство в геометрическом отношении, прямо — треугольник!

Портится у тебя и стиль от психологизма. Не нравится мне: «То ли дело Ф. Солугуб», «еще *любопытнее*», «насчет Бога», не нравятся вопросы — «как же справился М<ережковский> со своей темой? Что ценного для нас в художественном отношении?» Не нравится — «се есть лев, а не собака», не нравится «так вот». Во всем этом проскакивает психологизм. Поэтому же так надоедно звучит «*трагедия* Мережковского». И мне кажется, что тебе самому это надоело — ты в этой статье точно сам скучаешь, цитируешь слова Лурье.⁴

Мне потому так захотелось написать все это, что я как-то ни разу толком о твоих статьях с тобой не говорил. Этому мешала близость. Что-то мне было чуждо в твоих работах, а что — я не мог ясно определить. И вот теперь нам нужно потолковать об этом психологизме. Нужна ли психология творчества для нас? Не есть ли это просто облегчение? И не скрывается ли за психологизмом недоверие к Духу, сведение всего к душевным явлениям?

Если ты любишь своего сына — брось психологизм. И я даже уверен, что рождение сына подействует на тебя именно в этом направлении. Психология не может родить сына — здесь есть что-то другое.

Крепко жму твою руку, в новом чувстве склоняюсь перед Верой Ивановной и воображаю корзиночку, а в корзиночке — носик. Р<ая> Б<орисовна> шлет всем Вам привет. Вите сегодня — год.

Твой БорЭйх

¹ Речь идет о статье А. С. Долинина «Д. Мережковский» в кн.: «Русская литература XX века» под ред. С. А. Венгерова. Т.1. М., 1914. С. 295—356.

² Бороздин Александр Корнилиевич (1863—1918) — историк русской литературы XIX в., принадлежавший по своим воззрениям к культурно-исторической школе.

³ Овсяннико-Куликовский Дмитрий Николаевич (1853—1920) — историк русской литературы, последователь психологической школы.

⁴ В статье о Д. С. Мережковском, критикуя предлагаемую им схему мирового синтеса, страдающую тенденцией к поверхностным сближениям неоднородных явлений, А. С. Долинин говорит следующее: «Ибо, как вполне правильно заметил один из писавших о Мережковском... всем и каждому ясно, что слишком мало общего, соизмеримого между «жалостью и целомудрием» серафических гимнов Франциска Ассизского и жалостью и целомудрием величайшего злына по духу Платона — ну хотя бы как автора книги «О государстве» и знаменитого трактата «О законах» (с.340).

XV

1 сентября 1915 г.

8 Рождественская, № 21, кв. 17. 164-68.

Дорогой Аркадий Семенович. Я все думаю о том, что ты говорил про Гоголя. И он ведь сам, Гоголь-то, знал, что так скажут, и сам раньше всех написал о себе словами Фомы Григорьевича в предисловии к «Вечеру накануне Ивана Купала»: «Плюйте ж на голову тому, кто это напечатал! Бреше сучий москаль! Так ли я говорил?» А ты теперь это повторяешь. Тут на тебе, верно, влияние Розанова — у него ведь замечательные есть строки о Гоголе. У меня записана его фраза: «Всмотримся в течение этой речи (начальная страница «Мертвых душ»), и мы увидим, что оно безжизненно. Это восковой язык, в котором ничего не шевелится, ни одно слово не выдвигается вперед и не хочет сказать больше, чем сказано во всех других. И где бы мы ни открыли книгу, на какую бы смешную сцену ни попали, мы увидим всюду эту же мертвую ткань языка, в которую обернуты все выведенные фигуры, как в свой общий саван». Язык Гоголя — саван для мира. Это замечательно сказано. Но отсюда следует только одно — что таков мир Гоголя, такова его «гносеология». Ведь и в мире есть розы, а есть смерть. Гоголь «брешет» на жизнь, потому что ей не верит, она на каждом шагу может спрашивать, как Фома Григорьевич — «так ли я говорила?» А Гоголь знает, что законы природы ослабевают («Портрет»), что нечистая сила так и рвется в мир гармонии. И вот — восковой язык, саван. Природа у Гоголя — мертвая, п<отому> ч<то> она — видимость, призрак. Поэтому он так любит отражения — в нем вызывает особый пафос это, и Гоголевский пейзаж всегда таков: небо, земля и отражение в воде. Неподвижный, застывший, таинственный и обманчивый пейзаж. Посмотри в «Сорочинской ярмарке», в «Страшной мести» — без конца таких мест. Это — внутренний закон его творчества, это — его знание, а не ложь. У него даже насекомые каменеют — «изумруды, топазы, яхонты насекомых» («Сороч. ярмарка»). Нет движения, нет времени — есть только пространственные соотношения, которые иногда обернуты не в саван, а в брачные одежды, но язык — такой же восковой. Посмотри начало «Сороч. ярмарки».

Знаешь ли, кто намекает на познавательную сторону искусства? Представь — Овсяннико-Куликовский! Но плоско, не добираясь до сути. Ведь отсюда, от аналогии с научным познанием, идет его теория двух методов — наблюдательного и экспериментального. Но от метода надо идти к принципам, чтобы понять самый метод. Гоголь «экспериментирует», п<отому> ч<то> реальность есть обман — надо, значит, ее исказить, чтобы она стала похожа на правду.

Как тебе все это кажется? Меня Гоголь волнует и увлекает. Ах, если бы силы да время! Урока никакого еще нет, и я очень тревожусь. Что как не найду?

Не могу забыть сцены той — когда ты ублаживал ребят. Почувствовали в тебе отца. Рая шлет тебе привет.

Жму твою руку. Хочу увидеть тебя поскорее.

Твой БорЭйх

Подготовка текста, вступительная заметка и примечания А. А. Долининой

АЛЕКСАНДР ЖОЛКОВСКИЙ

ЗОЩЕНКО ИЗ XXI ВЕКА, ИЛИ ПОЭТИКА НЕДОВЕРИЯ

1

Зощенко любил соотносить себя с Гоголем — это было единственное сравнение, на которое он не обижался¹. Он разрабатывал многие типично гоголевские темы и сюжеты, в частности, мотив «шинели», похищаемой у «маленького человека». Даже умер он, подобно Гоголю, от невротического голодания. А недавно он умножил собою почтенный лик столетних юбиляров, причем тоже несколько по-гоголевски, ибо годом его рождения был 1894-й, но, с его собственной легкой руки, долго считался 1895-й, и, значит, праздновать можно, так сказать, и на Антона и на Онуфрия. Кстати, юбилейным в каком-то смысле является и текущий год — пятидесятый со времени печальной памяти постановления ЦК „О журналах «Звезда» и «Ленинград»“ от 14 августа 1946 года.

Столетие Гоголя ознаменовалось радикальным пересмотром трактовки его творчества. Начало этому было положено еще в 1890-е годы двумя статьями Розанова, а в юбилейном 1909 году вышел специальный номер „Весов“, окончательно оформивший превращение Гоголя из критического реалиста в духовидца и модерниста. В 1970-е годы в США была издана влиятельная подборка подобных перепрочтений Гоголя под характерным заглавием: „Гоголь из XX века“. Пришло время посмотреть из следующего века и на Зощенко. Держаться принятого взгляда на него как на сатирика-бытописателя — все равно что читать Гоголя по-белински — как „поэта жизни действительной“.

Даже сочувственная и вольная эмигрантская критика, современная Зощенко, находясь в плену у актуальной повестки дня, смотрела на своих любимых советских — „подсоветских“ — авторов через соответствующие социально-политические очки. В частности, смех Зощенко объявлялся „простым“ и „здоровым“ (П. Пильский), а скромной познавательной ценностью его произведений — статистика краж, пьянок и мордобоев в „реальной жизни“.

„[Изображаемое Зощенко] убожество не ново. Не нов и вопрос [стоит ли «такую бедность освещать клопом на смех»]... В разных формах ставился он... у Гоголя, Салтыкова, Островского, Чехова... С людьми, столь выдающимися, я не сравниваю Зощенко ни по силам дарования..., ни по его художественному значению... [Но] полнотой... собранного... бытового материала Зощенко очень значителен“ (В. Ходасевич).

¹ Ради простоты изложения я полностью опускаю ссылочный аппарат. Его можно найти в моих академических работах о Зощенко, использованных в настоящей статье, см. „Известия РАН, СЛЯ“, 1995, 5; „Новое литературное обозрение“, 1995, 15; „Зощенко... Сборник...“, М., 1996; „Тыняновский сборник. 6“, Рига, 1996. — А. Ж.

Александр Константинович Жолковский (род. в 1937 г.) — филолог, специалист по машинному переводу, структурной семантике и порождающей поэтике. В 1979 г. эмигрировал в США. С 1983 г. — профессор университета Южной Калифорнии.

Что касается официальной советской критики, то она — задолго до Жданова — начала клеймить Зощенко как представителя недобитого и возрождающегося мещанства, неразборчиво, а то и намеренно, смешивая писателя с его героями. В противовес этому, серьезная часть советского критического истеблишмента разрабатывала представление о Зощенко как изобличителе этого самого мещанства, никак не причастном к осмеиваемым порокам.

„Его... рассказы — суровый обвинительный акт против... приспособленцев... Таки-ми рассказами, как «Парусиновый портфель», «Забавное приключение», «Плохая жена», он обвиняет [их] в том, что все они скотски блудливы. А рассказами... «Спекулянтка», «Пожар» он обвиняет их в том, что все они злостно корыстны...» (К. Чуковский).

„[Зощенко] потому... так блистательно удалось создать трагикомический образ мещанина-обывателя... что он по своим человеческим качествам был свободен от основных черт и устремлений людей этого типа» (Е. Журбина).

Однако тезис, будто писателю лучше даются внутренне чуждые ему явления, далеко не бесспорен. Естественнее предположить обратное: что именно сосредоточенность автора на собственных „душевных состояниях“ придает их художественным проекциям захватывающую жизненность. Тем более — применительно к Зощенко, писавшему:

„Не жизнь создала искусство, а искусство создает жизнь... Прежние творцы воспроизводили «вещи», а новые творцы воспроизводят свои душевные состояния».

Да и само стремление глухой стеной отгородить Зощенко от его персонажей, скорее всего, не сводится к дружественной защите писателя от официозных нападок. В нем под более или менее благородным — оппозиционным — соусом проявляется, в сущности, все то же

„традиционное отношение общества к своему сатирику... [Общество] очень довольно, когда может воскликнуть: «Как он их разделал!» Но... нельзя требовать, чтобы оно восклицало с удовольствием: «Ну он меня и разделал!» А ведь Зощенко именно меня разделал, нас, людей нашего времени, нашего общества...» (К. Федин).

К числу «разделяемых» Зощенко щедро относил, прежде всего, самого себя — вполне в духе флюберовского признания, что „мадам Бовари — это я“, и гоголевского, что „собственн[ую] дрян[ь] он[и] преследовал... в другом званье и на другом поприще... в разжалованном виде из генералов в солдаты“. Зощенко подчеркивал:

„Если я пишу о мещанине, то это еще не значит, что я увидел где-то живого мещанина и целиком перевел его на бумагу... Я выдумываю тип. Я надеваю его всеми качествами, которые рассеяны в том или другом виде в нас самих... Почти в каждом из нас имеется еще... тот или другой инстинкт мещанина и собственника».

Чуковский, близко знавший Зощенко, не мог, конечно, не видеть существенных аналогий между поведением зощенковских персонажей и личной жизнью их автора. Именно эта готовность Зощенко выставить на свет свое подлинное «я» знаменовала, что обсуждаются не какие-то чужие «они», а все возможные «мы». Однако желание отстоять неприкосновенность своего собственного «я» требовала от критиков соответствующей лакировки и «я» авторского. Таким образом, противостоя ждановскому взгляду на Зощенка в одном отношении, серьезная советская критика в сущности солидаризировалась с ним в другом. Для нее тоже неприемлем тот сомнительный самообраз автора, который встает из якобы антимещанских рассказов Зощенко и усугубляется сопоставлением с его самоаналитической повестью „Перед восходом солнца“ (далее — ПВС) и мемуарными свидетельствами о нем.

Значит ли это, что предлагается отказаться от выстраданного историей и теорией литературы различия автора и его персонажей, лица и маски, идеологической позиции и сказовой манеры и по-ждановски приписать самому Зощенко „мурло“ изображаемого им „мещанина“? Для рассмотрения этой проблемы необходимо прежде всего освободиться от диктата ждановского дискурса, предписывающего, хотя бы по принципу наоборот, спектр возможных реакций.

Продолжая гоголевскую параллель, стоит вспомнить, что Гоголь, как вслед за ним и Зощенко, подчеркивал, что его интересуют не вещи, а душа. По поводу „Ревизора“ он писал:

„Всмотритесь-ка пристально в этот город, который выведен в [„Ревизоре“]; все до единого согласны, что такого города нет во всей России... Ну, а что, если это наш же душевный город...?»

Примерно так же высказывался он и о „Мертвых душах“ — и их непонимании Пушкиным:

„[Пушкин] произнес:.. «Боже, как грустна наша Россия!» Меня это изумило. Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что все это... моя собственная выдумка! Тут-то я увидел, что значит дело, взятое из души... душевная правда».

Если уж Пушкин в упор не видел душевного визионерства Гоголя, то надо ли удивляться, что сугубо „социальная“ репутация сопутствовала и Зощенко? Споры в критике долго шли о мере правдивости зощенковской сатиры, об идейных взаимоотношениях между героем-„мещанином“, зощенковским рассказчиком и самим автором, о „художественных особенностях“ — сказе, лексике, комических приемах. По мере ознакомления с ПВС внимание исследователей стало постепенно сдвигаться в сторону психологической подкладки зощенковского творчества. Наряду с анализом самой повести были сделаны первые попытки соотнести с выявленными там комплексами материал других его произведений. Попытки довольно осторожные — в качестве „других“ были взяты вещи, сами по себе родственные ПВС: „медицинские“ рассказы вроде „Врачевания и психики“, более или менее автобиографические детские рассказы и несмешные „Сентиментальные повести“. Лишь однажды, да и то под покровом беллетристического вымысла, высказано было еретическое предположение „даже в наиболее смешном персонаже Зощенко... усмотреть самого М. М.“.

Так защитные механизмы смеха, примененные писателем для того, чтобы сделать свои идiosинкратические идеи „удобными и понятными для читателя“ (Зощенко) и одновременно самому же от них отстраниться, продолжают с успехом охранять его комическое наследие от исследовательского скальпеля. Но зощенковские герои, как и гоголевские, это не „портреты с ничтожных людей“ (Гоголь), да и техника их изготовления, в общем, та же: преследование собственной дряни в разжалованном виде дряни чужой — мещанской, нэпманской, советской и т.п. Задача состоит поэтому в том, чтобы увидеть смеховой мир Зощенко как систематическую проекцию „душевного города“ его автора. План этого города он в деталях начертил в ПВС, описав мучившие его, вернее, его автобиографическую ипостась (далее условно — МЗ), фобии воды, груди, секса и другие, а также саму повторяющуюся невротическую форму «желания — недоверия — страха — наслаждения — наказания — бегства».

Впрочем, даже и без многочисленных авторских признаний литературоведы должны были бы задаться поисками общей тематической основы „смешного“ и „серьезного“ Зощенко. Важность, скажем, медицинской проблематики ПВС для комического репертуара Зощенко подсказывается уже самим множеством соответствующих заглавий („Берегите здоровье“, „Больные“, „Врачевание и психика“, „История болезни“, „Клинический случай“ и т.д. и т.п.). А ведь, с точки зрения приписываемой Зощенко разоблачительной сверхзадачи, обилие у него рассказов на темы болезней, нервов, отравлений, заразности, лечения, взаимоотношений с врачами, больничных и курортных нравов и т.д. просто необъяснимо. Не менее загадочно и засилье медицинских мотивов даже в совершенно „здоровых“ сюжетах (так, в рассказе „Папаша“ алиментщик все время приговаривает: „Захворать можно от таких дел“) и постоянное мелькание в них врачей, фельдшеров, знахарей и „нервных“ или „захворавших“ людей.

2

Тщательное сличение комических рассказов с ПВС подтверждает глубину известного заявления Зощенко: „И повести и мелкие рассказы я пишу одной и той же рукой“. Проведем несколько таких сопоставительных разборов, начав с рассказа 1924 года „Любовь“.

Вася Чесноков провожает Машеньку с вечеринки по ее просьбе и вопреки опасению, „вспотевши... захворать... по морозу“. Он объясняется в любви к ней „до самопожертвования“ — ей достаточно сказать, и он ляжет на рельсы, ударится затылком „об туую стенку“, бросится в канал. Появляется грабитель, снимает с Васи шубу и сапоги. „ — А пикнешь — стукну по балде, и нету тебя... — Даму не трогайте, а меня — сапоги снимай, — проговорил Вася обидчивым тоном“. Грабитель уходит, Вася убегает, Машенька остается.

Для Ходасевича это пример „изумительного бытового фона, на котором живут и движутся «уважаемые граждане»... Зощенки“. Действительно, речь идет о грабеже, трусости, подлости. Однако в этой вариации на гоголевскую „Шинель“ налицо знакомый по ПВС букет мотивов: ипохондрический страх заболевания, любовная инициатива женщины, ужас раздевания — перед женщиной и при людях, боязнь удара/руки, страх наказания за обладание женщиной и готовность от нее отступить — вплоть до двусмысленного приглашения раздевающим мужчинам „трогать“ даму.

Более того, в ПВС есть подглавка со сходным сюжетом:

Юный МЗ „неравнодушен к Ксениш... Уверенная в моем чувстве, она говорит: — Могли бы вы для меня пойти ночью на кладбище и там сорвать какой-нибудь

цветак?.. — Для вас я мог бы это сделать". Поднимается ветер, герои бегут, „взявшись за руки“, раздаётся „мамин голос: — Назад! Домой!.. Это вода хлынула с поля... Я бегу к дому... На веранде Ксения мне говорит: — Убежать первым... бросить нас... Все кончено между нами". МЗ молча уходит в свою комнату.

Несмотря на отличия, центральный ход здесь тот же самый, и в Васе Чеснокове проглядывает „собственная дрянь" авторского «я».

Еще один рассказ „о мещанине", подозрительно похожем на своего „обличителя", — знаменитая „Операция" (1927).

„Петюшка Ящиков... на операцию [по поводу ячменя] в первый раз явился... Докторша... молодая, интересная особа... говорит: — ... Некоторые мужчины... вполне привыкают видеть перед собой все время этот набалдашник. Однако, красоты ради, Петюшка решился на операцию". Собираясь в клинику, он „думает: «...как бы не приказали костюм раздеть. Медицина — дело темное»... Главное, что докторша молодая. Охота была Петюшке пыль в глаза пустить... Надел чистую рубаху... Усики кверху растопырил. И покатылся... Докторша говорит: — ... Вот это ланцет... Снимите сапоги и ложитесь..." Петюшка, стесняясь своих „неинтересных" носочков, „начал все-таки свою китель сдирать, чтоб, так сказать, уравновесить нижние недостатки... — Прямо... не знал, что с ногами ложиться. Болезнь глазная, верхняя... Докторша, утомленная высшим образованием... сквозь зубы хохочет. Так и резала ему глаз... На ногу посмотрит и от смеха задыхается. Аж рука дрожит. А могла бы зарезать со своей грожающей ручкой... И глаз у Петюшки теперь без набалдашника".

В „социальном" плане это типичная насмешка над некультурностью нового человека. Но первый же непредвзятый взгляд на „Операцию" не как на злободневный фельетон, а как на новеллу мирового класса, обнаруживает ее архетипический костяк. Почти в открытую даны:

- метафора «операция — любовное свидание»;
- тема половой инициации: „первый раз»;
- фаллический символизм: глаз, „набалдашник", „усики кверху", противопоставление «верх» (глаз) / «низ» (ноги, „нижние недостатки»);
- страх кастрации: резание, ланцет, зубы докторши; и
- двусмысленная развязка, счастливая и несчастная одновременно: „глаз... теперь без набалдашника" (удаление которого в сексуальном плане может читаться и как кастрация, и как благополучная консуммация полового акта).

Обращение к данным ПВС (подсказываемое уже самим сюжетом на медицинскую тему) позволяет одеть этот общепсихологический костяк в плоть специфически зоценковских комплексов. Это:

- страх раздевания (вспомним „Любовь" и другие зоценковские „Шинели»);
- амбивалентная реакция на недоступную утонченную женщину (типа аристократки в шляпе);
- сексуальные притязания / сомнения: „набалдашник" / „нижние недостатки" (между прочим, мытье ног фигурирует в качестве атрибута сватовства и в рассказе „Жених": „Заложил я лошадь, надел новые штаны, ноги вымыл и поехал" — срочно искать жену);
- боязнь ножа и держащей его руки.

Есть в ПВС и красноречивые прямые параллели к этому «хирургическому» сюжету.

„Кто-то гонится за мной... человек, в руке которого нож... Этот нож занесен надо мной... Я тотчас понял этот сон... Больница, видимо, операционная... рука с ножом — рука врача, хирурга... Мать рассказывала об операции, которая была сделана, когда мне было два года... без хлороформа, спешно... Она слышала мой ужасный крик... Я нашел этот шрам... Должно быть, это был весьма глубокий разрез... Бедный малыш! Можно представить его ужас, когда страшная рука... вооружилась ножом и стала резать маленькое жалкое тельце... Он лежал с заграничными кверху ножонками, чувствовал аскую боль и видел руку с ножом — знакомую руку вора, хищника, убийцы... Какая психическая кастрация!"

„Мать смазывала сосок хиной, чтоб я наконец получил отвращение к этому виду еды. Согрогаясь от отвращения и от ужаса, что грудь таит в себе новые беды, — я продолжал кормиться... Грудь создавала... второй очаг возбуждения... который возникал при виде руки — руки вора, нищего, хищника, убийцы".

Монтаж двух отдельных травматических переживаний (болезненной операции; отнятия от груди) объясняет паническую ассоциацию ножа с женщиной в сознании МЗ, лежащего на операционном столе „с заданными... ножонками" (вспомним Петюшкины ноги). Однако сюжет „Операции" представлен здесь еще в очень зачаточном виде. Недостающие звенья обнаруживаются в другом фрагменте ПВС:

МЗ толкует своему групу, что старость страшнее смерти. Того задевает грузовик, и МЗ везет его в больницу зашивать „рассеченную губу... Хирург (молодая женщина) обращается с вопросом [к МЗ], так как у пострадавшего необычайно вспухла губа и он не смог бы ответить... — Сколько лет вашему знакомому?.. Если ему меньше сорока—пятидесяти лет, я сделаю ему пластическую операцию. А если пятьдесят, так я... так зашью... Тут пострадавший... заметался... Подняв руку, он выкинул четыре пальца... Слегка поломавшись, женщина-врач приступила к пластической операции. Нет, губа была зашита порядочно, шрам был невелик, но моральное потрясение еще долго сказывалось... Эта боль осталась и у меня. И о старости я стал думать еще хуже...”

С „Операцией“ явственно переключаются не только кастрационный абрис этого сюжета (напрашивается сравнение упора на старость и смерть в ПВС с опасением рассказчика „Операции“, что докторша могла „зарезать“ Петюшку) и роли персонажей (особенно докторши), но и концовка (двусмысленная) и даже детали (Петюшкина „пшениная болезнь“, раздувшаяся до размеров фаллического „набадашника“; вспухшая губа друга плюс его поднятая рука, своей эрексией красноречиво отрицающие его старость). Дальнейшие параллели к „Операции“ могут быть усмотрены в многочисленных любовных эпизодах ПВС, где робкий и пассивный перволичный герой то и дело становится объектом женской эротической инициативы.

Как говорится в одном из зощенковских рассказов, „не только света в окне, что женщина“. Поэтому третий пример будет для разнообразия взят из начисто лишеного эротических обертонов рассказа „Гости“ (1927).

За гостем „нынче... приходится... следить... чтоб пальто свое надел... Еду-то, конечно, пуцать берет“. Супруги Зефиоров устроили вечеринку, полагая, что втроем-то, вместе с „женным папой“, они „очень свободно за гостями доглядеть“ могут. Но старик и сам хозяин вскоре „нажрались“, а хозяйка вдруг обнаружила, что „кто-то сейчас выкрутил в уборной электрическую лампочку в двадцать пять свечей“. Устраивается „поголовный обыск“, выворачиваются карманы, „но ничего такого предосудительного, кроме нескольких бутербродов и полбутылки мадеры, двух небольших рюмок и одного графина, обнаружено не было... Может быть, кто и со стороны... вывинтил лампу... А утром... оказалось, что хозяин из боязни... что... могут слимонить лампочку, выкрутил ее и положил в боковой карман. Там она и разбилась“.

Казалось бы, это еще один рассказ на привычные темы пьянства, воровства и т.п. Говоря о вороватости зощенковских „уважаемых граждан“, Ходасевич писал:

„Негаром они постоянно друг друга подозревают. Позвал хозяин студента ВУЗа грова колоть... Вот «студент грова носит, а хозяйка по квартире мечется — вещи пересчитывает — не спер бы, боится. А сын ее, Мишка, у вешалки пальты считает. Ах, думаю, чертова мещанка! А сам я пальтишко свое снял, опнес в комнату и газетой прикрыл“.

Примечательно, однако, что ожидаемого воровства здесь (речь идет о рассказе „Случай“), как и в „Гостях“, не происходит. Персонажи подозревают друг друга как раз „даром“. Как это ни парадоксально, поэт, наследник „серебряного века“ Ходасевич исходит из социально-материалистического воззрения, что искусство отражает быт („вещи“), тогда как предполагаемый „советский сатирик“ Зоценко, напротив, поглощен изображением своих собственных страхов („душевных состояний“).

Находится соответствующий эпизод и в ПВС. Он называется „Закрывайте двери“:

Перед сном „Леля говорит: — Сегодня придут воры... Я кричу... — ... Не забудьте закрыть двери!.. Все спят. Но мне не спится. Двери, конечно, закрыты... [Я]... ощупью нахожу крючок на окне... что-то со звоном... падает на пол. Я слышу испуганный голос мамы: — Что! Кто там?.. Воры! — Где, где воры? — кричу я матери. В доме переполох... Мать успокаивает меня. И я снова... закрываюсь с головой одеялом“.

Как видим, МЗ не виноват — подозрения реальнее воров даже в его младенческом опыте.

„Я — мальчик, а потом юноша и взрослый — кричал «Закрывайте двери»... [и] тщательно проверял... запоры на дверях, на окнах... ставил стул и на стул укладывал чемодан... с надеждой, что они упадут и разбудят меня, если кто-то попытается войти в мою комнату“.

Советская оргия воровства наложится в дальнейшем на уже готовую паранойю (и тем успешнее отразится в зощенковских рассказах).

Ложные подозрения нередко выливаются в неадекватную реакцию.

Рассказчик чует на лестничной площадке бандита, тот бросается на него и гонится за ним, но оказывается столь же подозрительным соседом („Мокрое дело“). Рассказчик и жена слышат крик соседки, полагают, что ее грабят, решают не вмешиваться, загораживают дверь комодом (!); так же поступают остальные жильцы, но оказывается, что это пожар („Событие“).

Как если бы реальных и воображаемых хищений было недостаточно, зощенковские герои пускаются на провокационные инсценировки воровства.

Леля и Минька кладут на виду красивый пакет, прохожий хватает его, и ему на руку выпрыгивает лягушка. Десяток лет спустя рассказчик — голодный студент в чужом городе — видит на улице набитый кошелек, тянет к нему руку, но тот отъезжает в сторону, и слышится детский хохот. Повзрослевший рассказчик, наконец, наказан за свои детские грехи („Находка“).

Еще одна вариация на тему недоверия — изобретение различных превентивных мер (в духе слежки за гостями и укрепления запертой двери комодом или чемоданом на стуле).

Бабка на вокзале дремлет, не сходя со своего узла, ее толкают, как бы невзначай роняют перед ней прешку и, пока она занята ее незаметным присвоением, уносят узел („Узел“). Пассажир кладет чемодан под голову, засыпает, его тянут за сапоги, он пытается погнаться за воров в полуспущенных сапогах, а чемодан тем временем исчезает („Рассказ о том, как чемодан украли“).

Очевидны как внутренние сходства между этими сюжетами, так и переключки с другими. Попытки жертв быть начеку даже во сне напоминают аналогичный опыт МЗ-ребенка.

Наконец, многочисленны случаи смещения акцента с кражи на какие-то сопутствующие обстоятельства, чем иллюстрируется идея, что «дело не в воровстве», а в каких-то более глубоких чертах человеческой психологии.

Воров, которые спавшают, а затем бьют, обирают и раздевают гражданина, милиция вскоре задерживает, а устыженную жертву ищет долго и находит лишь с помощью преступников („На дне“). Девочка уходит из магазина в понравившихся ей баретках, чтобы „палаца“ опять не уклонился от покупки „по причине все той же дороговизны“ („Рассказ о том, как девочке сапожки покупали“).

Во всем этом просматривается общая тенденция поместить эпицентр хищения не «вовне», не в социальном пространстве, а «внутри», в психике субъекта. Этим субъектом может быть и смехотворно вороватый „мещанин“, и сравнительно честный рассказчик, и квази-автобиографический Минька, и даже авторское «я» из ПВС. Когда все подряд оказываются преступниками, то за этим слышится ненисходительное карамилинское „Воруют“, а напряженное зощенковское „Я сам вивоат“ — тема, пронизывающая ПВС.

3

Аналогично и совершающееся вне сферы воровства. Теми же прописями страха оформляются неврозы по поводу самых разных „больных“ ситуаций — дележа денег в семье, воды, ножа и других.

Пассажирка просит кого-нибудь посмотреть за ее младенцем, пока она поест, и долго не возвращаясь, вызывая подозрение, что она подкинула ребенка („Происшествие“). Рассказчик разговаривается в поезде с итересным пассажиром, а узнав, что тут едут „психические“, бросается отнимать нож у одного из соседей, как раз „нормального“ — как и он сам („Мелкий случай из личной жизни“).

С целью рассеять недоверие предпринимаются всевозможные испытания — от мысленных экспериментов до вполне реальных провокаций.

Комиссар прячется в чулане и проверяет лояльность служащих, инсценировав возвращение белых; только один ведет себя достойно („Испытание героев“). Мужчина, ушедший от старой жены к молодой, с фронта пишет обеим о якобы имевшем место ранении; он возвращается, целый и невредимый, к первой жене, которая ответила, что готова принять его и без ноги („Испытание“). Ухажер берет у девушки расписку об отказе „в случае чего“ от финансовых претензий, однако в гальнейшем суд приговаривает его к уплате алиментов („Последний рассказ, под названием „Коварство и любовь“). Требовательность весовщика заставляет рассказчика заподозрить, что и у него „слабая тара“; он обращается за „укреплением“ тары к сообщнику весовщика и нечаянно разоблачает всю махинацию („Мелкий случай из личной жизни“).

Иногда недоверие рассеивается, если выясняется другая — «справедливая» — причина подозрительного события.

Герой рвется в ресторан, говоря, что его рабочая одежда — не основание не впускать его, а узнав наутро в милиции, что его выперли и задержали как пьяного, радуется торжеству справедливости („Рабочий костюм“).

Эта жажда «справедливости», пусть суровой, является обратной стороной «страхов» по поводу полной непредсказуемости существования. Согласно Зощенко, жизнь в целом ненадежна.

Человек вдруг задумывается о том, что „не только его женитьба, но, может... и вообще... все на свете непрочно... нету какой-то твердости... на земле нет одного строгого, твердого закона... [Раньше] многие поколения... воспитывались на том, что бог существует... Или наука... [Но оказывается] все неверно" („Страшная ночь").

Аналогичные мысли о непрочности человеческого организма, материи („товар и тот распадаться начал" („Царские сапоги")) и вообще жизни, в которой „смешно и глупо располагаться, как в своем доме", Зоценко развивает постоянно. Иногда — с большей, иногда — с меньшей иронической отчужденностью: в „Возвращенной молодости" от имени двусмысленного рассказчика, в „Голубой книге" от имени „буржуазного философа", в ПВС от собственного имени. Готовность одержимого страхами невратосника укрыться под сень «порядка» имеет как общеэкзистенциальные обертоны (отсюда пресловутый морализм Зоценко), так и более актуальные, проливающие интересный свет на взаимоотношения Зоценко с советской властью. Но об этом ниже, а пока вернемся к „Гостям".

Центральной темой рассказа являются все-таки не воры, в основном воображаемые, а... гости. Конфронтации между гостями и хозяевами происходят у Зоценко постоянно и, как правило, наносят вполне осязаемый ущерб той или другой стороне.

В гостиницу к приезжему стали заходить приятели — пофилософствовать и помышлять; одна родственница „час с четвертью не выходила из ванны", а другой гость забыл закрыть кран и устроил потоп („Водяная феерия").

Но реальный ущерб незначителен по сравнению с интенсивностью опасений, претензий, провокаций, ответных мер и т.п., вызываемых гостевой ситуацией, и радости по поводу избавления от нее.

Хозяин, его жена и сын, последний — особенно откровенно, обсуждают при гостях дороговизну угощения; гости расходятся („Хозрасчет"). Приглашенный на поминки надтрескивает стакан, хозяева жалуются на разорительность гостей и угрожают побить виновника, а он отвечает, что „чай у вас шваброй пахнет... три стакана и огню кружку разбить — и то мало" („Стакан"). Жена и ее сослуживец долго не открывают мужу, а затем выясняется, что там происходило заседание сослуживцев, которые заодно „подшутили. Охота... была знать, что это мужья в таких случаях теперь делают" („Муж"). Несмотря на протесты хозяйки, гости звонят в Кремль, а когда раздается грозный ответный звонок, в страхе расходятся; потом „оказывается, [что] один из гостей... побегал в аптеку и оттуда позвонил, с тем чтобы разыграть всю компанию" („Интересный случай в гостях").

Своими кремлевскими обертонами последний сюжет перекачивается с довольно недвусмысленными рассуждениями рассказчика одной из сентиментальных повестей, мечтающего об идеальном разрешении гостевого вопроса:

„Если б автора спросили: «Чего ты хочешь?..»... Ну, чтобы люди в гости стали ходить, что ли, так, для приятного душевного общения, не имея при этом никаких задних мыслей и расчетов...

Вот один милый дом. Гости туда шляются. Днюют и ночуют... И кофе со сливками жрут. И за молодой хозяйкой почтительно ухаживают и ручки ей лбызают. И вот, конечно, арестовывают хозяина-инженера. Жена хворает и чуть, конечно, с голоду не околевает. И ни одна сволочь не заявляется. И никто ручку не лбызает. И вообще пугаются, как бы это бывшее знакомство не кинуло на них тень.

Но вот инженера освободили... И все снова завертелось. Хотя инженер стал грустный и к гостям не всегда выходил, а если и выходил, то глядел на них с некоторым испугом и удивлением" („Сирень цветет"; 1930).

Глубоко советские мотивы накладываются здесь на типично зоценковские, в том числе биографические — с одной стороны, хлопоты Зоценко за арестованного родственника, а с другой, его уклонение от контактов с шумными гостями на половине его жены.

Есть и прямые свидетельства нелюбви к гостям самого Зоценко; так, в том же 1927 году Чуковский записывает его слова:

„— А люди... если они придут ко мне в гости, я сейчас же надеваю пальто и ухожу... — ... Значит... всех ненавидите? Не можете вынести ни одного? — Нет, одного могу... Мишу Слонимского... Да и то лишь... если я у него в гостях, а не он у меня..."

Кто же такие эти нежеланные гости, которые хуже воров? Еще одним приближением к ним являются у Зоценко нищие, тоже посягающие на чужое. Рассказчик ПВС посвящает немало страниц своему комплексу нищего. Он обнаруживает его проявления в своих снах, воспоминаниях и литературных произведениях, констатирует свое настойчивое самоотождествление с нищими, реальными (такими, как опустившийся поэт Тиняков) и вымышленными, и осознает символическую природу

образа нищего. Чтобы быть поистине глубинным, страх должен восходить к самым ранним стадиям сознания, в репертуаре которых „нищего с протянутой рукой“ еще нет. Зато там есть „устрашающие“ руки действительно важных для ребенка фигур — отца, отнимающего у него грудь, и матери, отнимающей его от груди (с применением хины). Далее устанавливаются связи между рукой, сексом, едой, наказанием, ножом, кастрацией, ударом и т.д.

Как всегда, красноречивы переключки комических вещей с ПВС. В частности, в двух из них („Крестьянский самородок“, „Литератор“) рассказчика преследуют вымогатели-графоманы, совмещающие черты нищего и писателя. А безотносительно к писательству, с младенческими страхами МЗ и его амбивалентным отношением к родительским фигурам, в частности материнской, переключается знаменитый „Рассказ про няню“.

„Страхолюдная“ няня, взяв „пузырек с коровьим молоком“, погдолгу гуляет с младенцем и просит под него милостыню; родители увольняют ее, говоря, что не хотят „своему ребенку присваивать такие взгляды“. Няня заявляет, что легко найдет себе место получше.

Собственно, в ПВС есть и отчасти сходная няня — она рассказывает детям перед сном страшные сказки, и наутро МЗ не может пить молоко, „потому что оно от превращенной [в корову] феи“. Но на глубинном уровне речь идет, конечно, о матери, с которой в ПВС прочно ассоциирована тема нищенства.

„Кто-то“ (как потом выясняется, мать) предлагает нищему с мешком взять МЗ-младенца; нищий протягивает руку, МЗ поднимает крик. „Кто-то говорит: — Не отдам... Это я нарочно. Нищий уходит“.

После смерти отца мать берет МЗ-ребенка с собой хлопотать о пенсии у высокомерного чиновника, и он осознает себя нищим „с протянутой рукой“.

„Гроб [матери] несут в церковь. Я остаюсь на улице. Я сажусь на ступеньках храма. И сижу рядом с нищими. Я сам нищий“ (Зоценко в это время 26 лет).

Дело, как подчеркивает Зоценко, не в реальных нищих, не в попрошайничестве „под“ МЗ-ребенка и даже не в его ощущении покинутости после смерти родителей. Корни уходят гораздо глубже — во впечатления самого раннего младенчества, сталкивающие ребенка с родителями.

Отец в шутку отнимает у МЗ блины, тот плачет, отец обвиняет его в жадности: „ — Ему для отца жаль одного блина. — Огин блин, пожалуйста, кушай. Я думал, ты все скушаешь“. МЗ уступает отцу суп, но тот испытывает его щедрость на сладком. МЗ говорит: „ — Пожалуйста, кушай, если ты такой жадный“. Отец уходит, МЗ тоже, но вечером отец приносит ему сладкое и они съедают его пополам. (Вспомним, кстати, „Аристократку“, где рассказчик предлагает даме „скушать одно пирожное“.)

Первыми гостями в опыте младенца оказываются, естественно, ближайшие родственники — бабушки и дедушки:

Гостя у бабушки и дедушки (по матери), МЗ просит налить ему „капельку“ супа, что дедушка исполняет буквально; МЗ обижается и говорит: „Я больше к вам никогда не приеду“.

Появляющиеся затем на детском горизонте настоящие гости естественно вписываются в уравнение «родители — родственники — гости — нищие — воры». Родственническая природа гостей и вообще «врагов» прозрачна во многих рассказах. (Чего стоит один заголовок „Не надо иметь родственников“!) В целом же речь идет о вхождении ребенка в общественные структуры, представленные на раннем этапе родителями, а затем и гостями. Таким образом, конфликт хозяев и гостей в рассказах естественно прочитывается как проекция автором на отрицательных „мещан“ провала собственной интеграции в социум.

В случае Зоценко у этой общечеловеческой проблемы была еще одна сторона, которую он, по-видимому, скрывал от себя самого даже в ходе беспощадного самоанализа в ПВС. Он рос одним из восьми (!) детей — а не двух или трех, как это изображено в ПВС и детских рассказах. Однако в смягченном виде детское соперничество налицо и там, а тема „серийного“ отношения к детям проглядывает в самых разных текстах.

Бессонница героя объясняется тем, что „сестра приехала из деревни и заселилась в моей комнате вместе со своими детьми... Ребятишки бегают, веселятся, берут за нос“ („Врачевание и психика“). Для самого МЗ крики единственного ребенка были достаточным основанием, чтобы поселиться отдельно от семьи (ПВС).

Говоря очень кратко, у знаменитой зоценковской коммунальной квартиры имелся неизгладимый „душевный“ прообраз — многодетная семья, в которой с младенческих лет складывалось сознание будущего писателя.

Разговор о „Гостях“ позволил нам затронуть представительный набор душевных идиосинкразий Зоценко и поставить под сомнение образ простака-весельчака, здоровым смехом обличающего отсталый быт. Однако „здоровье“ и „простота“ не случайно попали в лексикон зоценковедов. Этими словами охотно пользовался сам писатель для обозначения своих идеалов, которые он иной раз объявлял уже достигнутыми. Так, в беседах с друзьями (К. Чуковский, М. Слонимским) он на полном серьезе говорил, что

„ненавидит в себе свою сложность и... [хотел] бы... стать наивным, бесхитростным... Для демократического читателя... превыше всего — здоровая ясность и цельность души, простота, добросердечие...“

„Поздоровел... на всем лице спокойствие, словно он узнал... великую истину... «Нужно... подняться душою над грязями, и болезнь пройдет сама собой!» — вкрадчиво проповедует он... Но из дальнейшего выясняется, что люди ему по-прежнему противны“.

„Я хочу быть нормальным человеком... [Я] стану приблизительно здоровым, нормальным человеком и напишу совершенно здоровую вещь со счастливым концом...“

В своих „серьезных“ повестях и книгах подобные мысли о здоровой простоте Зоценко развивал с непроницаемой двусмысленностью, а в коротких рассказах — с клоунскими издевками. Одна из комических миниатюр уже в своем заглавии сочетает два ключевых зоценковских понятия — „Душевная простота“ (1927).

Артисты гостившей в СССР „негритянской, негрооперетты“, „избалованные европейской цивилизацией“, остались довольны всем, кроме „уличного движения“ — грубой толкотни на улице. „А на ноги у нас действительно наступают“, но не по злему умыслу, а исключительно, „пушай негры знают, по простоте душевной“. Однажды и сам рассказчик, „засмотревшись на какого-то нищего“, наступил впереди идущему на пятку. Со страхом и сознанием вины ждал он возмездия — „развернется сейчас этот милый человек и вцепит в ухо“, — но тот так и не обернулся. „Тут душевная простота. Злобы нету. Ты наступил, тебе наступили — валяй дальше“.

С „культурно-социологической“ точки зрения, суть рассказа в критике советских нравов. Она по-эзоповски прикрыта разговором о душевной простоте, но на фоне воспевания гигантских шагов социализма прочитывается как снижающий перенос акцента на уличную давку и тому подобные неприятные мелочи. Более того, самим фактом повествования о не-событии иронически подчеркивается нормальность ненаступившего, но ожидавшегося события. — мордобоя. Однако такое лобовое прочтение не отдает должного этому маленькому шедевру.

За бессобытийными сюжетами часто кроется богатая литературная подоплека. Как заметила одна американская исследовательница, в рассказе обыграны два мотива из Достоевского: мысль Ивана Карамазова, что случайное отдаливание ноги может навсегда атрофировать у человека сочувствие к чужой боли; и своеобразный пешеходный поединок человека из подполья с игнорирующим его офицером.

А при ближайшем рассмотрении обнаруживаются переключки еще по ряду линий. В частности, с монологом Ивана:

— по «душевной» линии: „Он... лишает меня... своих благодеяний и даже вовсе не от злого сердца“ (Достоевский). — „Тут, я вам скажу, злого умысла нету... Душа в душу идет...“ (Зоценко);

— по линии «смотрения на нищего»: „Нищие... должны были бы наружу никогда не показываться, а просить милостыню чрез газеты. Отвлеченно еще можно любить ближнего, и даже иногда издали, но вблизи почти никогда“ (Достоевский). — „Засмотрелся я на нищего и со всего маху моему переднему гражданину на ногу наступил“ (Зоценко);

— по «театральной» линии: „Если бы все было как на сцене, в балете, где нищие... появляются... в шелковых лохмотьях... и просят милостыню, грациозно танцуя, ну тогда еще можно любоваться ими“ (Достоевский). — Вспомним зоценковский зачин о „негрооперетте“, а также сугубо балетное, без слов, па-de-de рассказчика и его антагониста; и

— по линии «(не)любви к ближнему/дальнему»: у Достоевского она предвосхищает знаменитую главу „Любовь к дальнему“ из „Так говорил Заратустра“, в свою очередь, хорошо известную Зоценко, который в молодости пережил сильное увлечение Ницше.

Что касается „Записок из подполья“, то параллели к „Душевной простоте“ включают мотивы:

— «злобы»: „Злоба моя даже укреплялась и разрасталась с годами... Я упивался моей злобой, на него глядя, и... озлобленно перед ним сворачивал“ (Достоевский). — „Злого умысла нету... Злобы нету“ (Зоценко);

— «страха»: «Я испугался не... того, что меня прибьют... Я испугался того, что меня... осмеют...» (Достоевский). — «Замер, я говорю, в испуге, приготовился понести должное наказание, и вдруг ничего» (Зоценко);

— «физического превосходства» антагониста и акцента на «плечах»: «он взял меня за плечи и молча... переставил... Был этот офицер вершков десяти росту... Вдруг... я неожиданно решился... и — мы плотно столкнулись плечо о плечо!» (Достоевский). — «Идет, представьте себе, гражданин по улице. Плечистый такой, здоровый парень» (Зоценко);

— «умиленных фантазий» по адресу антагониста: «Я сочинил к нему прекрасное... письмо... Если б офицер чуть-чуть понимал «прекрасное и высокое», то непременно бы... бросился мне на шею... Мы бы так зажили!.. «Ну пусть будет поровну... вы и пройдете, взаимно уважая друг друга...», — думал я, уже заранее добрея от радости» (Достоевский). — «И так мы, знаете, мило идем... Друг другу на ноги не наступаем... гуша в гушу идем. Сердце радуется...» (Зоценко);

— «художественных форм преодоления ситуации»: Человек из подполья желает заговорить с антагонистом «языком литературным... о пункте чести», пишет о нем «абличительную повесть», обдумывает письмо к нему и, наконец, успешно состукнувшись с ним на улице, «торжествовал и пел итальянские арии». — У Зоценко роль культурного эталона играет «негрооперетта» (кстати, действительно гастролировавшая в СССР в 1926 году).

Кумулятивный эффект этих переключек скрытан на самом видном месте. За фельетоном на тему общественных нравов опять скрывается маленький экзистенциальный шедевр автора, по разным поводам писавшего:

«Как говорится, и скучно, и грустно, и редко кому руку можно пожать. В минуту душевной невзгоды»; «В психической жизни две основные эмоции — страх и радость»; «Этот путь нашел отражение в моей литературе... страх и желание уничтожить его».

Действительно, букет мотивов, высвеченных в «Душевной простоте» параллелями с Достоевским, нам уже знаком. Тут и озабоченность душевным состоянием, и страх, и сознание вины, и нищизн, и грозный антагонист с его карающей рукой, и наивная мечта об избавлении от этих фобий и обретении здоровой простоты, в частности, с помощью искусства.

Правда, душевные переживания не принимают здесь клинических масштабов, а сводятся к восторгам по поводу шагания «душа в душу». Боязнь нищего и амбивалентное самоотождествление с ним оставляют свой след лишь в словах «засмотрелся на нищего». А сознание вины и кульминационное ожидание карательного удара разрешаются ничем. Однако именно эти «душевные» мотивы несут на себе весь сюжет. Шагание душа в душу образует идиллическое затишье перед бурей. Завороженность нищим мотивирует трагическую вину героя, а сознание вины обостряет его страх и обезоруживает его перед лицом опасности. Ожидание и даже предвкушение справедливой кары (вспомним любовь Зоценко и его героев к справедливости) доводит напряжение до максимума. Наконец, ненаступление возмездия истолковывается как торжество желанной душевной простоты — пусть несколько более грубой, чем мечталось, а может быть, даже и разочаровывающей полным отсутствием контакта, хотя бы и негативного.

Несовершенство центрального «акта некультурности» (воровства, растраты, мордобоя, супружеской измены и т.п.), как мы помним, вовсе не редкость у Зоценко. Зоценковский герой все равно всего боится, всех подозревает и все время ждет наказания за свой первородный грех. «Душевная простота» вполне укладывается в этот круг сюжетов, хотя и среди них выделяется событийной бедностью. Все-таки в большинстве рассказов, если не кто-то из окружающих, то хотя бы сам рассказчик совершает достаточно интересные комические поступки — прячет от гостей и раздавливает лампочку, набрасывается на соседей по вагону, пытается зажигать чужую зажигалку («Фокин-Мокин») и т.п. А герой «Душевной простоты» всего лишь наступает впереди идущему на пятку и даже не получает сдачи. Подобных совсем уже нулевых сюжетов у Зоценко немного, но они есть.

Рассказчик любит людей, но не встречал бескорыстных, кроме разве одного парнишки, который на пустынной дороге догнал его, несмотря на его опасливо ускоренный шаг, чтобы указать более короткую дорогу. Впрочем, проскальзывает у рассказчика позорение, может быть, он просто хотел «папироску... стрельнуть» и вообще не идти без попутчика («Встреча»; ср. дневниковую запись Зоценко: «Доброжелательство. Я вспомнил Крым. Человек бежал за мной: «Не ходите, там обвал»»).

Функция нулевого фона в том, что благодаря ему необоснованность подозрений героя особенно четко выступает на первый план. В «Душевной простоте» страх законного возмездия явлен в эмблематически чистом виде. Преступление минималь-

но, наказание не наступает, и акцент целиком приходится на нервное ожидание и ту простоту (нравов и сюжета), которая обманывает и снимает это ожидание и тем самым «излечивает» его. Культуртрегерские же обертоны рассказа играют в нем лишь поверхностную роль. Перед нами типичный зощенковский мини-шедевр на душевную тему, разработанную с лукавой простотой.

5

Всматривание в маску зощенковского персонажа с целью обнаружить за ней собственное лицо автора до сих пор носило неизбежно снижающий характер. Двойниками Зошенко оказывались герои, оставляющие женщину на милость грабителей; в грязных носках флиртующие с врачихой; перестраховывающиеся от потенциальных воров вывинчиванием собственной лампочки; со смешанными чувствами предвкушающие мстительный удар прохожего. С целью реабилитации Зошенко мы обратимся к еще одной миниатюре классического периода — рассказу «Монтер» (1927), хотя, на первый взгляд, отождествление автора с героем и здесь может показаться не особенно лестным.

Когда „весь театр... снимали на карточку, монтера... пихнули куда-то сбоку, мол, технический персонал. А в центр... посадили тенора. Монтер... ничего на это хамство не сказал, но в душе затаил некоторую грубость... А тут такое пошло. Сегодня, для примера, играют «Руслан и Людмила»... А без четверти минут восемь являются до этого монтера две знакомые барышни. Или он их раньше пригласил, или они сами приперлись — неизвестно. Они „отчаянно флиртуют и вообще просят их посадить в общую залу“, но администратор отказывает, поскольку „каждый стул на учете“. Тогда монтер отказывается „играть“: он „выключил по всему театру свет к чертовой бабушке... и сидит-флиртует со своими барышнями“. Происходит „форменная обструкция... Кассир визжит, пугается, как бы у него деньги в потемках не уперли“. Тенор... заявляется до дирекции и говорит своим тенором: — Я в темноте петь тенором отказываюсь... Пуцай сукин сын монтер поет. Монтер говорит: — Пуцай не поет. Наплевать ему в морду. Раз он, сволочь такая, в центре сымается, то и пуцай одной рукой поет, другой свет зажигает... Теноров нынче нету!“ Администратор сдается и сажает „девиц на выдающиеся места“. Поскольку претензии монтера удовлетворены („ — Только не через их гибель, а гибель через меня... Мне энергии принципиально не жалко“), он дает свет, и спектакль благополучно начинается. „Теперь и разбирайтесь сами, кто важнее в этом сложном театральном механизме“.

Рассказ трактует характерные „культурные“ темы электрификации, экономии, воровства, склочничества, уравниловки и т.п., но на полноценную мораль все это как-то не тянет. Стоит поэтому присмотреться к сюжету «Монтера» в экзистенциальном плане.

Главный конфликт происходит если не „через“ девиц, то, во всяком случае, на их почве. Самолюбие монтера, уже задетое его маргинализацией при фотографировании, окончательно уязвляется непредоставлением мест его барышням. Публичность унижения — постоянная тема зощенковских рассказов (вспомним хотя бы «Аристократку»). Монтер отвечает публичным же вызовом — предпочтением флирта прямым служебным обязанностям. Скандал разыгрывается с участием театрального персонала (монтер, тенор, кассир, управляющий, дирекция), посторонних барышень и всего театрального зала («Публика орет»).

Мир — театр, и „театр в театре“ часто вступает у Зошенко во взаимодействие с „реальной жизнью“ — вспомним хотя бы грабеж „по ходу пьесы“ прямо на сцене в рассказе «Актер». Небезразличным к закулисной склоке оказывается и содержание исполняемой оперы — «Руслана и Людмилы».

Оба сюжета (рассказа; оперы) строятся на конфликте вокруг женщины (двух барышень; Людмилы), оба разрешаются благополучно; в обоих герой (монтер; Руслан) представляет собой персонажа меньшего ранга, нежели окружающие (начальство; князь, волшебники); а главное, в обоих случаях происходит «похищение света».

При этом монтер, так сказать, переходит с ампула героя, ущемляемого по любовной линии, т.е. Руслана, на ампула похитителя света, т.е. Черномора.

Тема «свет/тьма» — одна из центральных в «Руслане и Людмиле», где Светозару противостоит Черномор. В «Монтере» «тьма» получает богатое сюжетное развитие: у кассира могут „в потемках“ украсть деньги; тенор отказывается „в темноте петь тенором“; сам же герой, выключив „по всему театру свет к чертовой (!) бабушке“, пытается, подобно Черномору, пожать любовные плоды своей черной магии: „сидит — отчаянно флиртует“. Мотив «черных сил» присутствует и в словах о „чертовых девицах“. А сверхъестественность власти над светом обыгрывается в словесной

оркестровке финала („— Сейчас, говорит, я свет дам... Дал он сию минуту свет. — Начинайте, говорит“), напоминая библейское: „В начале... И сказал Бог: да будет свет. И стал свет“.

Где же тут искать автора? По логике вещей — в главном герое. Некоторые основания для этого дают интерес монтера к барышням, его обидчивость и периферийное положение в театре. Как известно, Зоценко был большим донжуаном, легко обижался (у Серапионовых братьев это вошло в поговорку) и упорно работал в „неуважаемом“ литературном жанре. Кроме того, как явствует из ПВС, особое место в его психике занимали образцы «света/темноты», «руки» и «грома», столь важные для сюжетов „Монтера“ и „Руслана и Людмилы“.

Конфликт «света и тьмы» присутствует уже в самой заглавии „Перед восходом солнца“, и «световая» метафора настойчиво проводится в тексте („я терпел поражения в темноте“; „свет солнца (разума, логики)... осветил... трущобы, где таились страхи“; и т.п.). Те же «просветительские» мотивы обыгрываются, только в комическом ключе, например, в рассказе „Электрификация“ (1924).

„Дело это хорошее... Советскую Россию светом осветить“. Но когда в квартиру провели электричество, „осветили — батюшки светлы! Смотреть на такое зрелище тошно“.

В опере Глинки сцена грома, мрака и утраты невесты как раз на пороге обладания ею сопровождается словами:

„Хор: Что случилось? Гнев Перуна? Руслан и др.: Какое чудное мгновенье! Что значит этот дивный сон? И это чувств оцепененье! И мрак таинственный крутом? Где Людмила? (Хор: Где наша княжна?) Здесь со мною говорила с тихой нежностью она“.

Это почти в точности соответствует одному из комплексов, выявленных в ПВС:

„Из темной стены ко мне тянется огромная рука... Я кричу. В ужасе просыпаюсь... Бьешь может, рука отца, однажды положенная на грудь матери... устарила ребенка... Ужасный гром потряс всю нашу гачу... когда мать начала кормить меня грудью... Мать, потеряв на минуту сознание, выпустила меня из рук. Я упал на постель... Повредил руку... Может прийти рука... взять, унести, наказать... Агский удар грома, падение, бесчувственное тело матери... Грудь матери стала олицетворять женщину, любовь, сексуальность... [Я] избегал женщины... и одновременно стремился к ней... Разве не следует за ней по пятам... удар [грома].?“

Налицо и сон, и гром, и бесчувственное оцепенение, и утрата женщины. Естественно предположить, что глинканская опера была в числе любимых Зоценко (кстати, охотно посещавшего концерты и дружившего, в частности, с Шостаковичем).

В „Монтере“ мотив «руки» проведен под сурдинку — ни при демонстративном гашении света монтером, ни при его финальном включении рука не упоминается. Зато незабываемая издевательская реплика монтера содержит крупные планы целых двух рук — поющей и зажигающей.

При этом, по сравнению с запуганностью МЗ-ребенка в ПВС, в „Монтере“ обращает на себя внимание неожиданное могущество героя, представляющего авторское «я». Власть над светом, тьмой и женщинами оказывается «в руках» монтера, а на долю его противника приходится лишь до абсурда гипотетическая пантомима. Иными словами, зоценковская фобия руки дана здесь преодоленной. С этим интересно соотносится отмеченная выше метаморфоза монтера из Руслана в Черномора.

В ПВС Зоценко задумывается над моральными последствиями овладения низшими силами собственной души и, значит, своеобразного отождествления с ними.

„Я поднялся с постели уже не тем, кем я был. Необыкновенно здоровый, сильный... я... не знал, куда мне девать свои варварские силы... Как танк, двинулся я по полям моей жизни, с легкостью преодолевая все препятствия... [Я] стал приносить людям больше горя, чем раньше, когда я был... слабый“.

Решение этой проблемы ницшеанского аморализма (а постоянное стремление Зоценко к здоровой, варварской, «антикультурной» простоте пронизано скрытым ницшеанством) находится им на путях переключения новообретенной силы в художественную сферу: „Я вновь взял то, что держал в своих руках, — искусство. Но взял его уже не дрожащими руками и не с отчаянием в сердце“. Это ощущение творческой мощи напоминает божественное давание света в финале „Монтера“.

Речь уже заходила о знаменитой обидчивости Зоценко. Ряд эпизодов в ПВС иллюстрирует обостренную реакцию МЗ на унижения, претерпеваемые от различных начальственных фигур:

от высокопоставленного чиновника, от которого зависела пенсия после смерти отца; от учителя истории, в которого МЗ в ответ на издевательство (а отнюдь не из-за

низкой отметки) угрожает плюнуть; от учителя литературы, поставившего МЗ единицу и написавшего „Челуха“ на сочинении о Тургеневе, из-за чего МЗ пытается покончить с собой; от редактора (М. Кузмина), который отвергает как челуху „маленькие рассказы“ Зоценко, гордо уверенного, однако, в своей правоте.

Подобно монтеру, МЗ в одних случаях „затаивает грубость“, в других дает ей отчаянный выход и даже готов „наплевать в морду“ своему могущественному противнику. Узнаются также усугубление обиды ее ложным истолкованием (дело не в отметке и не в „чертовых девицах“, а в унижении достоинства самолюбивого героя) и „культурный“ характер деятельности (сочинения о Тургеневе, „маленьких рассказов“, осветительской работы), почитаемой за „челуху“.

Говоря о собственном творческом методе, Зоценко подчеркивал, что „взял подряд“ не на „красного Льва Толстого“, а на работу „в самой неуважаемой форме... коротенького рассказа“, и хотя в результате „судьба [его] обычно предрешена“, он с вызовом „предполагает, что... не ошибся“.

В этом свете конфликт монтера с тенором обретает принципиальный масштаб — важность периферийной роли „технического персонала“ оказывается сродни актуальности „неуважаемой, мелкой“ формы. И тогда из-за фигуры „бродяги, главного оперного тенора, привыкшего завсегда сыматься в центре“, выглядывает представитель „высокой литературы“ — Лев Толстой, вернее, высокопоставленный заказчик „красного Льва Толстого“, „толстожурнальный“ редактор типа Кузмина и Воронского, а возможно, и „трагический тенор эпохи“ Блок, который с самого начала стал объектом пристального субверсивного внимания Зоценко. Посрамляя на глазах у публики своих всемогущих противников — тенора, администратора, дирекцию, — монтер осуществляет самолюбивую мечту своего автора-маргинала о признании его творческой правоты. В психологическом же плане сидячая забастовка монтера подобна многочисленным ребяческим «отказам» и «уходам» МЗ-ребенка — с той разницей, что автор позволяет ей увенчаться успехом.

Интересная биографическая параллель к сюжету „Монтера“ находится в одном эпизоде из истории „Серapiroнова братства“. В. Каверин рассказывает:

„Пришел Зоценко, франтовато приодевшийся... Но, к сожаленью, он пригласил к «серапионам» трех актрис... Показалось ли мне, что бесцеремонное вторжение хорошеньких актрис, которых Зоценко не должен был приглашать, оскорбляет наш «орден»? Не знаю. Но я с отвращением слушал [их] пошловатые стихи... [я] накинулся на них издевательски резко... Девушки обиделись и ушли. Зоценко проводил их... Когда он вернулся, все замолчали... Таким его еще никто не видел. Смуглое лицо побелело, красивые темные глаза чуть косили. Он был в бешенстве. Не повышая голоса, он сказал, что я вел себя как ханжа... и потребовал, чтобы товарищи осудили мое поведение“. Далее Каверин вызывает Зоценко на дуэль, готовится к смерти, но на очередном заседании «ордена» их мирят, причем Зоценко сообщает, что тоже „ждал секундатов“.

Тут и полузаконно приведенные дамы; и «театральный» элемент (актрисы; опера); и один главный оппонент, отстаивающий некую заранее прописанную художественную исключительность (литературного «ордена»; института теноров); и гневная обида, доводящая конфликт до высшего градуса (дуэли; забастовки, проецируемой на рыцарский фон „Руслана и Людмилы“); и апелляция к авторитетам (товарищей; управляющего, дирекции и публики).

А в пользу более общего символического самоотождествления Зоценко с монтером говорит следующий пассаж „Голубой книги“, насыщенный «просветительской», «зажигательной» и «маргиналистской» тематикой:

„Вольтер своим смехом погасил в свое время костры, на которых сжигали людей. А мы... своим смехом хотим зажечь хотя бы небольшой... фонарь, при свете которого некоторым людям стало бы заметно, что для них хорошо, что плохо, а что посредственно. И если это так и будет, то в общем спектакле жизни мы считаем свою скромную роль лаборанта и осветителя исполненной“.

Рассказчик подхватывает здесь тему „мир — театр“, заданную ранее в его беседе с „буржуазным философом“ и явственно отсылающую к ситуации „Монтера“:

„Мы ему говорим...: — Пусть даже останется ваше забавное определение жизни — оперетта... Но... вы за оперетту, в которой один актер поет, а остальные ему занавес поднимают. А мы...

— А вы... за оперетту, в которой все актеры — статисты... которые хотят быть тенорами.

— Вовсе нет. Мы за такой спектакль, в котором у всех актеров правильно распределены роли — по их дарованиям...“

Развивая мысль о монтере как носителе творческого самолюбия автора, можно, пожалуй, сказать, что его отказ играть предвещает тот дерзкий отпор, который сам

Зоценко дал своим официальным хулителям в июне 1954 года. Выступая на проработочном собрании в ленинградском Доме писателя, опальный автор с вызовом отстаивал свой отказ признать правильность ждановских поношений.

„Оказалось вдруг, что Зоценко не обороняется... он наступал. Один против всей организации с ее секретарями явления, секциями, главными редакторами...

— Я... не собираюсь ничего просить. Не надо мне вашего снисхождения, — он посмотрел на президиум, — ни вашего Друзина, ни вашей брани и криков... Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею...

Не раздавленный, он... он отстоял свою честь. Впервые кто-то осмелился выступить против одного из Верных Учеников Продолжателя” (Д. Гранин).

Таким образом, в разжалованном виде из писателей в монтеры в рассказе явлена одна из ипостасей зоценковского «я», причем по-своему героическая.

Продолжая в том же духе, неожиданные проекции авторского «я» можно обнаружить в самых разных комических персонажах Зоценко:

В еще одном монтере, цинично меняющем свою жену-молочницу на зубную врачу („Голубая книга” — „Рассказ про корыстную молочницу”); в заглотившем кость, но не подающем вида французе („Иностранцы”); в муже, застающем жену то с любовником, то с целым производственным совещанием („Новый человек”, „Муж”); в постаревшем донжуане-фрейдисте, пытающемся вернуть себе внимание женщин усиленным питанием, физкультурой и обновленным гардеробом („Голубая книга” — „Мелкий случай из личной жизни. в разделе „Любовь”); и во многих других.

6

Перейдем к итогам. Как же соотносится намеченный выше социально и психологически ущербный образ автора с привычной благородной фигурой Зоценко-разоблачителя, мастера эзоповской сатиры на культурную и иную несостоятельность нового строя и нового человека?

Прежде всего следует сказать, что само неприятие образа писателя, отклоняющегося от некой идеальной „нормы” (негативная реакция, скорее всего испытываемая интеллигентным подписчиком журнала при чтении строк о „психологически ущербном” Зоценко), представляет собой пережиток нормативно-утопического мышления ушедшей эпохи. Чтобы заслужить наше просвещенное читательское и критическое уважение, Зоценко не нуждается в удовлетворении психического, физического и морального здоровья (как не нуждаются в нем Гофман, Гоголь, Мопассан, Кафка, Франсуа Вийон и другие). Его герои интересны нам именно потому, что разделяют наши человеческие, слишком человеческие черты, а сам автор — потому, что, разделяя их, он запечатлевает их с особой вынятностью.

Долгое время задачей зоценковедения было понять, в чем состоит коренное отличие этого бесспорного классика от остальной советской сатиры, по ведомству которой он проходил. Сегодня ответ представляется очевидным. У Зоценко злободневная тематика поставлена на фундаментальную основу вечных проблем человеческого состояния (*condition humaine*), причем, по всей вероятности, сознательно.

„Как-то зашел разговор о чрезвычайно популярном на Западе, введенном Юнгом, понятии «архетип», которым там пользовались не только ученые-специалисты, но и писатели... На уровне подсознательного... все люди наполнены архаическим, существующим еще со времен среднего палеолита психическим слоем, породившим когда-то мифы, а сейчас — художественные произведения... Зоценко считал, что писатель должен описывать в человеке не только личное, но и «роговое», то, что в его психике отложилось историей. Писатели, гонящиеся за модой, потому и не удовлетворяли его, что они пренебрегают роговым и историческим ради временного и индивидуального” (Г. Гор).

Архетипические «страхи», составляющие глубинную подоплеку зоценковского творчества, и являются его пропуском в бессмертие. В них же может быть усмотрен непосредственный источник богатейшей художественной фантазии Зоценко. Болезненные подозрения, воображаемые ужасы, изощренные испытания и инсценировки, притворные позы и маски и другие проявления патологически недоверчивого взгляда на мир образуют ту благодатную почву, из которой растут его причудливые сюжеты. А стилистика его сказа — голоса его, выражаясь по-научному, ненадежного рассказчика (*unreliable narrator*) — прямо вытекает из зоценковской картины ненадежного мира.

Сказанное выше можно рассматривать как операцию по освобождению Зоценко от навязанной ему силой обстоятельств общественной роли. Жестокая ирония его литературной судьбы состояла в том, что социум, длинных рук которого он с детских лет так опасался, подверг его длительному пленению. Оно осуществлялось

в двух вариантах — официальном и либерально-оппозиционном, трактовавших Зоценко как соответственно антисоветского и советского сатирика.

Вернуть Зоценко его личностный самообраз, восстановить в правах интерес писателя к экзистенциальной — психологической („душевной“), эротической, биологической — стороне человеческого существования, прочесть его с точки зрения вечности, *sub specie aeternitatis*, является главной целью развернутой здесь аргументации. Эта смена оптики мыслится не как тотальный переворот, а как важная поправка к принятому до сих пор взгляду. Как всегда, вечное выступает во временных, актуальных формах. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя, хотя Зоценко устами одного из героев и подчеркивал, что его „не революция подпилила“.

Самый характер детских травм Зоценко — страхов по поводу нарушения границ его личной сферы — не только мотивирует богатство его архетипического репертуара, но и заранее делает его идеальным писателем на глубоко „советскую“ тему подавления личности, всего частного, *privacy*, и т.д. Рано сложившееся ощущение ненадежности существования получает сильнейшее подкрепление в годы революции, ознаменовавшей гибель всего привычного уклада жизни. Чтобы восстановить потерянное душевное равновесие, Зоценко старается принять справедливость нового порядка (ибо всякий порядок для него лучше ненадежного хаоса) и посильно, в роли благонамеренного сатирика, способствовать его поддержанию и совершенствованию. Однако «порядок» не оправдывает этих надежд, а, напротив, подтверждает худшие опасения, превосходя в своей фантазмагорической реальности самые смелые художественные упражнения на параноическую тему «недоверия».

Таким рисуется союз личного и общественного в литературной физиономии Зоценко. Выразитель собственной „душевной“ проблематики предстает и зеркалом своей исторической эпохи, но не только и не столько как сатирик-бытописатель советских нравов, сколько как поэт страха, недоверия и амбивалентной любви к порядку.

ВОСПОМИНАНИЯ О МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

Г. И. АЛЬШУЛЛЕР

МАРИНА ЦВЕТАЕВА: ВОСПОМИНАНИЯ ВРАЧА

Эти записки доктора медицины Г. И. Альшуллера не представлены в вышедшем томе воспоминаний о М. И. Цветаевой¹, возможно, по причине их малой известности. Написанные на английском языке, они были напечатаны в одном из американских журналов². Выражаем искреннюю признательность дочери мемуариста Екатерине Григорьевне Джэкобс (Хайленд, США), которая познакомила нас с этими воспоминаниями и дала любезное согласие на их публикацию в русском переводе.

Автор воспоминаний, Григорий Исаакович Альшуллер (1895, Тверь — 1983, Нью-Йорк), — средний сын известного ялтинского врача И. Н. Альшуллера (лечившего А. П. Чехова и Л. Н. Толстого). В 1914 году он окончил с золотой медалью Александровскую гимназию в Ялте и на следующий год поступил на медицинский факультет Московского университета, обучение в котором было прервано из-за революции и начавшейся гражданской войны. В 1920 году выехал с родителями и младшей сестрой в Константинополь, куда Крымское правительство командировало его отца в качестве председателя санитарно-медицинской комиссии. После поражения врангелевской армии вместе с родными оказался на положении беженца. В Турции женился на Вере Александровне Пелопидас (1895—1943), с которой вскоре перебрался в Болгарию, где продолжил занятия медициной в Софийском университете.

В 1922 году Альшуллер был принят на медицинский факультет Карлова университета в Праге, который он окончил весной 1925 года по специальности врача-терапевта. В те годы его семья жила в небольшой чешской деревне Мокропсы. Там же, с перерывом около года, жила и семья Цветаевой, переехавшая к осени 1924 года в соседнюю деревню Вшеноры. 1 февраля 1925 года Альшуллер принимал во Вшенорах роды у Цветаевой³.

¹ Воспоминания о Марине Цветаевой: Сборник / Сост. Л. А. Мнухин, Л. М. Турчинский — М.: Советский писатель, 1992.

² Altschuller Gregory I., M. D. Marina Tsvetajeva: A Physician's Memoir // Sun. Winter 1979—80. Vol. IV. No. 3. P. 116—121. Альшуллер не впервые обратился к мемуарному жанру, задолго до этого им были опубликованы «Воспоминания о семье Чехова» (Новое русское слово. 1960. 21 февр. С.2).

³ Приведем для сравнения эпистолярную версию воспоминаний Альшуллера об этом событии: «Я очень высоко ценил и ценю Цветаеву как поэтессу. Как человек она была трудный и сложный, но очень, очень интересный... За несколько недель до родов она мне заявила, что принимать у ней ребенка буду я. А т(ак) к(ак) я акушерством не занимался, то я решительно отказался. На что она мне заявила: — А вот увидите, принимать будете Вы! И когда ко мне в соседнюю деревню Мокропсы пришли от нее сказать, что роды начались и что местного доктора в деревне нет, а что местная повивальная бабка ушла пешком за горы... — то мне и пришлось «в бурю и непогоду» промаршировать пару верст и, вызвав на помощь жену Чирикова и Анну Андрееву, и еще кое-кого, спешно наладить все для приема ребенка. А Марина Ивановна блаженно лежала, непрерывно курила и повторяла: — Ведь я же Вам сказала, что принимать будете Вы!» (письмо к В. Б. Сосинскому от 7 июля 1965 г. // копия из архива публикатора).

Молодой врач зарекомендовал себя в кругу друзей-эмигрантов и как музыкант. Сохранилось свидетельство В. А. Андреевой: «Во Вишенорах жило много интересных людей: Евгений Николаевич Чириков с многочисленной семьей, замечательный врач и пианист Альтшуллер (его семья в то время жила в Мокропсах. — Е.А.), еще какие-то деятели литературы и искусств. При содействии моей матери, Анны Ильиничны Андреевой, организовывались даже некие музыкально-вокально-литературные четверги, где зять Чирикова (Г. М. Ретивов. — Е. А.) играл на скрипке, Альтшуллер или моя мать — на рояле, а Марина Цветаева читала стихи»¹.

В конце 1925 года, после отъезда Цветаевой и Андреевой во Францию, семья Альтшуллера переехала в Вишенору, на освободившуюся половину виллы «Боженка», занимаемую прежде андреевским семейством. В 1926—1927 годах в большой и уютной квартире Альтшуллеров собирались члены «Вишенорско-мокропсинского русского клуба» на свои еженедельные субботы. Гостеприимные хозяева были в числе организаторов и активистов клуба и по праву считались душой этого кружка.

В 1927 году Альтшуллеры поселились в Праге. А в сентябре 1938 года, после трагических для Чехословакии событий, семья переехала в Соединенные Штаты.

Профессиональная деятельность доктора Альтшуллера сложилась удачно. В чешский период он работал в Клинике внутренних болезней при Карловом университете и заведовал медицинской частью в Центральном союзе медицинского страхования. Продолжая врачебную практику в Нью-Йорке, он вышел в отставку в возрасте 81 года.

В 1922 г. Марине Цветаевой было разрешено покинуть Советскую Россию, и она с маленькой дочерью Алей² приехала через Германию в Прагу в поисках своего мужа Сергея Эфрона³. Марина потеряла с ним связь в годы революции, когда он был офицером Белой армии. После поражения Белого движения Эфрон эмигрировал в Прагу, как и тысячи других солдат и офицеров разгромленной армии. Президент Чехословакии Т. Г. Масарик⁴ предоставил им убежище, при этом студенты — медики, юристы и инженеры — получили возможность завершить образование. Чешское правительство предложило покрыть все расходы, связанные с их обучением, проживанием, обеспечением их продовольствием и одеждой вплоть до окончания ими учебного заведения.

Марина Цветаева воссоединилась с мужем в 1922 году в Праге. Они поселились в окрестностях города, в полутора часах езды на поезде, в небольшой и довольно бедной деревне под названием «Мокропсы» («Мокрые псы»).

Я прибыл с семьей в Прагу в том же году, и мы обосновались в той же деревне. Там я впервые и встретился с ней, уже хорошо известным поэтом, чьи книги получили в Москве высокую оценку Пастернака и Мандельштама.

В то время в Мокропсах жили всего лишь шесть или семь русских семей, но впоследствии число их заметно возросло. В 1922—24 годах мы виделись с Мариной только случайно, так как вскоре после моего приезда я стал штатным сотрудником Чешской университетской клиники внутренних болезней (я изучал медицину в Московском университете)⁵. Как и многие, кто учился или работал в Праге, я уезжал из деревни рано утром и возвращался к семье поздно ночью с последним поездом. По воскресеньям, однако, я оставался в деревне на целый день, и в скором времени ее проблемное население стало обращаться ко мне по поводу различных медицинских проблем, касавшихся преимущественно их детей. В деревне жил практикующий врач, но он был местным и говорил только по-чешски, и как бы там ни было, ни один русский не пошел бы к нему за медицинской помощью.

¹ Лосская В. Марина Цветаева в жизни: Неизданные воспоминания современников. — Нью-Йорк: Эрмитаж, 1989. С. 103. В том же издании Лосская, ссылаясь на свою беседу с А. С. Эфроном, назвала доктора Альтшуллера в числе цветаевских корреспондентов (там же, с. 211). В действительности в архиве Цветаевой, о котором шла речь, сохранился лишь единственный черновик ее письма к Альтшуллеру 1925 г. (РГАЛИ. Ф. 1990. Оп. 3. Ед. хр. 12).

² Ариадна Сергеевна Эфрон (1912—1975).

³ Сергей Яковлевич Эфрон (1893—1941); эпистолярная связь Цветаевой с мужем была восстановлена в 1921 г., а первая их встреча после разлуки состоялась летом 1922 г. в Берлине.

⁴ Томаш Гарриг Масарик (1850—1937) — президент Чехословакии в 1918—1935 гг.

⁵ В то время Альтшуллер был студентом Пражского университета.

Другой русский доктор, живший в Праге, — прелестная женщина и опытный врач-терапевт¹ — работала при Комитете, который занимался русскими беженцами. Но русские обитали во многих деревнях, раскиданных вокруг Праги, и ей удавалось приехать в Мокропыс только в редких и экстренных случаях. Вот и получилось так, что посещать русских в нашей деревне пришлось мне, и мои воскресные обходы приобрели постоянный характер.

Мужчины учились или работали в городе. Женщины, особенно те, у кого были маленькие дети, оставались дома. Они постепенно познакомились друг с другом, делая покупки и гуляя с детьми в полях или близлежащем лесу. Я виделся с ними во время моих «воскресных обходов», а также на небольших эмигрантских собраниях. Там я встречал и Марину Цветаеву, с которой довольно хорошо познакомился. Это была замечательная молодая женщина, целиком поглощенная своей литературной деятельностью, созданием и публикацией ярких и оригинальных стихов, перепиской с друзьями-поэтами в России, в Германии и во Франции. В Праге у нее было несколько друзей в узком кругу русской интеллигенции и литераторов, но большую часть времени она избегала общения и проводила за своим рабочим столом.

Мне запомнился эпизод, который показывает ее резко независимый характер. Однажды жарким летним вечером мы ужинали с группой молодых друзей. Сидевшие за столом дамы сняли туфли, Марина тоже. Под стол забралась маленькая девочка и стала менять местами обувь. Приблизившись к Марине, она поползла дальше, не тронув ее туфель. Когда мы встали из-за стола, то были и смущение, и улыбки, и сердитые замечания. Только Цветаева оставалась сидеть спокойной и невозмутимой. Все посмотрели на нее, и кто-то спросил: «Марина, почему она не переставила ваши туфли?» — «Все очень просто, — ответила Цветаева, показав булавку. — Когда она поползла ко мне в первый раз, я уколола ее булавкой в ногу. Она не сказала ни слова и только посмотрела на меня, а я — на нее, и она поняла, что я могу уколоть еще раз. Больше она не трогала моих туфель». В этом была Марина!

После 1922 года судьба ее мужа драматически изменилась. Бывший офицер Белой армии, страстный монархист, державший на своем столе портрет царя и царской семьи, религиозный человек, у которого на стене висела икона, он неожиданно стал столь же равностным приверженцем Советов и сторонником коммунистов. Вскоре он был вовлечен в запутанную и темную политическую историю, прозвонившую во Франции², после чего бежал в Советскую Россию, где и закончил свои дни. Марина не была причастна к его делам. Политика ее интересовала мало. К огромному удивлению всех, кто ее знал, она страстно влюбилась в одного русского эмигранта, с которым рассталась после нескольких месяцев бурных отношений. Этот человек покинул ее³.

Шел 1924 год. Она была беременна.

Она не хотела называть ребенка — если бы родился мальчик — в честь его отца, своего мужа. Она дала сыну имя Георгий⁴, но всегда звала его «Муром», ласкательным именем, которое не имело никакого отношения ни к кому из членов ее семьи.

Она писала 10 мая 1925 года другу: «Борис — Георгий — Барсик — мур. Все вело к Муру. Во-первых, в родстве с моим именем, во-вторых — Kater Мурт — Германия, в-третьих, само, вне символики, как утро в комнату. Словом — Мур». Далее в том же письме она добавляет: «Не пытайтесь достать иконку для Мура. (Кстати, что должно быть на такой иконке? Очевидно — кот? Или старший в роде — тигр?»⁵. Kater Мурт — это знаменитый незавершенный роман Э. Т. А. Гофмана, соз-

¹ Можно предположить, что речь идет о Фаине Антоновне Романченко (урожд. Мельниковой, в первом замуж. Капетанакис; 1875—?), однако достоверных сведений о ее работе в Земгоре мы не имеем.

² Имеется в виду убийство советского «невозвращенца» Игнатия Рейсса (наст. фамилия Порецкий) 4 сентября 1937 г. под Лозанной.

³ Подразумевается роман Цветаевой с Константином Болеславовичем Родзевичем (1895—1988); обстоятельства их разрыва изложены не совсем точно.

⁴ Назвав мальчика Георгием, Цветаева уступила желанию мужа; первоначально она хотела назвать сына Борисом, в честь Б. Л. Пастернака.

⁵ Здесь и далее письма к Ольге Елисеевне Колбасиной-Черновой (1885—1964) цитируются по кн.: Цветаева М. Неизданные письма. Paris: YMCA-Press, 1972. Первая цитата, приведенная мемуаристом неточно, исправлена нами в соответствии с источником.

данный в 1819—21 гг., полное название произведения — *Житейские воззрения кота Мурра с присовокуплением макулатурных листов с биографией капельмейстера Иоганнеса Крейсера*. Мурр — это ученый кот, который записывает свои воспоминания на оборотной стороне листов с автобиографией его хозяина.

Марина переносила беременность нормально и в первый раз показала доктору в декабре 1924 года. «Она посоветовала мне, — писала Цветаева после визита к врачу, — возможно больше стирать белья для укрепления мускулов живота»¹. Еще ей предложили лечь в лечебницу «Государственная охрана матерей и младенцев». Но это напоминало ей о советских больницах², и она содрогалась при мысли о большой общей палате с тридцатью младенцами, чешских докторов и чешском языке, запрете курить, возможном затягивании пребывания там с девяти положенных дней до двадцати девяти³. «Во что я обращусь? Подумать жутко» (письмо от 3 декабря 1924 г.).

Вскоре после этого, в один воскресный день, она пришла посоветоваться со мной и сказала: «Вы будете принимать моего ребенка».

Удивленный ее неожиданным заявлением, я попытался возразить ей, что этого делать не буду, что ничего об этом не знаю, но она, улыбаясь, тихо повторила: «Вы будете принимать моего ребенка», — не слушая ответ: «Нет, я не буду». На этом мы и расстались.

В дальнейшем, при наших случайных встречах, она не раз повторяла, что ее ребенка буду принимать я. Мое решительное «нет» не оказывало на нее никакого воздействия.

К тому времени Цветаева с мужем и дочерью переехала в соседнюю деревню Вшеноры, которая была и больше и лучше Мокропсов. Эти деревни были разделены густым лесом, протяженностью около двух километров. В зимнюю пору — а зима в Праге длинная и суровая, с глубоким снегом, который неделями лежит на дорогах и тропах, — добраться до Вшенор через лес было целым путешествием, а обычная дорога удваивала путь.

Это случилось ночью, в последний январский день 1925 года, около девяти часов, когда уже стемнело⁴. Шел снег — страшная метель, занесшая все снегом. Из деревни, где жила Цветаева, ко мне прибежал чешский мальчик. Ее муж в тот день отсутствовал, дочь тоже уехала с отцом. Марина была одна.

Мальчик вбежал в комнату и сказал: «Пани Цветаева хочет, чтобы вы немед-

¹ Письмо от 16 января 1925 г.; упомянутый визит Цветаевой к врачу состоялся только во второй декаде января 1925 г.

² Появившиеся у Цветаевой ассоциации с Советской Россией были вызваны названием чешской лечебницы, личного же опыта пребывания в советских больницах у нее не было.

³ При рождении дочери Ирины в апреле 1917 г. Цветаева, заболевшая простудно, провела в Московском Воспитательном доме три недели.

⁴ Ср. запись Цветаевой от 12 февраля 1925 г. о рождении сына, приведенную фрагментарно в воспоминаниях А. С. Эфрон «Страницы былого» (Звезда. 1975. № 6. С. 187). Опубликованный текст цитируется нами с сокращениями: «Сын мой Георгий родился 1 февраля 1925 года, в воскресенье, в полдень, в снежный вихрь. В самую секунду его рождения на полу возле кровати разгорелся спирт, и он предстал во взрыве синего пламени... Спас жизнь ему и мне Г. И. Альтшуллер, ныне, 12-го, держащий свой последний экзамен. <...>

Мальчик дал о себе знать в 8¹/₂ утра. Сначала я не поняла — не поверила — вскоре убедилась и на все увещевания «все сделать, чтобы ехать в Прагу», не соглашалась... Началась безумная гонка Сережи по Вшенорам и Мокропсам. Вскоре комната моя переполнилась женщинами и стала неузнаваемой. Чириковская няня вымыла пол, все лишнее (т.е. всю комнату!) вынесли, облекли меня в андреевскую ночную рубашку, кровать выдвинули на середину, пол вокруг залили спиртом. <...>

В 10 час. 30 мин. прибыл Г. И. Альтшуллер, а в 12 ч. родился Георгий...

Да, что — мальчик, узнала от В. Г. Чириковой, присутствовавшей при рождении. <...>

...Говорят, держала себя хорошо. Во всяком случае — ни одного крика».

Полный вариант дневниковых записей Цветаевой и ее дочери Ариадны, посвященных рождению Георгия, см. в книге: Рукописное наследие М. Цветаевой. Т.1: Записные книжки (находится в печати). См. также письма С. Я. Эфрона и А. С. Эфрон к О. Е. Колбасиной-Черновой от 2 марта 1925 г. (Цветаева М. Собр. соч. в 7 тт. Т. 6. —М.: Эллис-Лак, 1995. С. 771—772) и письмо С. Я. Эфрона к Е. Я. Эфрон от 10 марта 1925 г. (Звезда. 1992. № 10. С. 107).

ленно к ней пришли, у нее уже схватки! Вам следует поторопиться, это уже началось». Что я мог сказать? Я быстро оделся и пошел через лес — снег был мне по колено — в яростную бурю.

Я открыл дверь и вошел. В тусклом свете единственной электрической лампочки в углу комнаты были видны кипы книг, достававшие почти до потолка. Скопившийся мусор был сметен в другой угол. Марина лежала в постели, пуская кольца дыма, — ребенок уже выходил. Она весело меня поприветствовала: «Вы почти опоздали!» Я оглядел комнату в поисках какой-нибудь чистой ткани и кусочка мыла. Не оказалось ничего: ни чистого носового платка, ни тряпки. Марина лежала в кровати, курила и говорила, улыбаясь: «Я же сказала вам, что вы будете принимать моего ребенка. Вы пришли — и теперь это не мое, а ваше дело».

Чешский врач отлучился из деревни. Местная повивальная бабка принимала роды в пятнадцати километрах отсюда, за горами. Она смогла бы вернуться только на следующий день. Выхода не было. Я позвал жену известного писателя Чирикова¹, который жил по соседству и которого я хорошо знал, умоляя ее прийти мне помочь. «Приходите как можно быстрее, принесите какого-нибудь чистого белья из дома, вскипятите чайник!» Когда белье прокипятилось, я приготовился к предстоящей работе.

Все шло достаточно гладко. Однако ребенок родился с пуповиной, обмотанной вокруг шеи так плотно, что едва мог дышать. Он был весь синий. В письме к другу, написанном спустя две недели после родов, Цветаева рассказывала: «А знаете ли Вы, что он родился в глубоком обмороке? Минут двадцать откачивали. (В транскрипции Лелика², наслушавшегося чего не следует: «Родился в лассо!») Если бы не воскресенье, не С<ережа> дома, не Альтшуллер³ — погиб бы. А м<ожет> б<ыть> и я. Молодой А<льтшул>лер по-настоящему нас спас. Без него — никого понимающего, только знакомые...» (письмо от 14 февраля 1925 г.).

Я отчаянно пытался восстановить дыхание младенца, и наконец он начал дышать и из синего превратился в розового. Все это время Марина курила, не проронив ни звука, и не сводила глаз с ребенка, меня и госпожи Чириковой. Мальчик теперь дышал спокойно; и только я почувствовал, что опасность миновала, как вошла повивальная бабка. Взглянув на меня, она суровым тоном спросила: «Что здесь происходит?» От усталости мне не хотелось с ней объясняться. «Послушайте, — сказал я ей, — приступайте к делу. Никаких денег я за это не беру. А вам заплатят, это все ваше. Примите ребенка». Она посмотрела на новорожденного и произнесла: «Все неправильно, пуповина и все остальное. Вы не знаете, что вы делали!» — «Хорошо, сделайте лучше, — перебил я. — Возьмите!» Она взяла у меня ребенка: «Дышит он нормально, но выполнено было все неправильно». Она все еще сердилась, но гнев ее проходил. Марина продолжала курить, бледная и измученная, но несомненно счастливая, глядя на ребенка, которого принесла ей акушерка. Через час или около того я отправился домой через заснеженный лес.

Я вернулся на следующий день, чтобы осмотреть ребенка, и в дальнейшем делал это каждое воскресенье в течение длительного времени. В другом письме (от 10 мая 1925 г.) Марина писала: «Мур перед каждой едой получает по чайной ложке лимона, живого, без сахара, а ест пережаренную дочерна муку на масле, разведенную в 200 граммах воды и молока (125 воды, 75 молока — разовая порция). Это — система герм<анского> профессора Черни⁴ <...>, спасающая в Германии во время войны сотни тысяч детей. Ведет Мура Альтшуллер, с гордостью и любовью. Навещает каждое воскресенье, выстукивает, выслушивает, производит какие-то арифм<етические> выкладки — расписание еды на неделю (мука и масло постепенно

¹ Валентина Георгиевна Чирикова (урожд. Григорьева, театр. псевд. Иолшина; 1875—1966) — жена писателя Е. Н. Чирикова.

² Олег Вячеславович Туржанский (1916—1980) — сын вшенорской приятельницы Цветаевой, А. З. Туржанской, которому тогда было 8 лет. В феврале 1963 г. Туржанская сообщила А. С. Эфрон об Альтшуллере: «Аля, моя дорогая, Гриша очень бы хотел слова, которые М<арина> И<вановна> написала о нем, ему это очень дорого. Принимал он Мура первого и последнего, единственного, еще студентом, не имеющим на то права. Если тебе не трудно, то выпиши ему» (копия из архива публикатора).

³ Цветаева воспроизводила эту фамилию неточно.

⁴ Адальберт Черни (1863—1941) — педиатр, один из основателей современной детской терапии. Ввел масло и муку в кормление грудных младенцев; питание получило название «Butter-Mehl-Nahrung» («буттер-мель-нарунг»).

повышаются), помнит каждый предыдущий вес. У меня временами безумное желание просто взять и поцеловать ему руку — что я еще могу?! Денег он не берет — но — 1) за ним по пятам, как луна за солнцем (или землей? забыла) ходит А. И. Андреева¹, влюбленная в Мура, а всякий поцелуй, на глазах, теряет, 2) боюсь смутить: он руки никому не целует. Но есть у него две девочки — Катя (4 года) и Наташа (1½ года), тоже Черни² — если кто-нибудь из знакомых случайно что-нибудь для этого пола и возраста предложит, нет: если у кого-нибудь из знакомых неслучайно можно что-нибудь вытянуть — тяните. Семья нищая, от такого бескорыстия тяжело».

Рос мальчик быстро и стал здоровым ребенком, обожаемым матерью и ее друзьями. Последний раз я видел его, когда ему еще не было и года. В то время Марина переехала во Францию, где провела последующие четырнадцать лет. Георгий пошел в школу и вскоре принялся ревностно изучать литературу, музыку и искусство. В 1936 году его двадцатилетняя сестра Аля покинула семью и Францию и вслед за отцом вернулась в Советскую Россию³. Марина осталась во Франции одна с юным сыном, в изоляции от русских эмигрантских кругов, а также в крайних трудностях, финансовых и моральных. В 1939 году она получила советскую визу и вместе с сыном вернулась в Москву.

Спустя два года, в августе 1941 года, ее жизнь трагически оборвалась.

Война продолжалась. Молодой Георгий Эфрон попал на фронт. «Прощай, литература, музыка, школа», — писал он своей сестре. Под письмом стояла подпись «Мур». Как солдат он показал себя мужественным и бесстрашным бойцом, принимал участие во многих сражениях и погиб в июле 1944 года, став одной из тысяч жертв битвы под деревней Друйка на Западном фронте⁴. Ему было всего лишь двадцать лет.

*Публикация, вступительная заметка, перевод с английского
и примечания Е. И. Лубянской*

¹ Анна Ильинична Андреева (урожд. Денисевич, в первом замуж. Карницкая; 1883—1948) — вдова писателя Л. Н. Андреева.

² Старшая дочь Альтшуллера Екатерина родилась в Софии 25 декабря 1921 г., вторая дочь Наталия — в Праге 23 ноября 1923 г. Позднее в Праге родились его третья дочь Мария (1931) и сын Александр (1938).

³ Ариадна Эфрон вернулась на родину первой из членов семьи в марте 1937 г.; в то время ей шел 25-й год.

⁴ 19-летний Георгий Эфрон был смертельно ранен 7 июля 1944 г.

О. П. ЮРКЕВИЧ

ВСТРЕЧА С МАРИНОЙ ИВАНОВНОЙ ЦВЕТАЕВОЙ

С Мариной Ивановной Цветаевой я встретила осенью 1939 года¹. О своем возвращении на родину, в Москву, она дала знать Софье Ивановне Липеровской², своей гимназической подруге, сестре моего отца. Они подружились в гимназии фон Дервиз³, Соня Юркевич ввела Марину Цветаеву в семью Ивана Викентьевича Юркевича⁴ и познакомила ее со своими братьями. Обе сестры Марина и Ася⁵ бывали у них в доме сначала в Б<ольшом> Кисловском переулке, потом на Берсеневской набережной⁶. Многие любили этот дом. В нем царила доброжелательность, уют, уважительное отношение к молодежи, здесь поддерживалось творчество, поощрялись увлечения. Эту атмосферу умело создавал и поддерживал хозяин дома, в молодости живший в усадьбе С. И. Мамонтова «Абрамцево»⁷ в качестве главного

¹ Указанная хронология представляется нам ошибочной и противоречащей другим положениям рассказа. Эта встреча произошла явно позднее.

² Софья Ивановна Липеровская (урожд. Юркевич; 1892—1973) — педагог, писательница. В своих воспоминаниях о поэте (см. Воспоминания о Марине Цветаевой: Сборник/ Сост. Л. А. Мнухин, Л. М. Турчинский — М.: Советский писатель, 1992. С. 31—41) она, в частности, рассказала и об их единственной предвоенной встрече. Согласно дневниковой записи Г. Эфрона, Цветаева и Липеровская встретились 26 ноября 1940 г. (копия из архива публикатора).

³ Цветаева училась в гимназии имени В. П. фон Дервиз в 1906—1907 годах.

⁴ Иван Викентьевич Юркевич (1854—1920) — преподаватель упомянутой гимназии, ученый-географ, отец Липеровской.

⁵ Анастасия Ивановна Цветаева (1894—1993) — младшая сестра Цветаевой, писательница, мемуаристка.

⁶ См. точные адреса в справочнике «Вся Москва»: на 1908 г. — Б. Кисловский пер., д. Азанчевского, кв. 4; на 1909 г. — Берсеневская наб., д. 3 (Зубова), кв. 7.

⁷ Савва Иванович Мамонтов (1841—1918) — крупный предприниматель, меценат, деятель русского искусства. Подмосковная усадьба Мамонтова в Абрамцево превращена в историко-художественный и литературный музей-заповедник. В настоящее время в музее находятся два портрета И. В. Юркевича работы И. Е. Репина (масло) и В. А. Серова (карандаш), переданные туда О. П. Юркевич. Оба портрета выполнены в 1879 г. в Абрамцево.

Автор публикуемых воспоминаний, Ольга Петровна Юркевич (род. в 1927 г.), — педагог, дочь известного московского врача Петра Ивановича Юркевича (1889—1968), в юности дружившего с Мариной Цветаевой. Сохранившаяся часть их переписки 1908—1916 годов и несколько ранних стихотворений поэта, навеянных этой дружбой, уже стали достоянием читателя. См.: Письма М. И. Цветаевой к П. И. Юркевичу // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 11. Paris: Atheneum, 1991. С. 335—360; М.: СПб; Atheneum; Феникс, 1992. С. 335—360; Юность сестер Цветаевых: Письма к П. Юркевичу (1908, 1910) // Новый мир. 1995. № 6. С. 116—143. К этим публикациям мы отсылаем и за подробными сведениями о П. И. Юркевиче и его семье. Последняя встреча бывших друзей произошла по возвращении Цветаевой из эмиграции. Петр Иванович и его сестра Софья Ивановна Липеровская оказались среди немногих старых знакомых Цветаевой, откликнувшихся на ее приезд. Впервые о своем отце и его встречах с Цветаевой мемуаристка рассказала в публикации: Дардыкина Н. Любовь юной Цветаевой // Московский комсомолец. 1994. № 227. 22 ноября. С. 7.

гувернера и навсегда проникшийся духом абрамцевского дома. Летом вся семья с воспитанниками, которых всегда было много, переезжала в имение Орловку Тульской губернии¹. Оно принадлежало жене И. В. Юркевича, А. Н. Ивановской², и находилось в лесостепном Заочье на полпути в направлении с севера на юг от Ясной Поляны до Спасского-Лутовиново. Почти на одной широте с Липицами, другим имением Ивановских, на притоке Дона, реке Непрядве находилось Куликово поле. Здесь можно было вдоволь почувствовать, понять, изучить и природу, и историю, и культуру, и литературу России, безоговорочно полюбив ее на всю жизнь.

Иван Викентьевич организовывал жизнь молодежи у себя в имении так же, как это делал в Абрамцеве. Здесь совмещали высокую поэзию, чтение классической литературы, музицирование, занятия живописью с работой в поле и на усадьбе. Сохранились прекрасные карандашные рисунки старшего сына Владимира³ с дарственной надписью «Папе от Володи». Сюжеты этих рисунков несомненно навеяны жизнью на усадьбе. Например, на переднем плане рисунка «Две семьи» изображена собака со щенятами. Она лижет морду лошади, дотянувшейся до нее из конюшни, а в расщелину забора выглядывает одним глазком жеребенок. Имеются акварельные рисунки птиц. Также с надписью «Папе от Пети». Сохранился хорошо выполненный подрамник с натянутым на него холстом. На нем написаны маслом головы собак разных пород и различные овощи. Молодежь принимала участие и в полевых работах: мальчики вязали снопы, работали на косилках, девочек учили доить коров. Не забывали и о гимназических делах: собирали гербарий, измеряли высоту солнца над горизонтом, вели наблюдение за погодой и подробно все записывали в дневник погоды. Кроме того, каждый подробно описывал прожитый день. Одни занимались живописью, другие фотографией. Выделялся своими способностями старший брат — Владимир. Он постоянно мастерил модели морских кораблей. Любила молодежь верховые и дальние пешеходные прогулки. Припас и самовар везли на телеге, а участники пагали належке. Организовывались поездки в ночное, чтобы встретить восход солнца.

Шестнадцатилетняя Марина была в Орловке и участвовала в этой привольной жизни.⁴ В письме к Петру Юркевичу она пишет: «Во время разговоров с Вами я чувствовала себя т<а>к ясно, т<а>к хорошо. Вообще я очень отдохнула в Орловке. А теперь все смято, беспорядочно, сумбурно» (22 июля 1908 г., Таруса). «Все тарусские все ходят, что я загорела к<а>к цыганка. Здесь — все лес и лес, даже странно с непривычки и грустно без открытого горизонта тульских широких полей. Кто-то теперь без меня ласкает Буяна?»⁵ Да, Петя, пожалуйста, составьте мне список Ваших достопримечательностей (не лично Ваших, хотя, если хотите, и этот), а то я было начала перечислять и запнулась на Чермашне и Мокром⁶. Папа очень доволен, что я побывала у Вас, и, кажется, ничего не имеет против меня еще когда-нибудь отпустить к Вам» (28 июля 1908 г., Таруса). Вспоминала она Орловку и много лет спустя. В июле 1916 года она пишет Петру Юркевичу: «...с умилением вспоминаю нашу с Вами полудетскую встречу: верховую езду и сушеную клубнику в мезонине Вашей бабушки,⁷ и поездку за холстинами, и чудную звездную ночь».

¹ Имение Орловка находилось в Черномском уезде, станция Скуратово.

² Александра Николаевна Юркевич (урожд. Ивановская; 1865—1934) получила Орловку от своей матери в приданое.

³ Владимир Иванович Юркевич (1885—1964) — всемирно известный корабельный инженер, создатель французского суперлайнера «Нормандия», завоевавшего в 1935 г. «Голубую ленту» Атлантики.

⁴ Цветаева гостила в Орловке в течение нескольких дней в июле 1908 г. Впечатления от этой поездки навсегда сохранились в ее памяти, о чем свидетельствуют ее письма от 21 июля 1916 г. к Юркевичу (цитируется ниже) и от 10 июля 1936 г. к чешской приятельнице А. А. Тесковой; в этом последнем, написанном «жизнь спустя», как Цветаева любила говорить, она вспоминает бывшее имение Тургенева, Бежин луг, тихую русскую речку... (см.: Цветаева М. Письма к А. Тесковой. Прага: Academia, 1969. С. 141).

⁵ Буян — кличка одной из собак в Орловке.

⁶ Чермашня и Мокрое — названия сел в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Возможно, в семье П. Юркевича культивировалось ошибочное представление о том, что топонимическими источниками для этих названий послужили Чермошны и Мокрое, живописные села Белевского уезда Тульской губернии, находившиеся неподалеку от Орловки.

⁷ Наталья Орестовна Ивановская (в первом браке Жданова) — бабушка П. И. Юркевича по материнской линии.

Отношения сестер Цветаевых с братьями Юркевич продолжались и тогда, когда братья стали студентами Московского университета, а старший уехал в Петербург и поступил на кораблестроительный факультет Политехнического института¹. В семье сохранилась легенда, что Сергей Иванович Юркевич² перед женитьбой показал своей будущей жене³ медальон с локоном. Локон принадлежал Анастасии Цветаевой⁴.

У нас в семье долго хранились книги Марины Ивановны: «Волшебный фонарь» с дарственной надписью «Дорогому Понтику — другу моих 15-ти лет»⁵ и два одноместника ее стихов, входящих в библиотеку деда с его личной монограммой⁶. Хранились письма Марины Ивановны, адресованные моему отцу. Именно эти книги мы ей показали, когда она была у нас. Я хорошо помню ее слова: «Берегите их. Они больше переиздаваться не будут». Все эти книги и письма переданы в музей Марины Цветаевой⁷.

Марина Ивановна пришла к нам на площадь Журавлева (бывшая Введенская площадь)⁸ вместе с сыном Муром. Мы тогда жили в коммуналке, на пятом этаже, без лифта, впятером⁹ в двух комнатах. Хорошо помню, как они входили в комнату: впереди седая, коротко остриженная худощавая женщина в сером платье. Бросилось в глаза несоответствие в пропорциях корпуса и длины ее ног. Значительно позже нашлось объяснение этому впечатлению: Марина Ивановна обычно носила мужские ботинки со шнуровкой. Привычный женский каблучок не приподнимал и не украшал ее фигуры. В лучших традициях культурных русских домов с порога несла живой интерес, некоторое смущение, скромные, сдержанные манеры женщины хорошего тона. Лицо, взгляд были открыты для общения, все внимание было обращено к людям.

Совсем иное сын. Он мне показался почти на полголовы выше матери. Это был мальчик четырнадцати лет, но выглядел он значительно старше. Был он крупный, с развитым торсом. На первый взгляд его можно было принять за спортсмена. Особенно выделялись ширина плеч, царственно поставленная голова с широким, просторным лбом. Ни тени приязни не было у него на лице. Смотрел он выше голов людей. С порога небольшими серыми глазами в частой щеточке ресниц осмотрел он комнату. Сухо, не глядя, поклонился общим поклоном и замер. За весь вечер не произнес ни слова. Сидел он среди занятых разговором людей весьма отчужденно. Его крупная, безукоризненно одетая в серый тон фигура как-то не вязалась с обыденностью обстановки.

Родители увели Марину Ивановну в другую комнату, и я не присутствовала при их разговоре. Когда все перешли к столу, случилось так, что я с Мариной Ивановной оказалась в комнате вдвоем. В это время меня вызвала к телефону подруга. Говоря по телефону, невольно обратила внимание на Марину Ивановну. Перегнувшись под углом, вся подавшись вперед, опираясь локтем о колено, она внутренним своим оком неотрывно смотрела на меня. На лице разгладилась морщина, глаза стали сине-зелеными, она даже сгорбилась. Откинувшись назад она произнесла: «Эта девочка должна быть актрисой». Видимо, это была ее манера ощущения сущности людей. Здесь я воочию увидела могучую внутреннюю силу большого поэта.

¹ Цветаева познакомилась с семьей своей гимназической подруги, когда старшие братья Юркевич уже были студентами.

² Сергей Иванович Юркевич (1888—1919) — в 1906—1912 гг. студент медицинского факультета Московского университета, затем земский врач, в годы первой мировой войны был призван на фронт в качестве хирурга. Умер от сыпного тифа.

³ В 1913 г. С. И. Юркевич женился на Татьяне Григорьевне Мачтет (1892—1971) — дочери писателя и революционера Г. А. Мачтета, автора песни «Замучен тяжелой неволей...».

⁴ В своих воспоминаниях А. И. Цветаева называет С. Юркевича «первым взрослым гостем» сестер в Трехпрудном переулке; в неизданной части этих воспоминаний упоминается о ее нежной дружбе с С. Юркевичем и о том, как он навещал ее весной 1915 г., приехав с фронта.

⁵ «Волшебный фонарь» (М., 1912) — вторая книга стихов Цветаевой, выпущенная в домашнем издательстве «Оле-Лукояе»; упомянутый автограф был подписан и датирован: «Марина Цветаева. Москва, 27-го февраля 1912 г.».

⁶ Нам известно об одной такой книге из библиотеки П. И. Юркевича — «Вечернем альбоме» (М., 1910), первом сборнике стихотворений Цветаевой.

⁷ Все эти материалы хранятся в собрании Л. А. Мнухина (Москва).

⁸ Точный адрес — пл. Журавлева, д. 2/8, кв. 71.

⁹ В семье П. И. Юркевича кроме жены Клавдии Ивановны (урожд. Галкиной; 1898—1989) и дочери Ольги жили сын от первого брака — Александр (р. 1919) и сестра жены — Мария Ивановна Галкина (1894—1975).

За столом Марина Ивановна рассказывала о своем переезде в Москву и сетовала, что не может получить свой багаж, ей почему-то его не отдадут¹. Особенно горевала, что разлучена с Сергеем Яковлевичем и Алей². Она все повторяла, что Сергей Яковлевич и Аля приехали раньше их и «все было хорошо». Она двинулась с Муром вслед за ними. Как только она с сыном приехала, все изменилось. Сначала арестовали Алю, потом Сергея Яковлевича. Жили они тогда в Болшево³. Хорошо помню ее голову, повернутую в сторону от присутствующих, опущенную руку, как бы обращенную к невидимым судьям, и слова: «Какое коварство! Алю! Алю!»

Разговор зашел о ее встрече с И. Эренбургом⁴. Сразу было видно, что Марине Ивановне это неприятно. Она как-то вся вытянулась, отстранившись от присутствующих, и, не глядя ни на кого, произнесла несколько малозначащих слов: «Да, была, встречалась». Она не поддержала этого разговора. После большой паузы, глядя перед собой, проговорила, выделяя каждое слово: «Я к ним больше не пойду». Это был уже другой человек: взгляд остановился, преодолимая гордость, величие повело ее голову в профиль. На какое-то мгновение он напомнил барельеф старой чеканки. Вспоминала свое прошлое, московское житье-бытье. Упоминала М. Кудашеву⁵, свою товарку, ставшую впоследствии женой Ромена Роллана. Она называла ее «женщина с дальним прицелом».

Прошло более 50 лет после этой встречи. Многие потускнело в памяти, но живет и звучит удивительной, родниковой чистоты голос Марины Ивановны. Было что-то колокольное в его тембре. Так могут говорить только высококультурные, искренние, открытые, доверчивые люди.

Я, маленькая девочка, почувствовала, что мои родители смущены, потрясены, не знают, как реагировать на эту трагедию. Марина Ивановна же искала, вернее, жаждала интересного, глубокого собеседника, который помог бы ей понять происходящее. За столом — это была сильная, светская, властная женщина, которая была на несколько голов выше всех окружающих ее людей. Только иногда, когда разговор касался приятной темы, на ее сухом, сером лице вспыхивали глаза. Они становились похожими на цветущую иву, но это были лишь мгновения.

Она много говорила о своем сыне. Сокрушалась, что у него мало друзей, что он туто сходится со своими сверстниками, что ему плохо дается математика. Помню, как она рассказывала о своей помощи сыну. У французов как-то так устрое-

¹ Трудности с получением багажа были вызваны тем, что он был отправлен из Франции на имя А. С. Эфрон и прибыл в Москву после ее ареста. Цветаева получила доступ к багажу 25 июля 1940 г. по вынесении приговора ее дочери, в котором не было пункта о конфискации имущества.

² Муж Цветаевой был арестован в Болшеве 10 октября 1939 г., незадолго перед ним 27 сентября там же была арестована ее дочь.

³ По возвращении на родину Цветаева с сыном поселилась на подмосковной станции Болшево, в поселке «Новый быт», дача 33/4, где жила ее семья; ныне ул. М. Цветаевой, д. 15, Музей М. И. Цветаевой в Болшеве. Это местожительство было оставлено Цветаевой 11 ноября 1939 г.

⁴ Речь идет о последней встрече Цветаевой и И. Г. Эренбурга в Москве. Вот что писала по этому поводу Н. П. Гордон: «Мне помнится, что Марина Ивановна говорила мне об Эренбурге, который не пожелал с нею разговаривать и, кажется, не принял ее дома, то ли не пустил дальше своей прихожей. Она не сердилась на него, а сказала спокойно, что понимает, что он просто боится с ней общаться. Но от этого ей не было легче» (Воспоминания о Марине Цветаевой. С. 448). В книге «Люди, годы, жизнь» Эренбург изложил свою версию этого события: «Она пришла ко мне в августе 1941 года; мы встретились после многих лет, и встреча не вышла — по моей вине. Это было утром, «тарелка» уже успела рассказать: «Наши части оставили...» Мои мысли были далеко. Марина сразу это почувствовала и придала разговору деловую видимость: пришла посоветоваться о работе — о переводах. Когда она уходила, я сказал: «Марина, нам нужно повидаться, поговорить...» Нет, мы больше не встретились: Цветаева покончила с собой в Елабуге, куда ее занесла эвакуация» (Там же. С. 103). Точная дата и обстоятельства этой встречи остаются невыясненными. В нашем распоряжении помимо приведенных мемуарных свидетельств всего лишь несколько достоверных фактов, и они таковы: Эренбург вернулся из-за рубежа 29 июля 1940 г. Цветаева узнала о его приезде, судя по дневниковой записи ее сына, спустя неделю — 5 августа. В начале июня следующего года она получила книгу стихов Эренбурга «Верность» (М., Гослитиздат, 1941) с его трогательной дарственной надписью. А чуть позже ее имя появляется дважды в записных книжках Эренбурга, первое упоминание датировано 29 июня 1941 г.: «Марина о квартире и стихах», второе — 7 июля того же года: «В „Известиях“... Сводки лучше. Немцы говорят: Черновцы... Цветаева» (Эренбург И. Люди, годы, жизнь: Воспоминания: В 3 т. М., «Советский писатель», 1990. Т. 1. С. 592). Имеют ли эти записи отношение к их последней встрече и была ли их встреча на протяжении года единственной — сказать трудно.

⁵ Мария Павловна Роллан (урожд. Кювиалье, в первом браке Кудашева; 1895—1985) — поэтесса, переводчица, в молодости входила в круг ближайших друзей сестер Цветаевых.

на голова, что они мгновенно решают несложные задачи. Мура эти задачи ставили в тупик. Она бралась решать ему домашние задания, но получалось это у нее очень примитивно. Учитель математики, познакомившись с ее решением, говорил: «Это рассуждение бэбэ». Она успокаивала Мура, говоря, что когда они приедут в Советский Союз, то ему будет легче — «русские не такие, как французы». Но оказалось, что и в Советском Союзе Мур остается одиноким. Она провожает его во двор погулять со сверстниками, они его естественно спрашивают, как его зовут. Он отвечает: «Мур». Они сразу от него разбегаются (МУР — Московский уголовный розыск).

За столом, сидя рядом с Муром, я имела возможность его рассмотреть, вернее, не его, а его руку, которую он, я думаю, не без умысла, картинно выложил на рукав пиджака. Многократно вспоминая ее совершенную форму, я могу только сказать, что нечто подобное я видела в скульптурах древнегреческих ваятелей. Мне всегда хочется сравнить эти руки с руками Афродиты. Крупные, белоснежные, с великолепным сводом и тонкими аристократическими суставами. Эти руки не могли ничего крепко взять, они могли только прикоснуться. Трудно было Марине Ивановне с сыном белоручкой.

Публикация и примечания Е. И. Лубяниковой

УРОКИ ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ

САМУИЛ ЛУРЬЕ

САМОУЧИТЕЛЬ ТРАГИЧЕСКОЙ ИГРЫ

«... — Я, может быть, и сама гордая, нужды нет, что бесстыдница! Ты меня совершенством давеча называл; хорошо совершенство, что из одной похвальбы, что миллион и княжество растоптала, в трущобу идет!.. А теперь я гулять хочу, я ведь уличная! Я десять лет в тюрьме просидела, теперь мое счастье!»

Ф. М. Достоевский. «Идиот»

Александр Блок почти всю жизнь провел как поэт — как почти никто из поэтов: как гимназист — каникулы. Ни дня без прогулки на свежем воздухе: куда глаза глядят или облюбовав заранее забаву — скажем, в луна-парке американские горы; а то в Стрельну — купаться в осеннем пруду; потом в синема; или вот:

Открыт паноптикум печальный

— это кабинет восковых фигур на Невском, 86 —

Один, другой и третий год.

Дата под стихотворением — 16 декабря 1907.

Толпою пьяной и нахальной
Спешим...

Тут внезапная неясность: то ли есть причина посетить данный очаг культуры немедленно, — то ли это, наоборот, обрыдлый такой обряд установлен и соблюдается все эти годы, примерно с Кровавого воскресенья; коротаем, так сказать, войну и революцию в нескончаемой мрачной процессии, в дурной компании...

Тем заметней вызывающая поза глагола — и отталкивающее первое лицо подозрительного множественного числа. Инверсия классическая: *толлой утрюмою и скоро позабытой...* Но эпитеты невозможные, в лирике неслыханные; оглушительно хлесткая рифма обещает скандал; что-то будет?

(«Некоторые входили так, как были на улице, в пальто и в шубах. Совсем пьяных, впрочем, не было; зато все казались сильно навеселе...») Это шуты, постоянно сопутствующие Рогожину — и Мышкину — в романе «Идиот». Помните, как они являются в квартиру Настасьи Филипповны? «Великолепное убранство первых двух комнат... редкая мебель, картины, огромная статуя Венеры — все это произвело на них неотразимое впечатление почтения и чуть ли даже не страха. Это не помешало, конечно, им всем, мало-помалу и с **нахальным** любопытством... протесниться за Рогожиным в гостиную...»)

...В гробу царица ждет.

То есть восковая статуя полуголой молодой женщины; это якобы Клеопатра, последняя царица Египта; изображен момент самоубийства: Клеопатра прижимает к груди змею; змея сделана из резины; приспособлены какие-то чудеса техники, так что грудь как бы дышит, а змея через равные промежутки времени как бы жалит. Короче говоря, зрелище — на любителя. И передано стихами почти наивными, — а

Самуил Аронович Лурье (род. в 1942 г.) — литературный критик, автор романа «Литератор Писарев» (1987). В «Звезде», начиная с 1993 г., ведет рубрику «Уроки изящной словесности». Живет в С.-Петербурге.

© Самуил Лурье

магическую игру согласных: в шелест и звон — а также глубину и протяженность гласных — легко принять за побочный эффект.

Она лежит в гробу стеклянном
И не мертва и не жива,
А люди шепчут неустанно
О ней бесстыдные слова,

Она раскинулась лениво —
Навек забыть, навек уснуть...
Змея легко, неторопливо
Ей жалит восковую грудь...

И вдруг, в музейной этой тишине, опять неприличная выходка — ни с того ни с сего:

Я сам, позорный и продажный,
С кругами синими у глаз —

Ничего подобного никто в русской литературе никогда не произносил. Отвага беспримерная, скоро ее переймут Есенин и другие. Но как навязчиво неуместен здесь этот автопортрет. И к чему эти подробности о подлежащем, если сказуемое столь незначительно:

Пришел взглянуть на профиль важный,
На воск, открытый напоказ...

Ну, пришел и пришел. Сообщение самое невинное — и торжественный тон просто нелеп. Как если бы моральная неустойчивость абсолютно исключала интерес к подобным зрелищам. Судя по следующей строфе — скорее наоборот. Синтаксис там невнятный, но все же позволяет догадаться, что изображаемый культпоход — отнюдь не первый:

Тебя рассматривает каждый,
Но если б гроб твой не был пуст,
Я услышал бы не однажды
Надменный вздох истлевших уст:

Несмотря ни на что, фонетика волшебная. Ведь это вздор — *вздох уст*, — а строка действительно вздыхает — и за ней строфа:

«Кадите мне. Цветы рассыпьте.
Я в незапамятных веках
Была царицею в Египте.
Теперь я — воск. Я тлен. Я прах».

Ария не оригинальная — тотчас видно, что в Петербург так называемого «серебряного века» царица Египта прибыла из Москвы, где Валерий Брюсов, прочитав роман Райдера Хаггарда «Клеопатра», сочинил ровно восемь лет назад одноименное стихотворение: *«Я — Клеопатра, я была царица, В Египте правила восемнадцать лет. Погиб и вечный Рим, Лагидов нет, Мой прах несчастный не хранит гробница»* — и так далее. Ничего не поделаешь, так проходит земная слава.

Но Блок отвечает монологом в духе А. И. Поприщина:

«Царица! Я пленен тобою!
Я был в Египте лишь рабом,
А ныне суждено судьбою
Мне быть поэтом и царем!

Ты видишь ли теперь из гроба,
Что Русь, как Рим, пьяна тобой?
Что я и Цезарь будем оба
В веках равны перед судьбой?»

Не пародия ли тут, в самом деле, на стихи Валерия Яковлевича, дорогого мэтра? («Стихи Ваши — всегда со мной», — сказано ему в письме, отправленном несколько дней назад). Цезарь ведь — его герой. Конечно, и раб — из его же баллады (*«Я — раб, и был рабом покорным Прекраснейшей из всех цариц...»*)¹. Но тогда стихотворение

¹ Если Брюсова забудут раньше, чем Блока, — чего доброго, какой-нибудь юноша веселый в грядущем скажет: знаем, знаем, кто томился у древних египтян в рабстве; смотри, что называется, Библию. Впрочем, всегда найдется доцент — вступиться: поэт страдал юдофобией, и вообще был весь дитя добра и света.

Блока — просто сатира с оттенком пасквиля. Нет, непохоже: слишком невесело. И потом, эта Русь, пьяная Клеопатрой... У Брюсова тоже безвкусицы хоть отбавляй, однако совсем в другом роде. Но дочитаем:

Замолк. Смотрю. Она не слышит.
Но грудь колыхается едва
И за прозрачной тканью дышит...
И слышу тихие слова:

«Тогда я исторгала грозы.
Теперь исторгну жгучей всех
У пьяного поэта — слезы,
У пьяной проститутки — смех».

Стихи небрежные (*исторгну жгучей всех* — молчи, грамматика!), ну и пусть — зато предчувствие скандала сбывается. Поэт поставлен на одну ступень с проституткой, внезапно появившейся из нахальной толпы. Пьяный плачет — продажная фантасмагорическая женщина; к этому скоплению взрывных все и шло. Провокационные эпитеты совпали, как сходится пасьянс. Автопортрет с пощечиной, прыжок паяца; пьеса для балаганчика в паноптикуме печальном. Но Клеопатра при чем?

Блока случайно видели там, на Невском, 86. «Меня удивило, — повествует свидетель, — как понуро и мрачно он стоит возле восковой полулежачей царицы...» Следует рассказ про обступивших эту механическую куклу веселых похабных картузников. И как рефрен: «Блок смотрел на нее оцепенело и скорбно...»

Вообще-то бывает, как сказано в одном стихотворении Анненского (тоже 1907 г., тоже поздняя осень), *бывает такое небо, такая игра лучей, что сердцу обиды куклы обиды своей жалчей...*

Но эта, восковая, в прозрачном гробу — была буквальная, грубо материализованная цитата из «Стихов о Прекрасной Даме». Судьба в который раз напоминала Блоку, что когда-то, не так давно, он был не просто поэт, но единственный в мире обладатель самой важной в мире тайны.

Настоящее имя Прекрасной Дамы было — Ты и обозначало Разгадку Всего, недоступную словам, как смерть от счастья, как любовь богини.

Неизвестно, что это было — космическое прельщение, литературная галлюцинация... Швейцарский ученый Карл Юнг пишет об участившихся в двадцатом веке явлениях Богоматери как о фактах несомненных. Дескать, это Коллективное Бессознательное играет с человеком. Салтыков-Щедрин в свое время трактовал подобные состояния проще:

«Юноша с пылким, но рано развращенным воображением испытывает иногда нечто подобное: он сидит над книжкой, а перед глазами его воочию мелькает фантастическая женщина; он очень хорошо знает, что женщины тут никакой нет, а есть латинская грамматика, но в то же время чувствует, что в жилах его закипает кровь... А рот у него облепили мухи», — присовокупляет злобный Салтыков — и попадает пальцем в небо. По крайней мере, Блок был в высшей степени аккуратный человек. «От мух советую, — писал он Евгению Иванову в 1906 году, — купишь пачку бумажек «Tanglefoot» — к ним мухи прилипают, и тогда ощущаешь нечаянную радость от их страданий; избиению их, поджиганию свечкой и прочим истязаниям я также посвящаю немало времени».

Неважно, по каким причинам и как перепутались мечты и обстоятельства.

Важно, что видения повторялись все реже, потом вдруг совсем прекратились.

Эту утрату Блок оплакивал как Ее смерть.

Ты покоишься в белом гробу.
Ты с улыбкой зовешь: не буди.
Золотистые пряди на лбу.
Золотой образок на груди.

Я отпраздновал светлую смерть,
Прикоснувшись к руке восковой...

С тех пор этот вальс в нем не умолкал. В чаду алкоголя и пошлости словно кто-то дразнил Блока призраком забытой тайны; вот как в этом кабинете восковых фигур — или годом раньше в привокзальном ресторане... Вы думаете: случайность? Нет — хохот из бездны. Вы думаете: мания преследования? Нет — символизм.

Оставалось: притворно смеясь над разбитыми иллюзиями, отомстить за них собственной гибелью — то есть моральным падением.

«...Люблю гибель, любил ее искони и остался при этой любви... Ведь вся история моего внутреннего развития „напророчена“ в „Стихах о Прекрасной Даме“».

Иначе говоря: отняли любимую куклу — тем хуже для кукол нелюбимых.

Гибнуть, катаясь на тройках, — словно Настасья Филипповна... Убивать себя пьянством и так называемой страстью — истерикой похоти — любовью без любви.

И стало все равно, какие
Лобзать уста, ласкать плеча,
В какие улицы глухие
Гнать удалого лихача...

И все равно, чей вздох, чей шепот, —
Быть может, здесь уже не ты...
Лишь скакуна неровный топот,
Как бы с далекой высоты...

Так — сведены с ума мгновеньем —
Мы отдавались вновь и вновь,
Гордясь своим уничтоженьем,
Твоим превратностям, любовь!

При оформлении в советскую литературу все это Блоку засчитали как протест против реального капитализма. В общем это верно. Как замечал по сходному поводу упомянутый Салтыков: «...протестуют потому, что сердца своего унять не в силах. „Погоди ты у меня, — говорила одна барыня (она была тогда беременна) временно-обязанному своему лакею, — вот я от твоей грубости выкину, так тебя сошлют, мерзавца, в Сибирь!“ И говорила это барыня искренно, и желала, ох, желала она выкинуть! чтобы потом иметь право написать, что вот она выкидывает (конечно, без особенно скверных последствий), что Ваньку за это судят и ссылают в Сибирь...»

Я гибну — так тебе и надо! — плачь, низкая действительность, плачь!

И страсти таинство свершая,
И поднимаясь над землей,
Я видел, как идет другая
На ложе страсти роковой...

И те же ласки, те же речи,
Постылый трепет жадных уст...

Участь, что и говорить, трагическая. Как тяжело ходить среди людей и притворяться не погибшим в таких условиях. Но именно в этой тональности: надежды нет, и не нужно счастья, и только из гордости терпишь унижительную необходимость отвечать на поцелуи, а заодно и всю мировую чепуху, — стихи звучат как следует, как диктант Музы. Долг перед Искусством и Родиной велит идти навстречу Судьбе до конца: в цирк, в ресторан, в дом терпимости. И вечный бой! Покой нам только снится. Вы говорите: маменькин сынок? Нет — искуситель, демон, падший ангел!

«Кто я — она не знает. Когда я говорил ей о страсти и смерти, она сначала громко хохотала, а потом глубоко задумалась. Женским умом и чувством, в сущности, она уже поверила всему, поверит и остальному, если бы я захотел. Моя система — превращения плоских профессионалок на три часа в женщин страстных и нежных — опять торжествует».

«Я опять на прежнем — самом «уютном» месте в мире — ибо ем третью дюжину устриц и пью третью полбутылку Шабли...»

«Я обедал в Белоострове, потом сидел над темнеющим морем в Сестрорецком курорте. Мир стал казаться новее, мысль о гибели стала подлинней, ярче («подтачивающая мысль») — от моря, от сосен, от заката».

Такая жизнь ожесточает сердце. Приступы страха, приступы злобы, повсюду мерещатся угрожающие взгляды, торжествующие ухмылки. Сжигает ненависть к благополучным...

Если человека несказанно радует известие о катастрофе «Титаника» («есть еще океан!») — через несколько лет ему, конечно, Февральская революция в России покажется пресной, постной. Что значит сжиться с мыслью о личной гибели! — чужую допускаешь (в теории) хладнокровно: «...нисколько не удивлюсь, если (хотя и не очень скоро) народ, умный, спокойный и понимающий то, чего интеллигенции не понять (а именно — с социалистической психологией, совершенно, диаметрально другой), начнет так же спокойно и величаво вешать и грабить интеллигентов (для водворения порядка, для того чтобы очистить от мусора мозг страны)...»

Как известно, тогдашний Цезарь через два года воспроизвел эту мысль поэта — слово в слово (чуть резче: «это не мозг, а...»). И осуществил. И поэт действительно погиб. А Цезарь помещен в паноптикум печальный.

ВРЕМЯ УВЛЕЧЕНИЯ ИСТОРИЕЙ

За последние десять лет читатели прочли больше исторической литературы, чем за все предыдущие советские годы. Долгие десятилетия историю заменяли суррогаты, учебники и многие монографии скорее скрывали исторические факты, чем вводили их в общественное сознание. Существовала советская мифология со своими героями и злодеями. С приходом гласности начали открываться секретные архивы. За прошедшие десять лет без внимания историков, публицистов не осталось ни одного периода отечественной истории. Историческая литература заполнила книжный рынок. (Если заглянуть в «Путеводитель по книжному миру», то можно убедиться, что практически все упоминаемые в обзоре петербургские издательства выпускают книги по истории.)¹

События, происходящие на наших глазах, многообразие выпущенной исторической литературы разрушили традиционное историческое сознание нашего общества. В результате происходит переосмысление истории. У одних появляется желание узнать, что же происходило на самом деле, и отсюда — интерес к новой исторической литературе: запрещенным прежде мемуарам, старым, не переиздававшимся в советское время учебникам истории, книгам о России, изданным за рубежом.

Другие не могут смириться с крушением мифа о величии и могуществе СССР. Испуганные развалом, они, подобно одному пожилому петербургскому читателю, уверяют себя и других: «Такое впечатление, что спешно выполняется задание перевернуть всю русскую историю с ног на голову, такое не делается ни в одной стране». Не желая понять, что происходит, они испытывают потребность вернуться в прошлое, которое сейчас кажется таким уютным и прекрасным.

Так или иначе, в настоящее время, как в эпоху Карамзина, «все, даже женщины, бросились читать историю». Сильный интерес к истории — это сугубо российский феномен чтения. Его нет у американцев, которые сосредоточены на ближайшем будущем, в их сознании чувство истории занимает очень мало места. Немецкие библиотекари, отмечая ряд совпадений в развитии чтения (например, его прагматизацию), видят главное различие — в сфере исторического чтения: интерес к нему отсутствует в Германии. Очевидно, определенность будущего, наличие общественного согласия ослабляют интерес к прошлому.

Не так в России. Мониторинг чтения, который с 1992 года приводится в публичных (т.е. общедоступных) библиотеках Петербурга, показал, что каждый четвертый их читатель достаточно постоянно читает книги по истории. Чтобы проанализировать это явление, в 1995 г. Городская библиотека имени В. Маяковского, при участии районных библиотек, провела специальное исследование. Читателей просили назвать прочитанные книги и статьи по истории, высказать свое отношение к ним, объяснить, почему их интересует история. Из ответов сложилась пестрая, разнообразная картина: триста опрошенных назвали более 150 авторов, среди которых Волкогонов и Бунич, Платонов, Гумилев, Карамзин, Пикуль и Балашов и многие, многие другие. Причем одни и те же имена (то с одобрением, то с осуждением) называют представители различных социальных групп. И хотя, на основании полученных данных, можно утверждать, что историей в большей мере интересуются гуманитарии и пожилые читатели, меньше — молодежь, инженеры, рабочие, — все же бросается в глаза, что не социальная принадлежность определяет круг исторического чтения. Но тогда что же? Знакомство с анкетами читателей

¹ Эйдемиллер И. В. Знакомьтесь, новые петербургские издательства. — Звезда. 1995. № 10.

позволяет предположить, что сильнее всего на выбор книг влияют цели чтения (см. таблицу).

Читателей просили ответить на вопрос: почему они интересуются историей? Одни отвечали — в связи с учебой, преподаванием, занятиями краеведением. Другие говорили: чтобы узнать реальные факты, представить духовный мир людей прошлых эпох. Третьи — читают для отдыха, развлечения, чтобы с помощью увлекательных исторических сюжетов уйти от насущных проблем. Часто различные мотивы переплетались, порой весьма причудливо: «Стараюсь читать все о прошлом, особенно о начале XX века, чтобы хоть чуточку убежать от сегодня», — пишет пенсионерка с высшим образованием, которая читает книги о сталинских репрессиях, о русской эмиграции, о шестидесятниках.

При всем многообразном переплетении мотивов доминирует желание разобратся в прошлом, заполнить лакуны. «Хочу понять, как мы дошли до жизни такой», — как сформулировал один пожилой читатель. Серьезные познавательные цели своего чтения указали 68% опрошенных. Именно этот мотив преобладает у представителей всех социальных групп, за исключением молодежи (учащихся и студентов), которые читают историю в основном в учебных целях. О своем желании узнать правдивую картину прошлого — как цели чтения — сказали: 69% опрошенных рабочих и служащих, 79% инженеров, 65% гуманитариев, 74% пенсионеров. Переживаемые исторические катаклизмы стимулируют чтение истории, как «политики, опрокинутой в прошлое» (по выражению историка Н. М. Покровского).

Серьезная цель чтения объясняет, почему так часто в анкетах упоминают научную литературу: книги Ключевского, Соловьева, Платонова, Гумилева, Волкогонова, Эйдельмана, петербургской серии «Хроника трех столетий». Если среди всех опрошенных каждый третий называл монографии и серьезные статьи, то среди тех, кто читает в познавательных целях, эта цифра приблизилась к 80% (выше, чем у тех, кто изучает или преподаёт историю, т.е. читает в деловых целях). Именно цель чтения ориентирует на серьезную, достоверную (аутентичную) литературу. Приведем характерные высказывания:

— Лично для меня лучше всего те книги, которые более или менее правдивы и полно приводят факты и статистику (студент).

— Исторические. На основе архивных документов (инженер).

Это умонастроение читателей странно повлияло на отношение к популярной и мемуарной литературе: ее стали меньше читать. Упоминания научно-популярных и мемуарных книг чаще можно встретить в ответах гуманитариев (в 20% анкет). Очевидно, более высокая культура чтения позволяет ожидать от конкретной книги именно то, что она может дать. Любопытная метаморфоза произошла с воспоминаниями: их читают мало (7% ответивших), чаще — гуманитарии (20%), среди которых большинство — женщины. Похоже, мемуары стали составной частью женского (дамского) чтения. Не случайно наиболее читаемые сегодня мемуары — Н. Берберова, И. Одоевцева и др.

Ярче всего установка на познавательное чтение исторической литературы сказалась в отношении к исторической публицистике, некоторые образцы которой стали бестселлерами последних лет. В анкетах часто упоминают книги Бунича, Суворова, Л. Васильевой и т.п., разоблачающие тайны недавнего прошлого. Положительную оценку этим книгам дали 6% читателей (среди ИТР 14%, среди рабочих — 8%). Любопытная закономерность: во всех социальных группах негативных отзывов на эти книги в 2—3 раза больше, чем положительных. Очевидно, у этого коллективного неприятия много причин. Встречаются (чаще среди пожилых людей) гневные высказывания об историках, которые «70-летний путь СССР унижают, заведомо искривляя социальные достижения». У читателей, личное достоинство которых оскорблено пересмотром истории, вызывает протест и все, что написал Волкогонов. Но не эта причина — неготовность непредвзято увидеть прошлое — определяет негативное отношение многих к нашему изданию. Читатели, отдавшие предпочтение серьезной литературе, отвергают тенденциозность. У многих вызывают протест книги или статьи, «где вся история или ее этап рассматриваются очень максималистски — все либо критикуется, либо хвалится, интересны сами события, почему они произошли» (высказывание читателя-студента).

О том же неприятии тенденциозности петербургскими читателями говорят довольно часто встречающиеся в анкетах (в каждой десятой) негативные оценки книг и статей националистической тематики, хотя анкета не содержала наводящих вопросов.

Помимо установки на мировоззренческое, серьезное чтение, читателей исторической литературы отличают и другие специфические черты: они больше прочих

интересуются литературными журналами, предпочитая в них не беллетристику, а исторические и публицистические материалы, т.к. художественную литературу они читают меньше других, видно, разделяя мнение, что «жизнь есть лучший драматург». Таким образом, и в историческом чтении сказалась основная тенденция, прослеживаемая в чтении петербуржцев в течение последних трех лет — прагматизация чтения, изменение роли художественной литературы, которую потеснила учебная, прикладная и мировоззренческая (в этой роли для старших поколений выступает историческая литература, для молодых — чаще философская).

На этом фоне, на первый взгляд, кажется неожиданным всплеск интереса к историческому роману, ренессанс В. Пикуля, успех бесчисленных переизданий Валишевского. 36% опрошенных среди прочитанных книг назвали исторические романы (среди рабочих — 49%, среди гуманитариев, учащихся и студентов — примерно 25%). Думаем, что этот феномен вызван действием нескольких причин, т.е. наблюдается эффект сложения сил.

Исторические романы читают и перечитывают любители русской литературы. Читатели исторических романов реже других читают переводную литературу, а из русской литературы советского периода исторические романы сохранились в чтении петербуржцев лучше других жанров (эпопеи соцреализма практически выпали из чтения).

Исторические романы читают также любители развлекательного чтения. Они реже называют детективы, фантастику, переводные любовно-авантюрные романы, т.е. этот жанр (и в первую очередь, книги В. Пикуля) является для них основным досуговым чтением. Помимо исторических романов, именно среди этих читателей особенно популярна разоблачительная публицистика Бунича, и реже встречаются отрицательные отзывы на книги этого плана, которые, возможно, читают вместо детективов. Потребность читателей (скорее читательниц) в сентиментальном чтении восполняют многочисленные жизнеописания цариц и воспоминания фрейлин.

Но историческую беллетристику читают и в серьезных целях, читают люди, задумавшиеся над непредсказуемой отечественной историей. Среди них 34% упомянули исторические романы (монографии и статьи — 78%, публицистику — 66%, воспоминания — 34%). Чтение романов в познавательных целях объясняется, возможно, дефицитом исторических книг, в которых описаны жизненный путь и духовный мир реальных личностей (для советской исторической школы характерен безличностный подход).

Но в этой тяге к историческому роману есть, возможно, и другое: стремление части читателей обрести новые мифы вместо порушенных. По замечанию Ю. М. Лотмана, «такая литература особенно притягательна для массового сознания, потому что замещает трудную и непонятную, не подлежащую единому истолкованию реальность легко усваиваемыми мифами».¹ Жить в обществе, убаюканном мифами, — в этом есть свой психологический комфорт. Романы Пикуля, Балашова, Жданова, Калашникова, Личутина помогают обрести уверенность в державе, которая не раз осаливала смуты.

Этот мотив чтения объясняет, почему снизился интерес к недавней точке всеобщего притяжения — эпохе Пушкина и декабристов. В центре внимания — время смут (допетровская Русь, XVIII век, начало XX века). Читателей интересует не судьба интеллектуала-одиночки, а отношения власти (царя) и народа, т.е. коллизия, избранная Пушкиным из многообразия сюжетов отечественной истории.

На фоне этой тенденции особенно значимым выглядит то, что читатели в Петербурге читают исторические монографии и статьи не меньше исторических романов. Очевидно, это свидетельствует о стремлении обрести достоверные знания, сформировать свое историческое сознание.

Читатели исторической литературы активно смотрят политические программы по телевидению, читают газеты (более 80%), но не спешат ответить на вопрос, какие книги, статьи, выступления представляются им наиболее правдивыми. Вот несколько характерных высказываний:

- Трудно сказать, все надо читать, размышлять (пенсионер).
- Для того чтобы узнать правдивую оценку сегодня, нужно прожить еще лет двадцать, как минимум, тогда может быть, а может, и нет (гуманитарий).
- Криминальные сообщения по петербургскому радио (рабочий).
- Публикации специалистов, а не просто журналистов (студент).

¹ Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. — СПб.: Искусство, 1994. С.12—13.

— Все очень противоречиво, они скорее отражают точку зрения их авторов (пенсионерка).

Что стоит за этим вполне единодушным мнением, что доверять особо некому? Политический нигилизм, распространившийся в обществе, не нашедшем объединяющей цели? Или общий тон ответов объясняется тем, что люди привыкают жить своим умом, без надежд на кого-либо и иллюзий?

Историческое чтение помогает преодолеть информационный голод и, отстранившись от конъюнктуры сегодняшнего дня, формировать свое историческое и (одно- временно) политическое сознание. Как писал Ю. М. Лотман: «История плохо предсказывает будущее, но хорошо объясняет настоящее. Мы сейчас переживаем время увлечения историей. Это не случайно: время революций антиисторично по своей природе, время реформ всегда обращает людей к размышлениям о дорогах истории».

Книги по истории, названные читателями среди запомнившихся

- Аджубей А. И. Те десять лет [Воспоминания: о Н. С. Хрущеве]. — М.: Сов. Россия, 1989.
- Аллагуева С. И. Двадцать писем к другу. — СПб.: Б. и., 1994.
- Анисимов Е. В. Время петровских реформ XVIII в., 1-я четверть. — Л.: Лениздат, 1989.
- Анисимов Е. В. Россия без Петра: 1725—1740. — СПб.: Лениздат, 1994.
- Альбац Е. Мина замедленного действия: Политический портрет КГБ. — М.: Русслит, 1992.
- Бахтияров А. А. Брюхо Петербурга: Очерки столичной жизни. — СПб.: РИА «Ферт», 1994.
- Белоземгранты о большевиках и пролетарской революции. — Пермь: Интер — ОМ-НИС, Акварель, 1991.
- Берберова Н. Н. Железная женщина: Рассказ о жизни М. И. Закревской-Бенкендорф-Будберг, о ней самой и ее друзьях. — М.: Кн. палата, 1991.
- Берберова Н. Н. Чайковский: История одинокой жизни. — СПб.: Петро-РИФ, 1993.
- Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. — Репринт. воспроизведение. — М.: Наука, 1990.
- Буранов Ю., Хрусталева В. Гибель императорского дома, 1917—1919 гг. — М.: Прогресс, 1992. — (Века и люди).
- Ваксберг А. И. Царица доказательств: Вышинский и его жертвы. — М.: АО Кн. и бизнес, 1992.
- Валлотон А. Александр I: [Пер. с фр.] — М., Прогресс, Б. г. (1991). — (Века и люди).
- Волгоногов Д. А. Троицкий: В 2 кн. — М.: Новости, 1994.
- Гордин Я. А. Меж рабством и свободой: 19 января — 25 февраля 1730 года. — СПб.: Лениздат, 1994.
- Греков Б. Д. Культура Киевской Руси. — М.-Л.: АН СССР, 1994.
- Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. — М.: Т-во Клышников, Комаров и К, 1992.
- Деникин А. И. Путь русского офицера. — М.: Современник, 1991.
- Исаев И. А. История государства и права России: Полный курс лекций. — М.: Юрист, 1993.
- История Отечества в лицах: С древнейших времен до конца XVII в.: Биограф. энцикл. — М.: Кн. палата, 1993.
- Карамзин Н. М. История государства Российского: В 12 т. — М.: Моск. рабочий. Слог, 1993.
- Ключевский В. О. Исторические портреты: Деятели исторической мысли. — М., Правда, 1990.
- Конквест Р. Большой террор. — Рига, Ракстниекс, 1991.
- Ольденбург С. С. Царствование Императора Николая II: [В 2-х т.] — Репринт. изд. 1939 г. — М., Феникс, 1992.
- Платонов С. Ф. Лекции по русской истории: [В 2 ч.]. — М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 1994. — (Серия «Российский лицей»).
- Радзинский Э. С. Властители дум: [Сборник]. — М., Вагриус, 1993.
- Радзинский Э. С. — «Господи... спаси и умири Россию»: Николай II: жизнь и смерть. — М., Вагриус, 1993.
- Скрынников Р. Г. Иван Грозный и его время. — М.: Знание, 1991.
- Скрынников Р. Г. Иван Грозный. — М., «Наука», 1975.
- Такер Р. Сталин: Путь к власти. 1879—1929. История и личность. — М.: Прогресс, 1991.
- Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. — СПб., 1992.
- Троицкий Н. А. Александр I и Наполеон. — М.: Высшая школа, 1994.
- Троицкий Л. Д. Сталин: В 2 т. — М.: Терра — Тегга; Политиздат, 1990.
- Хайек Ф. А. Дорога к рабству: [Пер. с нем.]. — М.: Экономика: МП «Эконов», 1992.
- Эйдельман Н. Я. Мгновенье славы настает...: Год 1789-й; [Великая фр. революция и Россия]. — Л.: Лениздат, 1989.
- Эйдельман Н. Я. Грань веков: Политическая борьба в России. Конец XVIII — начало XIX столетия. — СПб.: Экслибрис, 1992.
- Эйдельман Н. Я. «Революция сверху» в России. — М.: Книга, Б. г. (1989).

**ЧТЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СОСТАВУ
(В ПРОЦЕНТАХ К ЧИСЛУ ОТВЕТИВШИХ)**

Социальный состав читателей	ТИПОЛОГИЯ НАЗВАННЫХ КНИГ						ЦЕЛИ ЧТЕНИЯ		
	Монографии Статьи	Воспоминания Документы	Учебники	Историческая публицистика	Историческая популярная литература	Исторические романы	Деловые	Познавательные	Развлекательные
Учащиеся	18	—	36	27	—	27	72	60	50
Студенты	43	8	10	40	9	27	80	53	53
Рабочие	20	2	2	33	12	49	20	69	57
Служащие	35	8	8	24	22	32	—	70	51
ИТР	28	14	—	31	14	38	3	79	34
Гуманитарии	45	28	—	15	20	25	35	65	35
Пенсионеры	33	5	2	27	26	36	9	74	52
Всего	30	7	8	29	15	36	30	68	50
В т.ч. по целям чтения	Монографии Статьи	Воспоминания Документы	Учебники	Историческая публицистика	Историческая популярная литература	Исторические романы			
Деловое	66	15	18	28	9	9			
Познавательное	78	34	3	66	6	34			
Развлекательное	—	8	—	47	18	52			

Н. В. Дагали, З. А. Рудая

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ВОИСТИНУ: ЧЕЛОВЕК ПРЕДПОЛАГАЕТ...

Еще в 92-м была анонсирована в еженедельниках «Северо-Восток» и «Книжное обозрение», в газете «Комсомольская правда» моя написанная, но еще не изданная книга «Клетчатые арабески»¹. В первом номере еженедельника «Сибирская книга» писалось: «В новосибирском издательстве «Сибирская книга» готовится к печати и скоро выйдет в свет книга Владимира Болохова «Клетчатые арабески», по определению автора — своеобразная «гулагада» фольклора. В главной ее части-разделе под названием «Песни гулаговских славян» публикуется более пятидесяти поэтических «переводов с гулаговского» — песен, лирических вещей, баллад, поэм, не считая частушек и прочей фольклорной „мелочи“».

В том же 92-м в Норильске вышла буклетно-музейная брошюра под названием «О чем молчит Нордвик?» (Нордвик — это морская заполярная бухта на Таймыре). В брошюре той ведется документальный рассказ о страшных ежовско-бериевских нордвикских рудниках и их гулаговских жертвах. А заканчивается буклет, как ни странно для меня было, строфой из моей вещи — из того цикла «Песни гулаговских славян» — «Прощальная». И подпись: автор, возможно, бывший узник Владимир Болохов.

Выяснилось следующее: составитель взял мои строки из публикации в газете... «Советский Таймыр». Откуда взялась сия публикация в этой газете, одному Богу известно... И не увидел бы я никакого криминала в сем (пригодилось — и в добрый час), если бы в первозданном моем гулагопусе действительно что-то выкалось о Нордвике, о существовании которого я, к стыдному сожалению моему, узнал только из вышеупомянутого буклета. Ясно было одно: стихотворение-песню «немножко» переделали, заменив чукотский Певек (поминавшийся у меня) на таймырский Нордвик. Для рифмы посвоевольничали и с текстом. Но для святого дела старались люди. И имя автора сохранили все-таки. И это «только присказка», главная «сказка» впереди...

В № 21 за 1989 год «Неделя» обнародовала воспоминания (ныне уже и покойного) скульптора (бывшего ээка тож) Федота Сучкова. Назывались они (напутствуемые писателем Е. Поповым) «Мельница, жернова, обломьш...». Вспоминался не абы кто, а глубоко мной чтимый писатель Юрий Домбровский. Читая концовку мемуара (как и в случае с норильской брошюрой), охнул и, не веря глазам своим, перечитал еще раз. Воспоминания заканчивались цитированием гулагопуса из того же цикла моего — «Песни гулаговских славян». Точнее, «почти» того опуса, но это не меняло сути дела...

Цитируемые Ф. Сучковым стихи приписывались авторству создателя «Факультета ненужных вещей», который, как известно, и поэтом был не из последних. Но сего опуса Юрий Осипович не писал...

Цитирую дословно концовку сучковского мемуара.

«Есть у меня в архиве листок бумаги с отпечатанным на нем стихотворением, датированным 29-м декабря 1973 года, подписанным самим автором, то есть Юрием Осиповичем:

До Нового года минута одна.
За что же мне выпить сегодня вина?
За счастье, что будет в грядущем году?
Не верю я в счастье, я с ним не в ладу.
Быть может, мне выпить вино за

любовь?

Любил я однажды, не хочется вновь.
За горе? К чертям! Ведь за горе не пьют!
За что же мне выпить? Часы уже бьют!
Ах, так ли, не так ли, не все ли равно?
Я выпью за то, что в стакане вино.

Ниже стихотворного текста — постскрипtum в прозе: «Вы, кому это стихотворение понравится, прочтите его за минуту до боя часов на Спасской башне — чокнитесь за мое здоровье. Я вас всех люблю. Ура! Домбровский».

¹ К моменту выхода в свет номера журнала книга Владимира Болохова под названием «Клетчатая хрестоматия» уже вышла в свет (Новомосковск, 1996).

Повторюсь, прочев сие, мистически вздрогнув, метнулся не к готовой белой рукописи «Песен...», а к своему заветному, вывезенному из лагеря чемодану, где и хранятся все «базовые» блокноты-записи, сбереженные мной, — дневниково-документальный гулаговский архив. Метнулся, гоня от себя презренную мыслишку о том, что порядочнейший Юрий Домбровский удосуужился «присвоить»... да еще такой технически-банальный и графомански-сусальный до пародийности опус...

И вот он, лагерный блокнот с записями за... 1962 год. То есть с записями, сделанными за 11 годков до сучковского «открытия». Вот и этот лагопус «новогодний». Почти слово в слово сходящийся с сучковской цитацией, но с отсутствием у Сучкова (а значит, у Домбровского) двух строк, без коих просто «алогичен» традиционно-композиционный строй самой, к сожалению, безымянной гулаговской «задумки», ныне воплощенной мной в более или менее профессиональные «одежды». По ситуации аз многогрешный оказывался «покусителем» на авторство аж самого Домбровского, чье имя числю для себя среди таких, как Солженицын, Шаламов, Довлатов...

Но вот моя «интерпретация».

Минута до Нового года одна.
За что ж приглубить мне банку —
до дна?
За счастье, что скалится в Новом году?
Да только со счастьем я в грустном ладу.
Быть может, за дружбу глоток
пригубить?
Тогда уже вовсе не стоит и пить.

Что-что? За любовь? Лучше вылить совсем...
А стрелки сомкнутся вот-вот между тем.
За что же шарахнуть? Часы уже бьют!
За горе? Иль спятил? За горе не пьют.
Эх, думай — не думай, не все ли одно,
Когда и у банки уж высохло дно...

Не слепой увидит: различие текстуальное — немалое. И в то же время — по смысловой нагрузке — его как бы и нет. Некоторые строки «почти» идентичны. Хотя — вот именно, что — почти.

Как же так? И — осенило. Ведь ясен, как голый зад при луне, единственный — на поверхности лежащий — резон! Домбровский и не помышлял числить процитированное Сучковым лагупражнение своим. Вчитаемся в сучковскую цитату еще раз: «...кому это стихотворение понравится...» Все стало по-человечески понятным (как и то, что Сучков все-таки скульптор, а «Неделе» просто обыкновенной сенсации похотелось): в урочный лирический предновогодний час под понятным настроением вспомнул Юрий Осипович известный ходячий гулагопус и записал, как вспомнилось. Отсюда и «вопиющее» (по той композиционной логике) отсутствие двустушия о «дружбе», без коего лирико-сюжетная «трехходовка» — как хромой без костыля. Записал, да и послал приятелям, именно подчеркнув свое неавторство прозрачно-проговорочным «кому это стихотворение понравится»... А листок вот сохранился у мемуариста. В результате — накладка при публикации в уважаемом еженедельнике.

Бывает, как говорится. Тем паче вроде не затрагиваются ничьи сознательно-зримые интересы. Если не помнить об «интересах» тысяч и тысяч недопивших, недопивших, недокуривших — там, в ГУЛАГе... А если помнить, то и в открытую, коль такой поворот случился, спокойно об этом сказать.

Я, конечно, «стукнул» в «Неделю»... на самого себя. Получил вежливое уведомление, что, мол, согласны, «стихи — не стихи Домбровского». Мне — добрый привет и спасибо за теплое письмо. Я было изумился по наивности: а как же, мол, публичной поправочки насчет? На этот раз мне так же вежливо не ответили. Я было пискнул-рявкнул еще разок. В результате полетела подготовленная там подборка моих стихотворений (уж и данные для бухгалтерии дважды запрашивали). И получается, что автор «Факультета ненужных вещей» посмертно очастливлен уважаемой «Неделей» нечаемым авторством вышеуказанного гулагопуса. Даже при согласии с тем, публично признать, что все-таки «стихи не стихи Ю. Домбровского», и поныне не считается возможным. А что же мне-то остается? Да в случае, если книга, чем жизнь не шутит, все же вдруг прорвется сквозь все «рыночные» невесомости и перегрузки?..

ПАМЯТИ Я. С. ЛУРЬЕ

Русская культура с начала этого года переживает удар за ударом. Один за другим навсегда уходят от нас те, кто в течение десятилетий — вопреки общему нравственно-интеллектуальному климату эпохи — воплощая высочайшие духовные и профессиональные стандарты, была носителем непреходящих гуманитарных ценностей. Уходят люди, чье одно только присутствие рядом с нами делало и наши жизни осмысленными, как бы включенными в ничем не прерываемый тысячелетний контекст культурного бытования человечества.

18 марта умер, не дожив двух месяцев до своего семидесятипятилетия, Яков Соломонович Лурье. Его имя было известно в основном знатокам русского средневековья, но влияние его личности, его работ и идей, его многочисленных книг, полемических выступлений и публикаций распространилось далеко за пределы собственно научной сферы, особенно в последние годы, когда он включился в активную журнальную полемику с Л. Н. Гумилевым с одной стороны и академиком Б. А. Рыбаковым — с другой.

Авторитетных специалистов у нас не так мало, но на пальцах одной руки можно сосчитать тех, кто соединял в себе профессиональную честность и кристальную человеческую порядочность, не позволявшую лгать даже в мелочах ни окружающим, ни — что еще более важно — самому себе. На любом фоне работы Я. С. Лурье выделялись яркостью и оригинальностью концепций, жестким и бескомпромиссным анализом фактов, подчас сомнительных, подчас мистифицированных и извращенных, а главное — стремлением понять прошлое России, исходя не из каких-либо идеологических или конъюнктурных соображений «века нынешнего», но из внутренних законов самого исторического процесса. Он пытался расслышать чистый, подлинный голос минувшего сквозь беспрестанные помехи оглушающего всех нас шума времени.

Яков Соломонович с честью продолжал традиции славного рода российских интеллигентов — выходцев из захолустного местечкового Могилева, вовлеченных еще с конца прошлого века во все драматические перипетии «большой» отечественной, а стало быть, и всемирной истории — в первую очередь истории науки и общественно-политической мысли. Его дед, как и положено интеллигенту-разночинцу передовых взглядов, был последователем Д. И. Писарева, земским врачом, регулярным подписчиком «Русского богатства» и «Вестника Европы», кадетом по политическим убеждениям. Его отец — Соломон Яковлевич Лурье — известен как один из крупнейших советских филологов-античников, долгое время (хотя и с вынужденными перерывами) преподавал в Петроградском, а затем Ленинградском университете, писал замечательные книги для детей и по своим политическим симпатиям тяготел уже к партии народных социалистов, что крайне осложнило его положение в 20-е годы, в период усиленного марксологического прессинга. Книжка С. Я. Лурье «День египетского мальчика», прочитанная мною где-то в классе в третьем, была, пожалуй, самым первым и сильным импульсом, на многие годы вперед определившим тягу к воссозданию деталей давно ушедшей человеческой жизни, к скрупулезной, хотя и внешне бессмысленной, душевно-интеллектуальной работе по воскрешению воздуха, которым дышали умиравшие задолго до моего рождения люди.

Яков Соломонович родился уже после революции, 20 мая 1921 года в Петрограде, и его судьба — редкий пример непрерывности интеллектуального движения в рамках одной семьи. Он поступает на истфак Ленинградского университета в трагическом 37-м году. Сейчас, когда мы думаем о том времени, оно представляется сплошным кошмаром; однако репрессии в университете им. Бубнова (впоследствии ЛГУ им. Жданова) коснулись преимущественно тех, кто пришел туда после рабфактов в 20-е — начале 30-х и все это время с яростью и пылом полубразованных идеологических новобранцев втапывали в грязь «академических старцев», ниспровергая «буржуазный объективизм» в науке. В конце 30-х, после переезда на Беломорканале и Соловках, к преподавательской работе в университете возвращаются ученые старой школы, и на короткое время студенты получают возможность учиться у настоящих учителей. На истфаке преподают академики Е. В. Тарле, Б. Д. Греков, профессор М. Д. Приселков — учеником последнего и считал себя Я. С. Лурье. Следует отметить, что уже в юности складываются политические взгляды Я. С. Лурье: он сочувствует умеренным меньшевикам-марксистам, что в условиях идейного климата 30-х годов означало смелую попытку плыть против общего течения.

Война застала его аспирантом. Из-за слабого зрения он не был мобилизован, по той же причине не попал и в народное ополчение, куда подал заявление в первые же недели войны. В 1942 году в эвакуации он защищает кандидатскую диссертацию — «Русско-английские отношения в конце XVI века», которая в ситуации намечавшегося антигитлеровского союза Сталина с Черчиллем приобрела характер острого и нелицеприятного для российских политиков исторического комментария к горячим событиям современности. Тогда, во время войны, окончательно определяется и сфера научных интересов Я. С. Лурье, и складывается его особый взгляд на ключевые факты русской истории. Обращаясь к наиболее судьбоносным моментам допетровской Руси (Ледовое побоище, Куликовская битва, правление двух великих Иванов — Третьего и Грозного), он видит свою научную миссию в демифологизации так называемой «правленной истории», зафиксированной, к примеру, в официозной Никоновской летописи XVII века. Скромный и незаметный труд историка в конечном итоге должен увенчаться тщательной и корректной реконструкцией подлинных фактов, замалчиваемых, скрываемых и сознательно извращаемых придворным московским официозом. Эта миссия не только не

сулила бурной научной карьеры, но и стала смертельно опасной в последние годы правления Сталина.

Первые послевоенные годы Я. С. Лурье считал самым счастливым временем своей жизни. Он получил возможность преподавать — в Педагогическом институте им. Герцена и в Академии художеств, с головой окунается в научную работу, его пьянит воздух недолгой и трагической оборвавшейся послевоенной ленинградской оттепели. В 1949 году снова пришел в движение маховик репрессий. Кампания против «безродных космополитов» задевает ближайших друзей Якова Соломоновича — арестованы литературоведы А. Г. Левинтон, И. З. Серман и писательница Руфь Зернова. Сам Яков Соломонович чувствует, что он на грани ареста. Его изгоняют из всех мест, где он работал. В то время единственным спасением, вероятно, оставался отъезд, бегство в никуда. И с 1949 по 1953 годы Я. С. Лурье скитается между Архангельском и Мурманском, перебиваясь случайными заработками. В это время ему помогал Д. С. Лихачев, но позже их научные взгляды резко разошлись, а полемика между ними стала приобретать все более жесткий характер.

После смерти Сталина появляется возможность вернуться в Ленинград, и в течение четырех лет Я. С. Лурье работает в Казанском соборе. Он обращается к истории русских средневековых еретических учений, стремясь воссоздать подлинную картину интеллектуальной борьбы в Москве и Новгороде XIV—XVI веков. Это удается сделать благодаря критическому прочтению официальных церковных документов той поры. Выводы его работы были парадоксальными и разрушающими сложившиеся в отечественной науке стереотипы, в частности — относительно знаменитого спора между последователями «церковного приобретателя» Иосифа Волоцкого и «нестяжателями» Нила Сорского. Я. С. Лурье доказал, что вызвавшие многовековую духовную дискуссию концепции «иосифлян» и «нестяжателей» восходят к одному общему источнику.

Докторскую диссертацию — «Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV — начала XVI вв.» (1967) Я. С. Лурье защищает, уже будучи сотрудником древнерусского сектора Пушкинского дома. Эта работа принесла ему заслуженную известность и вызвала множество восторженных и полемических откликов. В ней привлечены неизвестные прежде источники и дано принципиально новое истолкование уже известным текстам, фактически впервые показано, какую роль играли мистико-еретические учения в развитии русской общественно-политической мысли. Это был совершенно новый взгляд на динамику русской истории — взгляд, позволяющий понять и то, что происходит с нами сегодня. Я не буду останавливаться подробно на многочисленных публикациях и литературоведческих статьях Я. С. Лурье, на его участии в шумной полемике 1963 года по поводу подлинности «Слова о полку Игореве», на его монографиях «Повесть о Дракуле» (1964) и «Истоки русской беллетристики», сохраняющих до сих пор серьезное научное значение. Мне кажется, что в истории русской общественной мысли останутся не столько узкоспециальные его исследования, сколько работы, где сквозь историческую канву проглядывают черты современности. Таковы изданные в 1951 году совместно с Д. С. Лихачевым в серии «Литературные памятники» ироничные и тонкие комментарии к переписке Ивана Грозного с князем Курбским. Читая их, обнаруживаешь, что тени далекого прошлого говорят не только о своем времени, но и высвечивают зловещую фигуру Отца народов — и это в годы безраздельного торжества сталинизма! И понимаешь, что высшая честность историка — это переживание прошлого как настоящего и настоящего как прошлого. Сам исследователь воплощает живую непрерывную связь времен.

Может быть, поэтому позиция Я. С. Лурье в 60—80-е годы отличалась немислимой для большинства его коллег гражданской смелостью. Он — вместе с В. В. Пугачевым и Б. Ф. Егоровым — открыто защищает опального историка-диссидента Арсения Рогинского; на квартире ученого КГБ проводит обыск, он подвергается постоянной травле по месту работы, и в конце концов его изгоняют из Пушкинского дома «по сокращению штатов». В последние годы жизни Я. С. Лурье продолжает много и интенсивно работать, но сфера его интеллектуальных интересов радикально смещается в сторону современности. С 1963 года он начинает заниматься модным и тогда еще опасным Михаилом Булгаковым (работа «От «Белой гвардии» к «Дням Турбиных»), пишет мемуары, опубликованные в Париже («История одной жизни», Atheneum, 1987), обращается к теме судьбы интеллигента в 20-е годы, полемизируя одновременно и с официозной критикой, и с диссидентом А. Белинковым (книга об Ильфе и Петрове «В стране непуганых идиотов», выпущенная тоже в Париже). Впрочем, продолжаются и занятия русской древностью и окончательно складывается концепция двух историй России (книга «Две истории России XV века»). Последняя, еще не вышедшая монография Я. С. Лурье посвящена историографии Древней Руси.

Бережная осторожность и напряженное внимание, с каким он привык переворачивать полуистлевшие страницы старинных фолиантов, распространялась и на людей, его окружающих. И такой стиль общения возвышал каждого, кто имел счастье обращаться к Я. С. Лурье с каким-либо вопросом, за какой-либо надобностью. Разговаривая с ним, я чувствовал себя чем-то вроде рукописи, текст которой пытаются разобрать, понять, оправдать и наделить высокими смыслами. К сожалению, так мало людей, обладающих этой способностью читать любую чужую жизнь как необыкновенно интересную и значимую книгу, — и с уходом каждого из них что-то обрывается и в нас, существах обыкновенных, живущих по преимуществу заботами своего времени. После их ухода остается пронзительное сознание сиротства, словно бы ты стал добровольным свидетелем варварского уничтожения, сожжения на инквизиционном костре уникальной рукописной книги, украшенной драгоценными камнями и неповторимыми миниатюрами.

Я. С. ЛУРЬЕ

ИЗ КНИГИ «ИСТОРИЯ РОССИИ В ЛЕТОПИСАНИЯХ И ВОСПРИЯТИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ»

Яков Соломонович Лурье в последние годы был постоянным автором «Звезды», лауреатом нашего журнала в 1994 году — премия была присуждена ученому за статьи «Александр Солженицын — эволюция его исторических взглядов» (№ 6) и «Древняя Русь в сочинениях Л. Н. Гумилева» (№ 10).

Сегодня мы публикуем фрагменты из готовящегося к печати в петербургском издательстве Дмитрия Буланина исследования Я. С. Лурье. «Звезда» предлагает вниманию читателей введение к книге и заключительную часть главы «Ордынское иго и Александр Невский». В основу этого фрагмента положен доклад Я. С. Лурье «Невская битва в русском летописании» на научном семинаре «Швеция — Санкт-Петербург», прочитанный в Эрмитаже 30 сентября 1995 г.

ВВЕДЕНИЕ

Задача пересмотра истории древней Руси на основе нового и углубленного исследования летописания встала перед русской исторической наукой довольно давно — уже в первые десятилетия XX в. В монографии «Образование Великорусского государства» (1918) и в речи перед защитой этой работы в качестве докторской диссертации А. Е. Пресняков заявил о необходимости «восстановить, по возможности, права источника и факта» в исторической науке. Он писал, что ранняя история Руси «стала в нашей историографии жертвой теоретического подхода к материалу, который обратил данные первоисточников в ряд иллюстраций готовой, не из них выведенной схемы». В результате, как указывал исследователь, «летописные своды, при безразличном пользовании разными их типами и редакциями, без учета создававших эти типы и редакции книжнических точек зрения, не дают всего, что могут дать, и, что существеннее, позволяют предпочесть позднюю и нарочитую переделку текста подлинному, первоначальному историческому свидетельству: так часто и бывало, потому что Никоновская летопись и зависимый от нее текст Татищевской «Истории» лучше иллюстрировали принятую схему». Под принятой схемой Пресняков имел в виду «главное направление нашей историографии» XIX в. (от С. М. Соловьева до В. О. Ключевского), для которого «данные первоисточников стали, собственно, не основой построения, а запасом иллюстраций к положениям защищаемой историко-социологической доктрины».

«Научный реализм», провозглашенный А. Е. Пресняковым, в значительной степени был связан с традициями петербургской исторической школы В. Г. Васильевского и С. Ф. Платонова, представители которой придавали особое значение источниковедению в противовес московской школе, представленной строителями «научных систем» (С. М. Соловьев, В. О. Ключевский). В еще большей степени на взглядах А. Е. Преснякова отразились труды А. А. Шахматова, давшие возможность построить генеалогию русского летописания на основе сравнительно-текстологического исследования всей совокупности летописей, включая целый ряд вновь открытых ученым. На труды А. А. Шахматова опирался не только А. Е. Пресняков, но и ряд других ученых, вошедших в науку в предреволюционные и первые послереволюционные годы, — М. Д. Прислков, Н. Ф. Лавров, А. Н. Насонов.

Однако стремление восстановить «права источника и факта» при изучении истории древней Руси натолкнулось на препятствия, лежащие вне науки. С конца 1920-х гг. власть начала планомерное преследование всех историков, которые не принадлежали к официальному направлению и считались чуждыми и враждебными марксистской идеологии. Жертвами «дела историков» 1929—1930 гг. оказались почти все видные представители исторической науки. А. Е. Пресняков умер в 1929 г. и избежал преследований, но С. Ф. Платонов, М. Д. Приселков и многие другие стали жертвами репрессий. Официальная историография, которую возглавлял М. Н. Покровский, была еще более привержена к «теоретическому подходу к материалу», чем историография XIX в., и отнюдь не склонна была к «непосредственному отношению к источнику и факту». Еще в 1910 г. в предисловии к «Русской истории с древнейших времен», написанной М. Н. Покровским совместно с Н. М. Никольским, авторы заявили, что намереваются «брать целиком у других, у исследователей первоисточников, их материал», обрабатывая его «с материалистической точки зрения». В 1930 г. преподавание истории в школе и в большинстве высших учебных заведений было отменено; исследователям предписывалось заниматься прежде всего историей социальных процессов и классовой борьбы, а не политической историей. Вся история была втиснута в рамки разработанной в 1930-х гг. «теории формаций»; источниковедению отводилась чисто служебная и второстепенная роль. «Полное собрание русских летописей», продолжавшееся изданием после революции вплоть до 1920-х гг., было прекращено, и глава организованного в 1931 г. Историко-археографического института С. Г. Томсинский заявлял, что Институт «порвал с тематикой старой Археографической комиссии» и, в частности, с изданием летописей.

Положение несколько изменилось с середины 1930-х гг. Преподавание «гражданской истории» в школах и вузах было восстановлено. Хотя изложение истории стало теперь всецело подчинено теории формаций (древняя Русь рассматривалась как Русь феодальная), но в рамках этой схемы допускались частные источниковедческие исследования. Ученые, занимавшиеся летописанием (М. Д. Приселков, А. Н. Насонов), вновь получили возможность работать.

Но перед «восстановлением прав источника и факта» в исторической науке возникло новое препятствие. Уже в предвоенные и, особенно, в военные годы историю стали трактовать как своеобразный учебник патриотического воспитания; важнейшую роль при этом сыграло известное сталинское выступление 1941 года о «великих предках», начиная с Александра Невского и Дмитрия Донского. Были решительно осуждены любые исследования, подрывавшие канонистическую трактовку истории отечества, проявления «норманизма» — указание на какую-либо роль норманнов в древнейшей истории Руси и т.д.

Годы кризиса советской системы были ознаменованы новыми явлениями в исторической науке. Господствующая схема исторических формаций еще сохраняла монопольное положение, но конкретные исследования во многом подрывали эту схему.

Сегодня в нашей науке нет какой-либо единой схемы исторического процесса. Казалось бы, историк может работать не стесняемый никакими запретами. Но существует мода, трудно преодолимое общее мнение. Болотникова, Разина и Пугачева сменили в исторической публицистике другие герои — митрополит Иларион, Александр Невский, Сергей Радонежский.

Каковы же были изменения, произошедшие за эти годы в исторической науке? «Источник и факт» в исследованиях постепенно обретали свои законные права. Работы 1960—80-х гг. в значительной степени стали носить источниковедческий характер. Традиционное деление русских историков на петербургских «эрудитов» и московских «строителей систем» потеряло свое значение. Москвич С. Б. Веселовский, чьи наиболее яркие работы были опубликованы посмертно, выступал в них скорее как источниковед, нежели как историк-теоретик. Именно он, опираясь на источники, опроверг весьма остроумное, но грешившее «теоретическим подходом к материалу» объяснение опричнины, данное таким корифеем петербургской исторической школы, каким был С. Ф. Платонов. Работы С. Б. Веселовского по истории опричнины были продолжены А. А. Зиминим и В. Б. Кобриним. А. А. Зимин создал серию монографий, охватывающую почти всю русскую историю с первой четверти XV в. по начало XVII в., однако ценность этой серии была не в единой концепции, а, прежде всего, в скрупулезном анализе источников. Лучшие работы последних лет также носят скорее источниковедческий, нежели теоретический характер.

Однако новые данные по истории летописания в далеко недостаточной степени сказались на исторических исследованиях. Работы таких исследователей, как М. Д. Приселков и А. Н. Насонов, во многом дополнили и видоизменили схемы летописной генеалогии, предложенные А. А. Шахматовым; найден ряд новых лето-

писных текстов. Но в исследованиях по политической истории эти новые данные учтены в недостаточной мере. По-прежнему летописи используются независимо от их происхождения и времени составления лежащих в их основе сводов, привлекаются для иллюстрации общих построений историков.

В 1994 г. автор этой книги выпустил в свет монографию «Две истории Руси XV в.», в которой пытался пересмотреть традиционные взгляды на историю этого столетия, опираясь на наиболее ранние и наименее тенденциозные литературные памятники. В настоящей работе такому же пересмотру будут подвергнуты основные события политической истории предшествовавших веков — первые века истории Руси, начало монгольского ига и деятельность Александра Невского, церковно-политические отношения во время Куликовской битвы; данные летописей сопоставляются с построениями историков XX столетия. Речь будет идти именно о летописных известиях, а не об истории соответствующих периодов в целом, о сравнении первоначальных известий с более поздними и о восприятии их в историографии Нового времени.

Здесь, очевидно, нужно сделать важную оговорку. Говоря о современном восприятии истории прошлого, историки и литературоведы часто противопоставляют «ментальность» людей древности и средневековья мышлению современных людей. Автор отнюдь не склонен к такому противопоставлению. Несомненно, что сведения о мире и воззрения людей давно прошедшего времени отличались от тех, которые свойственны нам. Люди средневековья не всегда различали предания и действительные факты. Они с доверием принимали легенды. Однако их основной понятийный аппарат, судя по всем источникам, принципиально не отличался от нашего. «Основные черты мыслительной деятельности человека и его способности остаются неизменными в различные эпохи его исторического существования, не зависят в то же время ни от расы, ни от географического положения, ни от степени культуры, — писал И. М. Сеченов. — Только при этом становится для нас возможным понимать мысли, чувства и поступки наших предков в отдаленные эпохи». Антропологи также приходят к выводу, что человек (*homo sapiens*) «всегда думал одинаково хорошо: улучшения заключаются не в предполагаемых процессах в человеческом уме, но в открытии новых областей, к которым прилагаются его не изменившиеся и не меняющиеся силы». Исследователь, который предполагал бы существование у людей прошлого «особого мышления», в сущности, закрыл бы для себя возможность понимания сочинений средневековых авторов — ведь сам такой исследователь живет в наше время.

Обращаясь к летописным памятникам, мы встречаемся в них не столько с примитивным мышлением и наивностью древних летописцев, сколько с их пристрастием к определенным политическим силам, с явной тенденциозностью. Мнение А. А. Шахматова, что рукой летописца «управляли политические страсти и мирские интересы», не было опровергнуто авторами, писавшими после него. Мнение это основывалось на анализе летописных сводов, на явных расхождениях между ними. Более поздние летописцы систематически переделывали рассказы своих предшественников. Пристрастия летописцев нарастали с течением времени — наиболее тенденциозными оказываются обычно летописи времени создания самодержавного Русского государства в конце XV и в XVI в.

Сопоставляя известия различных летописных сводов с их изложением в трудах историков нашего времени, автор этой книги не ставил своей целью дать обзор историографии XX в. Речь идет лишь об интерпретации летописных известий в сочинениях авторов, писавших после А. А. Шахматова и А. Е. Преснякова. Предметом рассмотрения оказались не только чисто научные труды, но и работы, выходящие за рамки академической историографии. Популярность таких работ, появление у них поклонников и подражателей, претензии авторов на высказывание новых «историко-софских» концепций делают особенно настоятельной проверкой их научной доказательности. Критика этих работ привела, возможно, к известной публичности изложения. Но такая публичность не была целью автора этой книги, а определялась характером разбираемых им сочинений.

ОРДЫНСКОЕ ИГО И АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

Последнюю летописную версию повествования об Александре Невском предложила Степенная книга 60-х гг. XVI в.¹, с наибольшей смелостью переделывавшая историю Руси на всем ее протяжении. Восьмая степень книги именовалась Житием и по форме больше всего приближалась к Житию, но обильно дополняла его переделанными летописными известиями из Никоновской летописи. Непокорство Андрея Ярославича, повлекшее «пленение Неврюево», было объяснено здесь тем, что Андрей, «аще и преудобен бе благородием и храбростью, но обаче правлением державы яко поделеие вменяя и на ловитвы животных упражнялся и советником младоумным внимая, от них же бысть многое зело нестроение...». История новгородских выступлений против татар и восстания в Суздальской земле была объединена в единую статью «О утолении мятежа...»: «Потом же дважды бысть в Великом Новеграде, в нем же бысть мног мятежь и велика вражда не токмо от безбожных татарских посланников, но и от междоусобных злейших крамольников». Рассказ о наказании этих крамольников был смягчен: «Александр велел их по градскому закону судити и по делом их воздати им». Но восстание в городах зато было прочно связано с князьями и лично с Александром: «И того ради тогда великий князь Александр и прочии князи Русьтии и изгнаша бесерменем татар, а иных избиша, а инии от них крестися...». Характеристика Андрея Ярославича как князя, склонного к «ловитвам животных», и некоторые другие дополнения Степенной книги к рассказу об Александре Невском были воспроизведены и в особой редакции Никоновской летописи — Лицевом своде второй половины XVI в.²

В хронографах XVII в. содержатся лишь немногочисленные известия об Александре Невском. В Пискаревском летописце рассказ об Александре основывается на летописно-житийной традиции Новгородско-Софийского свода,³ в Мазуринском летописце Исихора Сназина — краткие извлечения из того же рассказа.⁴

В «Истории» Татищева рассказ об Александре изложен в основном по Никоновской летописи. В рассказе о Невской битве Татищев, повествуя о видении Пелгусия (у Татищева: «Пергусий»), опустил упоминание о святых Борисе и Глебе и превратил «насад», в котором приплыли святые, в «насады ратных». Здесь историк XVIII в. обнаружил свойственные ему рационалистические воззрения и предвосхитил тенденции ряда авторов нового времени, прибегавших к той же купюре. В рассказе о дальнейших событиях обнаруживаются не только специфические дополнения Никоновской летописи (бегство Андрея в чужую землю, чтобы избежать ссоры с братом, укромное татарских численников в Новгороде, избиение татар в 6770 (1262) г. по соглашению между русскими князьями), но и новые татищевские дополнения: «пря» о великом княжении в 6756 (1248) г. между Александром и Михаилом Хоробритом; готовность Александра занять после смерти отца киевский престол и отказ от этого по просьбе новгородцев; жалоба Александра хану в 6760 (1252) г. на брата Андрея, который «сольстив хана, взя великое княжение под ним, яко старейшим, и грады отеческие ему поимал, и выходы и тамги хану платит не сполна»; обращение Александра к хану с просьбой о прощении бежавшего Андрея и приход его в Орду с братом «по слову ханскому». Едва ли здесь можно предполагать добавления по неизвестному источнику; скорее это стремление историка заполнить лакуны в историческом повествовании собственными догадками о возможных связях между событиями.⁵

В исторической литературе в центре внимания оказались Невская битва и Ледовое побоище; рассказы о них постоянно излагаются в научных и научно-популярных сочинениях, а также в различных учебниках.

Русско-ордынским отношениям при Александре историография XX в. уделяла гораздо меньше внимания, чем его победам на западных рубежах. А. Е. Пресняков в «Образовании Великорусского государства» и в неизданном томе своих «Лекций по русской истории» отмечает сосуществование среди владимирских князей двух

¹ Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т.21; первая пол. СПб., 1908. С.279—295.

² ПСРЛ. Т.10. СПб., 1885 (фототип. воспр. — М., 1965). С.119—139 (правые колонки).

³ ПСРЛ. Т.34. М., 1978. С.89—92.

⁴ ПСРЛ. Т.31. М., 1968. С.72—75.

⁵ Татищев В. Н. История Российская. Т.V. М.:Л., 1965. С.31, 39, 40, 43, 44.

политических линий — антитатарской, носителем которой был Андрей Ярославич, женившийся на дочери сильнейшего из западнорусских князей — Даниила Галицкого, и брат Александра и Андрея — Ярослав Тверской, и протатарской, которую последовательно проводил Александр Невский, «вассал ордынский», ставший «проводником установления татарского владычества на северо-восточной Руси». «...Авторитет великокняжеской власти вышел из эпохи сильно расшатанным, Александр поддерживал его не только личной энергией и личным влиянием, но и страхом татарской кары и прямой опорой в татарской силе». Но специально этой темой он не занимался и не исследовал летописные своды, отражающие эти события. Не вызывало у него, как и у других историков, сомнений читающееся в поздней летописной традиции известие о том, что Святослава Всеволодовича согнал с престола младший брат Ярославичей — Михаил Хоробрит Московский, а не Андрей Ярославич, как отмечают более ранние источники.¹

История русско-ордынских отношений после похода Батыя была подробно изложена А. Н. Насоновым в монографии «Монголы и Русь». Но в центре внимания исследователя были не столько русские междукняжеские отношения, сколько политика завоевателей — в частности, противоречия между Золотой Ордой (Сараем) и Монгольской империей. В связи с этой темой А. Н. Насонов обратил особое внимание на сообщение поздних летописей (Устюжская, Никоновская и Степенная книга), что восстание 6770 (1262) г. в Ростово-Суздальской земле было предпринято по инициативе «князей Русстиих» (Никоновская летопись) и даже самого Александра (Устюжская летопись, Степенная книга). А. Н. Насонов предполагал, что факт «прикосновенности» Александра «как инициатора восстания» 1262 г. «становится вполне правдоподобным» потому, что дань с Руси была запрошена, когда «титям» приехал от цесаря татарского, именем Кутлубий. Понимая слово «титям» как собственное имя посла, а «Кутлубий» как искажение имени монгольского императора Хубилая, А. Н. Насонов считал, что восстание на Руси было направлено не против Орды, а против Монгольской империи, и Александр, как сторонник золотоордынского правителя Берке, мог в этом восстании участвовать.² Против этого предположения высказались Г. Вернадский и Дж. Феннел, справедливо заметив, что «Кутлубий» скорее имя посла («Кутлубей»), чем искаженное имя монгольского императора, что Хубилай едва ли мог непосредственно послать сборщиков дани на Русь, ибо как раз в то время он боролся с соперниками и дорога на Русь была ему недоступна. Дж. Феннел отметил, что ранние источники ничего не сообщают об участии князей в восстании; согласно Софийской I летописи, в ответ на восстание ордынцы послали «полки» «попленили христианы». По мнению Дж. Феннела, «...князья, и в том числе, конечно, Александр, не вдохновляли, не возглавляли и не поддерживали народное движение».³ Заметим, что если в книге «Монголы и Русь», начатой в 1924 г. и опубликованной в 1940 г., А. Н. Насонов считал возможным опираться на Устюжскую и Никоновскую летописи, то в своей «Истории русского летописания», ссылаясь на А. А. Шахматова, он высказался весьма скептически о возможности привлечения Устюжской летописи и других поздних памятников.⁴

Политика Александра Невского по отношению к Орде заняла важное место в построении так называемых «евразийцев» — русских ученых-эмигрантов, пересматривавших традиционный взгляд на монгольское иго как на национальную трагедию, определившую отсталость России от Европы, и видевших в нем силу, объединявшую в одно целое религию, культуру, быт и государственный строй. По их мнению, на этой силе держалась вся русская жизнь. Подобный строй позволил Московской Руси стать одной из обширнейших держав. «Евразийская» концепция

¹ Пресняков А. Е. 1) Образование Великорусского государства. Пг., 1918. С.53—58; 2) Лекции по русской истории, т. III (т. III пока не вышел в свет; цитирую по корректуре, любезно предоставленной мне В. М. Паняхом). С.38—40.

² Насонов А. Н. Монголы и Русь. М.—Л., 1940 (репринт — The Hague — Paris, 1969). С.50—53. «Титям» — слово, читающееся только в летописных рассказах о событиях 1262 г., и смысл его (нарицательное или собственное имя?) непонятен (Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка, т. III. СПб., 1903 (репринт — М., 1958), стб.961).

³ Vernadsky G. The Mongols and Russia. (A History of Russia, v. III). New Haven, 1953. P.160—161; Fennell J. L. I. The Crisis of Medieval Russia. 1200—1304. London — N.Y. 1983. P.119. (ср. русский перевод — Кризис средневековой Руси. 1200—1304 гг. М., 1989. С.161); Каргалов В. В. Внешнеполитические факторы развития феодальной Руси. М., 1967. С.155—157. Ср.: Ch. J. Halperin. The Tatar Yoke. 1986. P.58, 190, p.103.

⁴ Насонов А. Н. История русского летописания XI — нач. XVIII в. М., 1969. С.21.

русской истории особенно ярко была выражена в статье Г. Вернадского «Два подвига Александра Невского». «Если победа на Неве и Чудском озере была «подвигом брани», то его поведение по отношению к монгольским ханам являло собой подвиг смирения». Сравнивая Даниила Галицкого, пытавшегося противостоять Орде, с Александром Невским, Г. Вернадский приходил к выводу, что наследием первого было «латинское рабство Руси юго-западной», а наследием второго — «великое государство Российское».¹

Статья «Два подвига Александра Невского» имела публицистический характер, и основным ее источником было Житие Александра. Но идеи этой статьи отразились и в монографии Г. Вернадского «Монголы и Русь». Здесь мы также находим противопоставление Даниила Галицкого Александру Невскому, политика которого состояла в том, что «Александр предпочитал оставаться лояльным по отношению к монголам, нежели разделять страну». Лишь изредка Г. Вернадский прибегает к ссылкам на летописи (например, в споре с Насоновым о роли Александра в восстании 1262 г.), чаще, излагая факты, он ссылался на труды предшествующих историков. Так, следуя историографической традиции, он утверждал, что в 1240 г. предводителем шведов был могущественный ярл Биргер.²

Проблема «двух путей русской политики» — подчинение Орде или вхождение в состав Литовского государства — рассматривалась и в русской историографии. С. В. Юшков еще в 1946 г. писал, что переход русских земель к Литве означал избавление от ужасов монголо-татарского ига; что такой переход был бы «интересен и для правящей верхушки той или иной русской земли, и для всей массы населения».³ О том, что во время восстаний против ханской власти «боярство и князья помогали татарам, но без оснований надеясь сохранить таким путем свое привилегированное положение», писал Б. Д. Греков; развили эту мысль И. У. Будовниц и В. В. Каргалов.⁴

Основным недостатком всех перечисленных работ было невнимание авторов к летописным сводам, их взаимоотношениям и датировке. Единственным исключением в этом отношении были работы Дж. Феннела. Написанию его монографии «Кризис средневековой Руси 1200—1304 гг.» предшествовало исследование летописных рассказов о русско-ордынских отношениях и, в частности, статьи о летописных источниках, отражающих борьбу между Александром Ярославичем и его братом Андреем. Дж. Феннел справедливо отметил, что поздние летописи второй половины XV и XVI вв. «представляют интерес в основном с точки зрения истории летописания». Конечно, попытки определения не дошедших до нас источников Лаврентьевской летописи и Софийской I (летописцы Александра, Андрея и Ярослава Ярославича), предложенные Дж. Феннелом и другими авторами,⁵ неизбежно носят предположительный характер. Однако стремление расширить имеющуюся у нас информацию с помощью «правдоподобных» известий заведомо поздних и тенденциозных памятников еще менее плодотворно. В распоряжении составителя Никоновской летописи, возможно, были какие-то записи, ведшиеся при учреждении в 1261 г. православной Сарайской епархии,⁶ но известия Никоновской летописи о русско-ордынских отношениях при Александре Невском явно были основаны на предшествующих летописных источниках и носили тенденциозный характер (известия за 6760, 6766, 6770 гг.).

Если Дж. Феннел основывал свои исследования на изучении источников, то на совершенно иных принципах были основаны работы Л. Н. Гумилева, исходившего

¹ Трубецкой Н. С. О туранском элементе в русской культуре // Евразийский временник. Берлин, 1925; переиздано в книге: Гумилев Л. Н. Черная легенда. Друзья и недруги Великой степи. М., 1994. С. 519—521; Вернадский Г. Два подвига св. Александра Невского // Евразийский временник, кн. IV. Берлин, 1925; переиздано в книге: Гумилев Л. Н. Черная легенда. С. 550—568.

² Vernadsky G. The Mongols and Russia. P. 55 и 149.

³ Юшков С. В. Развитие Русского государства в связи с его борьбой за независимость / Всесоюзный институт юридических наук. Ученые труды, вып. VIII. М., 1946. С. 141—142.

⁴ Греков Б. Д. и Якубовский А. Ю. Золотая Орда и ее падение. М.—Л., 1950. С. 227—228; Будовниц И. У. Общественно-политическая мысль Древней Руси. М., 1960. С. 354; Каргалов В. В. Внешнеполитические факторы. С. 133—163.

⁵ Fennell J. L. I. Andrej Jaroslavič and the Struggle for Power in 1252. An Investigation of the Sources // Russia Mediaevalis. München, 1973. T. I. P. 49—58; ср.: Колотилова С. И. Русские источники XIII в. об Александре Невском (Ученые записки ЛГПИ им. А. И. Герцена. Псков, 1971). С. 99—104.

⁶ Клосс Б. М. Никоновский свод и русские летописи XVI—XVII вв. М., 1980. С. 184.

из своей теории «этногенеза». Во многом эта теория была сходна с построениями «евразийцев», но гораздо решительнее расходилась с источниками, нежели работы предшественников Л. Н. Гумилева. Так, походы Батые он считал «набегом» или «кавалерийским рейдом», незначительно уменьшившим «русский военный потенциал»; «ни о каком монгольском завоевании Руси не могло быть и речи». Уже два-три десятка лет спустя произошло первое освобождение России от монголов — «величайшая заслуга Александра Невского». Отрицательное отношение к Орде на Руси «появилось не в XIII в., а столетие спустя, когда узурпатор Мамай стал налаживать связи с католиками против православной Москвы».¹

Все это построение находится в полном противоречии с источниками. Во всех летописях, отражающих события XIII в., поход Батые описывается как величайшее национальное бедствие. Если Лаврентьевская и Ипатьевская летописи отражали летописание земель, подвергшихся непосредственному завоеванию, то составитель Новгородской I летописи старшего извода, независимый от двух остальных летописей, писал в городе, который не был завоеван; он не имел поэтому оснований преувеличивать масштабы поражения. Но данная им характеристика завоевания не отличалась от той, которая содержалась во владимирском и южном летописании.²

При изложении последующих событий Л. Н. Гумилев проявляет такую же свободу от источников. Уже Московско-Академическая летопись сообщала, что отец Александра Ярослав умер после поездки в Монголию «нужной смертью»; Новгородско-Софийский свод уточнил это известие, упомянув имя человека, оклеветавшего Ярослава — Федора Яруновича. Итальянец Плано Карпини, находившийся как раз во время пребывания Ярослава при дворе монгольских императоров, описывал подробности его гибели: «Он... был приглашен к матери Императора, которая, как бы в знак почта, дала ему есть и пить из собственной руки; и он вернулся в свое помещение, тотчас же занедужил и умер спустя семь дней, и все тело его удивительным образом посинело. Поэтому все верили, что его там опоили, чтобы свободнее и окончательнее завладеть его землею». П. Карпини упоминал также, что его переводчиком был Темер, «воин Ярослава».³ В. Т. Пашуто высказал догадку, что Темер и упомянутый в летописи «Федор Ярунович» — одно лицо.⁴ Эта догадка была использована Л. Н. Гумилевым как бесспорный факт и дополнена рядом подробностей: «Как известно, Федор Ярунович был агентом папы и оклеветал князя Ярослава, приписав ему контакт с Лионским собором и, следовательно, измену монголам, с которыми тот хотел заключить союз. Ханша Туракина была меркиткой..., а сибирские народы сами не лгут и поэтому верят чужим словам. Ханша поверила доносчику, отравила князя и тем обрекла на гибель своего сына, ибо дети погибшего, изрубив на куски доносчика, примкнули к врагам Гуюка».⁵ Откуда взяты эти красочные известия? Гумилев не указывает своих источников. Столь же загадочны другие его рассказы. В 1257 г., как мы знаем, новгородцы восстали против татарских «численников», готовивших сбор дани; Александр Невский расправился с восставшими, а своего сына Василия, бывшего князем в Новгороде, изгнал оттуда. Гумилев упоминает этот эпизод, но дает ему довольно неожиданную трактовку. Он объясняет, что Василий Александрович, возглавивший это восстание, был «дурак» и «пьяница», а Александр «с жокаками смуты поступил жестоко: им „вынимали очи“, считая, что глаза человеку все равно не нужны, если он не видит, что вокруг делается». Откуда взял автор это объяснение и характеристику Василия Александровича, неизвестно. Ни в Новгородской I летописи старшего извода, ни в Лаврентьевской (кратко сообщившей об этих событиях под 1258 г.) ни слова не говорится о склонности Василия к пьянству; этому князю посвящено всего несколько строчек в летописях. Но Гумилев настаивает на этой характеристике: он сообщает, что Александр дал Василию через несколько лет «тихо и спокойно умереть от пьянства».⁶ Столь же произвольны и не подкреплены источниками и другие утверждения Л. Н. Гумилева. В одной из своих книг он утверждал, что в смерти Александра Невского «можно видеть усилия немецких

¹ Гумилев Л. Н.: 1) Черная легенда. С.200—203, 227; 2) От Руси до России. СПб., 1992. С.108—109.

² Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.;Л., 1950. С.74—77; Ср.: Памятники литературы древней Руси. XIII в. М., 1981. С.134—148, 290—298.

³ Плано Карпини. История монголов. СПб., 1911. С.57—58, 61.

⁴ Пашуто В. Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М., 1960. С.268—269, прим.7.

⁵ Гумилев Л. Н.: 1) От Руси до России. С.115; 2) Черная легенда. С.117 и 225.

⁶ Гумилев Л. Н. От Руси до России. С.120 и 124.

сторонников», а в другой — что «умер он не от яда — это вымысел... Александр, как известно, умер в Городце, куда немецкие агенты проникнуть не могли, а татарам он был дорог как союзник и друг».¹

Все эти «внесточниковые» рассказы служат для Гумилева основанием для его теории «этногенеза». Он заявляет, что «князь Александр, так же как его соратники, принадлежали к поколению новых людей, поднявших новую Русь на недостижимую высоту... Сформулированная Александром доминанта поведения — альтруистический патриотизм — на несколько столетий определила неизвестные дотоме принципы устройства Руси...» «Новые» люди «начали рождаться около 1220 года, а исторической силой стали в конце XIV века — около 1380 года».²

О степени убедительности гумилевской теории «этногенеза» мы писали в другом месте. Сейчас нас занимает другой вопрос: что же мы знаем об обстоятельствах установления ордынской власти над Русью и роли Александра Невского в этих событиях? Как было связано монгольское нашествие и дальнейшие взаимоотношения Александра с ханами с его победами на западных границах? Касаясь этого вопроса, историки обычно ограничивались замечаниями, что нашествие монголов «ослабило Русь и породило желание у ее соседей использовать выгодный момент и разом покончить с ее независимостью», что «татарское нашествие создало чрезвычайно выгодную обстановку для нападения на Русь».³

Основным источником по истории княжения Александра Невского служило и служит обычно Житие Александра — в отдельной редакции или, еще чаще, по летописным рассказам, в основе которых лежало это Житие. При этом показания источников оценивались с точки зрения «вероятности» или «невероятности» описанных в них событий. Преобладало мнимо-«реалистическое» их толкование, когда видение ижорянина Пелгусия превращалось в его «разведку», из участия в которой многие историки, вслед за В. Н. Татищевым, исключали святых Бориса и Глеба, а избиение шведов на другом берегу Ижоры, где не было войск Александра, приписывали не «ангелу Господню», а дружественным Руси ижорцам.⁴

Много трудов посвятил этой теме И. П. Шаскольский. Он справедливо отметил, что Житие Александра — «литературное произведение в жанре княжеского жизнеописания», «памятник художественной литературы, создававшийся по ее специфическим законам».⁵ Но, пытаясь «реконструировать» ход Невской битвы, он опирался на «достоверные зерна» Жития. Он считал Пелгусия «безусловно историческим» лицом и описывал подвиги «6 мужь храбрых» по житийному рассказу. Отстаивая достоверность рассказа, автор ссылался на «прибалтийско-финское» имя Пелгусия (в финском произношении «Пелконен») и на реальное существование одного из «храбров» — Сбыслава Якуновича.⁶ Но в фольклорных сказаниях часто фигурируют реальные лица (ведь и Александр Невский был реальным лицом). Сам И. П. Шаскольский отмечает, что «рыцарь Андреяш», якобы приезжавший к Александру и выражавший восхищение им, — фигура легендарная, что «король части Римския», бросивший вызов Александру и раненный в битве «острым копием» князя, никогда не существовал, а упоминаемое в некоторых списках Новгородской IV летописи имя этого короля «Бергель» не может (вопреки утверждениям ряда историков) быть отождествлено с именем Биргера, ставшего ярлом и фактически правителем

¹ Гумилев Л. Н.: 1) От Руси до России. С.121; 2) Черная легенда. С.359.

² Гумилев Л. Н. От Руси до России. С.122—123.

³ Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968. С.289—290; Шаскольский И. П. Борьба Руси против крестоносной агрессии на берегах Балтики в XII—XIII вв. Л., 1978. С.154. Ср.: Князь Александр Невский и его эпоха. СПб., 1995. С.8, 22, 31, 44.

⁴ Примеры такого «реалистического» толкования Жития Александра см.: Лурье Я. С. Критика источника и вероятность известия // Сб. «Культура древней Руси». М., 1966. С.123—124; Шаскольский И. П. Борьба Руси против крестоносной агрессии на берегах Балтики. С.181, прим.141. Возражая автору этой работы, В. Т. Пашуто взял под защиту лишь достоверность упомянутого в Житии подвига «мужа храброго» Гаврилы Олексича, но оставил без внимания примеры «реалистического» толкования видения Пелгусия и участия в битве «ангелов божиих» (Пашуто В. Т. К спорам о достоверности Жития // История СССР. 1974. № 6. С.208—209).

⁵ Шаскольский И. П. Борьба Руси... С.180—181.

⁶ Шаскольский И. П. Борьба Руси... С.183, прим.154, 186—194.

Швеции лишь с 1248 г.¹ Использование некоторых известий житийного рассказа в качестве «рациональных зерен» представляется поэтому типичным примером извлечения из сомнительного источника отдельных «неневероятных» показаний.

Разумеется, и ранние источники, освещающие установление ордынской власти и деятельность Александра Невского, далеко не во всем достоверны и не могут привлекаться без критики. И. П. Шаскольский прав, отмечая, что и Новгородская I летопись старого извода, излагавшая историю Невской битвы с чужих слов («инии творяжу»), преувеличивала масштабы похода, утверждая, что на Неву пришли «свеи в силу велице и мурмане и сумь и емь». В действительности Норвегия («мурмане») участвовать в битве не могла; едва ли в битве участвовали представители «еми». Никаких шведских и вообще иностранных известий о Невской битве (в отличие от Ледового побоища, упомянутого в ряде ливонских хроник) не сохранилось; видимо, она не рассматривалась в балтийских землях как важное событие, в отличие от таких, например, побед русских и неудач шведов, как взятие московско-новгородским войском Ландскроны в 1302 г. Нет, как признал И. П. Шаскольский, в источниках каких-либо «прямых указаний на шведско-немецкие переговоры и соглашение о совместном нападении на Русь», предположение о договоренности между шведами и немецкими рыцарями основывается в его исследовании лишь на том, что шведский поход на Неву происходил в июне 1240 г., а нападение немцев на Изборск и Псков — в конце августа того же года.²

Новгородская I летопись старого извода очень бедна известиями о междукняжеских отношениях в середине XIII в. Здесь даже не упоминается смерть Ярослава Всеволодовича; ничего не сообщается о борьбе за престол между его наследниками; упомянут только младший брат Александра Ярослав в связи с его бегством «из Низовское земли» в Псков и (на короткое время) в Новгород.

Летописные своды, отразившиеся в Лаврентьевской летописи, несомненно были лучше осведомлены о междукняжеской борьбе после монгольского нашествия. Однако о целом ряде событий Лаврентьевская летопись умалчивает. При каких обстоятельствах умер Ярослав Всеволодович? Как лишился престола и кем был изгнан брат Ярослава Святослав? Каковы были отношения между сыновьями Ярослава Всеволодовича — Александром, Андреем и Ярославом? «Летописец вскоре патриарха Никифора» сообщает, что Святослава «прогна Андрей сын Ярославль», и указывает, что Андрей княжил «лет 5» и был «прогнан» татарским полководцем Неврюем. Поход Неврюя и изгнание им Андрея упоминается и в Московско-Академической летописи. Лаврентьевская летопись вообще не упоминает поход Неврюя, а о поездке Александра в Орау и получении им великого княжения в 1252 г. хотя и сообщает перед известием о бегстве Андрея, но никак не связывает его с поездкой Александра. Не объяснена связь между нападением татар под Переяславем на Андрея и пленением ими жены Ярослава Ярославича, не указана причина бегства его из своей вотчины в Ладогу. Спорным остается известие Лаврентьевской летописи за 1258 г. о том, что новгородцы «чтиша» Александра и он «поеха» от них «с честию»; после этого известия под следующим годом повествуется о том, что Александр кланялся митрополиту Кириллу за то, что по его молитве он вернулся благополучно. Московско-Академическая летопись прямо утверждала, что в 1254 г. «князь Александр бежа из Новагорода», и это известие, не замеченное историками, заслуживает серьезного внимания. Новгородско-Софийский свод частично восполнил пробелы в Лаврентьевской летописи, упомянув насильственную смерть Ярослава Всеволодовича и изгнание Андреем Святослава Всеволодовича.

Но всех этих данных все же совершенно недостаточно для той апологетической характеристики Александра, которую мы обычно находим в трудах историков. Чем определялась политика митрополита Кирилла в событиях того времени? Ставленник Даниила Галицкого, повенчавший Андрея Ярославича с дочерью Даниила, он в

¹ Шаскольский И. П. Борьба Руси... С.171—178, 185—186. Упоминание в нескольких списках Новгородской IV летописи «короля Бергея» (как предводителя шведов в 1240 г.) было связано с легендарным «Рукописанием Магнуша», читающимся в Новгородско-Софийском своде под 1352 (6860) г., где говорилось о «князе Бергеле», побежденном Александром. Недавно Дж. Линд высказал предположение, что «Рукописание Магнуша» восходило к не дошедшей до нас новгородской летописи (Lind J. H. Early Russian-Swedisch Rivarly. The Battle of the Neva in 1240 and Birger Magnussons Second Crusade to Tavastia / The Scandinavian Journal of History, v. 16. 1991. P.278—283) и отражало реальные события.

² Шаскольский И. П. Борьба Руси... С.155—157, 160—170. Ср.: Хёш Э. Восточная политика Немецкого ордена в XIII в. // Князь Александр Невский и его эпоха. С.67—71.

1250 г. переехал в «Суздальскую землю» и далее выступал как сподвижник Александра Невского. Как была организована ханская власть на Руси, какую роль в ней играли баскаческие отряды? А. Н. Насонов полагал, что баскаки должны были «держаться в повиновении» коренное население, что в Северо-Восточной Руси была организована «военно-политическая баскаческая организация». Возражая А. Н. Насонову, В. В. Каргалов отрицал существование на Руси такой организации, полагая, что безопасность татарских баскаков и «послов» осуществлялась самими русскими князьями, «сильный великий князь Александр успешно справлялся с этой задачей».¹

Подводя итоги деятельности Александра Невского, Дж. Феннел спрашивал: «Какие выводы можно сделать из всего того, что мы знаем об Александре, его жизни и правлении? Был ли он великим героем, защитником русских границ от западной агрессии?.. Спасла ли проводимая им политика уступок Северную Русь от полного разорения татарами?» — и прибавлял: «Мы, конечно, никогда не узнаем истинных ответов на эти вопросы. Но те факты, которые можно выжать из коротких и часто вводящих в заблуждение историков известий, даже из умолчаний «Жития», заставляют нас серьезно подумать, прежде чем ответить на любой из этих вопросов утвердительно». Дж. Феннел отмечал отсутствие достоверных свидетельств в пользу того, что «папство имело какие-то серьезные замыслы относительно православной церкви и что Александр сделал что-либо для защиты ее единства. На самом деле он и не думал порывать с католическим Западом даже после 1242 года».²

Обращение к наиболее ранним летописным источникам позволяет поставить под сомнение явно легендарные, основанные, вероятно, на фольклорной традиции рассказы (такие, например, как красочные подробности Невской битвы в Житии Александра) и сообщения более поздних источников. Лакоичные известия ранних источников дают основание предполагать, что политическая линия таких князей, как Андрей Ярославич и другие, представляла собой серьезную альтернативу политике Александра и что сопротивление ханской власти началось не в XIV, а уже в XIII веке.

¹ Насонов А. Н. Монголы и Русь. С.12—22; Каргалов В. В. Внешнеполитические факторы развития феодальной Руси. С.154—160.

² Fennell J. L. I. The Crisis of Medieval Russia. P.119—121 (русский перевод, С.162—163); Феннел ссылается на В. Т. Пашуто, но из приведенных последним примеров сношения Александра с Западом один, во всяком случае, вызывает сомнения: известие об ответе Александра папе в 1251 г. основывается на Новгородской I летописи младшего извода, где оно восходит к Житию Александра и имеет явно легендарный характер (Пашуто В. Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М., 1950. С. 246, примеч.10; ср.: Новгородская летопись старшего и младшего извода. С.305). Остальные примеры не вызывают серьезных сомнений. Ср.: Хёш Э. Восточная политика Немецкого ордена. С.65—66.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

ИОСИФ БРОДСКИЙ. Шеймусу Хини. Стихи	3
ШЕЙМУС ХИНИ. Стихи. Перевод с английского Виктора Топорова	4
ДЖ. Д. МАККЛАЧИ. Рецензия на книгу Шеймуса Хини «Переодевание поэзии». Перевод с английского Виктора Топорова	10
ВЛАДИМИР ГАНДЕЛЬСМАН. Стихи	12
ЛЕОНИД ШТАКЕЛЬБЕРГ. Пасынки поздней империи. Фрагменты ненаписанного романа	15
МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ. Стихи	74
АЛЕКСАНДР НЕЖНЫЙ. Плач по Вениамину. Документальная повесть. Окончание	76

ПУБЛИЦИСТИКА

ЛЕШЕК А. БАЛЬЦЕРОВИЧ. Хорошие и плохие образцы. Вступительная заметка Дмитрия Травина. Перевод с польского Н. А. Папчинской по редакции Д. Травина	135
--	-----

К 300-летию РОССИЙСКОГО ФЛОТА

В. А. БЕЛЛИ. Из воспоминаний. Вступительная заметка Сергея Зонина. Подготовка текста Л. И. Спиридоновой	164
---	-----

ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО

Письма Б. М. ЭЙХЕНБАУМА к А. С. ДОЛИНИНУ. Подготовка текста, вступительная заметка и примечания А. А. Долининой	176
---	-----

ЭССЕИСТИКА И КРИТИКА

АЛЕКСАНДР ЖОЛКОВСКИЙ. Зоценко из XXI века, или Поэтика недоверия	190
--	-----

ВОСПОМИНАНИЯ О МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

Г. И. АЛЬТШУЛЛЕР. Марина Цветаева: воспоминания врача. Публикация, вступительная заметка, перевод с английского и примечания Е. И. Лубянской	205
О. П. ЮРКЕВИЧ. Встреча с Мариной Ивановной Цветаевой. Публикация и примечания Е. И. Лубянской	211

УРОКИ ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ

САМУИЛ ЛУРЬЕ. Самоучитель трагической игры	216
--	-----

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КНИЖНОМУ МИРУ

Н. В. ДАДАЛИ, З. А. РУДАЯ. Время увлечения историей	220
---	-----

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ВЛАДИМИР БОЛОХОВ. Воистину: человек предполагает...	225
---	-----

ПАМЯТИ ЯКОВА СОЛОМОНОВИЧА ЛУРЬЕ

ВИКТОР КРИВУЛИН. Памяти ученого	227
Я. С. ЛУРЬЕ. Из книги «История России в летописаниях и восприятии Нового времени». Введение. Ордынское иго и Александр Невский	229

CONTENTS

POETRY AND PROSE

J. Brodsky. Verses dedicated to Seanus Heaney.	3
Seamus Heaney. Poems. Translated from English by V. Toporov.	4
G. D. McClatchy. Review on Seamus Heaney's book "The Redress of Poetry". Translated from English by V. Toporov.	10
V. Gandelsman. Poems.	12
L. Shtakelberg. "Step-Sons of the Late Empire. Fragments of the Unwritten Novel".	15
M. Sinelnikov. Poems.	74
A. Nezhny. "Lamentations over Veniamin". A documentary tale. (End)	76

JOURNALISM

Leszek Balcerowicz. "Good and Bad Models". Foreworded by D. Travin. Translated from Polish by N. A. Papchinskaya.	135
--	-----

TO THE 300th ANNIVERSARY OF THE RUSSIAN NAVY

V.A. Belli. From "Memoirs". A foreword by Sergei Zonin. Prepared for publication by L. I. Spiridonova.	164
---	-----

LETTERS FROM THE PAST

Letters of B. M. Eihenbaum to A. S. Dolinin. A foreword, preparation for publication and notes by A. A. Dolinina.	176
--	-----

ESSAYS AND LITERARY CRITICISM

Alexander Zholkovsky. "Zoshchenko from the XXIst Century or Poetics of Distrust".	190
---	-----

MEMOIRS ABOUT MARINA TSVETAeva

G. I. Altshuller. "Marina Tsvetaeva: Memoirs of a Doctor". Prepared for publication and commented by E. I. Lubiannikova.	205
O. P. Yurkevich. "A Meeting with Marina Ivanovna Tsvetaeva". Prepared for publication and commented by E. I. Lubiannikova.	211

STUDIES IN BELLES-LETTRES

Sarnuil Lourie. "Tragic Play Self-Taught (Alexander Blok)"	216
--	-----

A GUIDE TO THE WORLD OF BOOKS

N. V. Dadali, Z. A. Rudaya. "Time for Taking an Interest in History".	220
---	-----

A LETTER TO THE EDITOR

Vladimir Bolokhov. "Indeed: A Man Proposes..."	225
--	-----

IN MEMORY OF YAKOV SOLOMONOVICH LOURIE

V. Krivulin. "In Memory of a Scientist".	227
Y. S. Lourie. From the book "The History of Russia in Annals and New Time Perception". Introduction. "Horde Yoke and Alexander Nevsky"	229

Сдано в набор 20.02.96. Подписано в печать 18.04.96.

Формат 70×108 1/16. Печать высокая. Усл. печ. л. 21,0. Уч.-изд. л. 24,89.

Тираж 20 000 экз. Заказ № 1769.

Отпечатано с оригинал-макета в ГПП «Печатный Двор» Комитета РФ по печати.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ БАТЮШКОВ

18 (29) мая 1787 — 7 (19) июля 1855

ПОДРАЖАНИЯ ДРЕВНИМ

1

Без смерти жизнь не жизнь: и что она? сосуд,
Где капля меду средь полыни;
Величествен сей понт! Лазурной царь пустыни,
О солнце! чудно ты, среди небесных чуд!
И на земле прекрасного столь много!
Но все поддельное иль втуне серебро:
Плачь, смертный! плачь! Твое добро
В руке у Немезиды строгой!

2

Скалы чувствительны к свирели;
Верблюд прислушивать умеет песнь любви,
Стеня под бременем; румянее крови —
Ты видишь — розы покраснели
В долине Йемена от песней соловья...
А ты, красавица... Не постигаю я.

3

Вгляни: сей кипарис, как наша степь, бесплоден —
Но свеж и зелен он всегда.
Не можешь, гражданин, как пальма, дать плода?
Так буди с кипарисом сходен:
Как он уединен, осанист и свободен.

4

Когда в страдании девица отойдет
И труп синеющий остынет, —
Напрасно на него любовь и амвру льет,
И облаком цветов окинет.
Бледна, как лилия в лазури васильков,
Как восковое изваянье;
Нет радости в цветах для вянущих перстов,
И суетно благоуханье.

5

О смертный! хочешь ли безбедно перейти
За море жизни тревоженной?
Не буди горд: и в ветр попутный опусти
Свой парус, счастьем надменной.
Не покидай руля, как свистнет ярый ветр!
Будь в счастье — Сципион, в тревоге брани — Петр.

6

Ты хочешь меду, сын? — так жала не страшись;
Венца победы? — смело к бою!
Ты перлов жаждешь? — так спустишь
На дно, где крокодил зияет под водою.
Не бойся! Бог решит. Лишь смелым он отец.
Лишь смелым перлы, мед иль гибель... иль венец.

**Во втором полугодии 1996 года «Звезда»
планирует опубликовать:**

Игорь Ефимов. «Не мир, но меч». Исторический роман.

V век. Крушение Римской империи под ударами готов. Яростные распри внутри молодого христианства. Среди главных героев знаменитый отец церкви Блаженный Августин и великий ересиарх Пелагий.

Валерий Попов. «Лучший из худших». Повесть.

Бурная судьба бывшего сотрудника правительственной охраны, вовлеченного в водоворот современного криминального мира.

Петр Кожевников. «Не отвергни меня...». Повесть.

Феликс Розинер. «В обнимку с Хроносом». Повесть.

Игорь Доляняк. Остросюжетная повесть из современной жизни.

Уорд Мур. «Дарю вам праздник». Историко-фантастический роман. История «наоборот» — действие происходит в США после победы в Гражданской войне не северных, а южных штатов.

Марек Хласко. «Расскажу вам об Эстер». Повесть. С польского.

Иван Толстой. Роман в письмах (1916 — 1919 гг.)

Многолетняя увлекательная переписка известного ученого со своей коллегой Софьей Венедиктовной Меликовой, закончившаяся объяснением в любви.

Евгений Пастернак. Воспоминания об отце.

Всеволод Кривошеин. «Девятнадцатый год». Воспоминания архиепископа Брюссельского и Бельгийского (в миру — Всеволод Александрович Кривошеин).

Переписка Георгия Федотова с Парижским Богословским институтом.

Письма Георгия Иванова к Роману Гулю.

Теодор Адорно. «Записки о Кафке».

**Специальный номер журнала, целиком посвященный
Владимиру Набокову.**

В следующем номере журнала читайте:

- Михаил Панин. Труп твоего врага. Роман.
- Переписка Анны Ахматовой с семьей Пуниных.
- Кингсли Эмис.
Горячие токи бунтуют в крови. Рассказ. С английского
- Воспоминания русского офицера о Кавказской войне.